

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2019 * Том 18 * № 4

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW

2019 * Volume 18 * Issue 4

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2019
Том 18. № 4

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманская, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Анастасия Викторовна Макмиллан

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Никола Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александр (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

- Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2019
Volume 18. Issue

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Anastasia McMillan

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

- National Research University Higher School of Economics

- Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СТАТЬИ

Элементы социологии досады и сожаления	9
<i>Михаил Соколов</i>	
Освоение космоса как социологическая проблема	47
<i>Александр Ходыкин</i>	
Вертикальный предел: централизация и эффективность управления в городах России	74
<i>Станислав Шкель, Всеволод Бедерсон, Андрей Семенов, Ирина Шевцова</i>	
Цифровые городские исследования: проблемы взаимодействия и паттерны координации	107
<i>Лилия Земнухова, Николай Руденко, Денис Сивков</i>	

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

О понятиях «семья» и «домохозяйство» в политической теории Жана Бодена	130
<i>Гульнара Баязитова</i>	
The Digital Transformation of the Public Sphere, Its Features in the Context of Various Political Regimes, and Its Possible Influence on Political Processes	149
<i>Alexey Salikov</i>	

STUDIA SOVIETICA

Начало и конец советского проекта культурного фундаментализма	164
<i>Руслан Хестанов, Александр Сувалко</i>	

ДИСКУССИИ

Реципрокность «по благословению»: дискуссионные вопросы дарообмена в церковном социальном пространстве	186
<i>Борис Кнорре, Анна Мурашова</i>	

WEBER-PERSPEKTIVE

Макс Вебер и модерн XXI века	212
<i>Петер Вагнер</i>	
Спиритуалистическая этика и новый дух капитализма	232
<i>Михаил Добровольский</i>	

ХАННА АРЕНДТ: НОВОЕ НАЧАЛО

- Reading Arendt in the Russian Context 263
Alexei Gloukhov

- Cosmos and Republic: A Hidden Dialogue between Hannah Arendt and
Alexander von Humboldt 284
Wolfgang Heuer

ОБЗОРЫ

- Религия в медиатизированных публичных пространствах Скандинавских
стран: между секулярной нейтральностью и национализмом 299
Екатерина Гришаева

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Власть и насилие в реализме Ганса Моргентау 320
Сергей Кучеренко

РЕЦЕНЗИИ

- «Взять власть иначе»: еще одна политическая онтология для новых времен . . 334
Максим Фетисов

- Демократия против господства 344
Алексей Черняк

Contents

ARTICLES

Towards a Sociology of Regret	9
<i>Mikhail Sokolov</i>	
Outer Space Exploration as a Sociological Problem	47
<i>Alexander Khodykin</i>	
The Vertical Constraints: Centralization and Management Effectiveness in Urban Russia	74
<i>Stanislav Shkel, Vsevolod Bederson, Andrei Semyonov, Irina Shevtsova</i>	
Digital Urban Studies: Collaboration Problems with Patterns of Coordination . . .	107
<i>Lilia V. Zemnukhova, Nikolai I. Rudenko, Denis Y. Sivkov</i>	

POLITICAL PHILOSOPHY

On the Concepts of the “Family” and the “Household” in the Political Theory of Jean Bodin	130
<i>Gulnara Bayazitova</i>	
The Digital Transformation of the Public Sphere, Its Features in the Context of Various Political Regimes, and Its Possible Influence on Political Processes . . .	149
<i>Alexey Salikov</i>	

STUDIA SOVIETICA

The Beginning and the End of the Soviet Cultural Fundamentalism Project	164
<i>Rouslan Khestanov, Alexander Suvalko</i>	

DISCUSSIONS

Reciprocity “by Blessing”: Debatable Issues of Gift Exchange in The Church Community	186
<i>Boris Knorre, Anna Murashova</i>	

WEBER-PERSPEKTIVE

Max Weber and 21st Century Modern	212
<i>Peter Wagner</i>	
The Spiritual Ethic and the Spirit of Late Capitalism	232
<i>Mikhail Dobrovolskiy</i>	

HANNAH ARENDT: NEW BEGINNING

- Reading Arendt in the Russian Context 263
Alexei Gloukhov

- Cosmos and Republic: A Hidden Dialogue between Hannah Arendt and
Alexander von Humboldt 284
Wolfgang Heuer

REVIEWS

- Religion in the Mediatized Public Spaces in Scandinavian Countries: Between
Secular Neutrality and Nationalism 299
Ekaterina Grishaeva

REFLECTIONS OF THE BOOK

- Power and Violence in the Realism of Hans J. Morgenthau 320
Sergey Kucherenko

BOOK REVIEWS

- Take Power Differently: Another Political Ontology for the New Age 334
Maxim Fetisov

- Democracy against Domination 344
Aleksey Chernyak

Элементы социологии досады и сожаления

Михаил Соколов

Кандидат социологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Гагаринская, д. 6/1а, Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187
E-mail: msokolov@eu.spb.ru

В статье рассматриваются некоторые социологические приложения двух идей, до сих пор развивавшихся преимущественно в поведенческой экономике и исследованиях организационного поведения: 1) что люди принимают решения, ориентируясь на избегание сожалений о возможной ошибке, а не на максимизацию полезности (*regret theory*), и 2) что новые решения принимаются в надежде оправдать прошлые решения (*sunk cost fallacy*). В статье утверждается, что две соответствующие области исследований, в настоящее время изолированные, могут быть объединены, если мы учтем, что выборы организованы для действующего в секвенцию, в которой удачность каждого прошлого выбора может переопределяться следующим выбором. Мы рассмотрим некоторые общие условия, предполагаемые феноменом сожаления: предвкушаемое взаимодействие со своим будущим «Я» и секвенциальную организацию выборов и событий, и коротко суммируем некоторые подходы к ним в социальных науках. Затем мы обсудим различные явления, которые можно интерпретировать как индивидуальные поведенческие реакции на предвкушаемые сожаления — ликвидацию когнитивного диссонанса, перспективную рационализацию, культивацию предусмотritelности, де-секвенирование и открытые финалы. В заключение мы рассмотрим формы коллективных действий, направленных на избегание сожалений, на примере развития социологической дисциплины.

Ключевые слова: теория сожалений, невозвратные потери, социология эмоций, рациональность, принятие решений, множественные «Я», секвенции

В те времена, когда социологи еще считали себя вправе смотреть на кого-то свысока, первыми, на кого они бросали снисходительный взор, были экономисты с их моделями утилитарно-рационального индивида и социальные психологи с их стремлением свести социальное поведение к набору разрозненных эффектов в индивидуальной психике. В этой статье мы попробуем показать, что, несмотря на эти предполагаемые пороки, во всяком случае в одном отношении экономисты и психологи сделали шаг, который социологам еще только предстоит сделать. Они систематически изучили возможности отказа от отождествления процедурной рациональности и ориентации действия исключительно на будущее. Исследования предвидимого сожаления (*anticipated regret*), развивающиеся в экономике и психологии последние 30 лет, утверждают, что мы не столько максимизируем ожидаемые выигрыши от своего выбора, сколько минимизируем сожаления, связанные с рисками выбрать неудачно.

Можно показать — и мы попробуем сделать это далее, — что избегание сожалений стоит за еще одним феноменом, также исследованным в психологии и поведенческой экономике, — эффектом невозвратных потерь (sunk cost fallacy, escalation of commitment). Эффект невозвратных потерь заключается в готовности продолжать инвестировать средства в начатый проект, даже если его успех сомнителен, и в свете нынешнего понимания ситуации альтернативные инвестиции выглядят более многообещающими (предельным примером будет готовность отдавать еще больше денег в классическом лохотроне вслед за уже потерянными). Эффект, разумеется, прослеживается не только в сфере экономического поведения. Подчиняясь этой тенденции, люди начинают работать по нелюбимой специальности, чтобы не признаваться себе, что получили образование, которое им не нужно, продолжают жить с теми, кого не любят, чтобы не сознавать, что надо было развестись годы назад, и поддерживают отправку все новых войск, чтобы кровь павших героев не была пролита напрасно (впервые длинный ряд примеров, в которых встречается подобная кажущаяся иррациональность, можно найти в ранней работе в этой области: Brockner, Rubin, 1985).

В этой статье мы, после обзора соответствующей экономической и психологической литературы, рассмотрим некоторые более общие предпосылки, предполагаемые избеганием сожалений: то, что действия являются взаимодействиями со своим предполагаемым будущим Я, и то, что курсы поведения понимаются как секвенции состояний, тянувшиеся из прошлого в будущее. Далее мы обсудим, что эта перспектива предлагает социологическим исследованиям, и что они могут привнести в ее развитие. В частности, мы рассмотрим а) исторические и институциональные контексты, в которых конкретные формы сожаления имеют шансы превратиться в значимую силу, б) институты, воплощающие индивидуальные адаптации к угрозам сожаления, например, определенные формы психотерапии, пробного брака и либерального образования, и в) формы коллективного действия, мотивированные желанием избежать раскаяния в неверном выборе.

Теории сожалений и невозвратные потери в экономике, социальной психологии и теории организаций

Теории сожаления. Дискуссия о роли предвидимого сожаления (anticipated regret) развивалась параллельно в психологии и поведенческой экономике. Интерес экономистов к ней был подстегнут экспериментами Д. Канемана и А. Тверски (Kahneman, Tversky, 1979), продемонстрировавшими эмпирические отступления от модели ожидаемой полезности при принятии решений. Канеман и Тверски сформулировали свои наблюдения в виде ряда дискретных эффектов. Например, давно занимавшая умы экономистов загадка того, что один и тот же индивид может покупать страховку и участвовать в лотерее, получала в их работах следующую разгадку: индивиды склонны переоценивать небольшие вероятности, и в субъективном восприятии 1/100 и 1/1000000 сравнительно мало отличаются друг от друга,

побуждая людей реагировать на любые маловероятные события как на одинаково возможные. То, что индивиды готовы предлагать диаметрально противоположные решения для одной и той же задачи в зависимости от того, сформулирована она в терминах приобретений или потерь, объяснялось Канеманом и Тверски общей асимметрией субъективного восприятия выигрышер и проигрышер (негативные эмоции, связанные с проигрышем, сильнее, чем позитивные эмоции, связанные с равным по размерам выигрышем, так что перспектива выиграть 100 рублей в орлянку не перевешивает перспективу проиграть 100 рублей с той же вероятностью). Наконец, существует эффект базы: индивиды переформулируют для себя задачу таким образом, что лучший результат, который может быть наверняка получен, рассматривается как уже полученный, и все остальные возможные исходы определяются относительно него (если один курс действия гарантирует мне 1000 долларов, а второй дает 50% за то, что я получу 2000, и 50% — за то, что я не получу ничего, то я мысленно переформулирую второй вариант для себя в виде «50% за то, что я выиграю 1000, 50% — что проиграю 1000», что в сочетании с эффектом асимметрии дает однозначное предпочтение первого варианта).

Предсказуемой реакцией экономистов на эти экспериментальные открытия стал поиск простой и изящной математической модели, которая свела бы разрозненные эффекты к какому-то общему знаменателю. Две независимо появившиеся в 1982 году работы (Bell, 1982; Loomes, Sugden, 1982; Bleichrodt, Wakker, 2015) стремились достичь этого за счет замены ожидаемой полезности интенсивностью ожидаемых сожалений. Последние определялись соотношением полученного результата и лучшего результата, который индивид мог бы получить, выбери он другой курс действия, если бы внешние обстоятельства складывались так, как они фактически складывались. Д. Белл в качестве интуитивно понятного примера различий между индивидом, максимизирующими ожидаемые полезности, и индивидом, минимизирующими возможную досаду, приводит некую управляющую компанию: ей нужно распорядиться пакетами ценных бумаг накануне выборов с непредсказуемым исходом, который, вероятно, изменит их относительные котировки (Bell, 1982: 963–965). Если выиграет кандидат А, нынешний портфель ценных бумаг подорожает на 10 пунктов, а если В — то подешевеет на 6 пунктов. Шансы кандидатов оцениваются как 50/50. Компании предлагают два варианта изменений в портфеле. При первом она получает плюс один пункт, какой бы из кандидатов ни победил (то есть при победе А она получает плюс 11 пунктов, при победе В — минус 5). При втором варианте изменений она получит минус 5 пунктов, если победит А, но плюс 11 пунктов, если победит В. С точки зрения стандартной модели ожидаемой полезности оба варианта эквивалентны и дают математическое ожидание выигрыша +1 пункт. С точки зрения теории сожаления, однако, выбор стоит между тем, чтобы «наверняка получить +1 пункт» и «с вероятностью 50% выиграть 17, с вероятностью 50% — проиграть 15» (подавляющее большинство людей отвергает второй вариант). Белл пытался подобрать математическую функцию, которая делала бы эти перспективы неравноценными и позволяла объяснять большинство

наблюдений Канемана и Тверски большей или меньшей интенсивностью досады, которую индивид прогнозирует, если дела пойдут не так, как хочется.

Аналогично, в своей версии теории сожалений Дж. Лумес и Р. Сагден (Loomes, Sugden, 1982) предлагали дополнить функцию полезности специальными бонусами, положительными и отрицательными — досадой (*regret*) и ликованием (*joyce*) — которые индивид испытывает, сознавая, что, сделай он все иначе, он бы выиграл, или, наоборот, проиграл. В этом смысле человек может покупать лотерейный билет не столько потому, что надеется купить выигрышный, сколько потому, что боится не купить его и замучить себя сожалениями, когда удача выпадет кому-то другому (в случае с лотерейным билетом сожаление обычно — хотя и не всегда — смягчается тем, что людям редко доводится узнать, что именно тот билет, на который они смотрели, но не купили, и был счастливым). Дополнительным бонусом этой модификации функции полезности является возможность объяснить неразрешимую для большинства моделей принятия решений проблему — эмпирически наблюдаемую нетранзитивность предпочтений (A предпочтается B, B предпочтается C, C предпочтается A) (Bleichrodt, Wakker, 2015).

Кажется, что микроэкономические версии теории сожаления до сих пор остаются в статусе интересной возможности, о которой помнят, но с которой никто не хочет связываться. В отличие от них, развивавшаяся параллельно с экономической психологической теория сожаления превратилась в небольшую индустрию исследований (см. обзоры в: Zeelenberg, 1999; Connell, Zeelenberg, 2002; Zeelenberg, 2018). Большинство работ в этом русле основаны на мысленных экспериментах (испытуемых просят представить себе, в какой из гипотетических ситуаций они испытывают большие сожаления). Десятилетия исследований в этом ключе принесли следующие интересные результаты.

1) Интенсивность сожаления связана с актом индивидуального выбора (Sugden, 1985; Landman, 1987; Zeelenberg, 1999; Zeelenberg et al., 2018). Принятие выражено индивидуального решения, отклонение от курса, который в некоторой ситуации может считаться «умолчанием», вызывает более интенсивные сожаления, чем следование ему. Часто умолчание подразумевает недействие — в эксперименте Канемана и Тверски испытуемые предполагали, что инвестор, который вложил деньги в провалившийся проект, испытает больше сожалений, чем инвестор, не менявший состав своего портфеля, хотя его активы подешевели на аналогичную сумму (Kahneman, Tversky, 1979). Однако в экспериментальных условиях, в которых именно действие было бы ожидаемым поступком, как раз отсутствие действия ассоциировалось с более сильными сожалениями (предположительно, инвестор, не сделавший того, что сделало большинство игроков на рынке, испытывает больше сожалений, чем инвестор, сделавший то же, что и все, пусть даже их потери и равны). Важно отметить, что ответственность лишь слабо связана с рациональной предвидимостью последствий поступков; индивиды сожалеют о тех неприятных исходах своих действий, которые они, трезво рассуждая, не могли бы предвидеть, примерно с той же интенсивностью, что и о тех, которые они имели возможность

предвидеть (Connolly, Ordóñez, Coughlan, 1997). В этом смысле интуитивно убедительные предположения, что индивидам свойственно а) четко различать досаду (*regret*), подразумевающую самообвинение (*self-recrimination*), и разочарование (*disappointment*) по поводу того, что обстоятельства вне их контроля сложились не в их пользу, и б) переживать досаду болезненнее, чем разочарование (Sugden, 1985; Zeelenberg et al., 2018), не имеет однозначного подтверждения.

2) Следующий пункт пересекается с предыдущим пунктом. Легкость, с которой можно представить себе, что событий, повлекших за собой неблагоприятный исход, не произошло, увеличивает интенсивность сожаления. Эмоциональная реакция на личное авторство может быть (во всяком случае, частично) продолжением этого феномена, поскольку человеку, предпринявшему какой-то требующий сознательного решения шаг, нетрудно представить себе мир, в котором это решение не было принято. Научный сотрудник, обычно выходящий из дома в 9 утра в неглаженой рубашке, и однажды попавший в автокатастрофу, предположительно будет меньше сожалеть по поводу своих действий этим утром, чем научный сотрудник, один-единственный раз задержавшийся на 10 минут, чтобы, наконец, свою рубашку погладить, — и именно в этот день попавший в аварию, которая бы не случилась, выйди он в обычное время (Sugden, 1985).

3) Продолжая предыдущий пункт: чем легче представить себе альтернативный и более благоприятный исход, тем интенсивнее сожаление. Только дети и очень возвышенные натуры сожалеют о том, что люди не летают, как птицы (и те обычно только в обращенных к публике монологах), — но даже напрочь лишенные воображения индивиды могут представить себе, на что похоже быть на сотню долларов богаче.

4) Число сравниваемых объектов делает выбор и досаду, испытываемую после него, сильнее. Один из экспериментов показал, однако, что имеет значение не число объектов как таковое, а их разнообразие (Sagi, Friedland, 2007). Неприятная особенность выбора между губами Никанора Ивановича, носом Ивана Кузьмича, развязностью Балтазара Балтазарыча и дородностью Ивана Павловича состоит в том, что мы мысленно всегда сравниваем достоинства одного кандидата с достоинствами всех остальных, вместе взятых, — например, Никанора Ивановича с воображаемой фигурой, наделенной совершенным носом, дородностью и развязностью.

Экспериментальные данные показывают, что индивиды не просто осведомлены об этих особенностях своего восприятия, но и учитывают их при выборе. Наш выбор во многом представляет собой реакцию на ожидаемое или предвидимое разочарование (*anticipated regret*). В одном остроумном эксперименте (Zeelenberg, 1999: 96–98) индивиды стояли перед выбором между А и В, причем в одних экспериментальных условиях они должны были бы, вне зависимости от их выбора, позднее ближе познакомиться с последствиями выбора А, а в других — с последствиями выбора В (то есть в первом случае, если они выбирали А, то ничего не узнавали о В, но если выбирали В, то узнавали и про А, и про В, а во втором — на-

оборот). В первых условиях люди предпочитали А, а во вторых — В, так, чтобы никогда не узнать, от чего отказались. Общим выводом из этого и многих других экспериментов является *regret-aversive* (или *mistake-aversive*) склонность большинства людей: предвидимое ими ликование от удачного выбора слабее досады от неудачного.

Несколько исследований продемонстрировали влияние ожидаемых сожалений на поведение в жизненных ситуациях. Так, первокурсники, которых заставили поразмышлять о чувствах, которые они будут испытывать после незащищенного секса с незнакомцами, полгода спустя сообщали о меньшем числе случаев такового, нежели те, кого не подвергали подобным упражнениям (Richard et al., 1996). Потребители, которых побудили представить себе, как они будут чувствовать себя, если приобретенная ими аппаратура сломается, делали выбор в пользу более надежной и дорогостоящей (Simonson, 1992). Страховые агенты, впрочем, за столетия до этих экспериментов знали, что ничто не приносит им такого урожая, как хроника происшествий в новостях.

Невозвратные затраты. Исследования предвкушаемых сожалений в основном затрагивали, как и следует из названия, те сожаления, которые индивиды предполагали, что могут испытать в связи с выборами, которые им еще предстояло сделать. В другой области, развивавшейся в теории организаций параллельно с исследованиями сожаления в психологии и поведенческой экономике (и в значительной мере в изоляции от них), основной темой стали иррациональные реакции, связанные с выборами, сделанными в прошлом, — реакции организаций на «невозвратные затраты» (*sunk cost*). Под «невозвратными затратами» понимаются ситуации, в которых фирма или политическая структура инвестирует в некий проект и продолжает развивать его, игнорируя поступающие сигналы о том, что проект с высокими шансами закончится неудачей, и даже если он и не потерпит полный провал, альтернативные вложения ресурсов принесли бы большую прибыль. Организация действует так, поскольку остановить проект — значит признаться себе и другим, что была сделана ошибка. Логику «невозвратных затрат» прекрасно сформулировал подрядчик в атомной индустрии, которого цитирует классическая статья: «главная хитрость в этом бизнесе — успеть начать строить очередной завод прежде, чем [антиядерное] движение узнает об этом. Если ко времени, когда они заявятся со своими демонстрациями и начнут требовать отнять у нас лицензию, мы успеем закопать в землю стали и бетона на много миллионов долларов, ни один [политик] в своем уме не решится остановить проект» (Arkes, Blumer, 1985: 125). Первой публикацией, посвященной невозвратным потерям, была статья Б. Сто (Staw, 1976). Надо отметить также книгу, в которой то же явление носит иное название, — «*entrapment*» (Brockner, Rubin, 1985).

Как и исследования предвкушаемых сожалений, изучение условий, в которых индивиды и организации склонны попадать в ловушку «невозвратных затрат», превратилось за последние десятилетия в небольшую индустрию (см. обзоры в:

Brockner, 1992; Sleesman et al., 2012). Фактором, на который указал еще Сто, была личная ответственность инициатора. Тот, кто отвечал за начало неудачного проекта, обычно энергичнее всего настаивал на его завершении. Завершение представляло для него шанс на самооправдание, возможность доказать, что замысел все-таки был верным. Перед кем индивид стремится в таких случаях оправдаться варьирует от случая к случаю. Чисто утилитарно, начав строить стадион, ответственные за него чиновники имеют все основания настаивать на продолжении проекта, пусть даже он не будет завершен вовремя и обойдется на порядок дороже, чем планировалось. Гораздо проще отбивать атаки критиков, имея на руках готовый стадион (поскольку тогда критикам придется доказывать, что налогоплательщикам в других странах аналогичная постройка обошлась куда дешевле, а это, с учетом уникальности проектов соответствующего масштаба, сложно), чем объяснить, почему многомиллиардная стройка была остановлена навсегда.

В примерах, в которых фигурируют организации, эскалация инвестиций в провальные проекты обычно являются в первую очередь попыткой рационализации своих действий в глазах других. Однако экспериментальные данные и многочисленные исторические примеры показывают, что готовность соглашаться на все более рискованные ставки, чтобы не признаться в том, что прошлые ставки были ошибочны, могут проявиться и в отсутствие внешней аудитории.

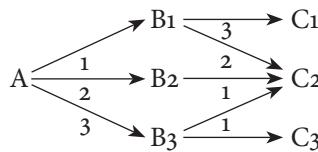
Почему индивиды продолжают повышать ставки, придерживаясь гибельного курса, даже когда за ними не наблюдают? Здесь возможны две интерпретации — одна чисто когнитивистская, указывающая на искажения в процессе переработки информации, вторая — мотивационная и связанная с избеганием ожидаемых сожалений. Согласно когнитивистской интерпретации, вкладываясь в проигрышный курс действия, мы становимся жертвой психологических эффектов, сродни описанным Канеманом и Тверски. Как аргумент в поддержку когнитивной интерпретации оказывается, что другим фактором, влияющим на готовность продолжать следовать порочному курсу, является близость проекта к завершению: в экспериментах подавляющее большинство субъектов были готовы выделить миллиард долларов на завершение проекта, осуществленного на 90%, даже несмотря на то, что вложение этого миллиарда в другой проект обещало большую прибыль. Лишь незначительное меньшинство, однако, готово было пренебречь более выгодным проектом ради проекта, который был осуществлен лишь на 10%, — даже в условиях, когда завершение начатого проекта также оценивалось в миллиард и сулило ту же прибыль, что и завершенного на 90% проекта из предыдущего примера (Garland, 1990). Гарланд видит в этом чисто когнитивное искажение в оценке масштабов (проект, 10% стоимости которого составляет миллиард, кажется обещающим большую отдачу, чем тот, 90% стоимости которого составляют миллиард, даже если экспериментальные условия прямо заявляют иное). Другое когнитивное объяснение поведения, связанного с невозвратными потерями, возвращает нас к идеи асимметрии в субъективном восприятии выигрышей и про-

игрышер и к готовности идти на больший риск тогда, когда вовлечены потери, чем когда вовлечены выигрыши (Arkes, Blumer, 1985).

Объяснить феномен реакции на невозвратные потери мы можем, однако, и не ссылаясь на причудливые когнитивные искажения. Вместо этого мы можем рассмотреть их как частный случай избегания сожалений о неудачных выборах. Удивительным образом исследования сожалений и невозвратных потерь до сих пор практически не соприкасаются, несмотря на то что между ними трудно не усмотреть фундаментальное родство. Для этого нам достаточно принять, что индивид предвидит в будущем сожаления не только о тех поступках, которые он собирается совершить, но и о тех, которые он уже совершил. Существование эффекта невозвратных потерь может быть понято как неизбежное следствие избегания сожалений в контексте, когда индивид в любой момент находит себя уже сделавшим некоторое количество шагов в том или ином направлении, о которых он обречен будет сожалеть, если в свете следующих шагов эти предыдущие шаги окажутся не-нужными, излишними или просто ошибочными — например, если курс придется сменить. Удачность или неудачность прошлого выбора и наличие поводов сожалеть о нем отчасти определяются нашими сегодняшними выборами. Соответственно, избегание возможных сожалений о том, что мы сделали вчера, может определить то, что мы делаем сегодня.

Рассмотрим один пример. Представьте себе путешественника, обезжающего на общественном транспорте достопримечательности. Путешественник базируется в населенном пункте А и хочет осмотреть соборы С₁, С₂ и С₃, причем у него есть только один день, и он знает, что попадет только в одно из этих мест. Между С₁, С₂ и С₃ у него нет особых предпочтений, и он выбирает, исходя из соображений минимизации времени, которое ему придется провести в дороге. Ни в одно из мест не ходит прямой автобус, и добираться нужно через В₁, В₂ и В₃, причем дорога туда занимает столько времени, сколько указывают цифры рядом со стрелками (см. рис. 1). Представьте себе, что путешественник оказался в В₁ и теперь выбирает между перемещением в С₁ и С₂. Здесь возникает интересный парадокс. Путешествие в С₁ займет больше времени, и поэтому, если он рассматривает свое путешествие как перемещение из точки В₁ к финальному назначению, рациональным выбором будет С₂. Это рекомендация, однозначно следующая и из соображений максимизации ожидаемой полезности, и из минимизации сожалений. Однако если рассматривать его путешествие как путешествие по всему маршруту от А₁, то ситуация становится менее однозначной. С одной стороны, перемещение в С₂ все равно дает меньший по длительности совокупный маршрут (4 часа вместо 5). С другой стороны, в С₂ ведут две другие дороги — через В₂ и В₃, — и дорога через В₂ заняла бы на час меньше (3 часа). Отправься наш путешественник из В₁ в С₁ — и ему придется жалеть о лишнем часе, который не был бы потрачен, отправься он в С₂ через В₂. Участок пути от А₁ к В₁ в этом примере является примером невозвратной потери; если она включается в исчисление сожаления, то выбором должен быть С₁, а не более близкий С₂. Длительность двух маршрутов — хорошо

сравнимая вещь, и понятно, что маршрут в С₂ через В₁ хуже, чем маршрут через В₂. Но два собора, которые наш путешественник не видел, и один из которых он к тому же и не увидит, сравнимы куда меньше, и сожалений о том, что вместо прекрасного С₂ он увидит С₁, странник может опасаться меньше.



Задолго до того, как эти соображения возникли в умах экономистов и психологов, и уж точно независимо от них, они были открыты изобретателями классического лохотрона, который самым хищническим образом эксплуатирует человеческое стремление избегать сожалений об уже сделанных шагах. Лохотрон — как и большинство ситуаций с невозвратными потерями, — структурно можно представить как секвенцию событий, перемещение между которыми осуществляется под угрозой интенсивных сожалений. В любой момент, находясь внутри секвенции, жертва может предвидеть, что, решив покинуть ее, испытает раскаяние за то, что вообще начала играть, и за то, что не вышла ранее¹. Оставаясь в ней, однако, она сохраняет хотя бы призрачный шанс выиграть. Лохотрон работает за счет того, что каждый конкретный прошлый шаг — не выйти из игры — оказывается удачным или неудачным лишь в свете итога всей секвенции — и если вероятность удачного исхода становится с каждым ходом все более призрачной, то и неизбежные сожаления по поводу всех предыдущих не-выходов, которые индивид обречен испытать, наконец, выйдя, будут все более тяжелыми — и, соответственно, мотив оставаться в игре усиливается. В случае выхода жертва может предвидеть неизбежные сожаления — даже если нынешнее решение покинуть игру полностью оправдано, прошлые в его свете становятся ошибкой; оставаясь в игре, жертва на некоторое время сохраняет надежду на значительную долю ликования (то, что могло оказаться ошибкой, оказалось хорошей стратегией, демонстрацией самообладания и проявлением характера). Криминальная хроника 1990-х содержит множество свидетельств того, что люди часто готовы заплатить за эту надежду остатками своего имущества.

1. В дополнение к этому, жертва может предвидеть досаду от осознания, что выигрыш был возможен, останься она на еще на один ход в игре. Характерно в этом смысле, что большинство схем лохотрона подразумевает, что вышедший из игры обречен увидеть, как его деньги переходят к другому игроку, который находился в тех же условиях, но выстоял на ход дольше. Игрок, разумеется, является ассистентом основного мошенника, но об этом жертва никогда не узнает додоподлинно.

Общие предпосылки и некоторые импликации для понимания человеческого поведения

Общие предпосылки. Существование предвидимых сожалений имеет некоторые далеко идущие следствия для понимания человеческой природы, которые, в свою очередь, указывают на прежде неисследованные области социальной жизни.

Во-первых, чтобы сожаления сыграли свою роль в принятии решений, действие должно быть мотивировано последующей оценкой этого действия самим индивидом. В любой момент t индивид должен ориентироваться на оценку или впечатления, которые сложатся у него в момент $t + 1$, когда нынешнее Я и серия предыдущих Я схлопнутся в одно персональное прошлое.

Во-вторых, для того чтобы индивид мог пожалеть о своем прошлом выборе, выборы и их последствия должны быть в его глазах организованы в последовательности или секвенции (или, во всяком случае, мое сегодняшнее Я должно быть уверено, что они будут таковыми для будущего Я). Чтобы эффекты невозвратных потерь оказались в полной мере, мое нынешнее Я должно ожидать, что мое завтрашнее Я оценит не просто выбор, сделанный сейчас, но и приведшую к нему траекторию; диахронически развертывающиеся события должны рассматриваться им как синхронный паттерн, наподобие запечатленного на рисунке 1, который может продолжаться сколь угодно далеко в прошлое.

Далее мы рассмотрим оба условия по очереди.

Будущее Я. Старая социологическая мудрость гласит, что любая оценка индивидом себя предполагает взгляд глазами Другого. В случае ожидаемого сожаления эта интеракция приобретает особенно нетривиальный характер, поскольку тот, чьими глазами индивиду необходимо смотреть на себя, — это завтрашняя версия его собственного Я². Для того чтобы предвидеть свою досаду, необходимо принять роль себя самого каким-я-буду-завтра.

Эксперименты М. Зееленберга и других проливают некоторый свет на то, как индивиды представляют себе впечатление их завтрашнего Я от выборов их сегодняшнего Я. Общий вывод из них: люди ожидают, что их будущее Я будет прискорбно слабо по части реконструкции своих прошлых информационных состояний. Оно не сможет провести различия между тем, что было ошибкой с их стороны, и тем, что было разумным риском. Именно это обстоятельство, видимо, стоит за неразграничением предвидимой досады и предвидимого разочарования.

Вернемся еще раз к рисунку 1. По поводу путешественника, находящегося в В1, можно спросить, как он вообще попал туда и почему сразу не отправился в В2. Чтобы объяснить это, нам придется снабдить историю о нем дополнительными подробностями — например, что он путешествовал в доинтернетную эпоху, когда расписание можно было выяснить только на соответствующей автобусной остановке.

2. Луман отмечал, что возможность подобной коммуникации со своим собственным будущим «Я» сопровождает общую эволюцию социальной системы.

новке³. Находясь в А, он сел в автобус, который обещал доставить его в один из промежуточных пунктов В за минимальное время — один час, — предполагая, что, не имея никакой информации о том, что ждет его там, рационально исходить из соображений минимизации времени на первом этапе путешествия. Исследования предвидимых сожалений показывают, однако: индивиды ожидают, что будущее Я немилосердно относится к обоснованным, но, в итоге, неправильным догадкам. Это можно объяснить по-разному: с одной стороны, информация воспринимается как то, что можно получить, затратив дополнительные усилия (например, зайдя в турбюро). Хотя сегодня идея тратить время на наведение справок кажется мне неудачной, если окажется, что справка все-таки была нужна, мое завтрашнее Я будет грызть себя за то, что мое сегодняшнее Я пренебрело ее получением. Возможно, однако, что завтрашние Я вообще судят нас не за недостаток способности к рациональному выбору, а склонны верить в то, что за нашими успехами и поражениями стоит свойство наподобие мистической удачливости. Поэтому они одинаково жестоко карают нас и за ошибки, случившиеся по нашей вине, и за провалы, за которые мы не несем ответственности. Действуя в условиях неопределенности, я опираюсь на догадки. Я думаю, что моя будущая версия будет знать точный ответ, но забудет, на что было похоже не знать его, или не станет рассматривать незнание как достаточное оправдание.

Правда ли это, и справедливы ли мы к своим будущим альтер эго? Эксперименты, посвященные разочарованию в психологии и поведенческой экономике, в основном фиксируют реакции на воображаемые ситуации («представьте себе, что бы вы испытали, если...»). Это оправдано, с одной стороны, этическими соображениями (эксперимент, фактически сопровождающийся сожалениями для участников, неизбежно был бы жестоким), с другой стороны — тем, что для принятия решений имеет значение именно то, как индивид представляет себе свои будущие сожаления, а не то, какими они фактически будут. Ошибки в понимании будущего Я реальны по своим поведенческим последствиям.

Тем не менее, верны ли наши догадки о наших будущих сожалениях — сама по себе захватывающая тема. К несчастью, об этом известно мало. Едва ли не единственное исследование, сравнивающие сожаления, которые индивиды испытывают, и сожаления, которых они ожидали, представлено в статье из 1990-х (Gilovich, Medvec, 1995), показывающей, что людям свойственно предвидеть сожаление от того, что они сделают, но недооценивать интенсивность будущих сожалений о том, что они не попытались сделать. Авторы приводят несколько возможных объяснений. Например: совершенные поступки обычно поддаются коррекции, в то время как несовершенные вовремя часто не могут быть совершены вообще. Неудачный брак в современных обществах всегда можно прервать разводом, но не решившийся рассказать о своих чувствах может не получить шанса все исправить, если избранник или избранница соединит тем временем свою судьбу с другим. Да-

3. Эта эпоха еще продолжается, впрочем, в Южной Италии и сельской Португалии — во всяком случае, для тех, кто не читает по-итальянски и по-португальски.

лее, людям легче вспоминать причины того, что они сделали, чем того, что они не сделали, и легче объяснить своему будущему Я, почему они что-то предприняли, а не почему они воздержались от действия. Опять же, произошедшие события обладают материальностью, которая позволяет видеть их отчетливо и находить в них светлые стороны (мой брак распался, зато я получил неиссякаемый материал для своего курса по социологии семьи!). Зато неслучившиеся события наделены неопределенностью, которая превращает их в благодатный материал для построения воздушных замков, становящихся особенно привлекательными по мере растворения в воздухе.

Существует также исследование основных поводов для досады американцев, показывающее, что самой распространенной темой сожалений является образование (не получил образование или, реже, получил не то (Roesel, Summerville, 2005)). Авторы интерпретируют это как свидетельство того, что наличие широких образовательных возможностей создает много поводов винить себя; к этому можно было бы прибавить, что целерациональные связи «учиться, чтобы пойти работать» неизбежно оставляют место для обвинений себя в бездарно потраченном времени, если работа не согласуется с профилем специальности. Здесь мы подходим, однако, к следующей важной теме — секвенциям, связывающим наши выборы с их отдаленными последствиями, — которая является законной именно для социологического исследования⁴.

Распознаваемые секвенции. Сожаления требуют воображения. Чтобы сожалеть о поступке, надо иметь возможность представить себе мир, в котором этот поступок не был совершен. Подобное воображение опирается, разумеется, на ресурсы определенной культуры — вещи, легко вообразимые для наших современников, были плохо вообразимы для людей прошлого (и, возможно, наоборот). Далее, чтобы сожаления о совершенных вчера поступках направляло наши действия сегодня, надо, чтобы наши выборы, сделанные тогда, и выборы, сделанные сейчас, представлялись нам элементами одной последовательности, разные элементы которой были бы связаны как цели и средства, или, по крайней мере, чтобы более ранние состояния признавались условиями достижения более поздних.

Большинство экспериментов, описанных в предыдущем параграфе, моделировали ситуации, в которых экспериментаторы могли с достаточной уверенностью предполагать, что между испытуемыми, ними самими, и будущими читателями их статей будет существовать полное единодушие в отношении того, что является последствием того или иного выбора (выбор шарика определенного цвета и получение выигрыша). Однако, хотя мастерство экспериментатора в социальной психологии и состоит в изобретении таких однозначных в своей интерпретации па-

4. Изучение секвенций в социологии имеет обширную и славную историю (Abbott, 1995). К сожалению, относящиеся к ней исследования имели дело почти исключительно с последовательностями, которые может обнаружить социолог, но не с теми, внутри которых видят себя герои его исследований.

рабол, изучение более широких социологических импликаций сожаления быстро приводит нас в неисследованные земли⁵.

Мы не будем пытаться здесь составить каталог последовательностей, ограничиваясь тем, что перечислим некоторые характерные типы, представляющие наибольший социологический интерес, в порядке возрастания абсолютной хронологической длительности.

1) *Салонные игры*, включающие в себя «игры шанса» и «игры стратегии», ведущиеся по каким-то заранее установленным формальным правилам и часто ограниченные пределами одной ситуации или взаимодействия лицом к лицу, в терминах Гоффмана (например, шахматная партия, если она ведется не по переписке, или «партия» в лохотроне; сюда относятся психологические эксперименты).

2) *Географические перемещения* — практические проекты, протяженные в пространстве и, до некоторой степени, во времени — как, например, перемещение индивида из A1 в C1 в нашем примере.

3) *Кампании* — серии взаимосвязанных шагов, предпринимаемые в рамках движения к некой лежащей в отдаленном — в момент их начала — будущем цели; примерами могут служить военные походы, многоходовые политические заговоры или развертывание исследовательских проектов.

4) *Биографии* — серии служащих переходом друг в друга состояний, охватывающих определенную сторону жизненного цикла индивида, например, профессиональная карьера, кредитная история, интеллектуальная траектория или сексуальная биография. Биографии, во всяком случае, профессиональные, в современных обществах могут граничить с кампаниями — когда амбициозный старшеклассник задается целью стать президентом или получить Нобелевскую премию.

5. Попробуем формализовать это: для того чтобы индивиды могли о чем-то сожалеть, надо, чтобы некоторые области социальной жизни распознавались ими как последовательности состояний (примерами могут быть позиции на шахматной доске, физическое нахождение в каком-то месте, или, скажем, учеба в 7 или 8 классе). Секвенции состоят из состояний, в которых невозможно находиться одновременно, — скажем, нельзя одновременно учиться в школе и университете или находиться в Петербурге и Турине. Часть таких невозможностей физическая, другая легальная (со всеми оговорками по поводу того, как законы могут быть обойдены, например, в случае с невозможностью быть в браке с двумя сразу). Некоторые состояния являются смежными — из одного можно перейти в другое за один шаг или ход (например, перейти в следующий класс). В другие можно попасть только за несколько ходов (из пятого класса в десятый). Наконец, есть состояния, между которыми вообще нет пути (невозможно вернуться из десятого класса в пятый или вернуть назад пешки). Карта смежности создает сложную логистику, позволяющую индивидам критиковать собственный выбор конечных состояний (когда индивид сознает, что с теми же затратами мог бы оказаться в более привлекательной финальной точке) или траекторий, ведущих к ним (когда индивид ощущает, что мог бы оказаться там же, где он сейчас, с меньшими издержками), или комбинаций конечных состояний и траекторий. Попадание из одного состояния в другое частично является результатом собственного хода индивида, частично — ходов разумных партнеров, находящихся в стратегической интеракции с ним, а частично — ходов судьбы или природы, которая не реагирует на предполагаемые действия индивида. В нашем случае выбор B1, B2 или B3 был собственным ходом индивида, а расписания, которые он обнаружил, — ходом природы; будущие Я, говорят эксперименты, не способны определить, где заканчивается ход индивида и начинается ход природы, что приносит особенно богатый урожай сожалений.

5) *Коллективные движения* — могут граничить как с кампаниями, так и с биографиями, но по определению вовлекают в себя группы людей. Коллективные проекты часто выходят за пределы земного существования всех тех, кто эти проекты начал, — например, развитие политического сообщества, *дзайбацу* или научной школы. В их рамках стремление видеть свои собственные действия рациональными переплетается с моральными обязательствами перед другими участниками предприятия.

И сам набор секвенций, распознаваемых индивидами, и представления о том, какие последствия своих выборов в их рамках индивид может и обязан предвидеть, очевидным образом различны в разных социальных средах и в разных местах и эпохах. За пределами этого трюизма мы, к несчастью, не находим никакой более общей попытки систематизировать их рода и виды. Социальные науки породили, однако, по крайней мере два сильных тезиса относительно общих векторов развития секвенционального воображения, определяющего отношения индивидов с последствиями их поступков, — авторства Мишеля Фуко и Бенедикта Андерсона.

Оба, хотя и подойдя к этой идее с разных сторон, утверждали, что объем последствий, ответственность за которые индивиду приходится записать на свой счет, возрос при переходе к современным обществам; Фуко кроме того предполагал, что он продолжает возрастать и сегодня. Тень будущего, лежащего на наших современниках, гуще, чем у наших предшественников. Институциональным ее воплощением, предположительно, являются всевозможные воспетые Фуко организационные формы, ставящие наше завтра в прямую зависимость от наших действий сегодня и формирующие субъективность индивида, помнящего днем и ночью, что он может горько пожалеть о своих поступках (см. например, о связи дисциплинарности и формальных механизмов оценки качества в академическом мире в: Shore, Wright, 1999). Способность индивидов мыслить в категориях далеких последствий является одновременно условием и следствием существования институтов, предполагающих значительную степень самодисциплины. Индивиды должны обладать способностью к самодисциплине, превышающей определенный порог, чтобы подобные институты вообще возникли, однако, после того, как начало положено, они справляются с задачей контроля над отдельными девиантами.

Андерсон утверждал, что одновременно с готовностью угадывать последствия своих поступков для себя самого возрастает и способность индивида проследить влияние, которое его действия оказывают на других людей. Здесь основную роль, предположительно, сыграли технологические изменения в сочетании с изменениями литературных жанров и конвенций. Андерсон связывал появление «сообществ судьбы» — групп людей, предполагающих, что их будущее неразрывно связано множеством неизвестных им самим способов, — с рождением жанра современного романа и появлением газеты, которые, в свою очередь, выросли из изобретения печатного станка (Андерсон, 2000).

Есть некоторые сомнения в том, что хроническая тревога по поводу возможных последствий своих поступков была менее характерна для европейцев до XVIII столетия, чем для наших современников. То, что люди прошлых веков кажутся нам свободными от сожалений, может скорее происходить из нашей неспособности распознавать сожаления, которых избегали они. Древние греки, говорит Х. Арендт (Арендт, 2000: 253–264), страдали от постоянных опасений, что гражданский подвиг может привести к результатам, прямо противоположным намерениям героя. Аналогично, большинство наших современников вряд ли думает сегодня, что один маленький проступок может перевесить весы архангела не в их пользу и обречь на вечные муки, которые будут еще горше в силу отравляющей их вечной досады, хотя средневековые источники показывают, что это опасение активно использовалось при маркетинге душеспасительных услуг.

Тем не менее современность, несомненно, ассоциируется с распространением некоторых новых секвенций, возникновением новых сравнимостей и появлением новых агентов, которые специфически подвержены сожалениям. Сожаление — это блюдо, которое каждое общество готовит по-своему. Кажется, в частности, что современные государственные бюрократии с их императивом целерациональности, подотчетностью избирателям и, соответственно, потребностью в обосновании предшествующих шагов, оказываются неизбежными жертвами любых основанных на сожалениях ошибок и заблуждений (Meyer et. al., 1997). Неудивительно, что бюрократ оказывается любимым героем литературы по безвозвратным потерям. Но и для новых агентов, для которых рациональность и целесообразность их действий являются основным оправданием их существования, и для старых новых угроз возникают в связи с распространением новых сравнимостей — механизмом, позволяющим сравнивать два состояния, которые прежде не были строго сравнимыми (Espeland, Sauder, 2007). Путешественник, колебавшийся между соборами С1, С2 и С3, может испытать укол сожаления позже, открыв страницу в TripAdvisor и узнав, что с точки зрения массы туристов выбранный им С1 — куда менее значительный памятник архитектуры, чем два других.

Другим фактором, придающим сожалениям их специфически современный облик, становится распространение биографий в использованном выше смысле слова — как принудительного объединения событий в жизни индивида в некоторую последовательность, оцениваемую целиком с точки зрения ее целесообразности или оптимальности. Сбой в подобной последовательности не только болезненно переживается самим индивидом, но и превращается в социальную стигму, когда человек, получивший высшее образование, но работающий на низкоквалифицированной работе, считается «деклассированным» и не справившимся с жизнью. В несколько более мягкой форме эта стигма преследует и тех, кто работает не по специальности, особенно если полученное образование было трудоемким и бесполезным для всех, кто не занимает определенную нишу на рынке труда⁶.

6. Важное достоинство либерального образования состоит, видимо, в его *guilt-free* статусе. Люди, которые не учатся ничему конкретному, не могут сожалеть, что не работают по специальности.

Проявлением этой склонности рассматривать биографию как секвенцию является, видимо, умножение биографических дедлайнов. Применительно к индивидуальным жизненным траекториям действие этого императива особенно значимо — и иногда разрушительно, — поскольку происходит на фоне действия другого императива — поиска себя. Последний утверждает, что все наиболее важные решения в жизни индивида должны приниматься по велению внутреннего голоса, воплощающего его подлинное Я. Они должны быть раскрытием его истинной сущности и сопровождаться ощущением абсолютной уверенности⁷. Брачный партнер или профессия должны быть не просто судьбой, а призванием (иначе у индивида всегда будут основания досадовать, что он не выбрал другую работу или другого партнера, которые были бы призванием). Императив нормальной биографии еще больше усложняет задачу поиска призвания — непростую и саму по себе. Он предписывает временные рамки, в которые нормальный индивид должен успеть созреть для принятия очередного судьбоносного решения. В обществах, придающих личному выбору большое значение, индивид, как правило, получает меню опций — чьим именно супругом стать или студентом какого факультета числиться, оставляется на его усмотрение. Он не выбирает лишь сам момент выбора. Жизнь представляет собой серию стандартных дедлайнов, приближающихся с неотвратимостью смерти, но, в отличие от смерти, наступающих в заранее известное время. Выбравшие неправильно платят существенный штраф, но те, кто попытался уклониться от выбора, часто страдают еще больше⁸. Соответствующая обыденная теория обычно предоставляет окружающим интерпретации для отставания от графика, как правило, дискредитирующие отстающего. Академический мир особенно богат представлениями о нормальной карьере, отождествляющими скорость прохождения ее стадий с тестом профессиональной пригодности. Скорость, с которой преодолеваются ступени академической лестницы, однозначно воспринимается как показатель силы воли или таланта⁹.

Соблазнительно провести параллель между развитием воображения, становящегося для индивида источником (само)принуждения, и воображения, позволяющего, хотя бы в мечтах, преодолевать диктат сожалений. Возвращаясь к Андерсону, кажется, что развитие художественной литературы отражает не только

7. Чарльз Тэйлор (Taylor, 1989) вводит эту установку к кальвинистскому посюстороннему аскетизму, однако сегодня границы ее распространения мало совпадают с границами традиционного влияния конфессий.

8. Советская и нынешняя российская система, требовавшая от юношей в 17 лет определиться с узкоспециализированной учебной программой, на которую они собираются поступать, или отправиться в армию, была словно специально создана для того, чтобы производить волны сожалений на протяжении всей дальнейшей биографии индивида.

9. Это касается не только обыденного восприятия; можно найти классические статьи (напр.: Hargens, Hagstrom, 1982), в которых возраст защиты диссертации используется как основной индикатор интеллектуальной силы ученого. Каждый может сам вспомнить, как при нем или при ней фразы вроде «у Х в тридцать нет ни одной самостоятельной публикации» произносились в значении смертного приговора, а «у Y в двадцать три уже есть статьи в первом квартile» — использовались как академический аналог лицензии на убийство.

рост готовности прослеживать непредвиденные последствия поступков индивида, составляющих сообщество судьбы. Оно также несет отпечаток развития вкуса к нестандартным, неожиданным секвенциям. Продвижение индивидов по одной из установленных биографических последовательностей можно разделить на два класса — *скучные и причудливые*. Скучные секвенции подразумевают перемещение по стандартной последовательности стадий в направлении заранее известной цели, скажем, как когда индивид получает образование по специальности и постепенно растет по карьерной лестнице в своей области. Причудливые секвенции могут отклоняться от этого линейного паттерна в любых мыслимых направлениях. X, который получил диплом по социологии или праву и стал криминологом, прошел скучную траекторию. Y, который во время учебы в университете получил десять лет за вооруженное ограбление, в тюрьме начал от тоски писать в криминологические журналы и вышел на свободу главой влиятельной научной школы, проделал причудливую траекторию, в которой, казалось бы, непоправимая неудача внезапно становится шагом к успеху. Другим примером такой секвенции, хорошо известной по классической литературе, будет история Z, которая надеялась встретить любовь всей жизни и выйти замуж, а вместо этого вначале вышла замуж и, вопреки собственным ожиданиям, встретила в супруге любовь всей жизни (что дает нам «Укрощение строптивой» и «Разрисованную вуаль»).

Современные аудитории демонстрируют специфический вкус к подобной иронии судьбы, и причудливые секвенции составляют одну из основных тем массовой культуры. Жизнь здесь, как и в других отношениях, имитирует литературу: индивидам нравится видеть собственные судьбы в терминах причудливых последовательностей, особенно если те в итоге оставляют их обладателями новой и лучшей идентичности.

Помимо этого чудесного спасения от неминуемых сожалений в коллективном воображении, множество деталей индивидуальных жизненных траекторий будет отражать более практические меры по их минимизации. В следующем разделе мы рассмотрим некоторое количество форм индивидуальной адаптации к секвенциям, заключающим в себе угрозу сожалений — ликвидацию когнитивного диссонанса, перспективную рационализацию, культтивацию атемпоральности, новые смыслы и открытые финалы — которые окружают нас в повседневной жизни и в которых мы сами участвуем каждый день.

Частные адаптации

Ликвидация когнитивного диссонанса. Впервые поведение индивида, направленное на совладание с сожалениями, стало предметом исследования в рамках изучения когнитивного диссонанса. Хотя само понятие диссонанса шире и включает любые (ощущаемые индивидом) противоречия между когнициями, три типа классических экспериментов, которые Л. Фестингер и его коллеги использовали для демонстрации его существования, имели дело как раз со стремлением минимизи-

ровать досаду (Festinger, 1957; современная версия: Greenwald et al., 2002). В терминах нашего примера в первом из них индивид, объективно потративший больше времени на дорогу, убеждает себя, что сама дорога была интересной экскурсией по сельской местности (в примере Фестингера, те, кто получил меньшее вознаграждение за участие в скучном эксперименте, чувствуют, что он был интереснее, чем те, кому заплатили больше). Во втором случае индивид говорит себе, что собор С1 нравится ему больше, чем понравился бы С2 (те, кому заплатили меньше, склонны выше оценивать научный потенциал исследования, в котором они поучаствовали). В-третьих, попавшие в С1 избегают получать дополнительную информацию о С2, и наоборот — чтобы не убедиться случайно, что они выбрали неправильно (впрочем, последний эффект прослеживался лишь с большим числом оговорок — в других случаях, как замечал сам Фестингер, испытуемые как раз проявляли повышенный интерес к отвергнутой альтернативе). Несмотря на богатый репертуар имеющихся здесь возможностей, наша способность менять свои субъективные восприятия, чтобы достичь большего внутреннего комфорта, не безгранична, что доказывает само существование прочих форм адаптации. Сложно убедить себя, что чувствовал бы себя хуже, находясь во всех остальных отношениях в том же положении, что и сейчас, но будучи на тысячу долларов богаче.

Перспективная рационализация. Благодаря Фрейду термин «рационализация» широко используется для приписывания благовидных мотивов своим прошлым действиям, которые индивид бессознательно осуществляет, чтобы скрыть неприглядную правду о себе от себя самого. «Рационализация» в этом смысле противопоставляется «рациональности» (или «целерациональности» в веберовском смысле) — обдуманному выбору наиболее эффективных средств для достижения поставленной и находящейся в будущем цели. Рациональность перспективна, а рационализация ретроспективна. Есть несколько типов действий, которые не укладываются в эту ясную дилемму. Предусмотрительный преступник, который планирует злодействие с учетом необходимости предъявить алиби, тоже производит рационализацию определенного рода, но подготовка этой рационализации есть целерациональное действие. В этом параграфе мы рассмотрим класс действий, которые являются в этом плане еще более сложным случаем. Они совершаются сегодня для того, чтобы завтра некоторые действия, совершенные вчера, сохранили осмысленность. Действия, которые относятся к этому загадочному классу, можно описать как *перспективную рационализацию*. В рационализации во фрейдовском смысле следователем, которого невротик планирует ввести в заблуждение, является он сам, вернее, другая часть его личности, которая существует синхронно с вводящей в заблуждение. Здесь мы рассмотрим случай, когда одна из них — вводимая в заблуждение — отделена от вводящей временным интервалом¹⁰.

10. Проецируя это в фрейдовскую схему: наше будущее Я здесь соответствует сознательной части Эго, наше сегодняшнее Я — бессознательным частям Эго, осуществляющим работу вытеснения, а прошлые Я — бессознательному Id, чьи иррациональные поступки сегодняшнему Я приходится как-то рационализировать.

Примерами перспективной рационализации будут любые шаги, мотивированные желанием продолжить линию, заданную прошлыми действиями, и тем самым придать всему своему поведению видимость целенаправленности и рациональности. Все образцы поведения, квалифицируемые как проявления sunk cost fallacy, попадают в эту категорию. Сюда относится, однако, и множество обыденных действий, не рассматриваемых обычно как вопиющие проявления иррациональности, — например, выбор нашего путешественника, отправляющегося посмотреть на С1, а не С2. В поведенческой экономике, как описано выше, интерес к подобным решениям был связан с видимой разрушительностью многих из них, однако в социологии несколько раз высказывалось предположение, что аналогичный механизм может быть ответственен за значительную часть упорядоченности, которую мы вообще наблюдаем в социальной жизни.

Предположение прямо было выдвинуто Говардом Беккером в классической статье (Becker, 1960), посвященной «ставкам на стороне» (side-bets, Беккер предлагает этот термин как синоним для commitment), которые стабилизируют биографию индивида. Сделав тот или иной жизненный выбор, говорит Беккер, мы в разных отношениях связываем себя обстоятельствами, делающими его пересмотр невыгодным. Соглашаясь на работу, мы тем самым инвестируем в то, что экономисты назвали бы специфическими активами — человеческий капитал, который не пригодится, если мы переместимся в другую организацию, и тем более в другую сферу деятельности; социальный капитал (доброжелательные отношения с коллегами), который потеряет значительную часть своей ценности; возможно даже, основной капитал — если мы переезжаем ближе к работе. Слишком частая смена места занятости может производить плохое впечатление на следующего работодателя. Наконец, нам свойственно выстраивать свою идентичность — как публичную, так и скрытую от посторонних взглядов — вокруг таких вещей, как выбор занятия. Резко и внезапно сменив его, мы оставим других и, вероятно, даже себя, с вопросами о том, как это соотносится с той личностью, за которую нас принимали прежде. Подобные незначительные соображения, а не постоянство жизненных ценностей, придают человеческому жизненному курсу стабильность и постоянство (Swidler, 1986; Patterson, 2014)¹¹.

Данные исследований в самых разных областях показывают, что подобная логика выбора широко распространена при принятии решений во всех сферах — потреблении или финансовом поведении, при принятии политических решений, в обустройстве личной жизни или при физических перемещениях в замкнутом пространстве.

Так исследования музеиных посетителей (visitor studies) демонстрируют, что одной из важнейших характеристик передвижения по залам является избегание возвращений; посетителей почти невозможно заставить пройти через зал, в котором они были, чтобы попасть в зал, в котором они еще не были, пока у них есть

11. Идея Беккера получила развитие в исследованиях лояльности рабочему месту (Meyer, Allen, 1984; Matheiu, Zajac, 1990) и способов проведения досуга (Buchanan, 1985).

шанс пройти в другой зал, где они не были, прямо, не возвращаясь. Их трудно заставить проделать даже полный круг внутри одного зала: если экспонаты размещены вдоль стен, то большинство осматривает только одну стену, а если в центре — то объекты в центре осматриваются только с одной стороны. Распространенной интерпретацией этого паттерна является «экономия усилий» (Bitgood, 2006), однако не совсем ясно, что именно экономится. Внимательный осмотр всех экспонатов внутри каждого зала способствует экономии пройденного расстояния в расчете на один осмотренный экспонат. Мы можем найти этому объяснение, если предположим, что посетители музея испытывают инстинктивное отвращение к пересекающимся траекториям и предпочитают ведущие из одной точки в другую кратчайшим путем — при безразличии к тому, что составляет эти точки¹².

Люди, которые выбирают работу не потому, что она для них особо привлекательна, а потому, что тогда им пригодится полученное образование, и продолжают жить с теми, с кем не хотят, потому что иначе им не объяснить себе, ради чего они терпели все эти годы, в некотором смысле ведут себя как посетители музеев. Они принимают решение с учетом необходимости застраховать себя от досады или сожалений, связанных с тем, что, прими они эти решения иначе, им пришлось бы сожалеть или досадовать о принятых прежде решениях; они выбирают цели движения так, чтобы уже пройденный участок был движением к этой цели.

Важно добавить к этому, что в свете сказанного выше о причудливых траекториях и о том, что наши выборы являются основой восприятия нами самих себя, необходимость соотносить последующие шаги с предыдущими не всегда предстает перед нами консервативной по своей природе силой. Если последние события в секвенции могут переопределить все предыдущие как удачные, путь к победе, или, наоборот, неудачные, путь к поражению, то и финальные действия могут полностью переопределить характер героя. Этот пример позволяет нам различить контуры важной темы, которая, к несчастью, остается за пределами этой статьи. Выборы, которые совершают индивид, позволяют ему судить себя не только с точки зрения рациональности и способности к принятию решений. Они служат основанием для приписывания себе самых разных моральных качеств и свойств, включая решительность, твердость, способность и выдерживать удары судьбы, веру в себя и свою звезду (Goffman, 1967)¹³.

12. Внутри социологии этнometодология подошла ближе всего к систематическому исследованию того, как приданье осмысленности и упорядоченности предшествующим поступкам может сыграть роль силы, направляющей совершение новых действий. Эта статья может пониматься как расширение подобной логики на область, традиционно этнometодологии чуждую.

13. Объединяя эту тему с темой нормальной биографии, можно отметить, что академический мир представляет собой серию вариаций на тему «Уловки-22». Те, кто не успевает за нормальным порядком академической биографии, презрительно отвергаются им, если в результате не публикуют что-то, что становится объектом всеобщего восхищения. Тогда они единодушно превозносятся как культурные герои, настоящие интеллектуальные берсерки, пренебрегающие опасностью ради одержимости идеей. Ретроспективно их отставание переосмысливается и из демонстрации слабости превращается в знак избранности. В силу общих надежд потребителей популярной культуры на то, что однажды ее клише войдет в их жизнь, аспирант, проявляющий все иные признаки одаренности, но отвергающий

Здесь искусство может снова дать интересный повод для размышления. Одной из форм саспенса, действующего на читателя, является моральный саспенс, пристекающий из неопределенности в отношении мотивов и характера персонажа. Еще до того, как стало известно содержание трех первых серий «Звездных войн», в глазах зрителей классической трилогии 1980-х Дарт Вейдер вытеснил Люка Скайуокера в качестве главного героя саги. Это было неизбежным следствием того, что кульминацией всей трилогии был выбор между сторонами Силы, который предстояло сделать именно Вейдеру. Если мотивы и характер Люка были понятны (и малоинтересны), мотивы его скрывающегося под маской отца составляли основную интригу¹⁴. Как и в других случаях, искусство здесь может предоставлять модели, следуя которым индивиды организуют собственную биографию. Если выборы на протяжении секвенций — это источник, из которого индивиды узнают, кто они такие, то финальный выбор может быть для них способом переопределить то, кем они были все это время на самом деле, в том числе в собственных глазах (Garfinkel, 1956). Это создает для индивида множество искушений однажды стать обладателем совершенно новой идентичности, в решающий момент придав всем предыдущим выборам иное значение; хотя остается открытым исследовательским вопросом, как часто люди поддаются этому соблазну в реальной жизни, а не в художественной культуре. Априорно приписывать перспективной рационализации сугубо консервативное звучание невозможно^{15,16}.

приглашения на работу, чтобы заниматься диссертацией, и не завершающий диссертацию из-за неудовлетворенности ею, может создать себе на несколько лет репутацию гения. (К несчастью, эту репутацию редко удается транслировать за пределы очень узкого круга друзей научного руководителя, и триюк обычно не удается более трех лет подряд. Самые талантливые из исполнителей в этом амплуа поэтому иногда меняют научных руководителей.)

14. Представьте себе, насколько меньшим было бы культурное влияние «Звездных войн», если бы Вейдер выбрал Темную сторону, а счастливый конец наступил бы вследствие большего искусства Люка в обращении со световым мечом.

15. Читатель может испытать моральный шок, когда окажется, что циничный негодяй, жертвующий другими людьми для исполнения собственного сокровенного желания, желает счастья для всех и даром. С точки зрения всего сказанного важно, однако, что характер героя обретает завершенность именно в результате этого поступка, а все его выборы (есть искушение сказать «объективно») становятся не тем, чем они были прежде, в первую очередь для него самого. Здесь можно провести параллель с ранней бихевиористской критикой теории диссонанса Бемом (Bem, 1968), который предполагал, что большинство фиксируемых изменений в аттитюдах может быть следствием того, что «внутренние состояния» вообще являются лишь моей интерпретацией моих же прошлых поступков. Когда, проделав бессмысленную работу, я думаю, что получил бы от нее больше удовольствия, если бы мне не заплатили, чем если бы я получил приличное вознаграждение, то это потому, что я спрашиваю себя: почему еще я мог бы заниматься этой работой, если не потому, что она казалась мне интересной? (Непохоже, впрочем, что сила этого эффекта достаточна, чтобы убедить кого-то, что ему нравится проигрывать в лохотроне или заполнять бюрократические формы). В этом смысле, совершив поступок, переопределяющий все сделанное прежде в новом свете, индивид должен внезапно открыть для себя, что всегда был носителем совершенно иных аттитюдов, нежели думал прежде, и только сделав самый последний ход может открыть для себя, кем он в действительности был все это время. Интересно, было бы создать некую типологию критических ситуаций, позволяющих радикально изменить созданную прежде идентичность, но эта задача явно выходит за пределы данной статьи.

16. Из этой возможности следуют несколько выводов, методологически неутешительных. Никакое наблюдение поведения индивида на протяжении сколь угодно длительного времени не позволит нам

Завершая этот раздел, надо отметить иронию того, что в ситуациях, которые, возможно, в наибольшей степени воспринимаются как проявления сокровенного Я, индивид максимально зависит от милости внешних обстоятельств. Лохотроны всех типов многим обязаны популярной культуре, героизирующей индивида, готового повышать ставки до тех пор, пока мошенническая схема не прогнется под него. Действительно, Колумб, день за днем удаляющийся от земли за кормой и тем самым делающий свое (и команды) возвращение все менее вероятным, ничем не отличается от любой другой жертвы невозвратных потерь — кроме того, что он доплыл до нового континента, появление которого прямо по курсу, однако, лишь в минимальной степени было его заслугой. То, что людям, воспитанным на соответствующих культурных мифах, нравится видеть себя в роли Колумба, ответственно за исчезновение множества кораблей, которые так и не увидели берега.

Культивация предусмотрительности. Два предыдущих способа адаптации помогают избежать собственных укоров в создании ситуации, когда потенциально проблематичный шаг уже сделан. Предусмотрительный индивид может, однако, избежать ловушки вовсе. Навскидку мы можем назвать два способа сделать это — приятие событиям обратимости и «биографические контрацептивы». Всевозможные способы *придания событиям обратимости*, от возвратных билетов и товаров до разводов и отзывов депутата, позволяют вернуться в точку А до принятия решения с небольшими потерями. В случае с товарами и услугами возможность возврата часто предлагается самими производителями как средство для того, чтобы избежать сдерживающего влияния предвидимого сожаления на поведение потребителей. «Биографические контрацептивы» — это техники построения судьбы, обеспечивающие возможность эвакуации из принятой на себя в данной роли без слишком больших потерь. Они включают в себя различные способы ограничивать затраты времени и иные ресурсы на вхождение в нее, смотреть одним глазом вокруг, чтобы не пропустить подвернувшуюся возможность, и, наконец, избегать шагов, последствия которых было бы трудно аннулировать. Вынужденные получать образование могут намеренно выбрать то, которое будет наименее обременительным, и если они ни разу не воспользуются его плодами, то могут сказать себе, что и не потеряли на него времени; крюк, который им придется сделать, будет все равно небольшим¹⁷. Эволюция форм ухаживаний в западных обществах к современному пробному браку представляет собой отличный пример, допуская как относительно быстрый и безболезненный возврат товара, так и органичное развитие в направлении союза до гробовой доски.

сказать, что именно будет выбрано в решающей ситуации, и именно потому, что выбор может быть сделан специально, чтобы перечеркнуть предыдущие выборы.

17. Эта тактика родственна, хотя и отличается от получения образования по профилю, которое обладает наибольшей применимостью в самых разных областях, например, математике (по контрасту с египтологией или обработкой металлов давлением).

Десеквенирование. Помимо предусмотрительности, индивиды могут, опираясь на доступные культурные ресурсы, пытаться изменить свое восприятие секвенций как таковых. Эта форма адаптации соприкасается с чисто психологическими механизмами ликвидации когнитивного диссонанса, но отличается от нее тем, что здесь не просто переоцениваются какие-то состояния, а переопределяется сама их последовательность. Первая опция здесь — *культивация атемпоральности*, означающая обращение к многочисленным практикам, которые должны научить индивида думать о каждом мгновении как о цели, и ни об одном — как о средстве. Список этих практик включает йогу, медитацию и психотерапию; само богатство выбора заставляет задуматься, помогает ли хоть одно из них. Тем не менее, если тотальное разрушение темпоральности и не по плечу большинству, атемпоральность, видимо, работает в отношении отдельных жизненных проектов, как когда кто-то заранее приучает себя смотреть на начинающийся роман как на самостоятельное приключение, тем самым заботясь о том, чтобы его неперерастание в семейную жизнь не принесло разочарования.

Следующее приспособление, *пересадка*, предполагает, что подлежащие переоценке события вписываются в иную секвенцию, в свете которой действия индивида и случившиеся с ним события приобретают более утешительное звучание. Исследованиями подобных защит в основном занимались нарративная психология и связанные с ней формы терапии (Smith, Sparkes, 2008; McAdams, 2008), предлагающие индивиду обрести смысл жизни за счет переосмысливания своей личной истории. Подходящий пример подобной работы приводит в классической книге Виктор Франкл:

Однажды пожилой врач общей практики обратился ко мне по поводу глубокой депрессии. Он не мог примириться со смертью жены, которая умерла за два года до того и которую он любил больше всего на свете. Как я мог помочь ему? Что я должен был сказать ему? Я не стал утешать его, а вместо этого спросил: «Что было бы, доктор, если бы Вы умерли раньше, а Ваша жена пережила Вас?» «О, — ответил он. — Для нее это было бы ужасно, она бы так страдала!» «Вот видите, доктор, — сказал я тогда ему, — от какого страдания вы спасли ее. Но ценой этого спасения было то, что вы пережили ее и страдаете сами». Он не сказал ни слова, но молча пожал мне руку и покинул мой кабинет. В некотором роде, страдание перестает быть страданием, когда оно приобретает значение — такое как значение жертвы. (Frankl, 1984: 117)

Процедура обретения смысла, которую предлагает Франкл, состоит в трансформации самой воспринимаемой секвенции (добавления новых событий, переопределения связей между ними), превращающей испытание, перенесенное индивидом, в условие наступления состояния, которое он может считать желательным для себя и мира, и которое не наступило бы, если бы испытания не произошло. В некотором отношении Франкл предлагает эксплуатировать слепоту нашего нынешнего Я к ситуации нашего прошлого Я, выдавая ему то, что было ударом

судьбы, за свободный выбор индивида, способный придать тому новую значимость в собственных глазах. Именно эта слепота (в других ситуациях добавляющая сожалений) позволяет нам переопределить случайную гибель как осознанную жертву. Кроме того, Франкл предлагает нам эксплуатировать наше культурное воображение, позволяющее представить себе связи между любым прошлым и практически любым последующим событием, тем самым добавляя вроде бы законченной секвенции элемент причудливости. Задолго до того, как Франкл познакомил нас с этим приемом, мир уже был покрыт памятниками солдатам проигранных сражений и неудавшихся революций, надписи на которых на все лады и часто без больших оснований превозносили ненапрасность их жертв. Тем не менее кажется, что все эти уловки имеют лишь весьма избирательную эффективность. Индивид может теоретически допускать, что потеря денег в лохотроне была величайшей удачей в его жизни, поскольку, выиграй он главный приз, он отправился бы в отпуск вместе с семьей и попал в авиакатастрофу. Мало кто, однако, соглашается утешиться таким образом полностью¹⁸. В случаях, когда можно представить себе все что угодно, ни один вариант не обладает достаточной правдоподобностью.

Открытый финал. Многие хорошо очерченные секвенции — опять же, лохотрон или профессиональная карьера, — имеют также четко обозначенный финал (передача выигрыша, выход на пенсию), до которого проследить их не представляется труда, а за пределами которого это требует очевидного напряжения фантазии. В других случаях, однако, даже вполне распознаваемые секвенции не имеют ясного конца, при этом длятся достаточно долго, чтобы существовали приличные шансы на то, что индивид не застанет ее финальных фаз. Будущее Я, которое могло бы осудить свое прошлое Я за плохо сделанный выбор, просто никогда не возникнет. Печальная сама по себе, смерть избавляет каждого из нас от множества иных сожалений. Она снабжает наши проекты открытым финалом¹⁹. Так, одно из преимуществ творческой карьеры состоит в том, что (как знает каждый начинающий ее человек) подлинное признание может прийти к нему после смерти, и, соответственно, смерть в безвестности не является безоговорочным поражением.

Это логически приводит нас к следующей теме — коллективным проектам, в которых шансы не увидеть их финальные фазы велики для каждого отдельного участника, но в которых всегда есть другие, ответственные перед ушедшими.

18. Во всяком случае, пока ему не приходит на помощь ангел-хранитель, как в «Этой прекрасной жизни» Фрэнка Капры (мои благодарности Дарье Димке, предложившей этот чудесный пример связочной фантазии на тему избегания сожаления).

19. Интересно, что популярность открытого финала как художественного приема, кажется, существенно выросла в эпоху, которая воспринимается как эпоха тирании рационализации.

Коллективные движения

Все перечисленные выше формы адаптации к угрозе сожаления касались событий индивидуальной жизни и могли быть предприняты в личном порядке. Люди могут досадовать и на исход коллективных предприятий, в которых им случалось принять участие, причем не меньше, чем на исход индивидуальных. Эта досада частично относится к их собственной судьбе — они могут представлять себе будущее, которое наступило бы, если бы они не примкнули к обреченному на неудачу делу. Помимо подобных эгоистических соображений большинство из нас способны к определенной эмпатии по отношению к другим участникам общего предприятия и, возможно, к самому предприятию. Продолжая проект, в который были вложены силы многих людей, индивид перспективно рационализирует не только свои выборы, но и выборы многих других; человек может делать следующий шаг, чтобы придать смысл предыдущим, сделанным другими.

Следствия поступков индивида зависят не только от самого индивида и слепой судьбы, но и от людей, его окружающих. Они так же, как и он (и иногда в большей степени, чем он) определяют, имели ли его шаги желанные следствия. Преуспеет ли герой, совершающий подвиги ради бессмертной славы, зависит от тех, кто сохраняет о нем память (о чем, очевидно, хорошо были осведомлены те, кто постановлял забыть проклятого Герострата). Героические сообщества типа полисов, стремящиеся поощрить своих членов к воинской добродетели, обычно создают мощные институты коллективной памяти, которые при жизни дают понять молодому человеку, на какую награду он может рассчитывать после смерти — тем самым побуждая того к подвигам и мотивируя примером памяти о нем уже следующие поколения. У Арендт функционирование институтов, проносящих память о гражданской добродетели сквозь поколения, является условием ее проявления; только они обеспечивают получение награды и, соответственно, придают жизни тех, кто стремился к этой награде, смысл (Арендт, 2000).

В другой статье автор данного текста утверждал, что именно стремление сыграть роль полиса, увековечивающего память своих героев, было решающим в определении направления развития социологии (Соколов, 2015). Общим местом является то, что развитие социальных наук во многом направлялось стремлением уподобиться естественным наукам, в первую очередь физике. Можно, однако, уподобиться физике большим числом способов, подчеркивающих одну ее сторону за счет других²⁰. Можно стремиться создать дисциплину, формулирующую закономерности в математической форме (этим путем проследовала экономика), обладающую предсказательной силой (data science), беспристрастную и смотрящую на мир с отстраненной прямотой клинициста (человеческая этология в версии Гоффмана), наконец, кумулятивную и помнящую своих предков. Пути во многом

20. По некоторой неведомой причине социологии — как и экономике, психологии и прочим ее товаркам по несчастью, — до сих пор не удалось уподобиться физике во всех смыслах сразу, и пришлось выбирать.

исключают друг друга (скажем, предсказательная социальная наука, использующая большие данные, во многих отношениях будет некумулятивна (Hofman et al., 2017)). Из всех этих путей социология на протяжении последних 50 лет (а в некоторых отношениях и раньше) последовательно выбирала те, которые позволяли ей видеть себя именно кумулятивной специальностью. Не преуспев в создании социальной физики, дисциплина стихийно обратилась к формам работы, которые позволяли ей присвоить хотя бы то, что вызывало наибольшую зависть в физике, но другими средствами. Поскольку смысл академической жизни состоит в кумуляции знания, развитие социологии во многом определялось стремлением разывать жанры, которые позволяли современникам ощущать себя «стоящими на чьих-то плечах».

Жанровые конвенции социологии в том виде, в каком они сформировались, подразумевают, что любой ее представитель, занятый исследованием, сможет ощутить себя наследником парадигм, созданных классиками и развитых множеством последователей (за неспособность перечислить которые в первых абзацах статьи автор нещадно карается рецензентами). Вводя переменные в регрессионные уравнения, мы ссылаемся на имена, стоящие за введением каждого из них; часто не имея никакого иного значения, наши коэффициенты являются поводом перечислить тех, кто стоял за их появлением²¹.

21. Этот же фактор может быть ответственен и за то, что социология вообще сохраняется в качестве имеющей единую идентичность дисциплины, несмотря на то что внешнему наблюдателю она может показаться серией дискретных интеллектуальных проектов, непонятно почему носящих одно и то же название. На протяжении большей части XIX столетия социология подразумевала позитивистское движение, которое с помощью сравнительно-исторического анализа стремилось вывести законы человеческого общежития. Однако почти полное вымирание позитивизма XIX века в первые десятилетия XX не привело к исчезновению групп, которые идентифицировали себя как «социологов» и возводили свою генеалогию к Конту. В этом смысле социологи были похожи на европейские государства, объявлявшие себя наследниками Римской империи. В отличие от наследников Римской империи, однако, их поведение нельзя было объяснить тем, что они старались добавить себе политической легитимности, апеллируя к славному прошлому. Мало кто помнит о прошлом социологии, помимо самих социологов; способность возвести свою генеалогию к Веберу или Дюркгейму не слу жит укреплению позиций социологии во внутриуниверситетских распрях или в глазах неакадемической публики. Социологи лелеют соответствующие традиции ради собственного употребления. Мы можем представить себе, что они движимы при этом задачами перспективной рационализации как собственной биографии, так и биографий своих учителей. Проект социальной науки в целом начался с намерения что-то открыть, изобрести или доказать, понимая эти открытия и доказательства по аналогии с естественными науками. Последующее разочарование пришло в момент, когда и дисциплиной, и индивидами уже были сделаны слишком крупные ставки — экзистенциальные в еще большей степени, чем экономические, — чтобы можно было просто выйти из игры. Надо отметить в заключении этой безразмерной сноски, что те, кто посещал собрания Американской социологической ассоциации в прошлые годы, мог вернуться с ощущением, что мы все-таки оказались в финале. Наметившееся еще в 1990-е годы движение к появлению двух социологий — популистской, представляющей собой академические филиалы социальных движений, и элитистской, отвергающей дискурсивную аргументацию в пользу развития количественных методов, кажется, привело к появлению двух дисциплин, склеенных друг с другом лишь тем, что ни у одной из них нет устойчивого альтернативного названия (Stinchcombe, 1999). Обе, хотя и по разным причинам, слабее привязаны к своим предкам, чем социологи предшествующих десятилетий.

Я остановлюсь за шаг до того, чтобы сказать, что социология является примером лохотрона — без мошенников, но с добровольными жертвами. Возможно, нынешний курс выведет нас к берегам, на которые хотели попасть Конт, Вебер, Парк или Парсонс, — или в еще более прекрасное место. Но даже если этого и не случится, это наверняка станет ясно уже после того, как мы выйдем из комнаты. Как жертвы лохотрона, мы остаемся в игре, чтобы отложить момент, возможно, неутешительного конца (закрытие социологических факультетов неолибералами? Их захват экономистами?), но, в отличие от лохотрона, мы можем с хорошими шансами задержать этот момент достаточно надолго, чтобы не застать его вовсе. В этом смысле коллективные движения — такие как дисциплины или национальные государства, — в глазах каждого конкретного поколения имеют открытый финал: они могут, безусловно, пресечься навсегда, тем самым обратив усилия предшественников в прах, если нынешнее поколение не приложит достаточно усилий — но могут и не пресечься, будучи переданными заботам потомков, к которым таким образом перейдет вся ответственность.

Коллективные движения, таким образом, порождают новые формы обязательств и взаимной ответственности, распространяемой в том числе на тех, для кого их участие в этом проекте уже завершилось открытым финалом. Помимо этого, они открывают своим участникам совершенно новые возможности в области избегания сожаления. Сожаление предполагает неблагоприятный исход того или иного выбора, а определение исхода как неблагоприятного предполагает возможность благоприятного исхода. Пока наш индивид может лелеять в себе веру, что С₁ лучше С₂, его траектория в его собственных глазах может быть образцом рациональности. Как показали Фестингер и другие, в этой ситуации он может целенаправленно избегать получения информации о С₂. Однако другие люди обычно становятся для индивида источником принуждения к тому, чтобы замечать те вещи, которые ему полагается замечать, включая те, которые он не хотел бы замечать²². Если индивиды не оказывают давление друг на друга, а вместо этого более-менее неявно поддерживают друг друга в подобном невнимании, то шансы, что их взгляд никогда не сфокусируется на свидетельствах их ошибок, велики. Более того, группы индивидов могут, видимо, усилиями коллективного воображения находить гораздо более убедительные продолжения секвенций, переопределяющие их смысл, чем это сделал бы кто-то из них по отдельности.

Социальные науки могут послужить здесь удачным примером. Еще Роберт Мертон замечал, что одно из наибольших разочарований, которое настигает ученика, — его могут опередить другие как раз в тот момент, когда работа завершена и текст готов к публикации (Merton, 1957). Помимо того, что это явная карьерная неудача (мало кто помнит имена тех, кто воспроизвел знаменитое исследование,

22. Ученым полагается знать все релевантные факты в своей области, однако что такое «своя область» — в высшей степени расплывчатая материя (к какой области принадлежит эта статья?), в ней практически границы определяются тем, что находится в поле зрения рецензентов журнала и других читателей, которые могут призвать автора к ответу.

даже если они сделали это полностью самостоятельно), повторение чужих данных рушит основания для претензий ученых на смысл их академической жизни, где главное состоит в том, чтобы ни один кирпичик не пропадал зря, и каждый строитель здания науки обретал в ней свое уникальное бессмертие.

Еще более разрушительной для самооценки индивида может оказаться ситуация, когда искомый результат был получен не просто конкурирующей группой, а был где-то совсем рядом все время и не был им замечен исключительно по вине несостоявшегося изобретателя²³. Разочарования можно избежать, если ограничить контакты с внешним миром. Это обычно не удается отдельным ученым (если они не Симон Кордонский), поскольку ученые не упускают случая упрекнуть своих близких во вторичности. Однако группа ученых, в силу относительной изоляции от внешнего мира надзирающих друг за другом, не подвергаясь контролю извне, может совместно создать «кокон умолчаний», или, по выражению Зерубавеля, *conspiracy of silence* (Zerubavel, 2006), который будет защищать их от разочарований. Заметим в продолжение сказанного ранее о придании смысла биографии как коллективном действии, что шансы каждого ученого на внесение уникального вклада в копилку человеческих знаний определяются не только его следованием нормам, требующим составить обзор литературы перед тем, как пускаться что-то исследовать, но и тем, насколько им следуют другие, поддерживающие необходимую инфраструктуру и карающие за то, что кто-то воспроизведет его результаты, не сославшись на первоисточник (именно этой силе противостоят группы, пытающиеся создать вокруг себя кокон коллективной неосведомленности). Дисциплина в этом смысле мало отличается от арендтovского полиса; она прежде всего является организацией коллективной памяти. Вместе актеры и зрители делают историю об уникальном вкладе в науку правдой.

В статье (Соколов, Титаев, 2013) создание неформальной организации, саботирующей подобный взаимный контроль и ставящей уникальность под сомнение, было названо «туземной наукой» и связывалось, прежде всего, с географической локализацией и языковыми барьерами. Ссылаясь на уникальность местного контекста и важность обращения к местной публике на ее языке, ученые могут с относительно чистой совестью игнорировать всех, находящихся за пределами их «кокона». Важно помнить, однако, что дисциплины по самой своей природе являются такими заговорами умолчания (во всяком случае, в социальных науках) и играют подобную роль даже там, где более одиозные формы туземности изжиты. Социолог, проявляющий хоть какой-то интерес к тому, что происходит за дисциплинарными заборами, наверняка может вспомнить, сколько раз ему приходилось

23. Научные дисциплины варьируются по своей способности образовывать такие «коконы», причем водораздел проходит, кажется, не по границе «естественные — гуманитарные». Страховкой служит относительное однообразие номенклатуры, которым может похвастаться, в частности, история. Историк куда меньше рискует обнаружить неизвестные ему работы об Иване Грозном, если он честно искал литературу по имени деспота в Гугле, чем социолог, социальный психолог или поведенческий экономист — узнать, что его любимая идея повторяет давно известное.

обнаруживать, что революционные идеи социологов оказываются трюизмами по меркам философов, антропологов, психологов или экономистов²⁴.

Продолжая тему коллективного неведения, группа, (само)оценка которой связана с оценкой некоторого проекта, может не только изолировать себя от информации, поступающей из внешнего мира, но и полностью предотвратить появление информации, способной в чьих-либо глазах послужить почвой для неблагоприятных сравнений ее достижений с достижениями конкурирующих групп. Примером может считаться история советского общества, для которого такой сензитивной темой была любая информация, выставляющая СССР в непривлекательном свете по сравнению с его капиталистическими соперниками (тем самым представляя выбор социалистического пути развития как ошибку). Это настороженное отношение к потенциально дискредитирующему сведениям было одним из лейтмотивов истории советской социологии; оно приводило не просто к массовому засекречиванию статистики, но и к отказу собирать ее. Кроме того, хотя сами по себе социологические исследования были полностью легитимированы к началу 1970-х, многие темы оставались запретными. Едва ли ни самые ревностно насаждаемые запреты касались сравнительных исследований, предстающих в воспоминаниях современников как табу, нарушения которого, даже вполне безобидные, пресекались, а виновный мог стать объектом репрессий (см., например, «дело Голофаста», который недостаточно отчетливо противопоставлял развитие семьи в капиталистических и социалистических обществах (Божков, Протасенко, 2005)). Причины вполне объяснимы: сравнительное исследование было исследованием того, в какой мере советский эксперимент мог считаться успешным по сравнению с достижениями развитого капитализма. Вопрос об этом был вопросом об ответственности инициаторов эксперимента за его исход и, в конечном счете, о легитимности Партии и Правительства, непосредственно инициировавших его (Sokolov, 2017). Более того, поскольку советское общество — согласно его официальной идеологии, — развивалось по всеобъемлющему плану, отставание в любой сфере могло трактоваться не в пользу его «руководящей и направляющей силы» — КПСС. Чтобы избавить тех, кто доверился ей, от сожалений по этому поводу, руководящая и направляющая сила пыталась предусмотрительно ликвидировать почву для любых неблагоприятных для нее сравнений.

Заключительные замечания

Эта статья преследовала две основные цели. Одной из них было разобраться с тем, чем исследования досады и сожалений, развивающиеся в соседних дисциплинах,

24. И уж совсем плохо придется ему, если он обратится к художественной литературе и задастся вопросом, возможно, занимавшим его ум во времена, когда он был пытливым третьекурсником: как у социологов получается верить в существование специфической «социологической теории» или «социологического воображения», если все, что выдается за таковые, регулярно встречается в классической художественной литературе? Можно ли обнаружить у Бурдье ошеломляющие озарения относительно социальной жизни, которые отсутствуют у Пруста, Толстого и Вуди Аллена?

могут быть полезны для социологов. Второй целью было понять, какие услуги социологи могут оказать другим дисциплинам в их изучении этой области. Как, вероятно, понял добравшийся до этого места читатель, автор скептически настроен в отношении теории, гласящей, что социально-научные дисциплины разделяют непреодолимые барьеры когнитивных стилей. Тем не менее исторически развивавшиеся сензитивности разных специальностей делают их более или менее приспособленными к анализу разных сторон общих проблем. Одной из задач этой статьи было обозначить некоторые возможности для развития социологии сожаления²⁵.

Говоря о том, что теория сожалений может дать социологам, мы прежде всего укажем, что она позволяет распознать общую логику за многими индивидуальными и коллективными практиками, перечисленными в предыдущих параграфах. Помимо этого, она предлагает отправную точку для пересмотра наших теоретических моделей рационального действия и для переформулирования социологии эмоций. Сожаления позволяют поставить под вопрос некоторые традиционные социологические оппозиции, рассмотрев парадоксальный случай поведения, которое во многом не укладывается в обычные рамки рационального и иррационального. И правда, действия, мотивированные предвкушаемой досадой, представляют собой значительную сложность для размещения в одной из ячеек стандартной веберовской классификации. Их можно рассматривать как расширение целерациональных действий, однако, в отличие от веберовского понимания целерациональности, они по своей природе являются реакцией на прошлые события, а не на будущие возможности. Более того, они часто состоят в подыскивании адекватных целей для уже выбранных средств, а не средств для целей. Они могли бы считаться ценностнорациональными, однако совершающий их редко согласится признаться, что они осуществляются лишь для того, чтобы утвердить в собственных глазах свою рациональность — странная ценность, носитель которой не готов признать ее присутствия! Они по своей природе связаны с аффектом, но это виртуальный аффект (Zeelenberg et al., 2018), который как раз и не наступает в результате того, что индивиды ощущают его угрозу. Разумеется, действия могут осуществляться без особой рефлексии и ограничить с традиционными, но во многих случаях не являются таковыми. Более того, непонятно даже, можно ли считать их социальными: если социальное действие определяется Вебером как ориентированное на смысл, который будет придан ему другими, то для них характерно то, что главным из этих других является сам индивид, каким-он-сегодня-считает-что-он-будет-завтра.

В отличие от *homo economicus*, индивид, движимый предвкушаемыми сожалениями, с одной стороны, совершенно рационален в достижении своих целей, с другой — самые важные его цели относятся не к приобретению чего-либо, а к конструированию идентичности или производству впечатлений о себе сегодняш-

25. Например, на сегодня, 8 апреля 2019 года, «sociology of regret» не дает ни одной статьи в Google Scholar. В *opus magnum* Хокшильд описывается ситуативная типология эмоций, но сожаление или досада отсутствуют (Hochschild, 1983: 230–233).

нем на себя-завтрашнего, с третьей стороны, идентичность, которую он с таким упорством конструирует, — это идентичность полностью рационального субъекта. Действительно, то, что кажется внешним наблюдателям иррациональностью его поведения, вытекает из стремления быть совершенно рациональным в собственных глазах. Далее, перенос акцента с максимизации полезности на избегание сожалений добавляет к горизонту планирования справа, в будущем, горизонт слева, в прошлом²⁶. Действие, мотивированное избеганием сожаления, в этом смысле является тем, что Дэвид Блур описывает в своей классической статье как «монстра» — сущность, не укладывающуюся в нормальные классификационные порядки (Bloor, 1978). Как он указывал там же, самые плодотворные периоды науки есть периоды приручения ею своих «монстров».

Для социологии эмоций сожаления — с одной стороны, возможность расширить репертуар изучаемых ею чувств, с другой — выйти за пределы несколько искривленного конструктивизма. Арии Хокшильд в «Управляемом сердце» замечала, что теоретики, писавшие об эмоциях, как правило, выделяли одну из них как свой излюбленный объект: Фрейд — тревогу, Гоффман — смущение и неловкость, и так далее (Hochschild, 1983: 216; см. также: Scheff, 2003). Здесь делалась попытка наметить контуры социологии эмоций, центральным предметом которой было бы сожаление. Конструктивистская социология эмоций самой Хокшильд подчеркивала, что чувства являются производными от определения ситуации, а сами определения ситуации исторически условны и могут изменяться агентами в своих целях. Исследование сожалений показывает и силу, и ограничения этого взгляда. Наши представления о секвенциях, допускающие удачные или неудачные исходы выбора, во многом заданы институциональным контекстом и исторически изменчивы, но при этом для конкретного индивида определения конкретной ситуации достаточно ригидны, чтобы их сложнее было изменить, чем саму ситуацию. Эмоции (или одна угроза столкнуться с неприятными их разновидностями) обладают при-
нудительной силой.

Что может добавить к изучению досады и сожаления именно социологический взгляд на них? Первым ответом, разумеется, будет сама каталогизация практик, в которых мотивированные ими действия проявляются в социальной жизни. Некоторые из них мы перечислили в рубрике «индивидуальные адаптации». Второй задачей будет исследование имплицитных каузальных теорий, которые позволяют индивидам в своих мыслях объединять события в последовательности. Их логику — и логику, стоящую за их распространением и восприятием, — социолог способен расшифровать с гораздо большим успехом, чем психолог, сосредоточенный на том, как основанные на этих теориях эффекты проявляются в индивидуаль-

26. Та неопределенность, которую сожаление вносит в понимание рациональности решений, в некотором смысле симметрична неопределенности, вносимой горизонтом планирования в классической теории рационального выбора. Поведение, рациональное в краткосрочной перспективе, может оказаться иррациональным в долгосрочной, и наоборот (вероятно, самое известное применение этой идеи в социологии — противопоставление стационарного и кочующего бандита у Олсона (Olson, 1993)).

ном сознании, или экономист, рассматривающий, как они проявляются в специфически экономическом выборе. Наконец, как мы видели в части, посвященной коллективным действиям и коллективной памяти, избегание сожалений — и поддержание смысла жизни — это во многом следствие (и цель) социального взаимодействия. Соответственно, оно является источником моральных норм и взаимных обязательств, мотивирующих индивидов в их взаимодействиях с другими — той материей, которая составляет дисциплинарный *heartland* социологии.

Благодарности

Эта статья обязана своей нынешней формой многим людям, из которых совершенно невозможно не упомянуть Виктора Вахштайна, Дарью Димке, Александру Макееву, Олега Хархордина и анонимного рецензента «Социологического обозрения». Никто из перечисленных не несет ответственности за ее дефекты. Ее значительно более ранняя версия обсуждалась на летней школе по социальной теории в Волховом мосту в июле 2015 г.

Литература

- Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Божков О. Б., Протасенко Т. З. (2005). Гляжу в себя как в зеркало эпохи // Телескоп. № 6. С. 2–13.
- Соколов М. М. (2015). Социология как чудо: процесс *sense-building* в одной академической дисциплине // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 13–57.
- Соколов М. М., Тимаев К. Д. (2013) Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. № 19. С. 239–275.
- Abbot A. (1995). Sequence Analysis: New Method for Old Ideas // Annual Review of Sociology. Vol. 21. P. 93–113.
- Arkes H., Blumer C. (1985). The Psychology of Sunk Cost // Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 35. Vol. 1. P. 124–140.
- Becker H. S. (1960). Notes on the Concept of Commitment // American Journal of Sociology. Vol. 66. № 1. P. 32–40.
- Bell D. (1982). Regret in Decision Making under Uncertainty // Operations Research. Vol. 30. № 5. P. 961–981.
- Bem D. J. (1967). Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena // Psychological Review. Vol. 74. № 3. P. 183–201.
- Bitgood S. (2006). An Analysis of Visitor Circulation: Movement Patterns and the General Value Principle // Curator: The Museum Journal. Vol. 49. № 4. P. 463–475.
- Bleichrodt H., Wakker P. (2015). Regret Theory: A Bold Alternative to the Alternatives // Economic Journal. Vol. 125. № 583. P. 493–532.

- Bloor D.* (1978). Polyhedra and the Abominations of Leviticus // *British Journal for the History of Science*. Vol. 11. № 3. P. 245–272.
- Boettcher W. A., Cobb M. D.* (2009). «Don't Let Them Die in Vain»: Casualty Frames and Public Tolerance for Escalating Commitment in Iraq // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 53. № 5. P. 677–697.
- Brockner J.* (1992). The Escalation of Commitment to a Failing Course of Action: Toward Theoretical Progress // *Academy of Management Review*. Vol. 17. № 1. P. 39–61.
- Buchanan T.* (1985). Commitment and Leisure Behavior: A Theoretical Perspective // *Leisure Sciences*. Vol. 7. № 4. P. 401–420.
- Connolly T., Zeelenberg M.* (2002). Regret in Decision Making // *Current Directions in Psychological Science*. Vol. 11. № 6. P. 212–216.
- Connolly T., Ordóñez L. D., Coughlan R.* (1997). Regret and Responsibility in the Evaluation of Decision Outcomes // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 70. № 1. P. 73–85.
- Espeland W. N., Sauder M.* (2007). Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds // *American Journal of Sociology*. Vol. 113. № 1. P. 1–40.
- Festinger L.* (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Evanston: Row, Peterson & Co.
- Frankl V.* (1984) *Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy*. L.: Touchstone.
- Garfinkel H.* (1956). Conditions of Successful Degradation Ceremonies // *American Journal of Sociology*. Vol. 61. № 2. P. 420–427.
- Garland H.* (1990). Throwing Good Money after Bad: The Effect of Sunk Costs on the Decision to Escalate Commitment to an Ongoing Project // *Journal of Applied Psychology*. Vol. 75. № 6. P. 728–756.
- Gilovich T., Medvec V.* (1995). The Experience of Regret: What, When, and Why // *Psychological Review*. Vol. 102. № 2. P. 379–395.
- Goffman E.* (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. N. Y.: Doubleday Anchor.
- Greenwald A. G., Banaji M., Rudman M., Farnham S., Nosek B., Mellott D.* (2002). A Unified Theory of Implicit Attitudes, Stereotypes, Self-esteem, and Self-concept // *Psychological Review*. Vol. 109. № 1. P. 3–36.
- Hargens L., Hagstrom W.* (1982). Scientific Consensus and Academic Status Attainment Pattern // *Sociology of Education*. Vol. 55. № 4. P. 183–196.
- Hochschild A.* (1983) *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.
- Hofman J., Sharma A., Watts D.* (2017). Prediction and Explanation in Social Systems // *Science*. Vol. 355. № 6324. P. 486–488.
- Kahneman D., Tversky A.* (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // *Econometrica*. Vol. 47. № 2. P. 263–292.
- King L. A.* (2001). The Hard Road to the Good Life: The Happy, Mature Person // *Journal of Humanistic Psychology*. Vol. 41. № 1. P. 51–72.

- Landman J.* (1987). Regret: A Theoretical and Conceptual Analysis // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 17. № 2. P. 135–160.
- Loomes G., Sugden R.* (1982). Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty // *Economic Journal*. Vol. 92. № 368. P. 805–824.
- Mathieu J., Zajac D.* (1990). A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment // *Psychological bulletin*. Vol. 108. № 2. P. 171–201.
- McAdams D. P.* (2008). Personal Narratives and the Life Story // *John O. P., Robins R. W., Pervin L. A.* (eds.). *Handbook of Personality: Theory and Research*. Vol. 3. N. Y.: Guilford Press. P. 242–262.
- Merton R. K.* (1957). Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // *American Sociological Review*. Vol. 22. № 6. P. 635–659.
- Meyer J. P., Allen N.* (1984). Testing the «Side-Bet Theory» of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations // *Journal of Applied Psychology*. Vol. 69. № 3. P. 372–401.
- Meyer J. W., Boli J., Thomas G. M., Ramirez F. O.* (1997). World Society and the Nation-State // *American Journal of Sociology*. Vol. 103. № 1. P. 144–181.
- Olson M.* (1993). Dictatorship, Democracy, and Development // *American Political Science Review*. Vol. 87. № 3. P. 567–576.
- Richard R., Van Der Pligt J., De Vries N.* (1996). Anticipated Regret and Time Perspective: Changing Sexual Risk-Taking Behavior // *Journal of Behavioral Decision Making*. Vol. 9. № 3. P. 185–199.
- Roese N. J., Summerville A.* (2005). What We Regret Most... and Why // *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 31. № 9. P. 1273–1285.
- Sagi A., Friedland N.* (2007). The Cost of Richness: The Effect of the Size and Diversity of Decision Sets on Post-decision Regret // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 93. № 4. P. 515–545.
- Savage L. J.* (1951). The Theory of Statistical Decision // *Journal of the American Statistical Association*. Vol. 46. № 253. P. 55–67.
- Scheff T. J.* (2003). Shame in Self and Society // *Symbolic Interaction*. Vol. 26. № 2. P. 239–262.
- Shore C., Wright S.* (1999). Audit Culture and Anthropology: Neo-liberalism in British Higher Education // *Journal of the Royal Anthropological Institute*. Vol. 5. № 4. P. 557–575.
- Simonson I.* (1992). The Influence of Anticipating Regret and Responsibility on Purchase Decisions // *Journal of Consumer Research*. Vol. 19. № 1. P. 105–118.
- Smith B., Sparkes A.* (2008). Contrasting Perspectives on Narrating Selves and Identities: An Invitation to Dialogue // *Qualitative Research*. Vol. 8. № 1. P. 5–35.
- Sleesman D., Conlon D., McNamara D., Miles J.* (2012). Cleaning Up the Big Muddy: A Meta-analytic Review of the Determinants of Escalation of Commitment // *Academy of Management Journal*. Vol. 55. № 3. P. 541–562.

- Sokolov M.* (2017). Famous and Forgotten: Soviet Sociology and the Nature of Intellectual Achievement under Totalitarianism // *Serendipities*. Vol. 2. № 2. P. 183–212.
- Staw B. M.* (1976). Knee-Deep in the Big Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action // *Organizational Behavior and Human Performance*. Vol. 16. № 1. P. 27–44.
- Stinchcombe A. L.* (1999). Making a Living in Sociology in the 21st Century (and the Intellectual Consequences of Making a Living) // *Berkeley Journal of Sociology*. Vol. 44. P. 4–14.
- Sugden R.* (1985). Regret, Recrimination and Rationality // *Theory and Decision*. Vol. 19. № 1. P. 77–99.
- Taylor C.* (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press.
- Wong K. F., Kwong J.* (2007). The Role of Anticipated Regret in Escalation of Commitment // *Journal of Applied Psychology*. Vol. 92. № 2. P. 545–600.
- Zeelenberg M.* (1999). Anticipated Regret, Expected Feedback and Behavioral Decision Making // *Journal of Behavioral Decision Making*. Vol. 12. № 2. P. 93–106.
- Zeelenberg M., Pieters R.* (2007). A Theory of Regret Regulation 1.0 // *Journal of Consumer Psychology*. Vol. 17. № 1. P. 3–18.
- Zeelenberg M., Oettingen G., Sevincer A. T., Gollwitzer P. M.* (2018). Anticipated Regret: A Prospective Emotion about the Future Past // *Oettingen G., Sevincer A. T., Gollwitzer P. M.* (eds.). *The Psychology of Thinking about the Future*. N. Y.: Guilford Press. P. 276–295.
- Zeelenberg M., Van Dijk, W. W., Manstead, A. S., Van der Pligt J.* (2000). On Bad Decisions and Disconfirmed Expectancies: The Psychology of Regret and Disappointment // *Cognition & Emotion*. Vol. 14. № 4. P. 521–541.
- Zerubavel E.* (2006). The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.

Towards a Sociology of Regret

Mikhail Sokolov

Professor, European University at Saint Petersburg

Address: Gagarinskaya Srt., 6/1a, Saint Petersburg, Russian Federation 191187

E-mail: msokolov@eu.spb.ru

The paper looks into sociological implications of two discussions currently developing in behavioral economics and organizations theory: (1) regret theory, exploring the proposition that human decision making is governed by avoiding anticipated regret, rather than maximizing expected utility, and (2) studies of sunk cost fallacy, consisting in making decisions aimed at justifying previous decisions. We argue that these two areas of theorizing, presently isolated, are dealing with essentially the same phenomenon. This becomes evident if we recognize that choices are organized in sequences, with the merits of each particular choice being evaluated in the light of outcomes of the whole sequence. We then explore some general conditions of the ability

to anticipate regret: interaction with one's future Self and sequential organizations of states an individual find him/herself. We then discuss some widely spread forms of individual adaptations to the threat of experiencing regret: dissonance avoidance, prospective rationalization, cultivation of prescience, de-sequencing and open endings. We further explore various forms of collective actions involving regret avoidance, using the development of the sociological discipline as an example.

Keywords: regret theory; sunk cost; sociology of emotions; rationality; decision making; multiple Selves; sequences

References

- Abbot A. (1995) Sequence Analysis: New Method for Old Ideas. *Annual Review of Sociology*, vol. 21, pp. 93–113.
- Anderson B. (2001) *Voobrazhaemye soobshhestva: razmyshlenija ob istokah i rasprostranenii nacionaлизma* [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism], Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo pole.
- Arkes H., Blumer C. (1985) The Psychology of Sunk Cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 35, no 1, pp. 124–140.
- Becker H. S. (1960) Notes on the Concept of Commitment. *American Journal of Sociology*, vol. 66, no 1, pp. 32–40.
- Bell D. (1982) Regret in Decision Making under Uncertainty. *Operations Research*, vol. 30, no 5, pp. 961–981.
- Bem D. J. (1967) Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena. *Psychological Review*, vol. 74, no 3, pp. 183–201.
- Bitgood S. (2006) An Analysis of Visitor Circulation: Movement Patterns and the General Value Principle. *Curator: The Museum Journal*, vol. 49, no 4, pp. 463–475.
- Bleichrodt H., Wakker P. (2015) Regret Theory: A Bold Alternative to the Alternatives. *Economic Journal*, vol. 125, no 583, pp. 493–532.
- Bloor D. (1978) Polyhedra and the Abominations of Leviticus. *British Journal for the History of Science*, vol. 11, no 3, pp. 245–272.
- Boettcher W. A., Cobb M. D. (2009) "Don't Let Them Die in Vain": Casualty Frames and Public Tolerance for Escalating Commitment in Iraq. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, no 5, pp. 677–697.
- Bozhkov O., Protasenko T. (2005) *Gljazhu v sebja kak v zerkalo jepohi* [Looking Inside Oneself as in the Mirror of Time]. *Teleskop*, no 6, pp. 2–13.
- Brockner J. (1992) The Escalation of Commitment to a Failing Course of Action: Toward Theoretical Progress. *Academy of Management Review*, vol. 17, no 1, pp. 39–61.
- Buchanan T. (1985) Commitment and Leisure Behavior: A Theoretical Perspective. *Leisure Sciences*, vol. 7, no 4, pp. 401–420.
- Connolly T., Zeelenberg M. (2002) Regret in Decision Making. *Current Directions in Psychological Science*, vol. 11, no 6, pp. 212–216.
- Connolly T., Ordonez L. D., Coughlan R. (1997) Regret and Responsibility in the Evaluation of Decision Outcomes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 70, no 1, pp. 73–85.
- Espeland W. N., Sauder M. (2007) Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds. *American Journal of Sociology*, vol. 113, no 1, pp. 1–40.
- Festinger L. (1957) *A Theory of Cognitive Dissonance*, Evanstone: Row, Peterson & Co.
- Frankl V. (1984). *Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy*, London: Touchstone.
- Garfinkel H. (1956) Conditions of Successful Degradation Ceremonies. *American Journal of Sociology*, vol. 61, no 2, pp. 420–427.
- Garland H. (1990) Throwing Good Money after Bad: The Effect of Sunk Costs on the Decision to Escalate Commitment to an Ongoing Project. *Journal of Applied Psychology*, vol. 75, no 6, pp. 728–756.

- Gilovich T., Medvec V. (1995) The Experience of Regret: What, When, and Why. *Psychological Review*, vol. 102, no 2, pp. 379–395.
- Goffman E. (1967) *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*, New York: Doubleday Anchor.
- Greenwald A. G., Banaji M., Rudman M., Farnham S., Nosek B., Mellott D. (2002) A Unified Theory of Implicit Attitudes, Stereotypes, Self-esteem, and Self-concept. *Psychological Review*, vol. 109, no 1, pp. 3–36.
- Hargens L., Hagstrom W. (1982) Scientific Consensus and Academic Status Attainment Pattern. *Sociology of Education*, vol. 55, no 4, pp. 183–196.
- Hofman J., Sharma A., Watts D. (2017) Prediction and Explanation in Social Systems. *Science*, vol. 355, no 6324, pp. 486–488.
- Kahneman D., Tversky A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, vol. 47, no 2, pp. 263–292.
- King L. A. (2001) The Hard Road to the Good Life: The Happy, Mature Person. *Journal of Humanistic Psychology*, vol. 41, no 1, pp. 51–72.
- Landman J. (1987) Regret: A Theoretical and Conceptual Analysis. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 17, no 2, pp. 135–160.
- Loomes G., Sugden R. (1982) Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty. *Economic Journal*, vol. 92, no 368, pp. 805–824.
- Mathieu J., Zajac D. (1990) A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. *Psychological Bulletin*, vol. 108, no 2, pp. 171–201.
- McAdams D. P. (2008) Personal Narratives and the Life Story. *Handbook of Personality: Theory and Research*, Vol. 3 (eds. O. P. John, R. W. Robins, L. A. Pervin), New York: Guilford Press, pp. 242–262.
- Merton R. K. (1957) Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science. *American Sociological Review*, vol. 22, no 6, pp. 635–659.
- Meyer J. P., Allen N. (1984) Testing the "Side-Bet Theory" of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations. *Journal of Applied Psychology*, vol. 69, no 3, pp. 372–401.
- Meyer J. W., Boli J., Thomas G. M., Ramirez F. O. (1997) World Society and the Nation-State. *American Journal of Sociology*, vol. 103, no 1, pp. 144–181.
- Olson M. (1993) Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*, vol. 87, no 3, pp. 567–576.
- Richard R., Van Der Pligt J., De Vries N. (1996) Anticipated Regret and Time Perspective: Changing Sexual Risk-Taking Behavior. *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 9, no 3, pp. 185–199.
- Roese N. J., Summerville A. (2005) What We Regret Most . . . and Why. *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 31, no 9, pp. 1273–1285.
- Sagi A., Friedland N. (2007) The Cost of Richness: The Effect of the Size and Diversity of Decision Sets on Post-decision Regret. *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 93, no 4, pp. 515–545.
- Savage L. J. (1951) The Theory of Statistical Decision. *Journal of the American Statistical Association*, vol. 46, no 253, pp. 55–67.
- Scheff T. J. (2003) Shame in Self and Society. *Symbolic Interaction*, vol. 26, no 2, pp. 239–262.
- Shore C., Wright S. (1999) Audit Culture and Anthropology: Neo-liberalism in British Higher Education. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. 5, no 4, pp. 557–575.
- Simonson I. (1992) The Influence of Anticipating Regret and Responsibility on Purchase Decisions. *Journal of Consumer Research*, vol. 19, no 1, pp. 105–118.
- Smith B., Sparkes A. (2008) Contrasting Perspectives on Narrating Selves and Identities: An Invitation to Dialogue. *Qualitative Research*, vol. 8, no 1, pp. 5–35.
- Sleesman D., Conlon D., McNamara D., Miles J. (2012) Cleaning Up the Big Muddy: A Meta-analytic Review of the Determinants of Escalation of Commitment. *Academy of Management Journal*, vol. 55, no 3, pp. 541–562.
- Sokolov M. (2015) Sociologija kak chudo: process sense-building v odnoj akademicheskoy discipline [Sociology as a Miracle: The Process of Sense-Building in an Academic Discipline]. *Sociology of Power*, vol. 27, no 3, pp. 13–57.
- Sokolov M. (2017) Famous and Forgotten: Soviet Sociology and the Nature of Intellectual Achievement under Totalitarianism. *Serendipities*, vol. 2, no 2, pp. 183–212.

- Sokolov M., Titaev K. (2013) Provincial'naja i tuzemnaja nauka [Provincial and Native Science]. *Anthropological Forum*, no 19, pp. 239–275.
- Staw B. M. (1976) Knee-Deep in the Big Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action. *Organizational Behavior and Human Performance*, vol. 16, no 1, pp. 27–44.
- Stinchcombe A. L. (1999) Making a Living in Sociology in the 21st Century (and the Intellectual Consequences of Making a Living). *Berkeley Journal of Sociology*, vol. 44, pp. 4–14.
- Sugden R. (1985) Regret, Recrimination and Rationality. *Theory and Decision*, vol. 19, no 1, pp. 77–99.
- Taylor C. (1989) *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge: Harvard University Press.
- Wong K. F., Kwong J. (2007) The Role of Anticipated Regret in Escalation of Commitment. *Journal of Applied Psychology*, vol. 92, no 2, pp. 545–600.
- Zeelenberg M., Pieters R. (2007) A Theory of Regret Regulation 1.0. *Journal of Consumer Psychology*, vol. 17, no 1, pp. 3–18.
- Zeelenberg M. (1999) Anticipated Regret, Expected Feedback and Behavioral Decision Making. *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 12, no 2, pp. 93–106.
- Zeelenberg M., Oettingen G., Sevincer A. T., Gollwitzer P. M. (2018) Anticipated Regret: A Prospective Emotion about the Future Past. *The Psychology of Thinking about the Future* (eds. G. Oettingen, A. T. Sevincer, P. M. Gollwitzer), New York: Guilford Press, pp. 276–295.
- Zeelenberg M., Van Dijk W. W., Manstead A. S., Van der Pligt J. (2000) On Bad Decisions and Disconfirmed Expectancies: The Psychology of Regret and Disappointment. *Cognition & Emotion*, vol. 14, no 4, pp. 521–541.
- Zerubavel E. (2006) *The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life*, Oxford: Oxford University Press.

Освоение космоса как социологическая проблема^{*}

Александр Ходыкин

Аспирант кафедры социологии и психологии Института систем управления
Самарского государственного экономического университета
Адрес: ул. Советской Армии, д. 141, г. Самара, Российская Федерация 443090
E-mail: khodykin8@gmail.com

На сегодняшний день тема космоса выходит за пределы естественных наук и все чаще исследуется гуманитарными и социальными дисциплинами. Освоение человечеством космоса расширяет пространство социальной коммуникации. При этом космическое пространство обладает рядом особенностей, ключевым образом влияющих на его освоение: во-первых, невозможность выживания в нем биологических организмов без специальных технических средств поддержания жизнедеятельности; во-вторых, огромные расстояния, затрудняющие перемещение; в-третьих, наличие пространства вакуума, значительно превосходящего размеры космических объектов. Исследование выхода человечества за пределы Земли с социологических позиций становится предметом новой социологической дисциплины — астросоциологии. Астросоциология определена автором как относящаяся к социологии пространства отраслевая социологическая дисциплина, изучающая возникающие в ходе освоения и присвоения космического пространства социальные действия, связи и коллективные представления людей. Перед астросоциологией ставится задача ответить на вопросы: как изменяется пространство социальных взаимодействий после выхода человечества в космос? Как меняются и будут меняться эти взаимодействия в случае физического пребывания социальных акторов в космическом пространстве? Теоретическая проблема астросоциологии формулируется вопросом: насколько существующие социологические теории позволяют исследовать опосредованные освоением и присвоением космического пространства изменения сообществ и взаимодействия социальных акторов? В целях обеспечения астросоциологии теоретическими ресурсами в статье проанализированы социологическая теория пространства, теории глобализации и мобильностей и акторно-сетевая теория. Проведенный анализ позволяет прийти к предварительно-ному выводу о наличии у современной социологии теоретических ресурсов для исследования с социологических позиций выхода человечества в космос.

Ключевые слова: астросоциология, космос, освоение, пространство, социология пространства, глобализация, мобильность, акторно-сетевая теория

Исследование космоса и связанные с ним процессы (ракетостроение, создание телескопов и спутников, сбор данных о космических объектах, запуск человека в космос и т. п.) считаются традиционной сферой изучения для естественных наук:

© Ходыкин А. В., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: [10.17323/1728-192X-2019-4-47-73](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2019-4-47-73)

* Автор выражает благодарность своему научному руководителю, д. с. н., профессору В. Б. Звоновскому (СГЭУ, Самара) за всестороннюю поддержку, оказанную в ходе написания данной работы, мудрые советы и конструктивную критику. Без него эта статья не появилась бы или была бы совсем иной.

астрономии, космологии, физики, химии и биологии. Однако освоение космоса выполняет также и множество социальных функций, от поддержки деятельности систем спутниковой навигации для решения повседневных задач до реализации долгосрочных космических проектов по изучению дальнего космоса. В этих процессах задействована целая индустрия: научные исследования, строительство ракет и спутников, обеспечение работы систем снабжения и обслуживания, подготовка полетов и космонавтов. В обеспечение космической деятельности включена обширная система взаимодействующих между собой социальных групп: ученых, инженеров, рабочих, организаторов, при этом работающие вместе специалисты зачастую относятся к разным культурам, национальностям и религиям. Вступление человечества в космическую эру нашло свое отражение в культуре: появились посвященные космосу фильмы, книги, музыка и мемуары; в культуре сложились традиции, стандарты и конвенции описания и изображения космического пространства и объектов в нем (Сивков, 2017). И, наконец, космос уже стал новым пространством социального взаимодействия: пока только между космонавтами, но в перспективе, в случае колонизации других планет, социальное взаимодействие в космосе может значительно расшириться.

Социологическое осмысление освоения человеком космоса — основная задача нового отраслевого социологического направления — астросоциологии. Согласно основателю астросоциологии и автору ключевых работ по данной дисциплине Джиму Пассу, эта отрасль знания социологически изучает взаимосвязи человечества и космоса, сфокусированные на «астросоциальных» феноменах. Концепт «астросоциальное» включает в себя любые социальные, культурные и поведенческие паттерны, связанные с исследованием и освоением космического пространства (Pass, 2011; Ним, 2018). Е. Г. Ним указывает, что «в данном случае астросоциальные явления нужно отличать не только от других социальных, но и от собственно космических феноменов, поскольку в случае последних важны лишь физические свойства объектов и процессов» (Ним, 2018: 11).

Освоение космоса исследовано в данной работе как расширение пространства присутствия человечества во Вселенной. Расширение пространства взаимодействия может быть как непосредственным, предполагающим взаимодействие космонавтов, находящихся за пределами стратосферы Земли, друг с другом и с людьми на Земле, так и опосредствованным, например, развитием и внедрением космических технологий, создающих новые возможности для социальной коммуникации на Земле. В первом случае взаимодействие выходит за пределы физического пространства Земли; во втором же случае расширяется пространство социального взаимодействия в пределах Земли: так, благодаря возможностям спутниковой связи пространство социальной коммуникации расширяется до размеров всей Земли, в то время как еще недавно оно ограничивалось пространством, охваченным вышками мобильной связи. Таким образом, астросоциология изучает то, как освоение космоса расширяет и трансформирует пространство взаимодействия.

ствия социальных акторов. Под космическим пространством¹ мы понимаем пространство над Линией Кармана².

Мы можем определить астросоциологию как относящуюся к социологии пространства отраслевую социологическую дисциплину, изучающую возникающие в ходе освоения и присвоения космического пространства социальные действия, связи и коллективные представления людей. Перед астросоциологией стоит задача ответить на вопросы: как изменяется пространство социальных взаимодействий с выходом человечества в космос и как меняются и будут меняться эти взаимодействия в случае физического пребывания социальных акторов в космическом пространстве?

Социологическая теория пространства и астросоциология

Из предложенного нами определения астросоциологии можно сделать вывод, что социология пространства — это базовая социологическая дисциплина, на основе которой формируется астросоциология. Современная социология содержит различные трактовки пространства, отраженные в ряде классификаций его теоретического осмыслиения. Для нашего исследования воспользуемся диахроматической классификацией, предполагающей понимание пространства в социальных науках в двух основных смыслах (Звоновский, 2009).

1) Как логический конструкт, созданный подобно математическому пространству, как абстракция реальных позиций и диспозиций социальных субъектов и связей между ними. В данном смысле пространство интересует исследователей как «пространство социального»; наибольшую известность получило такое понимание пространства в определении Пьера Бурдье: «Социальное пространство — конституированное ансамблем подпространств или полей... которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала...» (Бурдье, 1993: 40).

2) Как физическое пространство в его естественнонаучном понимании, то есть как территория, ландшафт местности и т. д. В данном случае исследуется влияние физических свойств и особенностей пространства на жизнь людей и сообществ, связанных с этим пространством.

Если земная поверхность — это достаточно обустроенное и социально размеченное пространство, то космос в настоящее время является практически не социализированным, преимущественно физическим пространством. И первая

1. В некоторых европейских языках (например, в английском, немецком, французском) космос и пространство даже обозначаются одним и тем же словом (*space*, *Raum* и *espace* соответственно), что позволяет предположить тесную связь между этими понятиями в мышлении европейского человека.

2. В соответствии с позицией Международной авиационной федерации, пространство выше Линии Кармана (выше 100 км над уровнем моря) принято считать космическим. См. документ об определении границы земного и космического пространств на сайте Международной авиационной федерации (<https://www.fai.org/page/icare-boundary>).

его особенность заключается в невозможности выживания в нем биологических организмов без специальных технических средств поддержки жизнедеятельности. Этот факт делает связь человека на космическом объекте (например, на МКС или другой планете) с Землей жизненно важным источником необходимых ему ресурсов³. Вторая особенность космического пространства затрагивает возможности перемещения в нем. Она состоит в том, что расстояния между объектами огромны, это делает практически невозможным путешествие людей обычным способом, например, за пределы Солнечной системы⁴. Третья особенность, затрудняющая его освоение, состоит в том, что это огромное пространство, где на очень больших расстояниях друг от друга находятся космические объекты, несопоставимо малые по сравнению с колоссальными дистанциями, отделяющими их друг от друга. Очевидно, что освоением космического пространства называется освоение именно космических объектов; получается, что даже успешно осваивая космические объекты, мы имеем лишь небольшие островки в разной степени изученного и освоенного пространства, разделенные огромным морем, которое с точки зрения современной науки представляется пустотой.

А. Ф. Филиппов понимает пространство в социологии в трех смыслах: мы «различаем понятие пространства в собственном смысле (пространство тел, имеющих форму и дистанцированных друг от друга, пространство мест, где тела могут быть размещены), в обобщенном смысле (как порядок сосуществования произвольно избираемого многоразличия) и понятие пространства в метафорическом смысле (прежде всего, социальное пространство как порядок социальных позиций)» (Филиппов, 2008: 50). Анализ пространственных аспектов освоения космоса позволяет выделить три понимания космического пространства в астросоциологии, базирующихся на этих предложенных Филипповым смыслах:

3. Сегодня специалисты сравнивают коммуникацию между Землей и будущими станциями за ее пределами с коммуникацией с членами экспедиций, работающих в отдаленных уголках Земли, к примеру, в Антарктиде. Однако космические расстояния усложняют подобную коммуникацию, поэтому колонии в космосе должны быть более автономными, чем любые земные сообщества, так как в пределах Земли всегда имеется возможность выслать людям помочь в относительно сжатые сроки, а люди могут выживать даже в экстремальных земных условиях довольно долго, в то время как в космических условиях помощи с Земли дождаться затруднительно. Кроме того, люди не планируют заселять отдаленные уголки Земли, например, ту же Антарктиду, чего нельзя сказать о космических объектах, планы создания колоний на которых вынашиваются уже не один десяток лет. Таким образом, перспективы колонизации космических объектов требуют такой их трансформации, которая позволила бы сделать возможным их масштабное заселение землянами.

4. Согласно теории относительности, невозможно превысить скорость света, а при путешествии даже на релятивистских скоростях (близких к скорости света) на полет придется затратить как минимум десятилетия, так как ближайшая звездная система находится более чем в четырех световых годах от Земли, а ближайшая экзопланета земного типа, на которой могут быть более-менее пригодные для жизни условия и которая могла бы стать базой дляterraформирования и размещения колонии землян, расположена в 11 световых годах от нашей планеты (Bonfils, 2017). Есть, конечно, гипотетический вариант путешествий через искривления пространственно-временного континуума («крутовые норы», или «чертоточины»), однако пока мало изучена даже возможность такого перемещения в пространстве. Узнать больше о «крутовых норах», а также ознакомиться со списком литературы по теме можно в статье Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Крутовая_нора#cite_ref-7).

1) статическое понимание космического пространства: космос как пространство, характеризующееся размерами, расстояниями и физическими свойствами объектов, которые изучаются, осваиваются, присваиваются, находят отражение в культуре и т.д.;

2) понимание космоса как пространства, фреймирующего социальные взаимодействия: физические свойства космического пространства, объектов и расстояний между ними определяют особенности взаимодействия людей, находящихся над Линией Кармана;

3) понимание космоса как пространства, формирующего коллективные представления: отражение космической тематики в культуре создает в массовом сознании определенный образ космоса, подобные образы есть в сознании и ученых, и космонавтов, и других связанных с освоением космоса социальных групп, что позволяет сделать вывод о множестве отражающих космическое пространство социальных конструктов.

Космос сегодня — это, прежде всего, физическое пространство, характеризующееся огромными расстояниями между объектами и невозможностью выживать в нем биологическому организму без систем поддержки жизнедеятельности. Земной социум не укоренен в космическом пространстве, что делает его в некотором смысле подобным отдаленным пространствам на Земле (Антарктида), при этом условия космоса приспособлены для жизни в значительно меньшей степени, а космические расстояния существенно больше земных. Сегодня в космосе, за исключением экипажа МКС, не формируется сообществ, взаимодействующих между собой.

Стоит отметить также отличие адаптации человека к жизненному пространству в пределах Земли и за ее пределами. На Земле трансформации главным образом подлежит пространство: человек меняет ландшафт местности, воздействует на флору и фауну, создает искусственные пространства (к примеру, городские пространства) и т. п., в то время как при освоении космоса меняется в основном сам человек: в космонавты берут лишь людей, соответствующих набору критерий, эти люди годами адаптируют свое тело для условий космического полета. Такое различие объекта адаптации можно объяснить наличием у цивилизации возможностей трансформации земного пространства при явной недостаточности ресурсов для трансформации физического пространства космоса.

Теории глобализации и мобильностей

Освоение космического пространства — глобальная задача, требующая объединения усилий представителей разных стран для реализации глобальных космических проектов. Космические путешествия, особенно в дальний космос, требуют перемещения на дальние расстояния если не людей, то по крайней мере космических аппаратов, что делает необходимым теоретическое осмысление социальных условий организации этих перемещений. Задачи астросоциологии в деле выявле-

ния, описания и осмысления особых форм социального взаимодействия в ходе этих процессов могут быть решены с использованием теорий глобализации и мобильностей, разработанных Джоном Урри и Мануэлем Кастельсом и адаптированных в данной работе для задач астросоциологии.

Урри, исследуя глобализацию как расширение пространства социума и как следствие развития технологий, пришел к выводу о необходимости создания глобальных межнациональных сетей, необходимых для освоения космоса. Исследование пространственных мобильностей в глобальном масштабе является одним из путей, выводящих на тему космоса в социологии: с одной стороны, освоение космоса изначально предполагает перемещения в пространстве, не имеющие аналогов на Земле ни по дальности, ни по скорости; с другой стороны, как мы отмечали ранее, мобильности в космическом пространстве всегда специфичны в силу того, что осуществляются в среде, непригодной для жизни биологических видов. Теории глобализации и мобильностей позволяют исследовать освоение космоса как источник расширения пространства взаимодействия социальных акторов в обоих представленных выше смыслах понимания пространства: пространство предстает здесь и как логический конструкт, поскольку метафора сетей характеризует специфику диспозиции и взаимодействия социальных акторов, и как физическое пространство, поскольку именно оно фреймирует взаимодействие глобальных сетей и акторов в них, а мобильности, по Урри, как бы они ни были социально структурированы, осуществляются именно в физическом пространстве. Таким образом, объединенные в метафорически именуемое сетями социальное пространство акторы перемещаются в физическом пространстве. Рассмотрим подробнее, какие ресурсы теорий глобализации и мобильностей можно использовать для исследований в контексте астросоциологии.

Развитие технологий, по Урри, привело к формированию глобальных сетей, развивающихся вне конкретных обществ и отдельных государств, за пределы которых выходят глобальные информационные и ресурсные потоки (Урри, 2012б; Urry, 2003). Кастельс, продолжая эту мысль, доказывает, что социальная жизнь в условиях глобальных сетей выходит за пределы национальных обществ, глобальная деятельность требует объединенного участия социальных акторов из различных точек земли и консолидации усилий всего человечества для решения глобальных задач (Castells, 2010). Освоение космоса — это одна из таких задач, на примере решения которой мы можем наблюдать международную интеграцию⁵. С начала XXI века частью глобальных сетей освоения космоса становятся ком-

5. Еще в 1970-е годы, во времена космического соперничества и холодной войны между СССР и США, между странами НАТО и странами Варшавского договора, стало понятно, что освоение космоса отдельно взятыми государствами невозможно из-за банальной нехватки ресурсов, вследствие чего было положено начало космического сотрудничества, первым шагом которого была стыковка космических кораблей — советского «Союза» и американского «Аполлона». В настоящее время освоение космоса осуществляется преимущественно международным сообществом: имеются международные космические программы, с 1998 года функционирует МКС, экипажи космонавтов часто формируются из представителей разных государств.

пании, не являющиеся государственными. И хотя международное космическое сотрудничество сталкивается с рядом препятствующих его развитию проблем (напряженность международной обстановки, межнациональные конфликты, кризисы, военные амбиции государств и т. д.), все же можно признать такое сотрудничество плодотворным.

Говоря о теории глобализации, мы можем заметить интересную особенность, возникающую при ее применении для описания сообществ космонавтов, работающих за пределами стратосферы Земли, и в особенности для описания рассматривающихся в перспективе сообществ колонистов космических объектов (например, Марса). С одной стороны, чтобы вывести человеческие сообщества в космос, необходимы созданные глобальными сетями ресурсы: например, международное частно-государственное партнерство, то есть человеческие сообщества в космосе являются продуктом глобализации. С другой же стороны, они сами по себе локальны: находятся далеко от Земли и имеют значительную автономность (о которой мы упоминали выше, говоря о перспективах сообществ колонистов космических объектов). Таким образом, они, оставаясь продуктом глобализации, становятся островками локальности в рамках нее⁶.

Хотя на сегодняшний день освоение дальнего космоса остается международной деятельностью, возможной лишь в рамках глобальных сетей, уже сегодня появляются тенденции к автономизации космической деятельности при освоении ближнего космоса. Появляются частные космические компании (самая крупная — Space X), способные самостоятельно заниматься освоением космоса. Запуск спутников, к примеру, уже сегодня самостоятельно осуществляется частными компаниями. И хотя пока что нехватка ресурсов не позволяет им реализовывать проекты по освоению дальнего космоса, в недалеком будущем с развитием технологий это станет возможным (Space X уже сегодня разрабатывает проекты колонизации Марса).

Представленные примеры показывают, как освоение космоса не только расширяет физическое пространство присутствия человечества во Вселенной, но и способствует формированию глобальных сетей, которые, с одной стороны, являются метафорическими пространствами, объединяющими взаимодействующих акторов, а с другой — трансформируют физическое пространство, действуют в нем и испытывают его влияние, обуславливающее специфику их действий.

Стоит также обозначить проблему трансформации глобальности, возникающую с выходом человечества в космическое пространство. В докосмическую эпоху под глобальным понимается то, что характерно для всей Земли, и глобальным считается нечто самое обширное и всеохватывающее. Однако по отношению к космосу глобальное становится локальным: целокупность общих для всей Зем-

6. Если в автономиях возникнут социальные группы, то там могут начаться новые линии раздела обществ и процессы деглобализации. Глобальные усилия нужны при запуске новых колоний, после чего они могут начать прилагать усилия по все большей независимости, например, ограничивать миграцию к ним.

ли проблем не включает в себя проблем космоса, поскольку Земля — лишь его маленькая часть. Глобальным же в значении «всеобщего» становится то, что характерно для всей Вселенной. Таким образом, освоение космоса значительно расширяет границы глобальности. Кроме того, космические проблемы, в масштабах которых глобальные земные проблемы локальны, по отношению к Земле всегда становятся глобальными. К примеру, проблемы повышенной солнечной активности или астероидной угрозы касаются всей нашей планеты в целом.

Что касается мобильностей, то освоение космоса выводит тему пространственных мобильностей на принципиально новый уровень, главным образом посредством создания возможности для перемещения на многократно большие расстояния. Мобильности в теории Урри — это перемещения в физическом пространстве (реальные или виртуальные). Физическое пространство оказывает сопротивление перемещающимся акторам, для преодоления которого им необходимо формировать глобальные сети, аккумулировать и тратить ресурсы, создавать социотехнические гибриды. Чтобы переместиться из точки А в точку Б, необходимо потратить топливо, использовать сети сообщения (дороги, маршруты), задействовать технику (автомобили, поезда, самолеты) и т. д. Мобильности, таким образом, можно рассматривать как способ преодоления сопротивления физического пространства для перехода в иную его точку. Современные общества стали более мобильными благодаря развитию техники, которая позволила эффективнее преодолевать сопротивление физического пространства. Специфика космических мобильностей состоит в том, что с их помощью сетями преодолевается более сильное по сравнению с земным сопротивление космического пространства, выраженное в невозможности выживания в нем биологических организмов, огромности расстояний и малых размерах объектов (иных точек физического пространства, в которые требуется перейти) по сравнению с пространством, которое нужно преодолеть, чтобы достичь их. Урри выделяет пять взаимосвязанных видов пространственных мобильностей (Урри, 2012а). В контексте его классификации рассмотрим новые виды пространственных мобильностей, порождаемые освоением космоса.

1) Физическое перемещение людей — как физическое путешествие в космос, так и перемещение участников в его освоении людей на Земле. Космическая мобильность представлена работой экипажей космических кораблей, работой космонавтов на МКС, высадкой астронавтов на Луне, возможным путешествием⁷ людей на другие планеты, а в отдаленной перспективе и возможностями колонизации других планет. Мобильность в пределах Земли включает перемещение работников ракетно-космической отрасли и членов их семей в места расположения космических предприятий, центров управления полетами, космодромов и т. д.

7. Тема путешествий и туризма занимает одно из главных мест в социологии мобильностей Джона Урри. О проблеме путешествий (в пределах Земли) как виде мобильностей, об осмыслиении туризма в контексте социологии мобильностей и о феномене «взгляда туриста» см. его работы: Urry, 1990, 2000; Urry, Larsen, 2011.

2) Физическое перемещение объектов, которое представлено как путешествием космических аппаратов — от искусственных спутников Земли до исследующих космические дали «Вояджеров» — в космосе, так и их транспортировкой и транспортировкой их производств на Земле.

3) Воображаемые путешествия⁸. В условиях нехватки ресурсов для успешного телесного преодоления сопротивления физического пространства космоса это пространство преодолевается силой воображения и ресурсами накопленных человечеством знаний. Этот недостаток ресурсов, необходимых для физических путешествий, компенсируется информационными ресурсами, а сопротивление физического космического пространства преодолевается при помощи интеллектуальных ресурсов и накопленных знаний.

4) Виртуальные мобильности благодаря современным компьютерным технологиям предоставляют шанс быть не в том месте, в котором человек находится физически, с поправкой на отставание сигнала из космоса во времени⁹. Развитие космической отрасли в совокупности с совершенствованием компьютерных технологий дало возможность человеку отправиться в космос, сидя в кресле у монитора, посредством фотографий с «Вояджеров», мощных телескопов, роботов — исследователей Луны, Марса, Венеры и других планет, а также благодаря фильмам о космосе, воспоминаниям космонавтов, видеосъемкам работы МКС и т. д. Кроме того, компания Google создала трехмерную карту Марса, по которой можно перемещаться, вращать камеру, передвигать изображение подобно аналогичным картам (Google Maps) Земли с функцией режима панорамного просмотра улиц. И хотя проект карты Марса на момент написания работы находится в разработке и пока далек от совершенства, он уже позволяет виртуально путешествовать по Марсу¹⁰, что является примером виртуального путешествия в понимании Урри. Так же как

8. Новые знания о космосе, прочитанные книги, просмотренные фильмы, «пройденные» компьютерные игры — все это прочно поселяет тему космоса в нашем воображении. Космос становится предметом представлений и мечтаний человека, предметом исследования научных теорий и написания фантастических романов. И пока физические путешествия человека в дальний космос все еще затруднены технологически, пока совершить полет в космос могут лишь избранные, каждый из нас имеет возможность космических путешествий, осуществляемых силой нашего воображения на основании научных фактов, изложенных в научных трудах, фильмах книгах и т. д. Примером фильма, конструирующего при помощи компьютерной графики путешествие по просторам Вселенной, может стать фильм Явара Аббаса 2008 года «Путешествие на край Вселенной». Посмотреть фильм можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=H1sp4S9B_kY.

9. Однако в полной мере такие виртуальные мобильности в космических масштабах невозможны из-за слишком больших расстояний, вследствие чего мы, например, не можем наблюдать вспышки на Солнце в режиме онлайн, так как мы можем видеть Солнце таким, каким оно было восемь минут назад из-за ограничения скорости света. Получать сигналы с космических аппаратов можно с еще большими задержками. С другой стороны, если не предъявлять к виртуальным мобильностям требований осуществляться в режиме онлайн, то такие мобильности вполне возможны уже сегодня.

10. Прообраз 3-D карты Марса: <http://mars3dmap.com/>. Чтобы виртуально путешествовать по Марсу в лучшем качестве и с большими возможностями, нужно скачать приложение от Google по ссылке: <https://www.google.com/intl/ru/earth/download/gep/agree.html> и там в меню необходимо выбрать пункт «планета Марс». Инструкции по выполнению всех необходимых действий см. в: <https://www.google.com/earth/>.

и воображаемые путешествия, виртуальные мобильности представляют собой альтернативный способ преодоления сопротивления физического пространства космоса. Сопротивление агрессивной среды космического пространства преодолевается в данном случае не посредством разработки социотехнических гибридов (космонавта и скафандра или космонавта и космического корабля), как в случае полетов космонавтов, а посредством создания при помощи космической техники и компьютерных технологий виртуального пространства как пространства особого рода, которое при помощи аудиовизуальных образов отражает реальное космическое пространство.

5) Мобильности коммуникативного взаимодействия (обмен информацией на дальних расстояниях через телефон, мессенджеры, социальные сети и т. д.). Многие из них доступны во многом благодаря связанным с космосом технологиям: спутниковая мобильная связь и Интернет, системы спутниковой навигации — все это возможно благодаря освоению космоса. Что касается коммуникации с космическими аппаратами, находящимися за пределами земной орбиты, то она затруднена из-за большой задержки сигнала из космоса. Например, сигнал¹¹ с Марса мы получаем с двадцатиминутным опозданием. В данном случае сопротивление физического пространства космоса преодолевается не людьми и не техникой, а радиосигналом. Сопротивление пространства здесь приводит к появлению временного промежутка между отправкой и получением сигнала, что является серьезной проблемой для коммуникации с удаленными в космическом пространстве объектами.

Представленная Урри классификация пространственных мобильностей в полной мере отражает их целокупность в пределах Земли и позволяет включить в нее множество видов пространственных мобильностей, уже осуществляющихся или осуществимых в перспективе, в космическом пространстве. По мнению Урри, в рамках новой парадигмы мобильностей исследователю стоит не фокусироваться на одной из представленных выше форм мобильностей по отдельности, а также на лежащих в ее основании инфраструктурах, а напротив, делать акцент на комплексной сборке этих мобильностей, которые способны поддерживать и на деле постоянно поддерживать социальные связи на различных расстояниях (Урри, 2012а). Согласимся с Урри, что целокупность мобильностей и связь между ними важна, однако применительно к астросоциологическим исследованиям изучать мобильности в комплексе часто бывает невозможно. Например, мобильность космических аппаратов не всегда сопровождается мобильностью людей. Поэтому сам Урри отдает предпочтение отдельным из представленных пяти видов мобильностей.

Урри, разрабатывая социологию мобильностей, выделяет в ней два крупных предмета исследований: сами мобильности и системы мобильностей. Системы мо-

11. Стоит также отметить, что развитие технологий коммуникативного взаимодействия дает потенциальную возможность вступить в контакт с представителями внеземных цивилизаций (для этого реализуется программа радиопрослушивания космоса SETI, например).

бильностей определяются как «комплекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, который делает определенный вид перемещения возможным. Точнее, не просто возможным „в принципе“, но повторяемым, предсказуемым, доступным широкому кругу людей и объектов. Системы мобильностей включают не только собственно движущихся людей и объекты, но и всевозможные идеи, связи, неподвижные объекты инфраструктуры и все, что их обеспечивает и снабжает. Любое отдельное действие и перемещение возможно лишь как включенное в определенный комплекс систем мобильности» (Харламов, 2012: 24). Таким образом, системы мобильностей создают социальную и предметную структуру, упорядочивающую свободные потоки мобильностей (Урри, 2012а). Проще говоря, если передвижение на автомобиле рассматривать как мобильность, то необходимые для такой поездки ресурсы составят систему мобильностей¹².

Если мобильности определены нами как способ преодоления сопротивления физического пространства для перехода в иную его точку, то системы мобильностей — это инструменты, обеспечивающие наиболее эффективный переход в иную точку физического пространства. В контексте нашего исследования среди систем мобильностей стоит особо выделить системы, структурирующие мобильности. Применительно к автомобильным путешествиям это будут правила дорожного движения, карты маршрутов, система дорог и транспортных развязок. Что касается исследований систем мобильностей в космическом пространстве, то в наибольшей степени проблематизируются системы, структурирующие мобильности. Если на Земле есть сформированные правила дорожного движения, то система космического права¹³ по сей день находится в стадии формирования.

На первый взгляд, мобильности за пределами земной орбиты вообще никак не структурируются. Действительно, если на Земле передвижения людей и вещей структурируются сетью дорог и транспортных узлов, то в космосе подобной инфраструктуры нет. Если движение и деятельность орбитальных спутников контролируются международным правом и структурируются необходимостью согласования траекторий полета и решаемых задач, то за пределами земной орбиты появляется полная свобода передвижений: маршруты¹⁴ можно конструировать

12. Систему мобильностей в данном случае сформируют и системы доставки асфальта для автомобильных дорог из другой местности, транспортировки нефти от ее месторождений на нефтеперерабатывающие заводы, последующей доставки топлива на автозаправки, системы импорта автомобилей из других стран и т. п. В систему мобильностей будут включены и материальные предметы, обеспечивающие дорожное движение (асфальт, светофоры, краска для дорожной разметки и т. д.), и социальные институты, обеспечивающие комфорт и безопасность движения (ремонтные дорожные службы, инспекторы дорожного движения).

13. Наиболее удачным нам представляется ознакомительный обзор истории и нынешнего состояния космического права, представленный Дмитрием Огородовым. Ознакомиться с ним можно по ссылке: <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6271/>.

14. Социологическую проблематизацию маршрутов и их построения можно найти в работах Георга Зиммеля, определившего маршрут как источник постоянного соединения между различными местами. Анализ теоретического наследия Зиммеля не входит в тематику данной работы, однако подробный анализ темы маршрутов применительно к социологии мобильностей представлен в работе

самостоятельно, нет ни дорог, ни предписаний, куда и как двигаться. Однако такое первое впечатление весьма обманчиво. Система, структурирующая мобильности, переходит в космос, но на принципиально новом уровне, что обусловлено охарактеризованным выше более сильным сопротивлением агрессивной среды физического пространства космоса. На деле космические мобильности структурированы гораздо более жестко, чем земные — структуру им придают законы космической механики, особенности агрессивной среды космического пространства, решаемых задач, космических расстояний и технических возможностей космических аппаратов. Особенностью космических мобильностей является и тот факт, что система, их структурирующая, имеет жесткие временные ограничения¹⁵. Необходимость действовать в рамках создаваемой космическим пространством жесткой структуры перемещений, как пространственной, так и временной, значительно усложняет подготовку мобильностей.

Таким образом, можно сделать вывод, что подробно описанные Урри на «земном» уровне системы мобильностей, в частности, системы, структурирующие мобильности, появляются в космосе на новом уровне: для действия структурирующих мобильности систем в космическом пространстве характерен более жесткий пространственный и временной детерминизм, обусловленный физическими особенностями космического пространства и ограниченными возможностями космической техники. С одной стороны, мы выходим в не имеющий маршрутов космос, где мобильности не структурированы, с другой — ограниченные возможности техники и человеческого тела жестко структурируют мобильности. Важной особенностью систем мобильности становится «гиперсложность» и «комплексность»¹⁶ современных технических объектов и технологий: «Мушкет Эли Уитни в 1800 году состоял из 51 детали, в то время как в космическом шаттле их 10 миллионов» (Урри, 2012а: 105).

Обе теории Урри, теория глобализации и теория мобильностей, способны стать основой для астросоциологических исследований. Урри разработал концепции, объясняющие социальные явления в пределах Земли, однако потенциал созданных им теоретических ресурсов дает задел, позволяющий исследователю, доработав некоторые положения и экстраполировав их на условия космического

Урри «Мобильности» (Урри, 2012а: 93–103). Также полезно обратиться к первоисточнику, а именно: Simmel, 1997.

15. Например, при нынешнем уровне развития технологий для полетов космических аппаратов на Марс нужно ждать сближения Земли с Марсом, происходящего раз в два года, а полет людей на Марс в ближайшей перспективе возможен в периоды «великого противостояния» Земли и Марса, длящегося лишь несколько недель и происходящего раз в 15–17 лет.

16. По мысли Урри, глобализация приводит к тому, что как общественные отношения, так и вещи в современном обществе становятся более комплексными, то есть состоящими из большего числа связей/аспектов/составных частей и требующими большего числа мобильностей, перемещений, совершаемых на более дальние расстояния. Так, например, упомянутый Урри космический шаттл не только содержит значительно большее количество деталей, чем мушкет, но еще и порождает необходимость привозить эти детали и материалы из разных точек Земли. По теме глобальных комплексностей см.: Urry, 2003.

пространства, говорить об этих явлениях языком социологической теории, а также определять специфику «космических» социальных явлений в их сравнении с «земными». Благодаря теории глобализации и мобильностей мы можем исследовать освоение космоса как деятельность по преодолению сопротивления космического пространства в целях перемещения и выживания в нем, а также исследовать и теоретически описать необходимые для такой деятельности инструментальные системы — сети, являющиеся логическими конструктами, предложенными Урри для описания и исследования диспозиции и взаимодействия акторов при организации и обеспечении перемещений в физическом пространстве.

Исследования науки и техники в астросоциологии

Освоение космического пространства — одна из самых наукоемких отраслей человеческой деятельности. Для успешной работы человека и техники в пространстве выше Линии Кармана это пространство необходимо изучать. Развитие техники и технологий — один из ключевых факторов успешности исследования человека в космическом пространстве. Большая часть деятельности по перемещению в космическом пространстве и его изучению на сегодняшний день осуществляется космической техникой, а не космонавтами, поэтому исследования взаимодействия человека с космическими аппаратами, работающими в ближнем и дальнем космосе, обладают первостепенной важностью. К наиболее перспективным для нашей тематики направлениям можно отнести акторно-сетевую теорию, созданную Бруно Латуром, Джоном Ло и Мишелем Каллоном. Охарактеризуем основные положения акторно-сетевой теории как источника теоретических ресурсов для астросоциологии.

1) «Вещи тоже действуют!» — лозунг, предложенный в качестве основополагающей идеи акторно-сетевой теории (ACT), в полной мере отражает основную мысль ACT (Ерофеева, 2017: 84). Эта концепция предполагает наделение вещей (точнее сказать, нечеловеков) агентностью как способностью к действию, то есть способностью быть акторами (или актантами¹⁷ в терминологии семиотики А. Ж. Гримаса, которой пользуется Латур). Социальное, в понимании Латура, перестает создаваться исключительно взаимодействующими людьми, оно становится результатом действия сетей акторов, к которым относятся и «нечеловеки», то есть животные, растения, вещи и т. д. (Latour, 2005; Латур, 2006в). В качестве примера действующей вещи Латур характеризует дверной доводчик, который поддерживает порядок в парижском Кожевенном павильоне¹⁸, а именно, позволяет проходить в него людям, а холодный февральский ветер туда не пропускает (Латур, 2006а).

17. Термины «актор» и «актант» в контексте акторно-сетевой теории используются нами как синонимы.

18. Кожевенный павильон (Halle aux cuirs) — помещение, изначально служившее цехом для обработки и хранения шкур, после переоборудования превратилось в репетиционные залы и последние два десятилетия используется танцевальными коллективами.

Деятельность вещей особо актуализируется при исследовании работы роботов и другой высокотехнологичной техники, способной к самостоятельной деятельности, не предполагающей вмешательства человека. К такой технике, несомненно, относятся аппараты, используемые при освоении космического пространства. Более того, в контексте АСТ не будет ошибкой сказать, что космическое пространство осваивает в основном техника¹⁹ — ведь дальше Луны нога человека пока что не ступала. Космические аппараты осуществляют автономную исследовательскую деятельность, но при этом включены в сети: они посыпают результаты деятельности на Землю, они являются частью космических программ, они спроектированы, запрограммированы и построены человеком на Земле. Такие автономные технические аппараты являются на сегодняшний день единственными актантами, способными успешно преодолевать сопротивление физического пространства космоса и успешно действовать в нем.

2) Действуют гибриды, сети и ассоциации. Понятие социотехнического гибрида у теоретиков АСТ мало отличается от данного понятия в социологии мобильностей Урри, разве что у Урри человек играет более важную управляющую роль по отношению к технике, в то время как АСТ трактует взаимодействие человека и техники как равное. В качестве «земного» примера мобильности социотехнического гибрида Урри приводит гибрид²⁰ человека и автомобиля (Urry, 2004). Социотехнический гибрид — это такая сцепка человека и технического объекта, при расцеплении которой становится невозможным продолжение основного действия гибрида, с целью которого он создан. Перенося модель социотехнического гибрида в космическую сферу, мы видим, что в космосе «гибридность» человека и техники — единственный вариант выживания²¹ человека. Являющиеся частью социотехнических гибридов технические приспособления служат «протезами» («протезирующие объекты» по Урри) для человека в космосе, то есть они допол-

19. Если работой луноходов и марсоходов люди еще управляют с Земли, то деятельность работающих в более дальнем космосе аппаратов («Вояджеров», искусственных спутников планет Солнечной системы и других подобных аппаратов) фактически вообще не регулируется — они управляются искусственным интеллектом. Подобные аппараты ведут автономную исследовательскую деятельность в космосе, а на Землю прсылают фактически ее результаты: снимки, данные и т. п. Более того, при существующих технологиях управление деятельностью аппаратов в дальнем космосе практически невозможно из-за того, что сигналу от этих аппаратов необходимо очень много времени, чтобы дойти до Земли и от Земли вернуться обратно.

20. Тема автомобилей, а также феномен «автомобильности» широко представлены в социологии мобильностей Урри. Основными его работами по данной тематике, многие из которых написаны совместно с коллегами, можно назвать: Dennis, Urry, 2009; Urry, 1999; Featherstone, Thrift, Urry, 2005.

21. Если на Земле мы можем представить себе существование автомобиля без водителя и водителя вне автомобиля, то в космосе человек без техники существовать физически не может — он полностью зависит от обеспечивающей его жизнедеятельность техники. Поэтому как при перемещении в космическом пространстве, так и при высадке на космические объекты мы имеем гибрид космонавта и космического корабля, так как, даже покидая корабль, космонавт остается с ним в непрерывной связи, обеспечивающей его жизнедеятельность. Гибрид космонавта и космического скафандра разделяться может только по возвращении в космический корабль (на космическую станцию) или на Землю — в противном случае космонавт моментально погибнет.

няют и компенсируют возможности человеческого тела, преодолевающего сопротивление агрессивной среды космического пространства. Таким образом, понятие гибрида — это пространственная метафора, описывающая теснейшее взаимоотношение двух акторов разной природы (людей и нечеловеков). Однако гибриды предстают и в качестве физических объектов — физически сцепленных акторов разной природы, совместно действующих в физическом пространстве. Сеть является формообразующим элементом АСТ, структурирующим отношения между людьми и нечеловеками, однако пребывающим при этом в постоянном движении и динамично изменяющимся. Метафора сети в данном случае действует пространственное воображение читателя, что позволяет наиболее точно передать ему специфику соотношения и взаимодействия акторов. Ассоциация — это вид взаимовыгодных взаимоотношений, в которые вступают акторы, формирующие сети. Ассоциация, таким образом, выступает в качестве формирующей сети конструкции. При помощи метафоры ассоциации в АСТ передаются способ и динамика формирования взаимоотношений взаимодействующих акторов. Для Латура особое значение имеет борьба сетей, в которой побеждает та сеть, которая смогла объединить больше акторов и осуществлять деятельность в более привычных для себя условиях. В контексте борьбы сетей можно охарактеризовать космическую гонку СССР и США, конкуренцию между организациями, исследующими космическое пространство, конкуренцию между техническими разработками космической техники и т. д. Сети и ассоциации формируются главным образом при подготовке космических полетов, строительстве и обеспечении работы космодромов. Каждый космодром, как особо сложный технический объект («гиперсложный объект» по Урри), формирует вокруг себя сеть из акторов: людей, обеспечивающих его работу или проживающих на местности, где строится или работает космодром, и нечеловеков, то есть окружающей космодром местности, природных объектов на данной территории, космической техники, технологий запуска космических аппаратов и т. д. Действующий в космическом пространстве аппарат может быть исследован как продукт и элемент сети отношений, сделавших его работу возможной. Исследование взаимоотношений с таким аппаратом может быть дополнено исследованием сетей, его создавших. Пространственные метафоры гибрида, сети и ассоциации позволяют формировать теоретический язык для описания взаимодействия имеющих пространственную протяженность актантов при освоении физического пространства космоса.

3) «Космос» производится учеными в лабораториях. Процесс получения учеными знаний и создания научных фактов наиболее ярко охарактеризовали Латур и Стивен Вулгар в труде «Лабораторная жизнь», в котором они исследовали деятельность лаборатории, практики ученых, сопровождающие производство ими знания, и особенности взаимодействия ученых с объектами их исследований (Латур, 2012). Следуя логике Латура и Вулгара, можно прийти к выводу, что наши знания о космосе конструируются учеными, исследующими его. Они преобразуют получаемую информацию в научное знание посредством конструирования моделей

космоса, создаваемых на основании особенностей научных школ, возможностей исследующей космос техники, специфики деятельности космических аппаратов, собственной способности продуцировать научные знания. В большинстве случаев закрытыми от посторонних глаз остаются так называемые черные ящики, то есть внутренняя «кухня» получения научных знаний: чертежи, методы, неудавшиеся модели аппаратов, процедура того, как ученые приходят к тем или иным выводам (Коркюф, 2002). Таким образом, конструирование «космоса» — это отражение физического космического пространства в сконструированной учеными модели этого пространства, распространяемой при помощи информационных ресурсов в культурном пространстве. В результате вся многообразная целокупность характеристик физического пространства космоса редуцируется к его распространенной в данной культуре модели, имеющей более удобный для восприятия вид. Кроме того, для науки большое значение имеют практики убеждения учеными научного сообщества и общественности в истинности получаемых учеными фактов (Latour, 1988). Такими практиками создаются наиболее привлекательные для целевой аудитории модели космического пространства. К тому же к практикам убеждения при проведении космических исследований приходится обращаться особенно часто из-за дороговизны исследований. Получается, что изучение и освоение космоса — это всегда с неизбежностью продукт социальных отношений, где и успехи, и неудачи разделяются между участниками взаимодействия, и «результат» — это не «то, что есть на самом деле», а «договоренность»: исследователям космоса сначала приходится убеждать властные структуры и общественность, что «космос нам нужен» и что его исследования стоят тех денег, которые на них тратятся²², а потом нужно убеждать власти и общественность в достоверности и значимости получаемых результатов, которые при этом еще должны быть красиво представлены²³.

4) Наука создается практиками письма. Латур особое внимание уделяет практикам регистрации получаемых в лаборатории данных, практикам ведения лабораторных записей, которые впоследствии становятся основой создания научных фактов и убеждения других людей в их истинности (Латур, 2006б). Сопротивление физического космического пространства создает проблему регистрации и интерпретации получаемой от космических исследовательских аппаратов информации. Эта проблема весьма значима с учетом удаленности космических аппаратов от Земли, задержки поступающих от них сигналов и недостаточности знаний у человечества относительно изучаемых объектов и процессов.

5) Акторы перемещаются в физическом и сетевом пространствах. Данные пространства исследуются главным образом разрабатываемой Джоном Ло социальной

22. В качестве примера достаточно вспомнить, что самому С. П. Королеву неоднократно приходилось убеждать руководство СССР в необходимости космических исследований, и не всегда переговоры заканчивались успешно.

23. Например, при исследовании Марса особой задачей всегда является создание так называемых открыточек — привлекающих общественное внимание красивых фотографий планеты. Данная тема затрагивается Джанет Вертези (Vertesi, 2015).

топологией в АСТ (Ло, 2006). Ло трактует понятие сети в качестве топологической системы, представляющей собой определенную форму пространственности (Вахштайн, 2006). «Пространство (здесь Ло последовательный лейбницианец) — это порядок объектов, объекты — суть пересечения отношений. Изменение отношений приводит не только к изменениям самих объектов, но и к изменениям форм пространственности» (Вахштайн, 2017: 38). Данная трактовка пространственности акцентирует внимание на проникновении метафорического пространства взаимоотношений акторов в физическое пространство. Объекты, согласно топологии Ло, могут двигаться в двух пространствах: физическом (называемом Ло географическим, так как объекты за пределами Земли Ло не исследовал) и сетевом. При смещении объектов в пространстве сетей происходит утрата их гомеоморфизма, то есть они не просто изменяются, а перестают быть теми объектами, которыми они были (Вахштайн, 2014). Таким образом, пространство сетей — это метафорически выраженная форма взаимоотношения, взаимодействия и передвижения в физическом пространстве физических объектов как целокупности их составных частей. Успешность передвижения²⁴ мобильного объекта в физическом пространстве зависит от успешности работы сетей, обеспечивающих это передвижение, и от сохранения данного объекта от смещений в сетевом пространстве, которые могли бы нарушить его сетевую целостность. Данный тезис демонстрируется на примере космической техники: космический корабль, цель которого — перемещать грузы и космонавтов в физическом пространстве космоса, сможет успешно это делать, только если все сети (от рабочих, собирающих корабль, до центра управления полетами) отработают без смещений. В противном случае корабль не сможет двигаться в физическом пространстве и сместится в сетевом — из космического корабля превратится в груду металла или в музей.

6) Действовать могут не только вещи, но и нематериальные сущности. Если в первоначальной версии акторно-сетевой теории действовать могли материальные объекты (то есть вещи), то в более позднем варианте теории способность к действию приобрели и нематериальные сущности. Анализируя проведенное Ло исследование португальского галеона, Вахштайн отмечает, что для португальцев времен великих географических открытий имперская идентичность способна к действию даже в большей степени, чем все материальные объекты, вместе взятые (Вахштайн, 2017; Ло, 2006). В терминологии Вахштайна наделение актантностью нематериальных сущностей получает наименование «ПкМ-2» (Поворот-к-

24. В качестве примера движущегося объекта Ло приводит португальский галеон (Ло, 2006). Судно занимает и физическое, и сетевое пространства, однако движется только в физическом. В сетевом пространстве он неподвижен, то есть он сохраняет устойчивость отношений между элементами сети, что позволяет ему оставаться тем же самым галеоном и успешно доставлять грузы из точки А в точку Б, в противном же случае, если такая устойчивость отношений теряется и происходит его смещение в пространстве сетей, он перестает быть галеоном и становится музеем, дровами или чем-нибудь еще (Вахштайн, 2017). То есть объект (галеон), сам являясь сетью составляющих его элементов, становится частью более обширных сетей (Португальской империи, флота и т. п.).

материальному-2), в то время как первоначальная версия акторно-сетевой теории именуется «ПкМ-1» (Поворот-к-материальному-1):

Латур, Ло и Каллон устранили различие между «человеками» и «нечеловеками», показав, что морские гребешки, микробы, дверной доводчик и втулочный насос разделяют с людьми свойство агентности, то есть способность быть актантами, действующими лицами, конституентами социального мира. Этот обманный маневр (фокусировка на агентности вещей) скрыл под видом «поворота к материальному» куда более фундаментальный теоретический сдвиг: рядоположение материальных и нематериальных актантов, потому что «нечеловеки» — это не только морские гребешки и втулочные насосы, это также и «имперская идентичность», добавляющаяся к технологиям португальской колониальной экспансии, и математические уравнения, действующие на рынке наряду с товарами и торговцами. (Вахштайн, 2017: 40)

Таким образом, в контексте ПкМ-2 актантом становится все, что действует, даже если это что-то не имеет материального воплощения. В контексте социальной теории привычными для нас остаются если не человеческие, то, по крайней мере, материальные акторы; ПкМ-2 призывает социальных исследователей быть более внимательными при рассмотрении сложных сетевых процессов, таких как исследование космоса, во-первых, в силу их комплексности; во-вторых, потому что мы при определенных условиях от них все больше и больше зависим, а значит, все больше и больше вынуждены на них полагаться. При этом если вещи имеют пространственную протяженность и, соответственно, способны действовать непосредственно, то нематериальные сущности, вроде национальной идентичности или формул для расчета траектории полетов, способны действовать только через материальных актантов. Чтобы португальская имперская идентичность смогла действовать, нужны португальцы, ей обладающие. Чтобы формулы для расчета космических полетов не потеряли своей актантности, нужны ученые и конструкторы, применяющие эти формулы или хотя бы материальные носители, на которых эти формулы записаны. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что для нематериальных сущностей действовать — значит становиться причиной действий материальных актантов. Для астросоциологии важно исследовать, как нематериальные сущности способствуют деятельности по преодолению сопротивления космического пространства для перемещения в нем материальных объектов и, в частности, людей. Может быть исследована актантность норм, правил и стандартов космической деятельности, коммуникационных пространств, национальных и культурных идентичностей участников освоения космоса и т. д.

7) Физическое пространство тоже действует. В предыдущих пунктах мы проанализировали, как акторы той или иной природы действуют и перемещаются в физическом и сетевом пространствах. Агентность сетей нами охарактеризована, теперь проанализируем способность к действию физического пространства. Физическое пространство тоже может выступать теоретической моделью, имею-

щей материальное воплощение в совокупности сред, в которых акторы действуют. Специфика каждой среды (ее физические свойства, состав, пригодность для выживания биологических видов) оказывает на акторов и их действия определяющее влияние: пространство опосредует действия актантов. В работе «Об интеробъективности» Латур дает ставшее классическим для АСТ определение действия: «*faire c'est faire faire*», которое переводится²⁵ как «действовать — значит опосредствовать действия другого» (Латур, 2006в). Из этого следует, что пространство действует. Для обозначения изменения действия при переходе в иную среду воспользуемся термином «транспонирование», взятым из социологии Ирвинга Гофмана. Гофман под транспонированием понимает перенос действия в иную систему фреймов. Фрейм — это система принципов организации события, основанная на определении актором ситуации. Среда, в которой актор совершает действие, напрямую влияет на определение им ситуации, поэтому можно сказать, что физические условия среды фреймируют ситуацию. У Гофмана понятие транспонирования связано с изменением смысла действия в ином фрейме: «Можно проследить смысловую связь между транспонируемым и транспонированным событиями. Например, репетиция театральной постановки внешне подобна самому выступлению, однако имеет несколько другое значение» (Ерофеева, 2015б: 32). При транспонировании «определенная деятельность, уже осмысленная в терминах базовой системы фреймов, трансформируется в иной, с точки зрения участников, вид деятельности» (Гофман, 2004: 104). Смыл действия задается актором в соответствии с фреймом, в котором оно совершается. Поскольку физические свойства среды фреймируют деятельность акторов, то в терминологии АСТ данная среда, являющаяся физическим воплощением пространства, тоже становится актором, то есть тоже действует. Используя это рассуждение в контексте освоения космоса, мы можем отметить, что космонавты, являющиеся ключевыми акторами данной деятельности, получают уникальный опыт деятельности, фреймированной воздействием космического пространства. Возможность увидеть родную планету со стороны, ощущение невесомости, изменение специфики привычных действий, особое осознание и принятие новых идентичностей (жители Земли) — все это можно считать следствием фрейма²⁶ космического полета.

В завершении работы следует отметить важный момент. Исследуя специфику применения АСТ к коммуникации с находящимися в космосе акторами, важно отметить различие между векторами развития технологий: на Земле приоритет отдается развитию инструментов, аппаратов и технологий коммуникации и максимальному покрытию пространства системами коммуникации, в то время как

25. Этот перевод дан в работе: Латур, 2006в. Существуют и другие варианты перевода данного определения; наиболее подробно, с нашей точки зрения, они охарактеризованы в работе: Ерофеева, 2015а.

26. Об изменении мировоззрения и появлении новых идентичностей космонавты рассказывают в своих интервью. Вот некоторые из них: <http://cabinetdelart.com/intervyu/kosmos-kak-vdohnovenie/> (Олег Котов); <https://zelenyikot.livejournal.com/63203.html> (Павел Виноградов); <https://ur-l.ru/uMHFJ> (Геннадий Падалка).

при исследовании дальнего космоса важнее развивать возможности аппаратов, так как управлять ими в режиме онлайн с Земли невозможно из-за ограниченности скорости сигнала. Таким образом, в пределах Земли большее значение имеет совершенствование *сетей* коммуникации, в то время как для космической индустрии важнее совершенствовать *акторов*, то есть технические аппараты, что побуждает исследователей разрабатывать способы делегирования технике максимального числа решений.

Перспективы последующих исследований

Астросоциология сегодня — это новая социологическая дисциплина, в контексте которой можно выделить перспективные тематические поля исследований, актуальных для ближайшего будущего. Представим тематический разворот наиболее перспективных, с нашей точки зрения, исследований.

1) Исследования влияния освоения космоса на экологические проблемы. Деятельность международных сетей по освоению космоса способна дать ресурсы для решения глобальных экологических проблем, являющихся одним из вызовов человечеству в эпоху глобализации. Так, на сегодняшний день большой проблемой является глобальное потепление по причине вызванного чрезмерным сжиганием ископаемых углеводородов избытка диоксида углерода в атмосфере (Urry, 2011). С 1850 года объем выбросов углекислого газа рос по экспоненте, и в настоящее время нет даже признаков его замедления (Berners-Lee, 2013). В настоящее время с большими проблемами сопряжено даже поддержание объема выбросов на таком уровне, который был бы способен удержать глобальное повышение температуры в пределах 2°C (Hutton, 2013). Урри предлагает два варианта решения данной проблемы. Первый — земной, «удаление оксида углерода из атмосферы при помощи гигантских сооружений, пропускающих через себя воздух, очищая его, или удобрение океанов частицами сульфата железа, способствующего размножению поглощающих углекислый газ водорослей» (Урри, 2017: 175). Второй — космический, «управление солнечной радиацией посредством отражения небольшой доли солнечного тепла и света в космос от поверхности земли. Для этого необходимо установить триллионы крошечных „зонтиков“ на околоземной орбите» (Там же: 175–176). Для такого проекта, безусловно, необходимо глобальное международное сотрудничество в космической отрасли.

2) Исследования усложняющегося взаимодействия субъектов освоения космоса. С развитием технологий тенденции к автономизации космической деятельности будут возрастать: со временем все более мелкие игроки получат возможность летать в космос, который может превратиться в такую же конкурентную среду, как авиация или автомобилестроение. Важно изучить, как будет трансформироваться международное частно-государственное партнерство под влиянием развития технологий и усиления частных компаний. Многие правовые проблемы еще предстоит решить. Нерешенными остаются вопросы государственного контроля,

правоприменения и налогообложения в космосе, принадлежности космических ресурсов.

3) Исследования преобразования объектов космической отрасли. АСТ позволяет исследовать морфогенетические преобразования таких объектов: как ракеты становятся экспонатами музеев, скафандры космонавтов — учебными пособиями, а железо от падающих ступеней ракет применяется жителями окружающих космодром территорий для хозяйственных нужд²⁷. Чем музей в здании бывшего центра управления полетами отличается от обычного музея космонавтики? Как обучение студентов в здании бывшего конструкторского бюро способствует освоению ими учебного материала? Как обломки метеорита становятся магическими амулетами? Эти и другие вопросы относительно переопределения объектов, их смещения в сетевом пространстве (в терминологии Ло²⁸) составляют перспективу для исследований.

4) Исследования изменения действий космонавтов под воздействием космической среды. Содержание транспонирования действия иной средой формирует перспективное направление исследований в контексте астросоциологии. Как перенос в космическое пространство изменяет действие? Насколько иными становятся действия в космосе? Как космическое пространство формирует специфику деятельности по его исследованию в пределах Земли? Эти и подобные вопросы формируют предметное поле для астросоциологических исследований агентности физического пространства космоса в контексте АСТ.

Заключение

Расширение пространства социального взаимодействия сопутствовало развитию человечества на всех этапах его истории: расселение людей по всему Земному шару, освоение разнообразных фронтов в пределах Земли, появление новых мобильностей (массовые путешествия по воде и воздуху), снаряжение экспедиций в самые труднодоступные места планеты, появление виртуальной коммуникации и, наконец, выход человечества в космос — все это расширяло пространство присутствия и взаимодействия социальных акторов. Освоение и присвоение космоса формирует новые взаимоотношения акторов, описываемые новыми пространственными метафорами, и выводит человечество в новое физическое пространство, в котором и по поводу которого появляются новые взаимодействия акторов, а значит, его можно описывать языком социологической теории, который аккумулирован и транспонирован в сферу социологических исследований космического пространства новой социологической дисциплиной — астросоциологией. Проанализировав некоторые современные социологические теории, мы убедились, что современная социологическая наука способна дать астросоциологии теоретиче-

27. Эта тема затрагивается в интервью Дениса Сивкова: <https://strelkamag.com/ru/article/antropolog-kosmosa-denis-sivkov-o-parallelnom-mire-kommercheskoi-kosmonavtiki>.

28. См. работу: Ло, 2006.

ские основы исследований, так как богатство теоретического языка социологии позволяет говорить о расширяющемся пространстве присутствия человечества, о характере и степени трансформации привычных взаимодействий социальных акторов в нем, а также о новых возникающих взаимодействиях.

Значительным эвристическим потенциалом в социологических теориях, закладывающих методологическую основу для астросоциологии, обладают пространственные метафоры. Будучи логически сконструированными, они задействуют пространственное воображение исследователей и потребителей производимого ими знания для образной передачи связей и взаимодействий социальных акторов, участвующих в освоении и присвоении физического пространства космоса.

Процесс освоения космоса ставит перед социологами задачу исследовать, как и в какой степени расширение пространства присутствия человечества во Вселенной и пространства социальной коммуникации трансформирует социальные связи, действия и коллективные представления людей. Теоретическая проблема астросоциологии представляется вопросом: насколько существующие социологические теории позволяют исследовать опосредствованные освоением и присвоением космического пространства изменения сообществ и взаимодействия социальных акторов? Проведенный нами анализ ресурсов социологической теории позволяет прийти к предварительному выводу о наличии у современной социологии теоретических ресурсов для исследования с социологических позиций выхода человечества в космос.

Литература

- Бурдье П. (1993). Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение / Пер. с франц. Н. А. Шматко // Бурдье П. Социология пространства. М.: Socio-Logos. С. 33–52.
- Вахштайн В. С. (2006). Джон Ло: социология между семиотикой и топологией // Социологическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 24–29.
- Вахштайн В. С. (2014). Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти. № 2. С. 9–38.
- Вахштайн В. С. (2017). Пересборка повседневности: беспилотники, лифты и проект ПкМ-1 // Логос. Т. 27. № 2. С. 1–48.
- Гофман И. (2004). Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р. Е. Бумагина, Ю. А. Данилова, А. Д. Ковалева, О. А. Оберемко под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. М.: Институт социологии РАН.
- Ерофеева М. А. (2015а). О возможности акторно-сетевой теории действия // Социология власти. № 4. С. 51–71.
- Ерофеева М. А. (2015б). Социология И. Гофмана в контексте развития теории социального действия. Дис. ... канд. соц. наук. СПб.: СПГУ.
- Ерофеева М. А. (2017). Акторно-сетевая теория: объектно-ориентированная социология без объектов? // Логос. Т. 27. № 3. С. 83–112.

- Замятин Н. Ю. (1998). Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. № 5. С. 75–88.
- Звоновский В. Б. (2009). Социология пространства повседневности. Самара: Изд-во Самарского ун-та.
- Коркюф Ф. (2002). Новые социологии / Пер. с франц. Е. Д. Вознесенской и М. В. Федоровой под ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.
- Латур Б. (2006а). Где недостающая масса? Социология одной двери / Пер. с англ. Н. Мовниной // Вахштайн В. С. (ред.). Социология вещей. М.: Территория будущего. С. 199–222.
- Латур Б. (2006б). Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии / Пер с франц. Д. Я. Калугина под ред. О. В. Хархордина. СПб.: ЕУСПб.
- Латур Б. (2006в). Об интеробъективности // Пер. с англ. А. Смирнова // Вахштайн В. С. (ред.). Социология вещей. М.: Территория будущего. С. 169–198.
- Латур Б., Вулгар С. (2012). Лабораторная жизнь. Конструирование научных фактов. Глава 2. Антрополог посещает лабораторию / Пер. с англ. А. Кузнецова // Социология власти. № 6-7. С. 178–233.
- Левяи И. Я. (2011). Открытое общество: от границы к фронтиру // Социологический альманах. № 2. С. 69–80.
- Ло Дж. (2006). Объекты и пространства / Пер. с англ. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 30–42.
- Ним Е. Г. (2018). Космос как фронтир социологии // Социологический журнал. Т. 24. № 2. С. 8–27.
- Сивков Д. Ю. (2017). Коммуникации технонауки и фантастики: освоение Луны в кинематографе до реализации программы «Аполлон» // Международный журнал исследований культуры. № 2. С. 120–131.
- Урри Дж. (2017). Оффшоры / Пер. с англ. Е. Головлянициной. М.: Дело.
- Урри Дж. (2012а). Мобильности / Пер. с англ. А. Лазарева. М.: Практис.
- Урри Дж. (2012б). Социология за пределами обществ: виды мобильности для ХХI века / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: НИУ ВШЭ.
- Филиппов А. Ф. (2008). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.
- Харламов Н. А. (2012). Новое общество или новая наука об обществе? // Урри Дж. Мобильности / Пер. с англ. А. Лазарева. М.: Практис. С. 7–58.
- Хархордин О. В. (2006). Предисловие редактора // Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии / Пер с франц. Д. Я. Калугина под ред. О. В. Хархордина. СПб.: ЕУСПб. С. 5–56.
- Berners-Lee M., Clark D. (2013). The Burning Question: We Can't Burn Half the World's Oil, Coal, and Gas. So How Do We Quit? L.: Profile Books.
- Billington R.A. (1982). Westward Expansion: A History of the American Frontier. N. Y.: Macmillan.
- Bonfils X., Astudillo-Defru N., Díaz R., Almenara J.-M., Forveille T., Bouchy F., Delfosse X., Lovis C., Mayor M., Murgas F., Pepe F., Santos N. C., Ségransan D., Udry S., Wün-

- sche A. (2017). A Temperate Exo-Earth around a Quiet M Dwarf at 3.4 Parsecs // Astronomy and Astrophysics. Vol. 613. Art. A25.*
- Castells M. (2010). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley-Blackwell.*
- Cohen R. (1994). Frontiers of Identity: The British and the Others. L.: Longman.*
- Dennis K., Urry J. (2009). After the Car. Oxford: Polity Press.*
- Featherstone M., Thrift N., Urry J. (eds.). (2005). Automobilities. L.: SAGE.*
- Hutton W. (2013). 'Burn Our Planet or Face Financial Meltdown' // The Guardian. April 21, 2013. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/21/carbon-problems-financial-crisis-hutton> (дата доступа: 25.03.2019).*
- Latour B. (1988). The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press.*
- Latour B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press.*
- Messeri L. (2016). Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds. Durham: Duke University Press.*
- Pass J. (2015). An Astrosociological Perspective on the Societal Impact of Spaceflight // Dick S. J. (eds.). Historical Studies in the Societal Impact of Spaceflight. Washington: NASA History Division. P. 535–576.*
- Pass J. (2018). Astrosociology: Social Problems on Earth and in Outer Space // Treviño A. J. (eds.). The Cambridge Handbook of Social Problems. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. P. 149–168.*
- Pass J. (2011). Examining the Definition of Astrosociology // Astropolitics. Vol. 9. № 1. P. 6–27.*
- Pass J., Harrison A. A. (2016). Astrosociology (Social Science of Space Exploration) // Bainbridge W. S., Roco M. C. (eds.). Handbook of Science and Technology Convergence. N. Y.: Springer. P. 545–558.*
- Pass J., Toerpe K., Rivera R., Jackson K., Hearsey Ch. M. (2015). Astrosociology and Inequality in Global Space Governance. URL: <https://ssrn.com/abstract=2445532> (дата доступа: 15.03.2019).*
- Simmel G. (1997). The Philosophy of Money. L.: Routledge.*
- Urry J. (1990). The Consumption of Tourism // Sociology. Vol. 24. № 1. P. 23–35.*
- Urry J. (1999). Automobility, Car Culture and Weightless Travel. Unpublished paper.*
- Urry J. (2000). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. L.: SAGE.*
- Urry J. (2003). Global Complexity. Cambridge: Polity.*
- Urry J. (2004). The «System» of Automobility // Theory, Culture and Society. Vol. 21. № 4–5. P. 25–39.*
- Urry J. (2011). Climate Change and Society. Cambridge: Polity.*
- Urry J., Larsen J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. L.: SAGE.*
- Vertesi J. (2015). Seeing Like a Rover: How Robots, Teams and Images Craft Knowledge of Mars. Chicago: University of Chicago Press.*

Outer Space Exploration as a Sociological Problem

Alexander Khodykin

Post-graduate student, Department of Sociology and Psychology, Institute of Management Systems, Samara State University of Economics
Address: The Soviet Army str., 141, Samara, Russian Federation 443090
E-mail: khodykin8@gmail.com

To date, the topic of Space goes beyond the natural sciences and is increasingly studied by humanitarian and social disciplines. Space exploration by mankind adds a new space of social communication. Space is essential for its development features in several ways: first, the impossibility of survival of biological organisms without special equipment that supports vital functions; secondly, the huge distances and difficulty of movement; and third, the availability of the Space vacuum that is a much larger space of space objects. The study of mankind's going beyond the Earth from a sociological position is the subject of a new sociological discipline, that of astrosociology. Astrosociology is defined by the author as a branch of the sociological discipline that is related to the sociology of space which studies the social actions, connections, and collective representations of people which arise in the course of Space exploration and appropriation. The task of astrosociology is to answer the questions of how will the space of social interactions change after mankind enters Outer Space, and how will these interactions change and continue to change in the case of the physical presence of social actors in Outer Space. The theoretical problem of astrosociology is formulated by the question of to what extent will existing sociological theories allow to investigate the changes of communities and interactions of social actors mediated by the exploration and appropriation of Outer Space. In order to provide astrosociology with theoretical resources, the author analyzes the sociological theory of space, the theory of globalization and mobility, and the actor-network theory. The analysis allows us to come to a preliminary conclusion about the presence of modern sociology of theoretical resources for research from the sociological standpoint of the human spacewalk.

Keywords: astrosociology, Outer Space, exploration, space, sociology of space, globalization, mobility, actor-network theory

References

- Berners-Lee M., Clark D. (2013) *The Burning Question: We Can't Burn Half the World's Oil, Coal and Gas. So How Do We Quit?*, London: Profile Books.
- Billington R. A. (1982) *Westward Expansion: A History of the American Frontier*, New York: Macmillan.
- Bonfils X., Astudillo-Defru N., Díaz R., Almenara J.-M., Forveille T., Bouchy F., Delfosse X., Lovis C., Mayor M., Murgas F., Pepe F., Santos N. C., Ségransan D., Udry S., Wünsche A. (2017) A Temperate Exo-Earth around a Quiet M Dwarf at 3.4 Parsecs. *Astronomy and Astrophysics*, vol. 613, art. A25.
- Bourdieu P. (1993) *Sociologija politiki* [Sociology of Politics], Moscow: Socio-Logos.
- Castells M. (2010) *The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society*, Oxford: Wiley-Blackwell.
- Cohen R. (1994) *Frontiers of Identity: The British and the Others*, London: Longman.
- Corcuff Ph. (2002) *Novye sociologii* [The New Sociologies], Saint Petersburg: Aleteia.
- Dennis K., Urry J. (2009) *After the Car*, Oxford: Polity Press.
- Erofeeva M. (2015) O vozmozhnosti aktorno-setevoj teorii dejstviya [On the Possibility of Actor-Network Theory of Action]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 51–71.
- Erofeeva M. (2015) *Sociologiya E. Gofmana v kontekste razvitiya teorii social'nogo dejstviya* [E. Goffman's Sociology in the Context of the Development of the Theory of Social Action] (PhD Thesis), Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
- Erofeeva M. (2017) Aktorno-setevaja teorija: ob'ektno-orientirovannaja sociologija bez ob'ektov? [Actor-Network Theory: Object-Oriented Sociology without Objects?]. *Logos*, vol. 27, no 3, pp. 83–112.

- Featherstone M., Thrift N., Urry J. (eds.) (2005) *Automobilities*, London: SAGE.
- Filippov A. (2008) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Goffman E. (2003) *Analiz frejmov: esse ob organizacii povsednevnogo opyta* [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience], Moscow: RAN Institute of Sociology.
- Hutton W. (2013) "Burn Our Planet or Face Financial Meltdown". *The Guardian*, April 21. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/21/carbon-problems-financial-crisis-hutton> (accessed 25 March 2019).
- Kharkhordin O. (2006) *Predislovie redaktora* [Editor's Preface]. Latour B., *Novogo vremeni ne bylo: esse po simmetrichnoj antropologii* [We Have Never Been Modern], Saint Petersburg: European University, pp. 5–56.
- Kharlamov N. (2012) *Novoe obshhestvo ili novaja nauka ob obshhestve? Sociologija mobil'nostej Dzhona Urri* [New Society or New Science of Society? John Urry's Sociology of Mobilities]. Urry J., *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praksis, pp. 7–58.
- Latour B. (1988) *The Pasteurization of France*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (2005) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Latour B. (2006) Ob interob'ektivnosti [On interobjectivity]. *Sociologija veshhej* [Sociology of Things] (ed. V. Vakhshain), Moscow: Territoria buduschego, pp. 169–198.
- Latour B. (2006) Gde nedostajushhaja massa? Sociologija odnoj dveri [Where is the missing masses? The Sociology of a Door]. *Sociologija veshhej* [Sociology of Things] (ed. V. Vakhshain), Moscow: Territoria buduschego, pp. 199–222.
- Latour B. (2006) *Novogo vremeni ne bylo: esse po simmetrichnoj antropologii* [We Have Never Been Modern], Saint Petersburg: European University.
- Latour B., Woolgar S. (2012) Laboratornaja zhizn'. Konstruirovaniye nauchnyh faktov. Glava 2. *Antropolog poseshhaet laboratoriju* [Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Chapter 2: An Anthropologist Visits the Laboratory]. *Sociology of Power*, no 6-7, pp. 178–233.
- Law J. (2006) Ob'ekty i prostranstva [Objects and Spaces]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no 1, pp. 30–42.
- Levyash I. (2011) Otkrytoe obshhestvo: ot granicy k frontiru [Open Society: From the Border to Frontier]. *Sociological Almanac*, no 2, pp. 69–80.
- Messeri L. (2016) *Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds*, Durham: Duke University Press.
- Nim E. (2018) Kosmos kak frontir sociologii [Space as a Frontier of Sociology]. *Sociological Journal*, vol. 24, no 2, pp. 8–27.
- Pass J. (2011) Examining the Definition of Astrosociology. *Astropolitics*, vol. 9, no 1, pp. 6–27.
- Pass J. (2015) An Astrosociological Perspective on the Societal Impact of Spaceflight. *Historical Studies in the Societal Impact of Spaceflight* (ed. S. J. Dick), Washington: NASA History Division, pp. 535–576.
- Pass J. (2018) Astrosociology: Social Problems on Earth and in Outer Space. *The Cambridge Handbook of Social Problems* (ed. A. J. Treviño), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 149–168.
- Pass J., Harrison A. A. (2016) Astrosociology (Social Science of Space Exploration). *Handbook of Science and Technology Convergence* (eds. W. S. Bainbridge, M. C. Roco), New York: Springer, pp. 545–558.
- Pass J., Toerpe K., Rivera R., Jackson K., Hearsey Ch. M. (2015) Astrosociology and Inequality in Global Space Governance. Available at: <https://ssrn.com/abstract=2445532> (accessed 15 March 2019).
- Simmel G. (1997) *The Philosophy of Money*, London: Routledge.
- Sivkov D. (2017) Kommunikacii tekhnicheskikh i fantasticheskikh: osvoenie Luny v kinematografii do realizacii programmy "Apollon" [Communications of Technoscience and Fiction: The Exploration of the Moon in the Cinema before the Apollo Program]. *Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul'tury*, no 2, pp. 120–131.
- Urry J. (1990) The Consumption of Tourism. *Sociology*, vol. 24, no 1, pp. 23–35.

- Urry J. (1999) *Automobility, Car Culture and Weightless Travel* (unpublished paper), Lancaster University.
- Urry J. (2000) *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*, London: SAGE.
- Urry J. (2003). *Global Complexity*, Cambridge: Polity.
- Urry J. (2004) The "System" of Automobility. *Theory, Culture and Society*, vol. 21, no 4-5, pp. 25–39.
- Urry J. (2011). *Climate Change and Society*, Cambridge: Polity.
- Urry J. (2012) *Sociologija za predelami obshhestv: vidy mobil'nosti dlja XXI veka* [Sociology beyond Societies: Types of Mobility for the XXI Century], Moscow: HSE.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praksis.
- Urry J. (2017) *Ofshory* [Offshore], Moscow: Delo.
- Urry J., Larsen J. (2011) *The Tourist Gaze 3.0*, London: SAGE.
- Vakhshain V. (2006) Dzhon Lo: sociologiya mezhdu semiotikoj i topologiej [John Law: Sociology between Semiotics and Topology]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no 1, pp. 24–29.
- Vakhshain V. (2014) Peresborka goroda: mezhdu yazykom i prostranstvom [Reassembling the City: Between Language and Space]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 9–38.
- Vakhshain V. (2017) Peresborka povsednevnosti: bespilotniki, lifty i proekt PkM-1 [Reassembling Everyday Life: Drones, Elevators, and the Project Turn to Material-1]. *Logos*, no 2, pp. 1–48.
- Vertesi J. (2015) *Seeing Like a Rover: How Robots, Teams and Images Craft Knowledge of Mars*, Chicago: University of Chicago Press.
- Zamyatina N. (1998) Zona osvoenija (frontir) i ee obraz v amerikanskoj i russkoj kul'turah [Development Zone (Frontier) and Its Image in American and Russian Cultures]. *Social Sciences and Modernity*, no 5, pp. 75–88.
- Zvonovsky V. (2009) *Sociologija prostranstva povsednevnosti* [Sociology of the Space of Everyday Life], Samara: Samara University.

Вертикальный предел: централизация и эффективность управления в городах России*

Станислав Шкель

Доктор политических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований, профессор кафедры политических наук

Пермского государственного национального исследовательского университета

Адрес: ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Российская Федерация 614990

E-mail: stas-polit@yandex.ru

Всеволод Бедерсон

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований, доцент кафедры политических наук

Пермского государственного национального исследовательского университета

Адрес: ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Российская Федерация 614990

E-mail: vsbederson@gmail.com

Андрей Семенов

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований, доцент кафедры политических наук

Пермского государственного национального исследовательского университета

Адрес: ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Российская Федерация 614990

E-mail: andre.semenoff@gmail.com

Ирина Шевцова

Кандидат политических наук, директор Центра сравнительных исторических и политических исследований, доцент кафедры политических наук

Пермского государственного национального исследовательского университета

Адрес: ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Российская Федерация 614990

E-mail: irinashevtsova777@gmail.com

В большинстве российских регионов были отменены прямые выборы муниципальных глав, что практически завершило процесс интеграции муниципалитетов в единую властную вертикаль. Эти институциональные реформы привели к изменению факторов, определяющих развитие и эффективность управления муниципалитетов. С помощью сравнительного анализа шести городских округов Пермского края мы показываем, что после ликвидации выборов как механизма подотчетности мэров населению главными стимулами для эффективной работы муниципальной администрации становятся факторы неформального, экономического и институционального

© Шкель С. Н., 2019

© Бедерсон В. Д., 2019

© Семенов А. В., 2019

© Шевцова И. К., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-74-106

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №18-411-590012 «Политико-институциональные характеристики муниципалитетов и качество распределения публичных благ на местном уровне: опыт Пермского края». Авторы благодарят за поддержку Программу развития партнерских кафедр Европейского университета в Санкт-Петербурге.

порядка. К первому относится наличие регионального актора, выполняющего патронажные и контрольные функции за муниципалитет. Отсутствие доходов от мощных градообразующих предприятий является экономических стимулом, вынуждающим городскую администрацию быть более активной в привлечении дополнительных средств через участие в региональных программах развития. Наконец, схожий эффект оказывает давление со стороны независимых депутатов городской ассамблеи. Сочетание этих трех факторов определяет степень эффективности городской администрации в условиях централизации. Полуформализованные интервью с 39 респондентами, собранные нами в шести исследуемых городских округах, а также данные муниципальной статистики служат эмпирической основой для проверки и аргументации высказанных теоретических положений.

Ключевые слова: централизация, эффективность управления, локальная политика, муниципалитеты, Россия, Пермский край

Политическая и административная централизация, которая первоначально была связана с ликвидацией автономии российских регионов (Gel'man, 2006), все больше затрагивает муниципальный уровень управления. Ограничение экономической самостоятельности муниципалитетов дополняется существенным сокращением их политической автономии и встраиванием местных администраций в единую властную вертикаль. Ключевым механизмом этого выступает отмена прямых выборов глав муниципалитетов, которая стала осуществляться после реформы местного самоуправления 2003 года (Buckley, Garifullina, Reuter, Shubenkova, 2014) и приобрела массовый характер после очередных законодательных инициатив в 2014 году, когда региональные власти получили возможность самостоятельно устанавливать модель избрания глав муниципалитетов (Российская газета, 2014). Губернаторы стали активно пользоваться полученными полномочиями, в результате чего к 2018 году лишь в 65 городских округах (11% от их общего количества) сохранились прямые выборы главы городской администрации (Министерство юстиции, 2018).

Тем не менее, несмотря на институциональную унификацию и централизацию муниципалитетов, конкретные управленческие практики и уровень эффективности администраций на локальном уровне остаются довольно различными. Что влияет на дифференциацию управления в условиях общей централизации? Какие стимулы обусловливают эффективность управления муниципалитетов в условиях централизации и отсутствия демократической подотчетности мэров городов? Мы пытаемся ответить на данные вопросы на основе сравнительного анализа шести городских округов Пермского края.

Факторы эффективного управления: основные концепты и научные дискуссии

Научная дискуссия о факторах, определяющих эффективность государственного управления, имеет давние традиции. Проекты идеального государства в трудах

Платона и Аристотеля можно отнести к истокам спора о роли организационных моделей управления (централизованных или децентрализованных) с точки зрения лучшего воспроизведения общественных благ. Однако только с работ М. Вебера начался анализ проблем управления в рамках современной модели государства, характерной чертой которого выступает наличие бюрократии с четко очерченным набором функций и должностных полномочий (Weber, 1978). Долгое время веберианская концепция рациональной бюрократии как антипода патrimonиального управления рассматривалась в качестве целевого ориентира. Основные проблемы эффективности в государственном управлении ученые были склонны видеть в недостаточной квалификации чиновников и отсутствии верховенства права, обеспечивающего строгое разделение между публичными обязанностями и приватными интересами представителей бюрократии (Levi-Faur, 2012).

Хотя эти воззрения не потеряли актуальности, со второй половины XX века принцип иерархии, жесткого соподчинения различных административных звеньев и контрастное разделение между бюрократией и обществом стали подвергаться критике с позиций получившей популярность в западных странах управленческой концепции «нового государственного менеджмента» (New Public Management). Стержнем нового подхода стали три «Э» (экономичность, энергичность, эффективность), призванные интегрировать в государственную службу логику рынка и повысить чувствительность бюрократического аппарата к запросам граждан (Peters, Pierre, 2003; Kettl, 2005).

На современном этапе обозначенные в рамках «нового менеджеризма» принципы децентрализации нашли продолжение в управленческой концепции «достойного правления» (good governance), ставшей целевым ориентиром и критерием оценки эффективности правительства на глобальном уровне. В 1997 году принципы «достойного правления» были провозглашены в качестве приоритетов в Программе развития ООН (UNDP, 1997), а Всемирный Банк разработал методику оценки и ранжирования государств с точки зрения реализации этих принципов (World Bank, 2017). Ключевой характеристикой концепта «достойного правления» выступает акцент на соучастии граждан в управлении, которые видятся теперь не просто потребителями государственных услуг, но равноправными субъектами в управленческом процессе. Хотя конкретный набор основных принципов «достойного правления» имеет разнотечение, к базовым из них можно отнести участие граждан в управлении, подотчетность власти обществу, наличие верховенства права, прозрачность управления, чувствительность к запросам граждан, ориентацию на согласие, диалог и партнерство (Levi-Faur, 2012).

Как видно, в целом эти принципы еще в большей мере связывают эффективность управления с интенсификацией взаимодействия бюрократии и общества, что требует прозрачности, демократизации и децентрализации государственного аппарата. Если посмотреть на общую логику эволюции государственного управления в современной России, то обнаруживается движение совсем в другом направлении. Поэтому достаточно распространенным мнением в научных дискуссиях

стал тезис, согласно которому проявления «bad governance» в рамках российских реалий обусловлено дефицитом демократии и эффектами централизации (Гельман, 2018а).

Схожая точка зрения распространена и среди исследователей, изучающих управление на локальном уровне. Децентрализованная модель муниципального устройства с высокой степенью автономии местных властей от регионального или центрального уровней управления часто рассматривается как более эффективная с точки зрения распределения публичных благ, поскольку более отзывчива к интересам различных социальных групп на местах (Dahl, 1982; Vengroff, Salem, 1992; Charlick, 1992). В этой логике отмена прямых выборов глав муниципалитетов должна привести к смещению центров контроля за местной властью и трансформации стимулов муниципальных чиновников (Pal, Wahhaj, 2017). Если при прямых выборах глава, учитывая необходимость переизбрания, в большей степени заинтересован опираться на интересы граждан, то иная модель приводит к смещению ориентации главы на интересы региональной власти или местных депутатов, которые могут не всегда совпадать с текущими запросами граждан (Booms, 1966).

Альтернативная точка зрения состоит в том, что муниципалитеты далеко не всегда являются оплотами республиканизма и свобод. На практике часто оказывается, что именно центральная власть более демократична и выступает источником подрыва локальных автократий в виде городских политических машин (Scott, 1969). Чрезмерный уровень автономии местных властей имеет оборотную сторону, связанную с отсутствием контроля, следствием чего является рост коррупции и произвола муниципальных чиновников (Treisman, 2007; Lankina, Hudalla, Wollmann, 2008). При этом тезис о более тесной связке избранного мэра с народными интересами находит лишь частичное эмпирическое подтверждение (Saha, 2011). Так, на основе сравнительного анализа городов США с выбранными мэрами и наемными сити-менеджерами ряд исследователей пришли к выводу о большей эффективности именно второй модели, а не первой (Carr, 2015).

Исследователи централизованных систем управления указывают, что при отсутствии демократического контроля «снизу» степень эффективности управления в значительной степени может определяться контролем «сверху», который часто обеспечивается не только формальными надзорными органами, но и неформальным патронажем заинтересованных политических акторов. Личный патронаж в условиях централизации часто становится ключевым фактором, объясняющим появление «карманов эффективности» (Roll, 2014) в виде сравнительно успешных проектов (Гельман, 2018а; Гельман, 2018б) или территорий (Стародубцев, 2018). Как отмечают Г. Шарафутдинова и Р. Туровский, в условиях централизации более результивными в привлечении дополнительных ресурсов на свою территорию будут те, кто включен в сети политического влияния и способен установить связи с вышестоящими чиновниками (Sharafutdinova, Turovsky, 2017).

Таким образом, в условиях централизованной системы одним из важных факторов эффективности управления на локальном уровне может быть факт наличия

у муниципалитета игрока, занимающего пост на более высоких этажахластной иерархии и заинтересованного в поддержке местного сообщества. Этот игрок может осуществлять патронажные функции, создавая преференции своему муниципалитету для доступа к ресурсам, распределяемым через централизованные государственные каналы.

В литературе также указывается, что не менее важным фактором, влияющим на эффективность управления, может быть тип взаимоотношений (конфликтный или компромиссный) политических игроков локального уровня (Стародубцев, 2018). В наиболее наглядной форме этот фактор проявляет себя в наличии или отсутствии открытых конфликтов между ветвями власти: исполнительной в лице главы администрации муниципалитета и законодательной (депутатами местной легислатуры). Вместе с тем влияние этого фактора на эффективность управления не совсем понятно. С одной стороны, конфликт может вести к дезорганизации управленческого аппарата и снижению эффективности. С другой — опыт демократических стран показывает, что наличие политической конкуренции и сильной оппозиции являются необходимой предпосылкой для демократического контроля над правительством, что способствует сокращению коррупции и росту чувствительности власти к текущим запросам граждан. Исследователи указывают, что эта амбивалентность может объясняться типом политического режима: демократического или авторитарного. Если в первом случае конфликт оказывает позитивный эффект на развитие, так как он носит публичный характер, ведется между правительством и оппозицией, что увеличивает подотчетность власти, то в условиях авторитарных конфликтов, как правило, неинституционализированы, имеют характер персонального соперничества внутри властивущей элиты и часто приводят к дезорганизации управления (Стародубцев, 2018). Уровень конфликтности, в свою очередь, может зависеть от конкретных политических институтов, обуславливающих конфигурацию политических элит (Семенов, Бедерсон, Шевцова, Шкель, 2018).

В любом случае указанный фактор представляется важным при изучении эффективности управления на локальном уровне. Анализ эмпирических данных нашего исследования может внести вклад в прояснение вопроса о направлении и характере влияния данного фактора на качество управленческих практик.

Наконец, еще одним фактором, определяющим вариации в эффективности управления локальных сообществ в условиях централизации, может быть разница экономических параметров муниципалитетов. Наличие крупных градообразующих предприятий, дорожной и сервисной инфраструктуры, специфика географического расположения и другие сугубо экономические характеристики могут сильно влиять на степень эффективности муниципального управления (Stoner-Weiss, 1997; Тев, 2006). В условиях сокращения политических и экономических возможностей муниципалитетов поддержка со стороны градообразующих предприятий может оказываться дополнительным финансовым ресурсом развития (Рябова, 2008). Вместе с тем, играя важную экономическую роль, градообразующие пред-

приятия часто претендуют на политическое доминирование в муниципалитете (Чирикова, Ледяев, Сельцер, 2014).

Таким образом, анализ литературы и научных дискуссий позволяет выделить три ключевых фактора, влияющих на качество муниципального управления в условиях централизации. Это: наличие/отсутствие политически влиятельных промышленных групп; наличие/отсутствие регионального патрона; наличие/отсутствие политического раскола внутри муниципалитета по линии исполнительной и законодательной ветви власти. Указанные факторы необходимо конкретизировать в виде гипотез для дальнейшего тестирования.

Гипотезы исследования

С начала 1990-х годов в России были введены прямые выборы мэров городов. Как и в других регионах, в Пермском крае демократизация 1990-х годов в 2000-е сменилась «муниципальной контрреволюцией» (Гельман, Рыженков, Белокурова, Борисова, 2008: 12). В 2010 году выборы мэра Перми были заменены на избрание его из состава Городской думы (ФедералПресс, 2010). С 2014 года, когда власти субъекта приняли единый порядок избрания глав муниципальных образований (Пермский край, 2014), выборы мэров во всех городах стали уходить в прошлое. Прямое избрание глав муниципальных образований заменено на «конкурсную» модель, предусматривающую выбор мэра депутатами городской ассамблеи из числа лиц, допущенных конкурсной комиссией¹.

Наряду с этим Пермский край одним из первых перешел от отраслевого к проектно-целевому субсидированию муниципалитетов (Коваленко, 2012). После 2008 года в условиях экономического кризиса и сокращения возможностей местных властей по привлечению инвестиций целевые региональные программы стали важным источником привлечения дополнительных средств на территорию и дали возможность дополнительно финансировать инфраструктурные проекты (дороги, спортивные учреждения и прочее).

Таким образом, почти одновременно шли два процесса. Первый, в связи с отменой прямых выборов, характеризовался ослаблением демократической подотчетности глав администраций, что скорее работало на снижение уровня эффективности их работы. Второй, связанный с бюджетной реформой, напротив, создавал стимулы для более интенсивной и эффективной работы администрации по привлечению средств через участие в краевых программах развития. Успех этого во многом зависел от скоординированной работы всей администрации, компетенции чиновников и степени интенсивности взаимодействий муниципальной

1. Половина этой комиссии формируется из представителей муниципалитета, в то время как вторая половина — из представителей региональной власти. При этом право решающего голоса сохраняется за председателем комиссии, который, как правило, представляет именно региональную власть. Таким образом, конкурсная комиссия стала играть роль действенного механизма контроля над территориями и ротации глав муниципалитетов с учетом интересов губернатора.

власти с населением. Поскольку участие в региональных программах требует от глав муниципалитетов дополнительных усилий, связанных с выстраиванием работы по привлечению средств, мы предлагаем рассматривать данную практику как критерий оценки эффективности работы глав муниципалитетов.

Мы исходим из того, что отмена прямых выборов и бюджетная реформа изменили структуру стимулов для глав муниципалитетов. Однако конкретная композиция этих стимулов во многом определялась спецификой локальных территорий, которую можно описать через три основных фактора.

Экономический фактор. Одно из главных отличий городских округов друг от друга — это структура экономического уклада и наличие или отсутствие мощных градообразующих предприятий. Данный фактор во многом определяет роль промышленных групп в локальной политике и конкретные функции мэра, которые могут различаться в зависимости от этого параметра. При отсутствии крупных предприятий или игнорировании промышленными группами городской политики мэр вынужден искать пополнение городского бюджета за пределами своей территории, и краевые программы для него служат важным источником получения дополнительных ресурсов. Поэтому в таких городах мэр вынужден проявлять активность по участию в программах. Однако в городах с мощным политическим влиянием промышленных групп у мэра есть более широкий набор инструментов по наполнению бюджета, и участие в краевых программах не выглядит наиболее предпочтительным. Вместо того чтобы проводить кропотливую работу по созданию проектной документации для участия в региональной программе, мэр может просто выстроить систему неформальных отношений с промышленным директоратом, заручившись от него поддержкой по финансированию актуальных для города социальных объектов. Таким образом, наличие богатых градообразующих предприятий может быть ограничением, а не стимулом для мобилизации администрации и участия муниципалитета в региональных программах.

Фактор вертикального контроля. Тем не менее наличие предприятий в городе не означает, что мэр обязательно будет игнорировать возможность получения дополнительных средств за счет участия в региональных программах. Однако для этого необходим дополнительный стимул в виде наличия регионального патрона. В условиях, когда кандидатура мэра города стала зависеть от позиции региональных властей, роль неформальных институтов по лоббированию тех или иных персон значительно возросла. Выбор кандидата во многом зависит от аппаратной борьбы между группами влияния, имеющими политические ресурсы на уровне региональной власти. В случае если у города есть влиятельный игрок на уровне региона и ему удается через договоренности с региональными властями выдвинуть на пост мэра своего человека, у города появляется «покровитель», осуществляющий патронажные функции. Это может приводить к двум последствиям. Во-первых, наличие регионального патрона существенно сокращает уровень автономии мэра, поскольку «покровительство» означает в том числе контроль над деятельностью городской администрации. Если патрон заинтересован в эффективном управле-

нии городом, он создает дополнительные стимулы для активности мэра, которая должна проявляться в том числе в виде эффективности управления и участия в региональных программах. Во-вторых, роль патрона значительна и отражается в степени успешности участия муниципалитета в региональных программах: программы часто меняются, и наличие информации об этих переменах создает конкурентные преимущества для соискателей региональных средств. Патрон является важнейшим источником этой информации, он минимизирует усилия городской администрации и снижает издержки участия города в региональных программах.

Фактор горизонтального контроля. Наконец, третий фактор эффективности муниципального управления в условиях централизации — это *наличие независимой от муниципального главы ассамблеи*. В условиях отсутствия прямых выборов мэра депутаты являются ключевым демократическим инструментом контроля над городской администрацией. Если региональный патрон может перехватить контроль над депутатским корпусом, ассамблея становится дополнительным механизмом влияния на мэра со стороны патрона. Логично предположить, что независимый от мэра представительный орган будет дополнительным фактором подотчетности городской администрации либо по отношению к избирателям, либо по отношению к региональному патрону. Напротив, возможность мэра установить контроль над депутатами делает его более автономным от контроля как «снизу», так и «сверху» и, скорее всего, будет вести к снижению уровня эффективности городского управления.

В таблице 1 представлены все возможные сочетания трех факторов, которые определяют исходы уровня эффективности городского управления, выраженного через переменные «активность» и «результативность». Поскольку, как уже было отмечено, в условиях централизации основным источником получения ресурсов для развития территорий стали краевые программы, степень активности и результативности участия муниципалитетов в этих программах можно рассматривать как ключевые критерии эффективности городского управления. Разумеется, эффективность управления не сводится только к этим критериям. Однако необходимость разработки инструментария, способного выявить и измерить вариацию в качестве управления между муниципалитетами, вынуждает нас прибегнуть к этому упрощению. Такой прием нам представляется оправданным, поскольку современные реалии управления муниципалитетами таковы, что участие в региональных программах оказывается почти единственным источником привлечения средств и инвестиций в местную инфраструктуру. Низкая активность и результативность участия муниципалитета в этих программах лишает локальное сообщество значимых ресурсов для развития. Поэтому вне этих критериев говорить о какой-либо эффективности управления вообще не приходится. Таким образом, «активность» управления понимается нами как частота подачи заявок от муниципалитета для участия в конкурсах региональных программ, а «результативность» — как количество поддержанных региональной властью заявок и объем привлеченных средств муниципалитетом посредством участия в этих конкурсных процедурах.

Таблица 1. Констелляция факторов и исходы уровня эффективности городского управления

	Наличие политически влиятельных промышленных групп	Наличие регионального патрона	Наличие независимой от муниципального главы ассамблеи	Исход
1	+	+	+	Высокие активность и результативность
2	+	+	-	Высокие активность и результативность
3	+	-	+	Высокая активность, но низкая результативность
4	+	-	-	Низкие активность и результативность
5	-	+	+	Высокие активность и результативность
6	-	+	-	Высокие активность и результативность
7	-	-	+	Высокая активность, но низкая результативность
8	-	-	-	Высокая активность, но низкая результативность

Как видно, наше основное предположение заключается в том, что фактор регионального патрона является определяющим и обуславливает высокий уровень активности и результативности городского управления вне зависимости от других факторов. Наличие независимой от мэра ассамблеи также рассматривается как фактор, обеспечивающий контроль за действиями администрации и стимулирующий мэра к активности по привлечению дополнительных средств. Напротив, наличие политически влиятельных промышленных групп создает возможность для мэра использовать их ресурсы, игнорируя региональные программы, что ведет к пассивности городской администрации и ориентации на неформальные управленические практики. Наличие регионального патрона и его давление сверху может ликвидировать этот негативный эффект. Равным образом давление регионального патрона может быть достаточным стимулом для эффективной работы мэрии даже в ситуации отсутствия независимой местной ассамблеи. Поэтому при первых двух случаях констелляции факторов (1 и 2 строки таблицы 1) мы ожидаем высокий уровень активности и результативности работы муниципалитета. Схожий исход должен наблюдаться при отсутствии негативного фактора в виде промышленных групп (5 строка таблицы 1) и только одного фактора в виде наличия регионального патрона (6 строка таблицы 1).

В ситуации отсутствия регионального патрона исход менее однозначен. Мы предполагаем, что отсутствие этого фактора ведет к дефициту у городской адми-

нистрации инсайдерской информации о региональных конкурсах, а также лишает муниципалитет неформальной лоббистской поддержки на региональном уровне. Это сокращает вероятность результативности поданных заявок, несмотря на высокую активность участия муниципалитета в конкурсах. Поэтому при наличии независимой ассамблеи муниципалитет будет активен в подаче заявок даже при наличии двух негативных факторов (наличия влиятельных промышленных групп и отсутствия регионального патрона). Однако эта активность не будет сопровождаться результативностью (3 строка таблицы 1). Схожий исход в виде высокой активности, но низкой результативности мы ожидаем тогда, когда наличествуют только один фактор в виде независимой ассамблеи или при отсутствии всех трех факторов (строки 7 и 8 таблицы 1). Это объясняется тем, что при отсутствии промышленных групп мэрия не имеет других источников привлечения ресурсов, кроме как участие в региональных программах. Поэтому даже при отсутствии независимой ассамблеи и иных институциональных стимулов бедность муниципалитета будет вынуждать его активно участвовать в конкурсах. Однако при отсутствии регионального патрона маловероятно ожидать, что эта активность будет сопровождаться высокой результативностью.

Наконец, наиболее проблемной с точки зрения эффективности управления в условиях централизации нам представляется конstellация факторов, при которой в городе имеются влиятельные промышленные группы, но отсутствуют два важных стимула для мэра по участию в региональных программах: региональный патрон и независимая ассамблея (строка 4 таблицы 1). Как уже указывалось выше, в такой ситуации рациональной стратегией мэра будет не кропотливая работа с администрацией по подготовке конкурсной документации с непредсказуемым результатом, а выстраивание неформальных отношений с директоратом предприятий с целью договоренностей о финансовой поддержке города. Хотя в этом случае город может иметь сравнительно большой бюджет, данная управленческая стратегия в целом не стимулирует реформу городской администрации и сохраняет ее в пассивности, что вряд ли можно оценить в категориях эффективности. Поэтому при такой конstellации факторов мы ожидаем исход с низкими уровнями как активности, так и результативности.

Представленные теоретические суждения можно свести к следующим трем гипотезам.

Н1: Наличие регионального патрона приводит к высокому уровню активности и результативности городского управления вне зависимости от других факторов.

Н2: Отсутствие регионального патрона и независимой от мэра ассамблеи, но наличие промышленных групп приводит к низкому уровню активности и результативности городского управления.

Н3: Отсутствие регионального патрона, но наличие промышленных групп и независимой от мэра ассамблеи, либо наличие только последнего фактора, либо отсутствие всех трех факторов приводит к смешанному исходу в виде высокой активности, но низкой результативности городского управления.

Дизайн исследования: выборка, данные и операционализация переменных

Выборка. С приходом в 2017 году на пост губернатора Пермского края М. Решетникова в регионе началась административная реформа по преобразованию районов в городские округа. К концу 2018 года к восьми существовавшим городским округам добавились шесть новых (Кадачников, 2018). В качестве случаев для сравнения нами выбраны наиболее схожие по административному статусу шесть «старых» городских округов: Березники, Губаха, Кудымкар, Кунгур, Соликамск и Лысьва. Пермь и ЗАТО Звездный исключены из выборки по причине их особого статуса.

Шесть городских округов, выбранные нами как случаи для анализа, представляют особый интерес по двум причинам. Первая заключается в том, что во всех этих городах почти синхронно произошла смена модели избрания главы муниципалитета на должность. В 2015–2016 годах депутаты городских ассамблей ввели поправки в городские уставы, отменив прямые выборы мэров. И хотя ротация глав городов по новым правилам происходила в каждом городе в разное время, можно говорить, что стимулы в результате принятия этих институциональных изменений изменились почти одновременно. Даже те главы, которые до сих пор не подверглись ротации или не были переутверждены по новой конкурсной модели (случай Кунгура), с 2015 года существуют в новых институциональных рамках, дающих иные стимулы по сравнению с существовавшими в период прямых выборов глав муниципалитетов. Синхронность институциональных изменений по единой модели является преимуществом выбранных случаев для сравнительного анализа.

Вместе с тем выбранные случаи не являются схожими с точки зрения социально-экономических параметров. Это вторая причина, почему именно они представляют для нашего исследования особый интерес. Все шесть городов выборки можно разделить на две группы по наличию или отсутствию крупных градообразующих предприятий. Березники, Губаха и Соликамск — это города с крупными производствами, оказывающими значительное влияние на локальные политические процессы. Напротив, Кунгур, Кудымкар и Лысьву можно отнести к городам, где крупных производств либо нет, либо они перестали быть значимыми политическими игроками на местном уровне. Таким образом, дифференциация социально-экономических параметров этих городов позволяет проверить наши теоретические предположения о влиянии экономических параметров на эффективность городского управления.

Зависимая переменная в виде эффективности управления может быть изменена разными способами. Достаточно распространено использование социологических опросов населения по поводу удовлетворенности гражданами работой городской администрации. Этот способ практикуют как региональные органы власти для мониторинга состояния дел в муниципалитетах (Пермский край, 2015), так и исследователи (Антильев, 2013). В нашем случае этот способ отвергнут не

только в силу материальных ограничений, не позволяющих провести массовый опрос в шести городских округах, но и по методологическим соображениям. Более развитые города, демонстрирующие стабильный темп развития, могут иметь куда более критично настроенных по отношению к власти жителей, которые привыкли к постоянным улучшениям и у которых сформировались завышенные ожидания и требования к работе городской администрации.

Другой способ оценки эффективности управления городом — обращение к статистическим показателям. Недостатком такого подхода является переоценка тех муниципалитетов, которые в силу объективных обстоятельств имеют преимущества. Таковыми могут быть удачное географическое месторасположение, наличие привлекательных туристических мест, концентрация промышленных предприятий и прочее. Все это увеличивает бюджетные возможности города, но далеко не всегда отражает эффективные усилия городской администрации. Таким образом, операционализация интересующей нас переменной с помощью только статистических экономических параметров представляется проблемной с точки зрения валидности измерения.

В связи с этим нами выбран способ измерения уровня эффективности городского управления, основанный на показателях участия городской администрации в региональных программах развития. Безусловно, это направление работы не является единственным и исчерпывающим, способным в полной мере отразить эффективность городского управления. Вместе с тем учет именно этого показателя и рассмотрение его в качестве ключевой переменной связаны с тем, что активность участия муниципалитета в региональных программах обусловлена прежде всего организационными усилиями городской администрации и почти не зависит от таких внешних факторов, как наследие прошлого, выгодное географическое расположение, наличие сырьевых источников, социально-демографических показателей населения и других объективных условий, которые изначально ставят муниципалитеты в неравные условия, причем такие, на которые местные чиновники не могут повлиять, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Следовательно, анализ активности участия муниципалитетов в региональных программах развития позволяет отчасти вынести за скобки объективно обусловленную социально-демографическую, географическую или экономическую дифференциацию муниципалитетов, сконцентрировавшись на сугубо политических и организационных факторах городского управления. Однако полностью исключить влияние ряда объективных социально-экономических параметров нельзя. Наш ракурс с фокусом на активность и результативность участия муниципалитета в региональных программах позволяет раскрыть конкретную причинно-следственную связь между экономическими, политическими и институциональными факторами.

Данный подход к оценке эффективности городского управления нашел одобрение среди большинства опрошенных нами бывших и нынешних мэров городов, муниципальных депутатов и экспертов, которые оценивают степень успеш-

сти своей работы по количеству поданных и выигранных заявок в региональных проектах, а также конкретными инфраструктурными объектами, которые удалось построить благодаря привлечению средств из регионального бюджета через участие в этих конкурсах. Критикуя своих предшественников, мэры также часто апеллируют к этому показателю. Например, один из бывших градоначальников так характеризует период своего управления:

До моего прихода город потерял четыре года. Четыре очень благоприятных для развития территории города года, когда можно было под программы получать очень хорошее финансирование. Город в тот период «зашел» в единственную программу, и то с «пинков», которые региональные депутаты предпринимали. И то эту программу они не смогли выполнить успешно. Там были проблемы с реализацией... Что удалось сделать потом? Удалось консолидировать все политические, экономические ячейки, так скажем. И удалось «войти» в огромное количество программ, успешная реализация которых заставила общество поверить в то, что позитивные сдвиги есть².

Оценка эффективности городского управления через данные об участии муниципалитетов в региональных программах развития делает целесообразным разделение понятия «эффективность городского управления» на две ключевые переменные: 1) активность и 2) результативность участия муниципалитета в региональных программах. Переменная «Активность участия» — это количество проектов, поданных городской администрацией на конкурсы, связанные с реализацией региональных программ. Переменная «Результативность участия» — это число муниципальных проектов, получивших поддержку со стороны региональной власти. Расчет соотношения числа результативных заявок к общему числу поданных может являться интегральным показателем эффективности городского управления. Общая сумма привлеченных муниципалитетом средств из регионального бюджета через участие в краевых программах также может быть дополнительным способом измерения уровня результативности города в участии в региональных программах.

Следует отметить, что участие в региональных программах требует от администраций муниципалитетов не только мобилизации собственных усилий, но и выстраивания эффективных взаимодействий с гражданами. Это в особенности касается тех программ, которые основаны на соучастии общественных организаций или софинансировании проектов со стороны населения. Таким образом, степень активности городской администрации в участии в такого рода программах может служить показателем не только менеджерских способностей мэра и его команды, но и быть объективным индикатором того, насколько местные власти интересуются запросами населения, как эффективно они могут выстроить отношения с гражданами и учесть их текущие запросы.

2. Респондент № 1, бывший глава администрации г. Губаха, депутат Законодательного собрания Пермского края, интервью от 25 сентября 2018 г., г. Пермь (архив авторов).

С этой точки зрения две краевые программы представляют особый интерес. Это программа «Инициативное бюджетирование» и «Территориальное общественное самоуправление». Обе основаны на участии граждан города в определении наиболее значимых проблем, поэтому с их помощью можно оценить не только компетентность и оперативность работы городской администрации, но и учет со стороны мэрии текущих запросов граждан. Это первая причина, по которой именно эти программы выбраны нами в качестве данных по измерению уровня эффективности управления муниципалитетами. Вторая причина заключается в том, что по другим программам в открытом доступе отсутствуют полные официальные отчетные данные, способные стать эмпирической основой для анализа.

Независимые переменные. Эмпирическая проверка наших теоретических ожиданий требует решения проблемы операционализации основных переменных. Независимыми переменными являются: 1) наличие политического влияния промышленных групп; 2) наличие регионального патрона; 3) независимость городской ассамблеи от мэра. Первая переменная операционализировалась на основе учета двух факторов: 1) наличия или отсутствия крупных промышленных предприятий и 2) данных о депутатском корпусе городской ассамблеи. Если более половины депутатов имеют аффилиацию с промышленным предприятием, мы фиксируем высокое политическое влияние промышленных групп (случаи Соликамска, Губахи и Березников). Если даже при наличии промышленности среди депутатов представителей предприятий нет, то мы фиксируем низкое политическое влияние промышленных групп (случай Лысьвы). Биографические данные о муниципальных депутатах собраны нами на основе открытых данных, размещенных на официальных сайтах городских дум исследуемых городов, а также на основе вторичных источников в виде научных статей других исследователей.

Вторая и третья переменные требуют не только анализа публичной локальной политики, но и учета неформальных аспектов политических процессов, раскрывающих механизмы контроля мэров городов со стороны как региональных патронов, так и депутатского корпуса городской ассамблеи. Для этого в период с сентября по декабрь 2018 года нами были собраны 39 полуформализованных интервью. Респондентами выступали нынешние и бывшие главы, депутаты городских дум, работники администраций и эксперты шести исследуемых городских округов. Собранные интервью стали основой для анализа и сравнения городских округов методом *case-study*, а также позволили определить наличие или отсутствие регионального патрона и независимой от главы муниципалитета ассамблеи.

Анализ случаев

Губаха, Соликамск: слабый мэр в промышленном городе

Данные города очень похожи с точки зрения влияния промышленных групп на городскую жизнь и политику. Директорат предприятий эффективно конвертирует

экономический потенциал в политический ресурс, успешно интегрируясь в состав региональной элиты.

В Губахе есть два градообразующих предприятия, но доминирует химический завод «Метафракс». Второе предприятие города, «Коксохим», заметно уступает первому как в экономическом, так и в политическом потенциале. С декабря 2006 года, когда председатель правления директоров «Метафракс» А. Гарслян и генеральный директор этого предприятия В. Даут стали депутатами краевого Законодательного собрания, город получил сильное лобби на региональном уровне (Рябова, 2008). Связка с региональным уровнем власти города еще более усилилась в 2016 году, когда глава городского округа и председатель городской Думы А. Борисов стал депутатом краевой легислатуры. Рокировка властных позиций в городе произошла спокойно, потому что до 2015 года в Губахе функционировала «двуглавая модель», когда главой города был избранный из состава депутатов председатель городской Думы. Глава администрации в этой конструкции выполнял роль наемного сити-менеджера. Нынешний мэр Губахи Н. Лазейкин занимал пост главы администрации Губахи с 2013 года и фактически является креатурой А. Борисова. Неудивительно поэтому, что когда Борисов занял депутатское кресло, пост главы городской администрации плавно перешел к Лазейкину, политическое влияние которого в городе можно оценить как низкое. Проведенные интервью однозначно говорят о том, что нынешний мэр продолжает работать с администрацией, созданной Борисовым, а также депутатским корпусом, который традиционно в Губахе контролируют выходцы из «Метафракса». Это существенно снижает автономию мэра от регионального патрона, который через своих людей в городской администрации, депутатов, а также дирекtorат «Метафракса» осуществляет контроль и влияет на управлеченческую стратегию города. Как указывают респонденты, депутаты краевого Законодательного собрания Борисов и Гарслян регулярно приезжают в город: «Они постоянно подсказывают, контролируют, проверяют каждую работу, которую делает муниципалитет. Лазейкин… ходит и рассказывает, что сделали…»³.

Низкая автономия Лазейкина обусловлена также тем, что он не является местным политиком и до 2013 года работал в г. Лысьва. До сих пор он продолжает жить не в Губахе, что, по мнению некоторых респондентов, влияет на качество управления: «Где-то в какие-то моменты скорость реагирования, а это именно управлеченческие решения, например, телефон недоступен, физически человек не может сразу куда-то приехать. Это определенную роль играет точно. А с точки зрения населения, это к вопросу о доверии. Это дело такое. В управлении какая-то часть эффективности падает. И сами депутаты главе, который с другого города приезжает, первые год или два говорили: „Николай Владимирович, надо переезжать“…»⁴.

3. Респондент № 2, депутат городской Думы, интервью от 28 сентября 2018 г., г. Губаха (архив авторов).

4. Респондент № 5, депутат городской Думы, интервью от 28 сентября 2018 г., г. Губаха (архив авторов).

Отсутствие плотных сетей с местными политическими и экономическими элитами обуславливает высокую зависимость мэра Губахи от более сильных игроков регионального уровня, которые осуществляют патронажные функции.

Таким образом, Губаха — это случай с сильным влиянием промышленных групп и наличием регионального патрона, что определяет независимость городской ассамблеи от мэра и низкую автономию последнего. Согласно нашим теоретическим ожиданиям, данная конstellация факторов должна содействовать высокой активности и результативности городской администрации в участии в региональных программах.

Соликамск также представляет собой случай наличия влиятельных промышленных групп и сильного регионального патрона при слабом мэре. Два градообразующих предприятия — «Уралкалий» и «Соликамскбумпром» — давние конкуренты, они раскалывают локальную элиту на два противоположных лагеря. До 2015 года город возглавлял избранный мэр А. Девятков, который не был аффилирован ни с одним из предприятий. Ему удавалось держать равноудаленность от предприятий и сохранять политическую стабильность (Панов, Петрова, 2017). Новые правила избрания муниципального главы несколько изменили этот баланс. Пользуясь особыми отношениями с губернатором В. Басаргиным, директор «Соликамскбумпрома» и депутат краевого Законодательного собрания В. Баранов смог обеспечить занятие позиции мэра города выходцем из своего предприятия, каковым стал А. Федотов⁵. Это, однако, не привело к конфликту, поскольку дирекtorat «Уралкалия» согласился поддержать кандидатуру от «Соликамскбумпрома» в обмен на контроль над городской думой⁶.

Таким образом, в Соликамске низкая автономия главы муниципалитета обуславливается не только контролем со стороны регионального патрона, но и составом депутатов городской Думы, большинство которых он не контролирует. В целом, согласно нашим теоретическим ожиданиям, конstellация факторов в Соликамске должна приводить к высокому уровню эффективности городского управления в виде высокой активности и результативности участия муниципалитета в региональных программах.

Березники: сильный мэр в промышленном городе

В Березниках несколько градообразующих предприятий, но все они встроены в единую технологическую цепочку и во многом зависимы от стабильной работы ключевого промышленного гиганта «Уралкалий». Поэтому, в отличие от Соликамска, городское промышленное лобби представляет собой единую коалицию. Политическая конкуренция конца 1990-х — начала 2000-х годов, наблюдавшая-

5. Респондент № 27, депутат городской Думы, интервью от 23 ноября 2018 г., г. Соликамск (архив авторов).

6. Респондент № 28, депутат городской Думы, интервью от 23 ноября 2018 г., г. Соликамск (архив авторов).

ся в городе, объяснялась не производственными расколами, а противостоянием между промышленным директоратом и городской бюрократией. После того как в 2001 году позицию мэра занял выходец из «Уралкалия» И. Папков, а также после «захвата» городской думы «калийщиками» по результатам выборов 2004 года, в Березниках установилась политическая монополия консолидированной элиты промышленников (Борисова, Сулимов, Ковина, 2011).

Нынешний мэр С. Дьяков впервые занял свою позицию, выиграв прямые выборы в 2010 году. В 2015 году он сохранил свой пост, успешно пройдя через новую конкурсную процедуру. Из шести исследуемых городских округов это единственный мэр, не подвергнувшийся ротации после смены правил избрания муниципальных глав. Это говорит о высокой автономии мэра Березников от региональной власти. Конкурсные процедуры в 2015 году прошли без конфликтов и попыток лоббирования своих кандидатур со стороны региональных акторов (Ковин, Петрова, 2017). Как указывают эксперты, экономический потенциал местных предприятий настолько велик, что региональные власти предпочитают не обострять ситуацию и сохранять статус-кво. Это выражается также в том, что именно директорат «Уралкалия» определяет кандидатуру мэра, а не региональные акторы. Поэтому глава города лишен особого контроля со стороны регионального патрона и опирается прежде всего на локальную элиту⁷.

Отсутствие вертикального контроля дополняется в Березниках лояльным мэру депутатским корпусом. Почти все депутаты городской думы представляют промышленные предприятия, интегрированные в партию «Единая Россия» (Березниковская городская Дума, 2018). Это делает мэра Березников действительно сильным, лишенным противовеса как по вертикали, так и по горизонтали.

Можно сделать вывод, что случай Березников — это мощное политическое влияние промышленных групп, отсутствие регионального патрона и независимой городской ассамблеи. Сложившиеся в силу этого условия «местничества» (Rutland, 1993) позволяют мэру сохранять автономию по отношению и к региональным властям, и к городскому населению. В этой связи мы ожидаем низкий уровень эффективности городского управления в виде низкого уровня участия и результативности муниципалитета в региональных программах.

Кудымкар, Кунгур, Лысьва: отсутствие регионального патрона в городе без влиятельных промышленных групп

Кудымкар является административным центром Коми-Пермяцкого округа, который до 2005 года имел статус автономии и отдельного субъекта Российской Федерации. Бедность округа стала одной из главных причин его объединения с Пермским краем. До сих пор, однако, Кудымкар остается одним из самых небогатых городских округов с отсутствием крупных промышленных предприятий.

7. Респондент № 19, исследователь и политический технолог, журналист, интервью от 22 ноября 2018 г., г. Березники (архив авторов).

До 2005 года в силу особого регионального статуса городская элита Кудымкара ориентировалась в большей степени на Москву, чем на Пермь, поэтому до сих пор сильных лоббистских игроков на уровне края у города не появилось. Отсутствие промышленности и значимых активов делает город непривлекательным для региональных элит.

Из шести рассматриваемых городских округов в Кудымкаре сохраняет свою позицию напрямую избранный мэр, полномочия которого заканчиваются в 2019 году. В городской думе он имеет лояльное большинство и поэтому контролирует местную ассамблею. При отсутствии промышленности местные бизнес-группы недостаточно сильны, чтобы «захватить» представительный орган, поэтому главе администрации вполне успешно удается интегрировать в депутатский корпус представителей бюджетной сферы, которые являются его политической опорой⁸.

Таким образом, Кудымкар представляет собой случай сильного мэра с отсутствием независимой от него ассамблеи, регионального патрона и влиятельных промышленных групп. Как следует из наших теоретических предположений, бедность города и отсутствие местных источников дохода должны вынуждать мэра участвовать в региональных программах. Однако отсутствие поддержки на краевом уровне в виде регионального патрона значительно ограничивает эффективность городской администрации. Поэтому мы ожидаем, что исход в данном случае будет носить смешанный характер в виде высокой активности, но низкой результативности участия муниципалитета в региональных программах.

Кунгур относится к городам без крупных промышленных предприятий, но с развитым мелким и средним бизнесом, что обуславливает сложную и фрагментированную структуру локальных элит (Манокин, 2017). С 2008 до 2015 год город возглавлял Р. Кокшаров, который покинул кресло мэра после получения должности министра территориального развития Пермского края. Его попытка сохранить контроль над городом с помощью лоббирования своей кандидатуры на должность мэра через конкурсную комиссию не оказалась успешной. В результате этот пост достался Л. Елтышевой, которая оказалась компромиссной фигурой для краевых властей, но не смогла консолидировать элиты на местном уровне (Панов, Петрова, 2017). Ее работа в должности мэра сопровождалась конфликтами с депутатским корпусом и общей управленческой неэффективностью. После критики со стороны губернатора она была вынуждена досрочно покинуть свой пост (Кодачников, 2017а). В 2017 г. депутаты городской Думы Кунгуря утвердили главой муниципалитета бывшего руководителя муниципального предприятия «Водоканал» С. Гордеева, который многими экспертами рассматривается как человек Кокшарова (Кадочников, 2017б).

Можно заключить, что после отмены прямых выборов и смены главы города Кунгур эволюционировал от модели слабого мэра без регионального патрона к модели слабого мэра с наличием регионального патрона. Поскольку большую

8. Респондент № 36, депутат городской Думы, интервью от 30 ноября 2018 г., г. Кудымкар (архив авторов).

часть времени после 2015 года город соответствовал первой модели, то мы ожидаем смешанного исхода в виде высокого уровня активности, но низкого уровня результативности участия муниципалитета в региональных программах. Как и в случае Кудымкара, мэр без регионального патрона и мощных промышленных групп вынужден проявлять активность по участию в региональных программах. Кунгур отличает наличие независимой от главы городской Думы, поэтому логично предположить, что уровень активности городского управления Кунгуром должен превышать аналогичный показатель Кудымкара.

Город *Лысьва* имеет два больших завода, которые в прежние годы играли ключевую роль в локальной политике, конкурируя друг с другом (Рябова, 2008). Однако после смены собственников и места регистрации предприятия фактически самоустранились от политических процессов и сегодня оказывают лишь косвенное влияние на городское развитие (Подвинцев, Рябова, 2018). Так, в 2005 году местный политик и владелец завода по производству турбогенераторов «Электротяжмаш-Привод» В. Тетюев уступил контроль над предприятием федеральным экономическим структурам (Колбина, 2018). Второй промышленный гигант в виде Лысьевского металлургического завода также с середины нулевых перешел под контроль внешних владельцев (Емельянова, 2006). После этого потенциал предприятий как значимых политических акторов в локальной политике практически сошел на нет. Отражением этого является депутатский корпус города, в котором ныне практически нет представителей от промышленности (Лысьвенский городской округ, 2018). Поэтому Лысьву целесообразно рассматривать как город без высокого политического влияния промышленных групп.

С точки зрения политических факторов следует учитывать следующую специфику Лысьвы. Нынешний мэр города А. Гончаров имел опыт как победы, так и проигрыша на выборах. В 2007 году он впервые возглавил город, одержав победу в избирательной гонке, но спустя пять лет потерял поддержку горожан и проиграл выборы. Еще через пять лет в 2017 году он неожиданно вернул себе кресло мэра, через конкурс, получив поддержку на региональном уровне (Кодачников, 2017в). Однако, поскольку нынешний мэр Лысьвы вернул свой пост только в 2017 году, показатели оценки уровня эффективности управления скорее характеризуют работу прошлого мэра В. Шувалова, поэтому политические параметры муниципалитета следует оценивать по показателям в период до 2017 года.

Правление Лысьвы в тот период характеризовалось высоким уровнем автономии мэра от региональных властей. Шувалов выиграл выборы в 2012 году, опираясь на поддержку местного бизнесмена и бывшего мэра Лысьвы А. Рихтера, заинтересованного в сохранении своих экономических активов и контроле над городской администрацией (Вкурсе.ру, 2014). Как у Рихтера, так и у Шувалова были напряженные отношения с краевыми властями, что говорит о высокой автономии городской администрации и отсутствии регионального патрона.

Опросы респондентов показали, что сложность отношений региональных и городских властей во многом была обусловлена самостоятельной позицией депу-

татского корпуса Лысьвы, который в тот период был достаточно независимым. В частности, благодаря смешанной избирательной системе, которая применялась при выборах городской Думы в 2012 году, в ассамблее оказались представлены три депутата от КПРФ, создавшие отдельную фракцию. Лидер этой фракции Ю. Мыльников имел опыт руководства муниципальным районом, и поэтому часто выступал с альтернативной программой развития города, убеждая большинство в своей правоте. В частности, депутаты поддерживали его требования увеличить дефицит городского бюджета с 5% до 10%. С их точки зрения, это увеличивало возможности для вложения средств в развитие города и дополнительно стимулировало главу в работе по привлечению ресурсов в город, в том числе за счет участия в краевых программах. Как указывает бывший депутат городской думы г. Лысьвы созыва 2012–2016 годов, «многие депутаты четко понимали бюджетный процесс. И вот шла борьба, согласительная комиссия собиралась, и мы доказывали, что вот так и так. Значит нет, мы так голосовать не будем, пока не решится вопрос. Как не будете? Не будем, вот и все! Мы выносим свои предложения на Думу и будем утверждать вот так. Поэтому тогда городская Дума была достаточно независимая... Мэр нас боялся, честно говоря»⁹.

Таким образом, при слабом политическом влиянии промышленных групп и отсутствии регионального патрона глава Лысьвы имел ограничение в виде независимой от него городской ассамблеи. С точки зрения наших теоретических ожиданий качество городского управления при такой конstellации факторов должно соответствовать смешанному исходу в виде высокой активности, но низкой результативности участия муниципалитета в региональных программах. Несмотря на стимулы со стороны депутатского корпуса, активность по участию в региональных программах не должна быть слишком результативной в силу отсутствия поддержки регионального патрона.

Проведенный анализ позволяет заключить, что шесть исследуемых городов соответствуют четырем теоретически возможным вариантам конstellации факторов (см. табл. 2).

Губаха и Соликамск — это случаи с наличием всех трех факторов с ожидаемым исходом в виде высокого уровня активности и результативности управления. Березники, напротив, город, в котором отсутствуют два позитивных фактора (региональный патрон и независимая ассамблея), но наличествует негативный фактор в виде влиятельных промышленных групп. Следовательно, в этом случае мы ожидаем низкую активность и результативность управления. Все остальные случаи имеют конstellацию факторов, которая позволяет ожидать от них смешанного исхода в виде высокой активности, но низкой результативности.

9. Респондент № 24, бывший депутат городской Думы, интервью от 26 октября 2018 г., г. Лысьва (архив авторов).

Таблица 2. Конstellация факторов, эмпирические случаи и исходы уровня эффективности городского управления

	Наличие политических влиятельных промышленных групп	Наличие регионального патрона	Наличие независимой от муниципального главы ассамблеи	Эмпирические случаи	Исход
1	+	+	+	Губаха, Соликамск	Высокие активность и результативность
2	+	-	-	Березники	Низкие активность и результативность
3	-	-	+	Кунгур, Лысьва	Высокая активность, но низкая результативность
4	-	-	-	Кудымкар	Высокая активность, но низкая результативность

Проверка гипотез и обсуждение результатов

Используя данные итогов региональных конкурсов Пермского края «Инициативное бюджетирование» и «Территориальное общественное самоуправление» с 2015 по 2019 год, в данном разделе мы проверяем выдвинутые гипотезы и обсуждаем результаты. В таблице 3 мы суммировали показатели этих двух программ, чтобы сравнить общую активность и результативность муниципалитетов.

Таблица 3. Обобщенные итоги конкурсов участия городских округов Пермского края в краевых программах «Инициативное бюджетирование» и «Территориальное общественное самоуправление» (2015–2019 гг.)*

Городской округ	Сумма поддержанных заявок	Сумма отклоненных заявок	Общая активность	Соотношение поддержанных заявок к общему числу	Сумма субсидий из регионального бюджета по итогам участия в программах
Березники	2	8	10	0,2	754 713
Губаха	10	6	16	0,6	6 159 307
Кудымкар	6	2	8	0,7	5 260 291
Кунгур	1	6	7	0,1	500 000
Лысьва	7	4	11	0,6	6 763 669
Соликамск	12	10	22	0,4	5811 105

* Рассчитано авторами на основе отчетной документации конкурсов Инициативное бюджетирование (<http://minter.permkrai.ru/activities/initiativnoe-byudzhetirovanie/initiativnoe-byudzhetirovanie/>) и Территориальное общественное самоуправление (<http://minter.permkrai.ru/activities/territorial-public-self-government/territorial-public-self-government/>).

Если ранжировать городские округа по сумме всех поданных и поддержанных заявок, то Губаха и Соликамск являются случаями с максимальным уровнем как активности, так и результативности городского управления (см. рис. 1).



Рис. 1. Число поданных и поддержанных заявлений от городских округов Пермского края в региональных программах

Кунгур и Березники выступают явными аутсайдерами по результативности участия в региональных программах, однако этого нельзя сказать об активности. Все четыре города, которые заметно отстали по этому показателю от лидеров, между собой различаются незначительно, демонстрируя активность в диапазоне от 7 (Кунгур) до 11 (Лысьва).

Расчет соотношения числа успешных заявок к общей сумме поданных может рассматриваться как интегральный показатель эффективности городского управления. На рисунке 2 все случаи ранжированы по этому показателю.

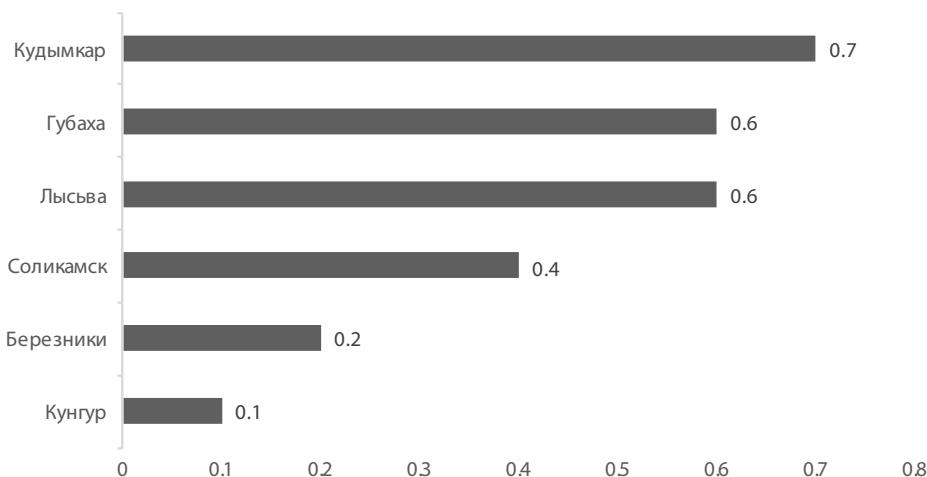


Рис. 2. Соотношение поддержанных к числу поданных заявлений на конкурсы

Как видно из представленных данных, оценка эффективности управления с этой точки зрения не меняет состав аутсайдеров, каковыми остаются Кунгур и Березники, однако происходят заметные перемены в числе лидеров. Кудымкар оказывается наиболее эффективным случаем: 6 из 8 поданных заявок получили поддержку (соотношение = 0,7), Губаха и Лысьва сохраняют вторую и третью позиции соответственно, а вот Соликамск по этому показателю только на четвертом месте. Из 22 поданных этим муниципалитетом заявок лишь 12 были поддержаны, а 10 — отклонены (соотношение = 0,4).

Кроме этого мы рассчитали общую сумму субсидий, полученных городскими округами из бюджета края в результате участия в региональных программах. Данный показатель также можно рассматривать в качестве меры эффективности городского управления. На рисунке 3 исследуемые случаи ранжированы с этой точки зрения сравнения муниципалитетов.

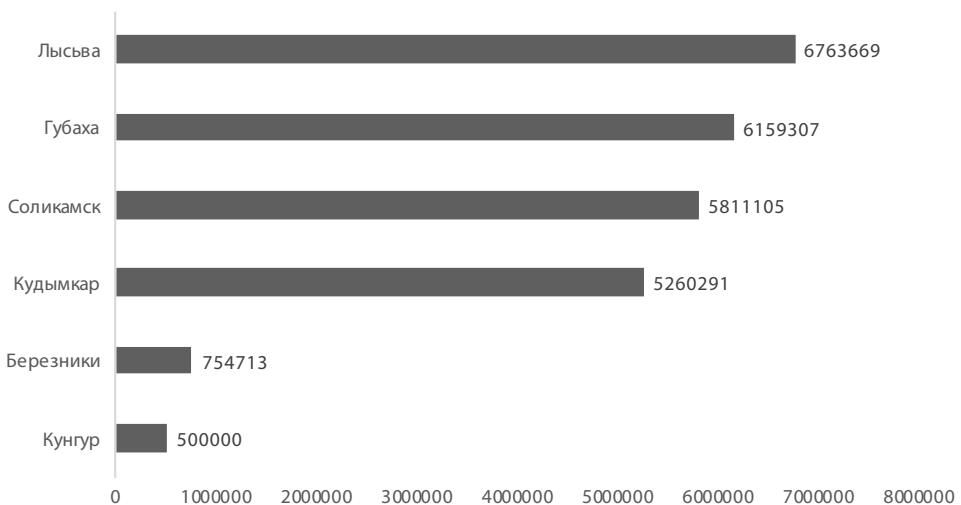


Рис. 3. Сумма субсидий из регионального бюджета по итогам участия городских округов в программах (в тыс. руб.)

Полученные результаты позволяют заключить, что наши теоретические ожидания подтвердились лишь частично и требуют некоторого уточнения. Ключевой тезис о роли регионального патрона как главного фактора активности городского управления в условиях централизации в целом нашел эмпирическое подтверждение. Именно муниципалитеты с наличием патрона демонстрируют наибольшую активность по участию в региональных программах, а также входят в число лидеров по сумме привлеченных средств из регионального бюджета (случаи Соликамска и Губахи). Вместе с тем ожидание относительно аналогичного эффекта в части результативности участия не нашло эмпирического подтверждения. Как показывает случай Кудымкара, город без регионального патронажа может быть вполне результативным. Случай Лысьвы также демонстрирует тот факт, что город

без патрона может достигнуть схожих показателей по общей результативности, как и города с наличием патрона. Как видно из представленных данных, по критерию соотношения поддержанных конкурсных проектов к их общему количеству Лысьва не уступает Губахе (значение = 0,6) и обгоняет Соликамск (значение = 0,4). Кроме того, по сумме привлеченных средств Лысьва лидирует и обгоняет города с наличием регионального патрона. Таким образом, первая гипотеза (Н1) о роли регионального патрона подтвердилась в части активности, но не нашла подтверждения относительно результативности.

Это позволяет уточнить функцию и роль регионального патрона в системе городского управления. По всей видимости, политические акторы подобного рода могут оказывать действенное влияние на активность городской администрации, но не на качество ее работы в части подготовки конкурсной документации. Кроме того, полученные результаты высвечивают ограниченные возможности патронов по влиянию на региональных акторов, принимающих решения в рамках конкурсных процедур. Другими словами, влияние патронов можно признать значительным по отношению к мэру и городской администрации, но довольно ограниченным по отношению к региональным чиновникам и акторам, ответственным за проведение конкурсов.

Вторая гипотеза (Н2), предполагающая низкий уровень активности и результативности управления в условиях отсутствия регионального патрона и независимой городской ассамблеи, но наличия сильных промышленных групп, в целом подтвердилась. Березники, единственный из исследуемых эмпирических случаев, соответствующий данным характеристикам, — действительно аутсайдер по интегральному показателю эффективности. Из десяти поданных заявок лишь две были одобрены региональными властями (соотношение = 0,2). По сумме привлеченных средств из регионального бюджета через участие в конкурсах данный муниципалитет также находится среди аутсайдеров. Вместе с тем, хотя активность данного муниципалитета существенно меньше, чем у лидеров (Соликамска и Губахи), он не слишком отличается по этому параметру от других случаев, что противоречит нашим изначальным теоретическим предположениям. Напомним, мы предполагали, что муниципалитеты без градообразующих предприятий и регионального патрона будут сравнительно активнее, чем города, подобные Березникам. Однако Кудымкар демонстрирует даже более низкие показатели (8 против 10), а Лысьва — лишь незначительное преимущество (11 против 10).

Наконец, третья гипотеза (Н3), предполагающая, что случаи с разнонаправленными факторами (отсутствие регионального патрона, но наличие иных стимулов для активности) будут демонстрировать смешанный исход, тоже нашла лишь частичное подтверждение. С одной стороны, подобные случаи (Лысьва и Кудымкар) с точки зрения активности действительно занимают срединное место, уступая городам с наличием регионального патрона. С другой стороны, как уже указывалось выше, по интегральному показателю эффективности случай Кудымкара явно выбивается из исходных теоретических ожиданий. Схожим образом Лысьва, во-

преки нашим предположениям, оказалась лидером по привлечению общей суммы субсидий из краевого бюджета посредством участия в региональных программах. Это дает возможность считать, что фактор независимой от мэра городской ассоциации (случай Лысьвы) с точки зрения результативности работы администрации является не менее эффективным стимулом, чем наличие регионального патрона.

Отдельного рассмотрения заслуживает случай Кунгуря, который также частично оказался вне наших теоретических ожиданий. Имея аналогичный набор факторов с Лысьвой, Кунгур демонстрирует диаметрально иной исход, по всем показателям прочно удерживая позицию явного «неудачника». Возможно это объясняется высокой частотой ротации глав муниципалитета, что отличает Кунгур от других случаев. Как указывалось выше, с 2015 по 2017 год в городе дважды менялся мэр. Эта кадровая нестабильность в сочетании с высоким уровнем конфликтности основных политических игроков не способствовали эффективности городского управления. По всей видимости, случай Кунгуря подтверждает тезис, согласно которому в условиях централизации конфликты элит негативно влияют на качество управления. В ситуации крайней политической поляризации и кадровой нестабильности ключевые факторы перестают работать, и даже при их наличии уровень эффективности городского управления остается крайне низким.

Заключение

В современных научных дискуссиях о государственном управлении доминирует точка зрения, согласно которой демократизация, децентрализация, верховенство права, прозрачность и сменяемость власти, а также переход от бюрократической иерархии к сетевому взаимодействию между государством и обществом являются ключевыми условиями для управленческой эффективности. Именно эти принципы заложены в концепции «good governance», ставшей мейнстримом в теории и практике государственного управления. Между тем текущие тенденции в России имеют противоположную логику. Встраивание локальных сообществ в единую властную вертикаль — лишь один из красноречивых примеров процесса централизации, характеризующих современные российские реалии.

Мировые рейтинги, согласно которым Россия далека от лидеров по качеству государственного управления, подтверждают важность реализации принципов «достойного правления». В то же время российский случай интересен не только с точки зрения соотнесения его с нормативным идеалом, но и как познавательно ценная эмпирическая площадка, изучение которой может пролить свет на кausalные механизмы и факторы, обусловливающие социальную и политическую неоднородность территорий даже в условиях институциональной унификации. В данном исследовании мы задались вопросом: почему при инсталляции единых правил муниципалитеты продолжают различаться между собой по уровню управленческой эффективности? Полученные результаты, как нам представляется, могут способствовать лучшему пониманию логики управления в условиях централизации и выходят за рамки только российского и локального контекстов.

Прежде всего, наше исследование подтвердило тезис о том, что в условиях централизации основания эффективности заметно смещаются, задавая иные требования к главам муниципалитетов. Если при наличии автономии мэры в большей степени рассчитывали на собственные силы и эффективность управления во многом обуславливалась их способностью к рисковым и нетривиальным решениям, то в условиях централизации главным фактором успеха становится умение выстраивать лояльные отношения с вышестоящими этажами власти. Это усиливает роль неформальных практик патрон-клиентистского типа. Как показано в нашем исследовании, более активными по привлечению средств на территорию оказываются именно те города, которые имеют регионального патрона, обеспечивающего покровительство и неформальный контроль над городской администрацией.

Вместе с тем наше исследование выявило, что влияние региональных патронов имеет пределы. Хотя города без патронов заметно уступают по активности участия в конкурсах, они могут быть вполне успешными с точки зрения результативности. Это может означать, что региональные патроны играют важную роль в плане активизации городской администрации по участию в конкурсах, но не всегда способны повысить качество такого рода работы. Еще один вывод, который можно сделать исходя из полученных результатов, заключается в том, что патроны не оказывают равного влияния на локальных и региональных политических акторов. Поэтому активность «опекаемых» ими муниципалитетов, которая фиксируется статистикой, не всегда соответствует высокому уровню их результативности. Другими словами, патроны действительно влияют на активность работы городской администрации, но их возможности по лоббированию своих интересов на уровне региональной власти ограничены.

Из этого можно сделать вывод, что хотя централизация увеличивает роль неформальных практик, она не делает этот эффект абсолютным. Формальные институты и правовые ограничения сохраняют свое значение, сосуществуя с элементами патримониализма. Этот синтез формальных и неформальных взаимодействий не позволяет сказать, что централизация полностью размывает бюрократию и возрождает патримониализм в чистом виде. Скорее можно говорить о формировании сочетания этих моделей, что некоторые ученые определяют как неопатримониализм. Таким образом, современный опыт управления в России открывает большие возможности для исследования специфики неопатримониального управления, и локальный уровень, как видно из нашего исследования, является перспективной эмпирической основой для этого.

Литература

- Антипов К. А. (2013). Оценка муниципальных органов власти местным сообществом (по материалам социологических исследований в Пермском крае) // Вестник Поволжской академии государственной службы. № 4. С. 9–17.

- Березниковская городская Дума (2018). Депутаты по округам. URL: <http://berduma.ru/electoral-districts/mps-by-county/> (дата доступа: 05.02.2019).
- Борисова Н. В., Сулимов К. А., Ковина О. В. (2011). Коалиции в городах Прикамья: факторы формирования и сохранения городских политических режимов // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. № 1. С. 5–14.
- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1: Социология. М.: НИУ ВШЭ.
- Вкурсе.ру (2014). Мэра Лысьвы заставят уйти. URL: http://v-kurse.ru/news/politics/mera_lysvy_zastavyat_uйти/ (дата доступа: 05.02.2019).
- Гельман В. Я. (2018а). Исключения и правила: «истории успеха» и «недостойное правление» в России (часть 1) // Общественные науки и современность. № 5. С. 48–60.
- Гельман В. Я. (2018б). Исключения и правила: «истории успеха» и «недостойное правление» в России (часть 2) // Общественные науки и современность. № 6. С. 5–15.
- Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. (2008). Реформа местной власти в городах России, 1991–2006. СПб.: Норма.
- Емельянова Н. (2006). Лысьвенские металлурги слились // Коммерсантъ-Прикамье. 11 марта. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/657035> (дата доступа: 05.02.2019).
- Кадочников К. (2017а). Глава разбегаются // Коммерсантъ-Прикамье. 15 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3410521> (дата доступа: 05.02.2019).
- Кадочников К. (2017б). По мэру поступления // Коммерсантъ-Прикамье. 29 ноября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3481264> (дата доступа: 05.02.2019).
- Кадочников К. (2017в). Глава районного масштаба // Коммерсантъ-Прикамье. 29 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3423666> (дата доступа: 05.02.2019).
- Кадочников К. (2018). Ваше слиятельство // Коммерсантъ-Прикамье. 5 октября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3763709> (дата доступа: 05.02.2019).
- Коваленко А. (2012). Губернатор вне системы // Эксперт Online. № 21. URL: <http://expert.ru/ural/2012/21/gubernator-vne-sistemy/> (дата доступа: 05.02.2019).
- Ковин В. С., Петрова Р. И. (2017). Конкурентность в локальном политическом пространстве: конкурсы по избранию МСУ и выборы депутатов представительных органов власти в муниципальных районах и городских округах Пермского края в 2012–2017 гг. // Вестник Пермского научного центра. № 4. С. 112–120.
- Колбина Ю. (2018). Приведут в движение // Коммерсантъ-Прикамье. 5 апреля. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3593616> (дата доступа: 05.02.2019).
- Лысьвенский городской округ (2018). Депутаты. URL: <http://adm-lysva.ru/vlast/duma/deputaty.php> (дата доступа: 05.02.2019).
- Манокин М. А. (2017). «Изоморфизм» полей (на примере стратегий действия локальных элит в Пермском крае) // Ars Administrandi (Искусство управления). № 2. С. 237–252.

- Министерство юстиции Российской Федерации. (2018). Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации (данные за 2017 г. — начало 2018 г.). URL: <http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya> (дата доступа: 05.02.2019).
- Мухаметов Р. С. (2015). Роль партии «Единая Россия» в консолидации элит на муниципальном уровне // *Ars Administrandi* (Искусство управления). № 1. С. 85–94.
- Панов П. В., Петрова Р. И. (2017). Представительные органы МСУ как канал лоббирования интересов региона: новая система рекрутования глав МСУ // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. № 2. С. 111–122.
- Пермский край (2014). О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края. Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК. URL: <http://perm.regnews.org/doc/zq/v4.htm> (дата доступа: 05.02.2019).
- Пермский край (2015). О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образования Пермского края. Закон Пермского края от 21.12.2015 № 584-ПК. URL: <http://perm.regnews.org/doc/mq/8p.htm> (дата доступа: 05.02.2019).
- Подвинцев О. Б., Рябова О. А. (2018). Тенденции трансформации лоббистских структур в органах местного самоуправления малых российских городов (на примере Пермского края) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. № 3. С. 138–147.
- Российская Газета (2014). Федеральный закон от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: <https://rg.ru/2014/05/30/samoupravlenie-dok.html> (дата доступа: 05.02.2019).
- Рябова О. А. (2008). Градообразующие предприятия и политические процессы в малых промышленных городах Урала // Политическая наука. № 3. С. 224–235.
- Семенов А., Бедерсон В., Шевцова И., Шкель С. (2018). Политические институты и производство локальных публичных благ: аналитическая рамка исследования // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. Т. 12. № 4. С. 21–34.
- Стародубцев А. В. (2018). Условия успешного управления в современной России: субнациональный уровень // Полития. № 4. С. 70–89.
- Тев Д. (2006). Политэкономический подход в анализе местной власти: к вопросу о коалиции, правящей в Санкт-Петербурге // Политическая экспертиза. Т. 2. № 2. С. 99–121.

- ФедералПресс (2010). В Перми отменены всенародные выборы мэра URL: <http://fedpress.ru/news/russia/policy/897705> (дата доступа: 05.02.2019).
- Чирикова А. Е., Ледяев В. Г., Сельцер Д. Г. (2014). Власть в малом российском городе: конфигурация и взаимодействие основных акторов // Полис: Политические исследования. № 2. С. 88–105.
- Booms B. H. (1966). City Governmental Form and Public Expenditure Levels // National Tax Journal. Vol. 19. № 2. P. 187–199.
- Buckley N., Garifullina G., Reuter O., Shubenkova A. (2014). Elections, Appointments, and Human Capital: The Case of Russian Mayors // Demokratizatsiya. Vol. 22. № 1. P. 87–107.
- Carr J. B. (2015). What Have We Learned about the Performance of Council-Manager Government? A Review and Synthesis of the Research // Public Administration Review. Vol. 75. № 5. P. 673–689.
- Charlick R. (1992). The Concept of Governance and its Implications for A.I.D. Development Assistance Program in Africa. Washington: ARD.
- Dahl R. (1992). Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven: Yale University Press.
- Gel'man V. (2006). The Politics of Recentralization in Contemporary Russia // Blakkisrud H. (ed.). Towards a Post-Putin Russia. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. P. 23–37.
- Kettl D. F. (2000). The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance. Washington: Brookings Institution Press.
- Lankina T., Hudalla A., Wollmann H. (2008). Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia. N. Y.: Macmillan.
- Levi-Faur D. (ed.). (2012). The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
- Pal S., Wahhaj Z. (2017). Fiscal Decentralisation, Local Institutions and Public Goods Provision: Evidence from Indonesia // Journal of Comparative Economics. Vol. 45. № 2. P. 383–409.
- Peters G., Pierre J. (2003). Introduction: The Role of Public Administration in Governing // Peters G., Pierre J. (eds.). Handbook of Public Administration. L.: SAGE. P. 1–11.
- Roll M. (2014). Pockets of Effectiveness: Review and Analytical Framework // Roll M. (ed.). The Politics of Public Sector Performance: Pockets of Effectiveness in Developing Countries. L.: Routledge. P. 22–42.
- Rutland P. (1993). The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saha S. (2011). City-Level Analysis of the Effect of Political Regimes on Public Good Provision // Public Choice. Vol. 147. № 1–2. P. 155–171.
- Scott J. (1969). Corruption, Machine Politics, and Political Change // American Political Science Review. Vol. 63. № 4. P. 1142–1158.

- Sharafutdinova G., Turovsky R.* (2017). The Politics of Federal Transfers in Putin's Russia: Regional Competition, Lobbying, and Federal Priorities // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 33. №. 2. P. 161–175.
- Stoner-Weiss K.* (1997). Local Heroes: The Political Economy of Russian Regional Governance. Princeton: Princeton University Press.
- Treisman D.* (2007). The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNDP (1997). Governance for Sustainable Human Development, New York: UNDP.
- Vengroff R., Salem B.* (1992). Assessing the Impact of Decentralization on Governance: A Comparative Methodological Approach and Application to Tunisia // *Public Administration and Development*. Vol. 12. № 5. P. 473–492.
- Weber M.* (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
- World Bank (2017). Worldwide Governance Indicators. URL: <http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators> (дата доступа: 05.02.2019).

The Vertical Constraints: Centralization and Management Effectiveness in Urban Russia

Stanislav Shkel

Dr. Sci. (Politics), Senior Researcher at the Center for Comparative History and Politics, Professor of the Department of Political Science, Perm State National Research University

Address: Bukireva str., 15, Perm, Russian Federation 614990

E-mail: stas-polit@yandex.ru

Vsevolod Bederson

Candidate of Political Sciences, Senior Researcher at the Center for Comparative History and Politics, Assistant Professor of the Department of Political Science, Perm State National Research University

Address: Bukireva str., 15, Perm, Russian Federation 614990

E-mail: vsbederson@gmail.com

Andrei Semyonov

Candidate of Political Sciences, Senior Researcher at the Center for Comparative History and Politics, Assistant Professor of the Department of Political Science, Perm State National Research University

Address: Bukireva str., 15, Perm, Russian Federation 614990

E-mail: andre.semenoff@gmail.com

Irina Shevtsova

Candidate of Political Sciences, Director of the Center for Comparative History and Politics, Assistant Professor of the Department of Political Science, Perm State National Research University

Address: Bukireva str., 15, Perm, Russian Federation 614990

E-mail: irinashevtsova777@gmail.com

At present, the direct election of municipal heads has been canceled in most Russian regions, which practically completed the integration of municipalities into single, top-down model of governance. These institutional reforms caused changes in the factors determining the development and management effectiveness of municipalities. We have conducted a comparative analysis of six urban districts in Perm Krai to show that the effectiveness of the municipal administration is mainly stimulated by a constellation of informal, economic, and institutional factors. The presence of a regional actor that exercises patronage and control over a municipality counts as "informal." An economic factor is represented by the absence of major city/town-forming business companies, which stimulates the city administration to actively raise additional funds through regional development programs. Finally, an institutional factor is the pressure exercised by independent local-council members. The constellation of these three factors determines the effectiveness of a local administration in the context of centralization. We use municipal statistical data, as well as semi-formalized interviews with 39 respondents collected in the six urban districts under study as an empirical basis to verify and prove the stated theoretical propositions.

Keywords: centralization, management effectiveness, local politics, municipalities, Russia, Perm Krai

References

- Antipiev K. A. (2013) *Ocenka municipal'nyh organov vlasti mestnym soobshchestvom (po materialam sociologicheskikh issledovanij v Permskom krae)* [Evaluation of Municipal Authorities by the Local Community (Based on Case Studies in the Perm Region)]. *Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, no 4, pp. 9–17.
- Bereznikovskaya gorodskaya Duma (2018) Deputaty po okrugam [The Deputies in the Sistricts]. Available at: <http://berduma.ru/electoral-districts/mps-by-county/> (accessed 5 February 2019).
- Booms B. H. (1966) City Governmental Form and Public Expenditure Levels. *National Tax Journal*, vol. 19, no 2, pp. 187–199.
- Borisova N., Sulimov K., Kovina O. (2011) *Koalitsii v gorodah Prikam'ja: faktory formirovaniya i sohraneniya gorodskikh politicheskikh rezhimov* [Coalitions in the Cities of Prikamye: Factors of Formation and Maintenance of Urban Political Regimes]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 1, pp. 5–14.
- Buckley N., Garifullina G., Reuter O., Shubenkova A. (2014) Elections, Appointments, and Human Capital: The Case of Russian Mayors. *Demokratizatsiya*, vol. 22, no 1, pp. 87–107.
- Carr J. B. (2015) What Have We Learned about the Performance of Council-Manager Government? A Review and Synthesis of the Research. *Public Administration Review*, vol. 75, no 5, pp. 673–689.
- Charlick R. (1992) *The Concept of Governance and its Implications for A.I.D. Development Assistance Program in Africa*, Washington: ARD.
- Chirkova A., Ledyayev V., Seltser D. (2014) *Vlast' v malom rossijskom gorode: konfiguracija i vzaimodejstvie osnovnyh aktorov* [Power in a Small Russian Town: The Configuration and Interaction of the Main Actors]. *Polis. Political Studies*, no 2, pp. 88–105.
- Dahl R. (1992) *Dilemmas of Pluralist Democracy*, New Haven: Yale University Press.
- Emelyanova N. (2006) *Lys'venskie metallurgi slilis'* [Lysva Metallurgists Left]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/657035> (accessed 5 February 2019).
- FederalPress (2010) V Permi otmeneny vsenarodnye vybory mjera [National Elections for Mayor Canceled in Perm]. Available at: <http://fedpress.ru/news/russia/policy/897705> (accessed 5 February 2019).
- Gelman V. (2006) The Politics of Recentralization in Contemporary Russia. *Towards a Post-Putin Russia* (ed. H. Blakkisrud), Oslo: Norwegian Institute of International Affairs, pp. 23–37.
- Gelman V. (2018) *Iskljuchenija i pravila: "istorii uspeha" i "nedostojnoe pravlenie" v Rossii* (chast' 1) [Exceptions and Rules: "Success Stories" and "Bad Government" in Russia (Part 1)]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 5, pp. 48–60.
- Gelman V. (2018) *Iskljuchenija i pravila: "istorii uspeha" i "nedostojnoe pravlenie" v Rossii* (chast' 2) [Exceptions and Rules: "Success Stories" and "Bad Government" in Russia (Part 2)]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 6, pp. 5–15.
- Gelman V., Ryzhenkov S., Belokurova E., Borisova N. (2008) *Reforma mestnoj vlasti v gorodakh Rossii, 1991–2006* [The Reform of Local Government in the Cities of Russia, 1991–2006], Saint Petersburg: Norma.

- Kadochnikov K. (2017) Glavy razbegajutsja [Heads Fly]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3410521> (accessed 5 February 2019).
- Kadochnikov K. (2017) Po mjeru postuplenija [By Mayor of Admission]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3481264> (accessed 5 February 2019).
- Kadochnikov K. (2017) Glava rajonnogo masshtaba [Head of District Scale]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3423666> (accessed 5 February 2019).
- Kadochnikov K. (2018) Vashe slijatel'stvo [Your Coherence]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3763709> (accessed 5 February 2019).
- Kettl D. F. (2000) *The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance*, Washington: Brookings Institution Press.
- Kolbina Y. (2018) Privedut v dvizhenie [Will Set in Motion]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3593616> (accessed 5 February 2019).
- Kovalenko A. (2012) Gubernator vne sistemy [Governor Outside the System]. Available at: <http://expert.ru/ural/2012/21/gubernator-vne-sistemy/> (accessed 5 February 2019).
- Kovin V., Petrova R. (2017) Konkurentnost' v lokal'nom politicheskem prostranstve: konkursy po izbraniyu MSU i vybory deputatov predstaviteľ'nyh organov vlasti v municipal'nyh rajonah i gorodskih okrugah Permskogo kraja v 2012–2017 gg. [Competitiveness in the Local Political Space: Competitions for the Election of Local Self-Government and the Election of Deputies of Representative Bodies of Power in Municipal Districts and Urban Districts of the Perm Region in 2012–2017]. *Perm Federal Research Centre Journal*, no 4, pp. 112–120.
- Lankina T., Hudalla A., Wollmann H. (2008) *Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia*, New York: Macmillan.
- Levi-Faur D. (ed.) (2012) *The Oxford Handbook of Governance*, Oxford: Oxford University Press.
- Lysvensky gorodskoy okrug (2018) Deputaty [Deputies]. Available at: <http://adm-lysva.ru/vlast/duma/deputaty.php> (accessed 5 February 2019).
- Manokin M. (2017) "Izomorfizm" polej (na primere strategij dejstvija lokal'nyh jelit v Permskom krae) ["Isomorphism" of Fields (Based on the Case of Local Elite Action Strategies in the Perm Region)]. *Ars Administrandi*, no 2, pp. 237–252.
- Ministerstvo justicij Rossijskoj Federacii. (2018) Doklad o sostojanii i osnovnyh napravlenijah razvitiya mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii (dannye za 2017 g. — nachalo 2018 g.) [Report on the State and Main Directions of Development of Local Self-government in the Russian Federation (Data for 2017 — the Beginning of 2018)]. Available at: <http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya> (accessed 5 February 2019).
- Muhamedov R. (2015) Rol' partii "Edinaja Rossija" v konsolidacii jelit na municipal'nom urovne [The Role of the Party "United Russia" in the Consolidation of Elites at the Municipal Level]. *Ars Administrandi*, no 1, pp. 85–94.
- Pal S., Wahhaj Z. (2017) Fiscal Decentralisation, Local Institutions and Public Goods Provision: Evidence from Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, vol. 45, no 2, pp. 383–409.
- Panov P., Petrova R. (2017) Predstaviteľ'nye organy MSU kak kanal lobbirovaniya interesov regiona: novaja sistema rekrutirovaniya glav MSU [Representative bodies of local self-government as a channel for lobbying the interests of the region: a new system for recruiting the heads of local government]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 2, pp. 111–122.
- Permsky Krai (2014) O porjadke formirovaniya predstaviteľ'nyh organov municipal'nyh obrazovanij Permskogo kraja i porjadke izbraniya glav municipal'nyh obrazovanij Permskogo kraja. Zakon Permskogo kraja ot 26.11.2014 № 401-PK [On the Order of Formation of Representative Bodies of Municipal Formations of the Perm Region and the Procedure for Electing the Heads of Municipal Formations of The Perm Territory. The Law of the Perm Region Dated 11.26.2014 No. 401-PK]. Available at: <http://perm.regnews.org/doc/zq/v4.htm> (accessed 5 February 2019).
- Permsky Krai (2015) O poryadke naznacheniya i provedeniya oprosa grazhdan v municipal'nyh obrazovaniya Permskogo kraja. Zakon Permskogo kraja ot 21.12.2015 № 584-PK. [On the Procedure for Appointing and Conducting a Survey of Citizens in Municipalities of the Perm Region. The Law of the Perm Region Dated December 21, 2015 No. 584-PK]. Available at: <http://perm.regnews.org/doc/mq/8p.htm> (accessed 5 February 2019).

- Peters G., Pierre J. (2003) Introduction: The Role of Public Administration in Governing. *Handbook of Public Administration* (eds. B. Peters, J. Pierre), London: SAGE, pp. 1–11.
- Podvintsev O., Ryabova O. (2018) Tendencii transformacii lobbistskikh struktur v organah mestnogo samoupravlenija malyh rossijskikh gorodov (na primere Permskogo kraja) [Trends in the Transformation of Lobbying Structures in Local Governments of Small Russian Towns (the Case of Perm Region)]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 3, pp. 138–147.
- Ryabova O. (2008) Gradoobrazujushchie predprijatija i politicheskie processy v malyh promyshlennyh gorodah Urala [Town-Forming Enterprises and Political Processes in Small Industrial Towns of the Urals]. *Political Science (RU)*, no 3, pp. 224–235.
- Roll M. (2014) Pockets of Effectiveness: Review and Analytical Framework. *The Politics of Public Sector Performance: Pockets of Effectiveness in Developing Countries* (ed. M. Roll), London: Routledge, pp. 22–42.
- Rossijskaya Gazeta (2014) Federal'nyj zakon ot 27 maja 2014 g. N 136-FZ "O vnesenii izmenenij v stat'ju 26 Federal'nogo zakona 'Ob obshhih principah organizacii zakonodatel'nyh (predstaviteľnyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti subektov Rossijskoj Federacii' i Federal'nyj zakon 'Ob obshhih principah organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii'" [Federal Law of May 27, 2014 N 136-FZ "On Amendments to Article 26 of the Federal Law 'On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Subjects of the Russian Federation' and Federal Law 'On General Principles of Organization of Local Self-Government in Russian Federation'"]. Available at: <https://rg.ru/2014/05/30/samoupravlenie-dok.html> (accessed 5 February 2019).
- Rutland P. (1993) *The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Saha S. (2011) City-Level Analysis of the Effect of Political Regimes on Public Good Provision. *Public Choice*, vol. 147, no 1-2, pp. 155–171.
- Scott J. (1969) Corruption, Machine Politics, and Political Change. *American Political Science Review*, vol. 63, no 4, pp. 1142–1158.
- Semenov A., Bederson V., Shevtsova I., Shkel S. (2018) Politicheskie instituty i proizvodstvo lokal'nyh publichnyh blag: analiticheskaja ramka issledovaniya [Political Institutions and the Public Goods Production on Local Level: An Analytical Framework]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, vol. 12, no. 4, pp. 21–34.
- Sharafutdinova G., Turovsky R. (2017) The Politics of Federal Transfers in Putin's Russia: Regional Competition, Lobbying, and Federal Priorities. *Post-Soviet Affairs*, vol. 33, no 2, pp. 161–175.
- Starodubtsev A. (2018) Uslovija uspeshnogo upravlenija v sovremennoj Rossii: subnacional'nyj uroven' [Conditions for Successful Governance in Modern Russia: Subnational Level]. *Politeia*, vol. 91, no 4, pp. 70–89.
- Stoner-Weiss K. (1997) *Local Heroes: The Political Economy of Russian Regional Governance*, Princeton: Princeton University Press.
- Tev D. (2006) Politjekonomicheskij podhod v analize mestnoj vlasti: k voprosu o koalicii, pravjashhej v Sankt-Peterburge [Political-Economic Approach in the Analysis of Local Authorities: On the Issue of the Coalition Ruling in St. Petersburg]. *Political Expertise*, vol. 2, no 2, pp. 99–121.
- Treisman D. (2007) *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*, Cambridge: Cambridge University Press.
- UNDP (1997) *Governance for Sustainable Human Development*, New York: UNDP.
- Vengroff R., Salem B. (1992) Assessing the Impact of Decentralization on Governance: A Comparative Methodological Approach and Application to Tunisia. *Public Administration and Development*, vol. 12, no 5, pp. 473–492.
- Vkurse.ru (2014) Mjera Lys'vy zastavljat ujti [Lisva's Mayor will be Force to Leave]. Available at: http://v-kurse.ru/news/politics/mera_lysvy_zastavyat_uyti/ (accessed 5 February 2019).
- Weber M. (1978) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley: University of California Press.
- World Bank (2017) Worldwide Governance Indicators. Available at: <http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators> (accessed 5 February 2019).

Цифровые городские исследования: проблемы взаимодействия и паттерны координации*

Лилия Земнухова

Кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге

Старший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН
Адрес: 7-я Красноармейская ул., д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005
E-mail: l.zemnukhova@gmail.com

Николай Руденко

Кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге

Старший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН
Адрес: 7-я Красноармейская ул., д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005
E-mail: diogenstyx@gmail.com

Денис Сивков

Кандидат философских наук, научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН
Доцент кафедры эпистемологии и теоретической социологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации
Адрес: 7-я Красноармейская ул., д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005
E-mail: d.y.sivkov@gmail.com

В цифровых городских проектах происходят столкновения между социогуманистическими учеными (урбанистами, антропологами, социологами, географами и т. д.) и техническими специалистами (программистами, аналитиками данных, веб-разработчиками и т. д.). Эти столкновения принимают форму непонимания и критики нормативности методологий друг друга из-за отсутствия единого языка. На материалах глубинных интервью с представителями разных городских проектов, связанных с цифровыми методами и данными, мы показываем, что внутри проектов формируются два основных направления по решению возникающих проблем и координации участников с разными эпистемологическими традициями: нахождение общего языка и более pragматический режим координации через «пограничные объекты». Мы демонстрируем эти направления на примере работы с данными и методами внутри междисциплинарных команд. Помимо этого, мы выделяем пять паттернов координации между социогуманистическими учеными и программистами (смещение экспертиз, совместная работа, формальный менеджмент, временная сборка, заказы). Преобладание того или иного паттерна зависит от наличия институционального давления, организа-

© Земнухова Л. В., 2019

© Руденко Н. И., 2019

© Сивков Д. Ю., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-107-129

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-33-01173 «Методологические особенности применения цифровых методов в междисциплинарных городских исследованиях».

ционного разделения труда, финансовых ресурсов для найма технических специалистов и менеджеров, а также сильного лидера, определяющего ситуацию.

Ключевые слова: городские исследования, междисциплинарные команды, цифровые методы, цифровые данные, исследования науки и технологий, количественные и качественные методологии, черные ящики

Цифровизация, то есть перевод процессов на базу компьютерных вычислений и устройств, активно продвигается в России благодаря государственной поддержке и интересам бизнеса (Правительство РФ, 2017). Не менее активно цифровые методы и использование цифровых данных проникают в академические исследования, где они открывают возможности для получения нового знания об обществе. Исследователи отмечают, что речь идет не просто о получении информации, но о трансформации социального при создании социотехнических гибридов: новые каналы коммуникации и технологии позволяют создать условия и практики, которых еще не было до этого (Руденко, 2018). Если 20 лет назад классик цифровой этнографии Кристин Хайн писала об интернете как о еще одном месте для исследования социальной коммуникации, то сегодня невозможно точно сказать, остались ли «старые места», которые не были бы затронуты цифровыми трансформациями (Hine, 2000).

Как бы ни были велики успехи цифровизации, она никогда не происходит сама по себе. Исследователи науки и технологий (STS) давно раскритиковали идею, что технологии самостоятельно распространяются в обществе и завоевывают всеобщую любовь благодаря своей эффективности или экономичности (Latour, 1996: 118–120). Технологии приходят в конкретные сферы в результате действий конкретных людей, которые убеждают, принуждают, «покупают» интерес индивидов или групп (Pinch, Bijker, 1984).

В академической сфере схожая ситуация. Так, Хайн отмечает, что любая методология — это еще и «устройство» солидаризации с академическим сообществом, и потому резкое изменение в методологии — скажем, желание отбросить все традиционные методы и начать заниматься революционными новациями — может не только способствовать прогрессивным исследованиям, но и привести к расколам внутри академических сообществ, а также появлению академических маргиналов (Hine, 2005: 8). Таким образом, цифровизация неизбежно вызывает сопротивление и конфликты среди отдельных групп исследователей. Эти конфликты — показатель того, что данные, методы, теории в разных областях социальных исследований меняются.

Социальные исследования города — яркий пример влияния цифровых технологий. С середины 1990-х годов ученые говорят о том, как информационные (и затем — цифровые) технологии изменили экономику городов, их пространственное развитие, возможность в них политического участия, привели к появлению глобальных городов и новых сетей власти (Castells, 1996; Sassen, 2001; Graham, 2001).

Появление и повсеместное распространение цифровых технологий в городе видятся по-разному: как заговор ИТ-корпораций, как закономерный процесс оптимизации и ускорения городских процессов и даже как возможность более демократического участия в жизни города (Запорожец, Лапина-Кратасюк, 2015; Söderström et al., 2014; Tironi, Sánchez Criado, 2015). Однако почти никто не сомневается в том, что сегодня большие города (а обычно речь идет о них) пронизаны цифровыми технологиями, и описывать их вне контекста влияния цифры недальновидно.

Вместе с приходом цифры в города меняется и характер исследований самого города. С 2010-х годов появляются влиятельные направления «городской информатики» (*urban informatics*) и «городских вычислений» (*urban computing*), где город начинает исследоваться не географами, экономистами, социологами, антропологами, урбанистами и т.д., а с позиции информатики, программирования, анализа данных, машинного обучения и больших данных (Foth, 2009). Соответственно, меняются методы исследования: вместо интервью, наблюдений, анализа документов городского развития можно заметить масштабное распространение статистических методов, методов машинного обучения. В качестве данных все чаще выступают не тексты, не опросы и не дневники наблюдений, а данные от сенсоров, GPS-датчиков, мобильных операторов.

Подобные изменения не могли остаться незамеченными. О. Н. Запорожец и Е. Г. Лапина-Кратасюк опубликовали статью, где предложили деление всех современных исследователей города на «цифровых техноцентристов» и «цифровых антропологов». Техноцентристы — это те, кто «исходит из положения о принципиальном изменении структуры городского опыта под влиянием цифровых технологий» (Запорожец, Лапина-Кратасюк, 2015: 42). Основной объект их исследований — цифровые объекты в городе и пространства, которые формируются информационными следами. Соответственно, техноцентристы опираются на статистические методы и на большие данные.

Адепты антропологического подхода к цифровому городу исходят из сомнения в «способности цифровых технологий выступать самостоятельными агентами действия и создавать особые типы городской реальности» (Там же: 43). Люди, их представления и практики пользования цифровыми технологиями — вот что находится в фокусе цифровых антропологов, поскольку «дигитализация — это не универсальная логика, а универсальный катализатор коммуникативных процессов» (Там же). По логике этого подхода, старые, более традиционные методы в социальных науках остаются работающими и для новой цифровой городской ситуации. И соответственно, в качестве данных выступают знакомые социологам и антропологам дневники наблюдений, видеозаписи, тексты интервью и т. д. По своему духу этот подход напоминает идеи К. Хайн по исследованию интернета, только перенесенные на городскую среду (Hine, 2005: 8).

Несмотря на большой интерес к методологическим вопросам, статья Запорожец и Лапиной-Кратасюк не идет дальше таксономии исследователей цифрового города и не указывает, какие сложности возникают при реализации каждого

из подходов — антропологического и техноцентрического. К примеру, называя Л. Мановича одним из главных adeptов (и даже глашатаев) техноцентризма в исследовании города, они не замечают того, что в каждом проекте Манович стремится совместить социокультурный и художественный бэкграунд с цифровыми навыками (Manovich, 2011).

Деление на антропологов и техноцентристов не объясняет, как цифровизация города влияет на исследователей, заставляет их менять оптику, подбирать и изобретать методы, приобретать новые знания и навыки и взаимодействовать с другими акторами. Более того, техноцентристы не такая уж однородная группа: среди тех, кто стремится использовать цифровые методы в исследованиях и делает акцент на «умных» объектах, оказываются как исследователи с бэкграундом социальных и культурных наук («гуманитарии»)¹, так и «программисты»². В процессе работы с городом идут переговоры и координация по поводу того, какие методы получения и анализа данных можно и нужно использовать. Сами данные, предполагающие возможность определенной аналитики, также являются объектом критики и споров. Наконец, сама рабочая координация между «программистами» и «гуманитариями» часто происходит не гладко. Если мы «умножим» эти споры на разные контексты, в которых реализуются проекты (сети друзей, коммерческие компании, вузы, технические и гуманитарные), то получим запутанную и сложную картину, которая совсем не будет похожа на дихотомию «антропологии» — «техноцентристы». Сам феномен цифровизации городских исследований не позволяет применять подход деления на группы по отношению к исследователям, потому что для достижения своих исследовательских целей они вынуждены быть гибкими, учиться координировать в ситуации неопределенностей.

По сути, цифровые исследования становятся междисциплинарными. Без понимания того, что для их реализации необходимы и социальные исследователи, и программисты, будет непонятно, почему все происходит именно так. «Программисты» приносят с собой в исследования новые навыки, новые данные, методы и собственное понимание того, что такое исследовательский проект и как его необходимо делать. Все эти новшества цифровизации не остаются незамеченными городскими исследователями, активно обсуждаются, принимаются или перерабатываются. В результате формируются определенные практики координации, способствующие выстраиванию междисциплинарных команд. Цель данной статьи — объяснить, каким образом координируется работа в цифровых городских исследованиях.

1. Мы будем называть «гуманитариями» исследователей с бэкграундом в социальных и гуманитарных науках (экономисты, социологи, антропологи, историки, философы, географы), которые выполняют в проектах задачи по постановке проблем, сбору, анализу и интерпретации данных.

2. Под «программистами» в данной статье мы понимаем все типы профильных специалистов по работе с цифровыми технологиями и данными, которые могут выполнять в городских цифровых проектах задачи по выкачиванию, обработке, анализу и визуализации цифровых данных (часто — в большом объеме).

Междисциплинарные команды цифровых городских проектов

Междисциплинарность современной науки — уже притча во языцах (Barry et al., 2008). Междисциплинарность связывается с изменением в самой науке, когда появляются новые режимы работы со знанием, и в особенности когда быстрыми темпами наука развивается не только в традиционных исследовательских учреждениях, но и в корпорациях (Gibbons, 1994). Междисциплинарность предполагает участие представителей разных отраслей знания в одних и тех же проектах, в ходе чего возникают вопросы власти, иерархии, распределения навыков и компетенций, а также — насколько данные, методы, подходы и интерпретации одной дисциплины сопоставимы с другой. Разные типы связности (или синтеза) порождают разные типы междисциплинарности.

Общим местом стало говорить о трех основных типах междисциплинарности. Первый — *мультидисциплинарность* (multidisciplinarity), предполагающая, что представители разных наук работают «параллельно», решая каждый свои задачи внутри проекта и не увязывая вместе свои методы, данные или подходы. Второй тип — *междисциплинарность* (interdisciplinarity), при которой исследователи синтезируют свои методики и данные, пытаясь решить некоторую проблему, превосходящую возможности ее решения в рамках каждой из дисциплин. Наконец, третий тип — *трансдисциплинарность* (transdisciplinarity) — включает методы и данные не только из академических дисциплин, но и из прикладных областей (например, менеджмента, инженерного дела или государственного управления).

Взаимодействие «гуманитариев» и «программистов» — пример междисциплинарности современных научных проектов. Подобные проекты взаимодействия поддерживаются и на уровне инновационной политики, поскольку предполагают, что такой синтез гуманитарного знания и прикладных навыков работы с цифрой может дать впечатляющие результаты. Однако при всех преимуществах подобные проекты также испытывают большие сложности, которые в основном связаны с разными представлениями о данных, методах и способах координации между «программистами» и «гуманитариями». Так, исследователи из Лейбницевского института социальных наук, проанализировав 20 глубинных полуструктурированных интервью с исследователями новых медиа (области, в которой, как и в исследованиях города, большую роль играют цифровых технологий), выявили набор проблем междисциплинарного взаимодействия (Kinder-Kurlanda, Weller, 2014: 96). По их мнению, одна из главных проблем такого взаимодействия — различное отношение к процессу сбора данных. Для социальных исследователей это понимание и анализ существующего поля, в то время как для «программистов» — зачастую рутинный автоматизированный процесс. В этом нет ничего удивительного, поскольку в социальных исследованиях города сбор данных — самый затратный и сложный. Но при скачивании данных из социальных сетей или получении их с сенсоров проблемы в основном носят технический характер, и поэтому их выполнение обычно меньше контролируется.

Вторая проблема — плохое знание того, что и как делает каждая из сторон. Это приводит к потере контроля над данными и их анализом, а также к необходимости принимать результаты работы каждой из стороны как само-собой разумеющейся («черные ящики»). К этому сюжету мы еще вернемся.

Наконец, не только методы и навыки другой стороны, но и само общее представление о проекте становится непрозрачным и запутанным. Исследователи по этому поводу замечают, что «нахождение общего языка для улучшения коммуникации по вопросам метода, валидности и исследовательского фокуса являются необходимой составляющей для фасилитации междисциплинарных коллaborаций в исследованиях социальных медиа» (*Ibid.*). Однако следует задаться вопросом: насколько общий язык в целом необходим для междисциплинарных исследований? Нахождение общего языка (всегда долгий и сложный процесс) — это единственный способ организовать междисциплинарную работу?

В 1970–1990-е годы исследования науки и технологии (STS) были довольно популярным направлением и давали отрицательный ответ на этот вопрос. Основной вопрос, которым тогда задавались, звучал так: как возможно успешное функционирование науки при отсутствии общего консенсуса по поводу методов, данных и порой даже целей исследования? (Star, Griesemer, 1989; Galison, 1999). Общая позиция была найдена: наука — это вынужденное разнообразие, которое, однако, не предполагает однозначно негативной коннотации, кроме того, в науке порой создаются такие формы совместной деятельности, которые поощряют множественность интерпретаций и намеренное непонимание. С. Стар и Дж. Гризмер говорят в этом ключе о «пограничных объектах» — создающихся намеренно объектах коллективной работы ученых (стандартах, хранилищах данных, картах территории), которые помогают связать научную деятельность разных групп людей и при этом не предполагают единства интерпретации (Star, Griesemer, 1989). Иначе говоря, с помощью «пограничных объектов» возможно участие разных групп (в том числе разных дисциплин) в одном и том же проекте без всякой единой объединяющей интерпретации.

Исследователи науки также отмечали возможность междисциплинарной работы, основная цель которой — это точность производимого коллективом ученых суждения. Бруно Латур в классическом исследовании лаборатории нейроэндокринологии демонстрирует, как в производство научных статей (новых суждений) включены химические препараты и физические аппараты. При этом их конечная цель — получение именно специфического суждения, ради которого и выстроена сложная цепь аппаратов, людей и текстов. С этой точки зрения коллективная работа разных групп отходит на второй план (Fujimura, 1992).

Таким образом, в STS можно выделить как минимум два основных варианта междисциплинарности. Один из них основан на опосредованных коллективной работой «пограничных объектах», при этом общее понимание проекта и включенность в методы и данные друг друга не обязательно, что схоже с понятием мультидисциплинарности. Второй вариант предполагает ради создания этого специфиче-

ского суждения включенность в единую цепочку людей, вещей и текстов, общую работу всех, что ближе к понятию междисциплинарности. Подход «пограничных объектов» и подход «единой цепочки» дают хорошую возможность для анализа цифровизации в социальных исследованиях города, где встречается междисциплинарность в виде отношений между «гуманитариями» и «программистами».

Данные и методы

Среди российских исследователей города (Винер, Дивисенко, 2018; Бредникова, Запорожец, 2015) нас интересовали те, кто целенаправленно использует в своих проектах цифровые данные или методы. Критерии отнесения к цифровым данным и методам были довольно широкими: мы анализировали кейсы, где цифровые технологии применялись как инфраструктура для форматирования и работы с данными и их визуализацией (например, базы данных и сайты); где использовались данные, скачанные из социальных сетей, GIS-платформ или сторонних сайтов, или же где методы опирались на анализ мобильных данных. В ряде этих проектов данные были цифровыми изначально (например, данные мобильных операторов или социальных сетей), а в других проектах аналоговые данные затем превращались в цифровые путем разбиения на отдельные строки, слова и части слов, через выделение категорий и затем загрузку в базы данных. Такое разнообразие позволило включить в рассмотрение очень разные виды проектов и, соответственно, расширить для нас возможности узнать о проблемах работы с цифровыми методами и данными, а также координации между гуманитариями и программистами.

В качестве основного метода мы использовали глубинные полуструктурированные интервью. Список основных вопросов прежде всего касался тем, связанных с цифровыми методами, цифровыми данными и особенностями координации в междисциплинарных командах. В ходе разговора информанты описывали также детали своих проектов, делились сложностями их реализации, рефлексировали по поводу своей исследовательской идентичности. Таким образом, мы получили много информации, выходящей за рамки конкретных вопросов (Квале, 2003).

При поиске информантов мы старались заполучить участников проектов из гуманитарных и технических университетов, академических и прикладных коммерческих проектов, компаний, специализирующихся на работе с городскими цифровыми данными, из личных волонтерских проектов и т. д. Всего было взято 12 экспертов интервью. Кроме того, осенью 2018 года нами был проведен воркшоп по проблемам использования цифровых данных в городских исследованиях, на котором присутствовали некоторые из наших информантов, а также сторонние эксперты — участники схожих проектов. Это позволило выйти за рамки разговора только о своих проектах и получить дополнительные суждения.

География исследования включала Москву и Санкт-Петербург, так как основные центры городских исследований находятся именно в столицах. В качестве ограничений нашей выборки отметим, что мы говорили в основным с со-

циогуманитарными участниками проекта, только одно интервью было проведено с «программистом». Мы стремились интервьюировать руководителей проектов, поскольку предполагали, что они обладают наибольшим объемом знаний о проблемах и особенностях координации — в большинстве случаев руководителями проектов были социогуманитарные ученые.

Междисциплинарные команды

Одним из ключевых моментов в интервью оказались взаимоотношения между специалистами по анализу данных (далее — «программисты») и специалистами по собственно городским исследованиям в широком смысле (социологами, антропологами, географами, урбанистами и т. д.) (далее — «гуманитарии»). Выстраивание собственной идентичности, определение себя и другой стороны, а также решение проблем взаимодействия в ходе реализации конкретных проектов городских исследований происходят в разных ситуациях.

Из интервью видно, что между «программистами» и «гуманитариями» из разных дисциплин проходит четкая граница. Эту границу информанты проводят практически во всех интервью, оставляя по одну сторону «социологов», «гуманитариев», «урбанистов», «прикладников», «журналистов», а по другую — «программистов», «специалистов по нейронным сетям», «дата-сайентистов», «технарея», «технических людей». Таким образом, в каждом проекте участвуют как минимум две стороны. Исключение составили два информанта, которые совмещают в своей деятельности функции социологов и аналитиков данных, но и в их случае создавалось новое деление — на социологов-аналитиков (кем они сами и являлись) и на собственно гуманитариев — историков или востоковедов (Инф. 7, 8). Иными словами, граница остается, хотя и смещается. Само наличие границы можно объяснить тем, что, хотя цифровизация в России идет вперед семимильными шагами, ее реализуют люди, придерживающиеся конкретных эпистемических традиций и методологических привычек. Эти привычки и традиции сталкиваются с устоявшимися и зачастую более глубокими традициями социальных, гуманитарных, точных наук, у которых есть собственные представления о данных и методах. Отсюда — непростые отношения между техническими специалистами и социогуманитарными учеными.

Граница между теми и другими проходит по «эпистемологическому» и «социологическому» принципам. Так, один из информантов, технический специалист, жаловался, что ему сложно работать с «философствующими» гуманитариями (Инф. 5): ему для выполнения работы любое знание нужно свести к набору дискретных параметров, а с философскими теориями это сделать довольно сложно (Merry, 2016). Большую симпатию он питал к представителям точных наук (например, географам), которые способны «дискретизировать» собственное знание гораздо эффективнее (Инф. 5). Однако в ряде случаев граница проходила строго по принципу разных рынков (подробнее о положении технических специалистов на

рынке труда: Земнухова, 2013). Информант из волонтерского проекта отмечал, что «программисты» зарабатывают во много раз больше «гуманитариев», и потому нанять «программиста» в волонтерский проект — очень дорого, «программист» «будет всегда себя чувствовать работающим во славу Божью» (Инф. 4). В отдельных случаях встречалось также четкое социологическое институциональное деление на строго технические команды и «более гуманитарные» — деление, закрепленное на уровне целой организации (Инф. 9).

Каждая из выделенных групп неоднородна. Не все городские специалисты похожи друг на друга; так и среди технических специалистов выделяются разные типы. В городских исследованиях ожидаемо встречаются академически ориентированные исследователи и работающие с прикладными проектами (например, аналитики, пишущие отчет или оказывающие консалтинговые услуги). В свою очередь, технические специалисты делятся на обычных «программистов», работающих за большие деньги, и «программистов», включенных в «содержательную» часть. Первые — это люди из коммерческих компаний или из влиятельных центров в университетах. По большей части они не вникают в суть проекта и выполняют строго конкретные функции. Другие же «программисты» — будь то волонтеры или те, кто работает над проектами в уютной междисциплинарной команде, — отличаются большим погружением в проблемы городских исследований и даже определенным «шифтом» идентичности в сторону гуманитарных наук (Воркшоп). Об этом делении мы расскажем ниже.

Некоторые информанты выделяли тип технических специалистов — «дата-ученых» (data scientists), которые обладают способностями всестороннего анализа данных с точки зрения конкретной городской тематики. Одна из информанток отмечала, что в крупных университетах вроде Массачусетского технологического института существуют специальные программы обучения «дата-ученых» (Воркшоп). Но пока «дата-ученые» еще остаются нереализованной мечтой для междисциплинарных проектов в России, по крайней мере, в городских исследованиях. Изученные проекты демонстрируют множество проблем, вытекающих из отношений между техническими специалистами и гуманитарными городскими исследователями.

Основные проблемы в междисциплинарных командах

Одна из главных проблем во взаимодействии — уже упомянутая *проблема языка*. С самого начала подобные междисциплинарные проекты преследует проблема омонимии, когда одно и то же слово может означать разное. К примеру, даже слово «объект» понимается по-разному (Инф. 1). Формулирование технического задания (ТЗ) часто становится первым и важнейшим камнем преткновения в работе таких команд. От верного формулирования ТЗ зависит и общее понимание проекта, и его цели, и то, чего ждут друг от друга «программисты» и «гуманитарии». Одна из информанток рассказала, что в ее проекте неаккуратно сформулирован-

ное ТЗ привело к созданию «программистами» системы, неадекватной запросам исследователей (Воркшоп).

Проблема разных языков идет рука об руку с *проблемой незнания областей* друг друга. Как отметил один из информантов-«гуманитариев» по поводу своей работы с «программистом», «твое экспертное знание не пересекается с его экспертным знанием» (Инф. 4). Подобное незнание кажется логичным, учитывая, что если бы социогуманитарные ученые сами владели программированием и навыками работы с нейронными сетями, то им вряд ли бы потребовалась помочь технических специалистов. Но кардиальное незнание особенностей экспертизы и той, и другой стороны приводит к тому, что эти особенности (в т.ч. непрограммисты) не учитываются при формулировании ТЗ и при создании конечных цифровых систем. Так, информантка поделилась случаем из практики, когда, с одной стороны, «программистка» не знала, что качественные интервью могут проводиться с несколькими информантами, и сделала базу данных, предусматривающую наличие строго одного информанта для одного интервью. И наоборот, социогуманитарные ученые в этом проекте, для которых два или больше информанта для интервью было очевидным и потому непрограммистами фактом, не знали, что для создаваемой системы привязка к одному или двум информантам — важный структурный принцип работы (Воркшоп).

Незнание особенностей экспертизы друг друга связано и с третьей проблемой, которую назвали *проблемой «черного ящика»* (Латур, 2013). Часто «гуманитарии», заказывающие «программистам» создание информационных систем, не знают, каковы принципы их работы. Это хорошо видно в случае нейронных сетей, одна из особенностей которых — собственная эвристика, не закладываемая туда «программистами». Нейронные сети оказываются «черным ящиком» и для самих «программистов», и тем более для городских исследователей. Проблема «черных ящиков» приводит, как минимум, к двум трудностям в любых городских проектах. Во-первых, это усложнение верификации данных — необходимость проверять их. Во-вторых, это трудность сохранения контроля над процессом реализации проекта. Когда не известно, как работает техническая система, быть ответственным за работу всего проекта становится сложнее (Инф. 1).

Четвертая проблема, связанная с предыдущей, имеет ярко выраженный менеджерский характер — это *проблема отсутствия общего представления* о проекте на промежуточных этапах. Вспомним, что в проекте участвуют две стороны с разными эпистемологическими традициями, с трудом понимающие языки друг друга и не учитывающие привычные допущения об экспертном поле друг друга. В этой ситуации формулировка общего представления о проекте становится вызовом. Особенно это характерно для проектов уникальных, единоразовых, например, волонтерских, где отсутствует как «наработанность» команды при реализации прошлых проектов, так и институциональные конвенции, которые могут внести ясность.

В исследованных кейсах данные проблемы решались двумя основными способами. Первый — это попытка с самого начала найти общий язык и дать общее представление о том, как будет устроен проект. Второй способ — это организация взаимодействия через «пограничные объекты». Во втором случае установление однозначной и четкой коммуникации не является обязательной нормой. Далее речь пойдет о двух этих способах решения проблем. Проблема нахождения общего языка будет показана на примере работы с данными, а способ работы через «пограничные объекты» — на примере методов.

Координация работы с данными через поиск общего языка

Одной из основных задач руководителя и участников проектов цифровых социальных исследований становится формирование разделяемых принципов совместной работы по сбору, обработке и интерпретации данных. Данными оказывается теперь не только то, что специально собирались исследователями «в поле», но и массивы больших данных, включающих цифровые следы, метаданные, — все то, что оставляют пользователи цифровых устройств, часто без своего ведома. Одна из информанток так описывает ситуацию с определением природы данных: «Все сейчас цифровое. Все данные цифровые. Все данные в экселе, все big data... Мне кажется, что все данные цифровые, теперь все методы цифровые» (Инф. 3). Хотя на практике в эту категорию не входят ни качественные уникальные материалы (вроде больших биографических нарративов), ни ручные способы обработки небольших массивов информации.

В основе городских исследовательских проектов лежат разные типы данных, в зависимости от задач проектов и их участников. Статистика, результаты опросов, глубинные интервью, дневники наблюдений, большие данные из доступных или собираемых баз, данные геоинформационных систем (ГИС), метаданные. Каждый из этих типов предполагает свою логику обращения с ними, поскольку они изначально вписаны в свой дисциплинарный контекст, а методы сбора, обработки и интерпретации связаны с методологическими традициями, принятыми в соответствующем дисциплинарном направлении. Информантка из междисциплинарной команды так описывает возникновение общего понимания на примере взаимодействия представителей разных дисциплин, где они готовы признаваться в своих ограничениях и последующих задачах: «Мы хорошо работали с пространством, но меньше понимали про людей» (Инф. 3).

В ходе совместных проектов вырабатываются новые правила обращения с данными, что является в определенном смысле результатом координационной работы. Один из информантов подчеркивает, что раньше заказчики (например, архитекторы) не могли поставить задачу для социологов и урбанистов, которые, в свою очередь, оперировали теоретическим и концептуальным языком. Их совместной задачей, которая решается от проекта к проекту, стал «перевод социальной теории на обыденный язык» (Инф. 10). Правда, по признанию этого же информанта, здесь

наблюдается дополнительный конфликт: социальная теория скорее отражает принципы левой идеологии, а современные заказчики в России — типичные представители неолиберализма, поэтому координационная работа также ведется не на уровне ценностей, а на уровне практик, где можно состыковать разные представления. В конфликте интересов между разными сторонами проектов выражается проявление отношений власти и статуса, особенно со стороны заказчиков. Если заказчиком выступает бизнес, то несовпадение ценностных установок исследователей и индустрии может повлиять на цели и интересы не в пользу общественного блага. А если по другую сторону оказываются чиновники, то в проектах теряется авторство решений, а у исследователей и вовсе пропадает возможность контроля за ходом реализации их проектов (Инф. 10).

Городские исследования как междисциплинарные проекты требуют взаимного приятия целей, часто связанных с пониманием природы и происхождения данных, для того чтобы в дальнейшем иметь возможность очищать их, обрабатывать и верифицировать. В основе совместных исследований лежит необходимость координации на разных этапах проекта по поводу требуемых данных и последующих возможных интерпретаций. Эту координационную работу могут называть по-разному в зависимости от собственного опыта взаимодействия со специалистами из разных дисциплин: «Огромное количество времени уходит на выработывание общего языка. Очень сложно контролировать, очень сложно продавливать свои темы, потому что нет общих авторитетов» (Инф. 4).

Подобное создание общего языкового пространства также отражает отношения власти и статуса. В контексте проектной работы, где значимо программирование и обращение с базами данных, за цифровыми методами их сбора, обработки и визуализации закрепляется привилегированная позиция. Так, с точки зрения «программиста» одного из проектов, у социальных ученых должен вырабатываться навык переводить запросы с концептуального языка на язык машиночитаемый (Инф. 5). Иными словами, другие участники проектов должны ориентироваться на требования к данным, их подготовке и переводу на другие основания.

Наличие институциональной повестки или лидера (руководителя, менеджера) часто определяет политику реализации проекта, что становится одним из решающих моментов во взаимодействии между техническими специалистами и городскими исследователями. В ряде проектов взаимодействие между теми и другими носит характер затаенной борьбы, если не открытого конфликта. В случаях, когда в проектах все относительно равны, происходят конфликты по переопределению правил игры и дизайна проекта «под себя». И здесь, «если ты считаешь, что правильно так, а программист считает, что правильно так, дальше начинается вопрос, у кого просто характер жестче» (Инф. 4). Подобное «гоббсианство» преодолевается в проектах, где есть четкая институциональная повестка. К примеру, одна из информанток рассказала, что у них в университете всячески продвигается и даже навязывается идея машинного обучения. Это предполагает использование нейронных сетей и анализ больших данных во всех проектах, включая те, в которых

традиционно городские исследователи опирались на качественные данные. В итоге это приводит к, по сути, политической борьбе (Инф. 2). Наблюдается и обратная ситуация: лидер проекта может быть «фатальным» «гуманитарием» с набором социологических теорий города и пытается эти теории перевести на язык всех остальных, в т.ч. технических специалистов (Инф. 10).

При этом академические и коммерческие проекты могут выстраиваться по разным логикам, но чтобы быть успешным и результативным, предполагается дополнительная работа по проблематизации массивов данных и обсуждение того, как их в итоге будут концептуализировать. По этой причине в ряде проектов манипуляции с другими данными часто происходят в целях поддержки или верификации цифровых. Если проект основан на цифровых данных и необходимости их интерпретировать, то его участники совместно вырабатывают новую логику координационной работы. По признанию одной из информантов, направление «urban data», которое ориентировалось в первую очередь на доступные данные о городских процессах, хоть и было изначально междисциплинарным, теперь «формируется в некую профессиональную деятельность» (Инф. 3).

Столкновение дисциплин предполагает столкновение логик, перспектив и нормативных представлений о данных. Формирование консенсуса о том, какие данные «хорошие» и «правильные», появляется в результате договоренностей, где побеждать могут самые разные участники процесса: заказчики, «программисты», социологи и другие, в зависимости от целей и задач. Единого алгоритма реализации проектов нет, поскольку разнообразно соотношение внутренних сил и ресурсов, а также степень интеграции представителей дисциплинарных направлений в разные стадии проекта.

Методологическая координация через пограничные объекты

Помимо совместной работы с данными, отдельное внимание уделяется практической координации качественных и количественных методологий. Под *методологической координацией* мы понимаем работу по объединению методов, принадлежащих разным дисциплинам. На уровне повседневной исследовательской работы качественные и количественные методы в ряде проектов не противопоставляются, а скорее существуют в режиме «все сгодится» (*anything goes*); на кону находится pragmatika результата, а не политика методологической принадлежности. Такой pragmatism часто предполагает, что проект достигает своего результата, но при этом теряется значительный контроль одной стороны над тем, как устроена методологическая работа другой стороны.

В данном параграфе мы коснемся двух кейсов методологической координации. В одном из проектов происходило создание портала, связанного с коммеморативными исследованиями города. Бэкграунд руководителя проекта был связан с фольклорными исследованиями и семантической кодировкой фольклорных текстов, которая предполагает выделение семантических единиц для дальнейшей ко-

личественной обработки внутри глубинных интервью. Руководитель перенес этот метод кодировки из своих прежних исследований в новый городской цифровой проект: «И здесь [в городских исследованиях] мы делаем похожие вещи, когда интервью кодируются вопросами, которые есть в гайде, разбиваются на тематические блоки, выделяются ключевые моменты, слова. <...> И дальше происходит самое интересное и сложное, когда мы текст интервью переводим на семантический язык, метаязык, забивая в базу данных (Инф. 1).

Город в этом проекте представлен как набор устных воспоминаний, собираемых через детальные глубинные интервью. Данные, полученные в интервью, затем формализуются для последующей цифровой обработки и помещения в корпус, имеющий пространственную и семантическую разметку города. Этот корпус визуализируется в виде карты, где пользователь может получить информацию о районе города, просто наведя курсор на фрагмент карты. Смысл проекта заключался в том, чтобы перенести на карту сложные качественные нарративы. Интервью в этом проекте обладают всеми чертами глубины качественного исследования: сохраняются два текста — оригинальный и текст с правками от информанта, а также при анализе данных учитывается дневник наблюдений интервьюера. Руководитель проекта подчеркивает свою «качественную позицию»: «Базовая ценность моя сейчас и тогда — не прерывать собеседника. То есть, если он говорит про колхоз, а у меня нет вопроса про колхоз, я его выслушаю до конца и потом задам вопросы отдельные, которые касаются уточнения моего видения того, правильно ли я все понял. Даже если это не попадет в базу данных» (Инф. 1).

Подобная контекстуальность данных свидетельствует об их насыщенности смыслами и детализацией. Важно отметить, что благодаря разработанной совместно схеме семантическая кодировка интервью и дальнейшая обработка данных не находятся в конфликте, они дополняют друг друга, и одно практически «бесшовно» переходит в другое. При этом информант отмечал сложности с реализацией проекта. Финансирование и время реализации (один год) существенно влияли на задачи проекта, кроме того, неясными оставались масштабирование проекта и коммуникация с техническими специалистами: «И самый главный баг здесь — это наличие конечного результата и отсутствие понимания, из чего начинать разработчикам. Так как разработка — это процесс, тянувший за собой модули дополнительные и подключение дополнительных специалистов. Вот в этих рамках мы пытаемся наладить диалог. Но! Я до сих пор не вижу даже промежуточного результата, поскольку я нахожусь в поле... Я пока заполняю базу данных, которую мы придумали и согласовали. Перевод от базы данных к строительной машинке, которая автоматически это делает, становится такой инкогнито, которая не понимает, как это все будет производиться» (Инф. 1).

В другом кейсе при анализе городской среды используются цифровые данные и количественные методы. Для отражения городского пространства руководительница отдела городских исследований и ее команда агрегируют данные из социальной сети Instagram, кодируют их и обрабатывают по частоте и рубрикам.

Руководительница отмечала, что она работает с «цифровыми данными»: «В сферу моих интересов входят данные, конкретно которые продуцируют пользователи специальных медиа. Не каких-то других. Потому что цифровые данные могут быть максимально разнообразные. Не знаю, следы ваших транзакций, кредитные карты, мобильные данные, все что угодно. Но я занимаюсь преимущественно пользовательскими данными, условно управляемыми. Управляемые — это то, что я перечислила и плюс данные всевозможных фитнес-гаджетов. Условно управляемые — это пользовательские, и от нас зависит, размещать их в цифровом пространстве или нет... Это тексты, фотографии и видеозаписи» (Инф. 2).

Пользовательские фотографии как данные размечаются на метаданные и городские объекты, в зависимости от задач исследования. Например, фиксируются время суток, когда была сделана фотография, локация и объект с целью изменения городской среды. Затем данные обрабатываются вручную или с помощью технологии нейронных сетей. Здесь возникает важный момент, поскольку данные, полученные с помощью нейросети, как мы уже упоминали, являются «черным ящиком» и требуют верификации. Работа и логика нейросетей, использующихся для анализа данных, нередко оказываются непрозрачными: «И самое главное с нейросетями то, что это «черный ящик»... В отличие от машинного обучения системы, куда мы какую логику закладываем, такую и получим. А нейросеть сама закладывает, по каким критериям сортировать ей единицы данных. Что такое для нее день и ночь. И там логика ручной кодировки и машинного обеспечения совершенно прозрачна. То есть для меня вечер наступает, когда зажигаются фонари. Ну, понятно, почему, потому что время наступления темного времени суток важнее астрономического времени. Время наступления темного времени суток зависит от географического положения места. А темнота — это то, что меня интересует с точки зрения урбанистической... Для нейросетей нет линейной логики... для меня это работа, связанная с верификацией данных. То есть если я не понимаю, как у меня эти данные получились, то что мне потом с ними делать?» (Инф. 2).

Один из способов верификации полученных машинным путем данных — это обращение к качественным методам, в частности, глубинным интервью с горожанами по поводу благоустроенности городской среды: «У нас был интересный кейс, когда мы интересовались реакцией на проведение программы ***. То есть делали параллельно две вещи: смотрели на реакцию социальных сетей и провели полевые исследования. Понятно, выяснились две интересные вещи: что в живом разговоре недовольство проведением благоустройства гораздо ниже, чем в социальных сетях» (Инф. 2).

Другой способ верификации — проверка самими «гуманитариями» того, насколько верными оказались результаты работы нейронных сетей. Та же информантка отмечала, что ей пришлось проработаться в проблематику машинного обучения и понять, как «программисты» оценивают эффективность работы нейронных сетей (Инф. 2). Это свидетельствует о том, что в междисциплинарных исследованиях довольно высок риск потери контроля над методами с одной или

другой стороны. И нейронные сети здесь — отличный пример того, как сложно оценить эффективность их работы.

Таким образом, методы не только дополняют, но и часто выступают контрастом друг для друга, и тем самым — объектом рефлексии для исследователя. Во втором кейсе первичны количественные процедуры, которые затем верифицируются с помощью качественных интервью. При этом напряжение между цифровыми и качественными данными — не помеха. Наоборот, это то, что стоит объяснить, это ресурс для интерпретации и рефлексии. В итоге в этих двух случаях цифровых исследований города количественные и качественные методы дополняют друг друга и не рассматриваются как конкурирующие или даже как отдельные процедуры. Они применяются в прагматическом ключе. Данные кейсы показывают, что в ходе проектов не выстраивается общий язык или общее понимание, скорее, координация происходит через общие стандарты (например, понимание критериев эффективности), а проблемы с контролем и «черными ящиками» преодолеваются работой над увеличением верифицируемости данных.

Паттерны координации в проектах

Междисциплинарная работа может строиться на двух основаниях: это вовлечение всех сторон («гуманитариев» и «программистов») в проект с самого начала, либо работа через «пограничные объекты» без нахождения единого понимания, но через техническое выполнение работы. Эти две крайние позиции — от абсолютного смешения экспертиз до «заказов», т. е. максимально разделенного выполнения общей работы, — описываются многими исследователями (Kinder-Kurlanda, Weller, 2014: 96).

Первый паттерн взаимодействия — *смешение экспертиз*, когда «гуманитарии» сами становятся техническими экспертами. В этом смысле экспертиза обретается и той, и другой стороной. Любопытно, что если граница между «гуманитариями» и «программистами» стирается, она может выстраиваться между социальными учеными-программистами, с одной стороны, и другими «гуманитарными» учеными (например, историками и востоковедами) — с другой (Инф. 7, 8).

Второй паттерн координации — *совместная работа* междисциплинарной команды с самого начала. Проект начинает обсуждаться сразу всеми — и городскими исследователями, и техническими специалистами, а потому все в курсе, каждый предлагает решение и т. д. (Инф. 3). Часто в этих ситуациях происходит «шифт ролей», т. е. обмен экспертизами, в результате чего разные специалисты постепенно сближают свои точки зрения.

Третий паттерн взаимодействий — это паттерн *формального менеджмента* и коммуникации. Один из информантов отмечал, что хороший менеджмент, включая использование гибких менеджерских методологий (пришедших из информационных систем) типа agile, scrum и др., позволяет контролировать любое междисциплинарное взаимодействие. Это любопытная позиция, которая техно-

логизирует сложные эпистемические процессы в командах. Подобное решение настораживает, тем более что мы не могли убедиться в его работоспособности, поскольку у нас не было кейсов, где бы оно явно применялось.

Четвертый паттерн — *временная сборка* — возникает, когда у членов команды нет возможности регулярно видеться и работать совместно. Он встречается при реализации проекта время от времени, обычно внутри волонтерских проектов. Минус этого паттерна в том, что никто ни от кого не зависит, и поэтому приходится защищать свои идеи, используя личные качества: энтузиазм, характер и т.д. Плюс такого подхода в том, что он обычно предполагает невысокий уровень финансирования (Инф. 1, 4).

Пятый паттерн — это так называемые *заказы*. Обычно он складывается там, где есть сильная институциональная структура или отдельная коммерческая компания, которая оказывает услуги по работе с данными. В случае, когда у такой структуры или компании есть поток проектов, данные и работа с ними четкая стандартизируются. Если же этого нет — проекты получаются разными, больше единичными, но в то же время остаются проблемы стандартизации и понимания того, что получится в итоге. Важно также отметить, что в «заказных» проектах, более или менее успешных коммерческих или институционально, появляется институт «клиентских менеджеров», которые выступают посредниками и минимизируют затраты на переговоры (Инф. 1, 2, 5).

Представленные паттерны координации показывают, что каждый из них является ответом на конкретную проблему и зачастую реализуется в определенных условиях, предусматривающих институциональное давление, организационное разделение труда, наличие финансовых ресурсов для найма технических специалистов и менеджеров, а также наличие сильного лидера, определяющего ситуацию. К примеру, в одной ситуации и в одном университете может возникнуть крупный технический центр, который оказывает услуги программирования и визуализации большому количеству других центров, т. е. происходит специализация отдельной команды в выполнении определенных сервисов для всех остальных городских проектов. В этом случае паттерн заказов закрепляется на институциональном уровне и многократно воспроизводится. В другом случае и в другом вузе сами исследователи города становятся «программистами» и аналитиками данных и тем самым занимают пустующую нишу, предлагая всем остальным центрам и факультетам свои услуги, но при этом имея возможность реализовывать собственные городские проекты. Так возникает паттерн смешения экспертиз. В случае волонтерских проектов, в которых мало или почти нет финансирования, преобладает паттерн временных сборок, что порой приводит к кризису в проекте, поскольку один энтузиазм редко способствует успешной долговременной реализации проектов. Формальный менеджмент часто характерен для коммерческих компаний в силу величины штата и необходимости четко налаженного процесса. Совместная работа предполагает, с одной стороны, финансирование, а с другой — более гибкое отношение к политике реализуемого проекта.

Паттерны координации закрепляют определенные идеалы междисциплинарности (Barry et al., 2008). Паттерны заказов и временных сборок предполагают акцент на мультидисциплинарности, при которой не происходит синтеза разных эпистемологических оснований. Существует лишь выполнение заказов или грамотный менеджмент разных непересекающихся типов знания, которые порождают проекты. В отличие от них, паттерны экспертиз, совместной работы и зачастую формального менеджмента указывают на идеал междисциплинарности с акцентом на том, что с самого начала реализации проектов участвуют все, и проект синтезирует новое понимание того, что такое город, как его можно изучать, какие данные использовать. Происходит даже постепенный «шифт ролей» (Инф. 6): иначе говоря, имена, титулы и дисциплинарные границы перестают быть значимыми. В своей высшей точке этот процесс может переходить даже в трансдисциплинарность, то есть выход из академического или прикладного формата работы. К примеру, один из информантов отмечал, что в его междисциплинарных проектах необходимо не только получать какие-то результаты, но и давать в соответствии с ними рекомендации и менеджерские решения (Инф. 8).

Заключение

Сегодня развитие цифровых технологий и строительство «умных городов» видится как одна из основополагающих стратегий современного городского развития. Муниципальные власти по всему миру инвестируют в «умную среду», видя в этом способ улучшить качество городских сервисов. Города изображаются как «умные сети», которые завязаны не только друг на друга, но и на конечных пользователей, чиновников, бизнесменов. Социальные сети становятся новым способом «чувствовать» город и узнавать о том, что в нем происходит. Подобная трансформация городов идет рука об руку с трансформацией городских исследований. Они начинают работать с большими объемами информации, способны анализировать изменения города в минутных и часовых интервалах, вычленять из набора сырых данных сотни новых паттернов активностей городской среды. Все это требует трансформации методов исследователей города.

Однако никакая технологическая трансформация не происходит без проблем. Особенно это видно в науке, где к тем или иным методологиям и работе с данными прикреплены практики и представления исследователей. Чтобы «цифровизоваться», им необходимо отказаться от этих практик или смешать их с другими. Цифровизация в городских исследованиях не происходит безболезненно, в особенностях для социогуманитарных исследователей, которым приходится вырабатывать паттерны координации с «программистами» в отношении данных, методов и проектного менеджмента. Исследование цифровых городских проектов показало, что проблемы языка, незнания областей друг друга, «черного ящика» и отсутствия общего представления решаются двумя основными способами. Цель первого — найти общий язык и сформировать общее представление об организации проекта

путем координации работы с данными. Цель второго — организация взаимодействия через «пограничные объекты» путем методологической координации.

В целом современные городские цифровые проекты стремятся сформировать работающие паттерны координации, которые решают возникающие в междисциплинарных командах напряжения. Паттерны смешения экспертиз, совместной работы, формального менеджмента, временной сборки или заказов становятся решениями в условиях цифровых городских проектов, команды которых характеризуются гибридными ролями и неопределенными границами. С целью достижения совместных исследовательских результатов участникам необходимо пересматривать собственные методологические принципы, подходы и смыслы в процессе дизайна проектов, сбора, обработки и интерпретации данных с учетом все более возрастающего влияния цифровизации города и городских процессов.

Список информантов

Информант 1 — руководитель волонтерского проекта.

Информант 2 — руководительница прикладного исследовательского отдела.

Информант 3 — сотрудница коммерческой компании.

Информант 4 — руководитель волонтерского проекта.

Информант 5 — руководитель центра информационных технологий технического университета.

Информант 6 — руководительница исследовательского центра технического университета.

Информант 7 — научный сотрудник, преподаватель гуманитарного университета.

Информант 8 — научный сотрудник, преподаватель гуманитарного университета.

Информант 9 — сотрудница технического университета.

Информант 10 — руководитель прикладной исследовательской организации, руководитель.

Воркшоп — семинар с участием некоторых информантов и экспертов по цифровым городским исследованиям, посвященный обсуждению методологий, данных и междисциплинарных взаимодействий в городских цифровых исследованиях, прошел 19 октября 2018 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Литература

Бредникова О., Запорожец О. (ред.). (2015). Микроурбанизм: город в деталях. М.: Новое литературное обозрение.

Винер Б., Дивисенко К. (2018). Социальная структура исследовательской области «этнография/антропология города» в российской этнологии // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 21. № 2. С. 7–43.

- Запорожец О., Лапина-Кратасюк Е. (2015). Антропология цифрового города: к вопросу о выборе метода // Этнографическое обозрение. № 4. С. 41–54.
- Земнухова Л. (2013). ИТ-работники на рынке труда // Социология науки и технологий. Т. 4. № 2. С. 77–90.
- Кваде С. (2003). Исследовательское интервью / Пер. с англ. М. Р. Мироновой. М.: Смысл.
- Латур Б. (2013). Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества / Пер. с англ. К. Федоровой под ред. С. Миляева. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Правительство РФ (2017). Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7Mo.pdf> (дата доступа: 19.06.2019).
- Руденко Н. (2018). Там, где STS встречает цифру: методология, эксперименты и партиципация (рецензия на книгу: Marres N. (2017) Digital Sociology: The Re-invention of Social Research, Cambridge: Polity Press) // Социология власти. Т. 30. №. 3. С. 201–209.
- Barry A., Born G., Weszkalnys G. (2008). Logics of Interdisciplinarity // Economy and Society. Vol. 37. № 1. P. 20–49.
- Castells M. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
- Foth M. (ed.). (2009). Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice and Promise of the Real-Time City. Hershey: Information Science Reference.
- Fujimura J. H. (1992). Crafting Science: Standardized Packages, Boundary Objects, and «Translation» // Pickering A. (ed.). Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press. P. 168–214.
- Galison P. (1999). Trading Zone: Coordinating Action and Belief // Biagioli M. (ed.). The Science Studies Reader. L.: Routledge. P. 137–160.
- Gibbons M. (ed.). (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. L.: SAGE.
- Graham S. (2001). Information Technologies and Reconfigurations of Urban Space // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 25. № 2. P. 405–410.
- Hine C. (2000). Virtual Ethnography. L.: SAGE.
- Hine C. (2005). Virtual Methods and the Sociology of Cyber-Social-Scientific Knowledge // Hine C. (ed.). Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg. P. 1–17.
- Kinder-Kurlanda K., Weller K. (2014). «I always feel it must be great to be a hacker!»: The Role of Interdisciplinary Work in Social Media Research // WebSci'14: Proceedings of the 2014 ACM Web Science Conference. N. Y.: ACM. P. 91–98.
- Latour B. (1996). Aramis; or, The Love of Technology. Cambridge: Harvard University Press.
- Manovich L. (2011). What is Visualisation? // Visual Studies. Vol. 26. № 1. P. 36–49.
- Merry S. E. (2016). The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence and Sex Trafficking. Chicago: Chicago University Press.

- Pinch T., Bijker W.* (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts; or, How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other // *Pinch T., Bijker W., Hughes T.* (eds.). The Social Construction of Technological Systems: New Direction in the Sociology of Technology. Cambridge: MIT Press. P. 17–50.
- Sassen S.* (2001). Impacts of Information Technologies on Urban Economies and Politics // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 25. № 2. P. 411–418.
- Söderström O., Paasche T., Klauser F.* (2014). Smart Cities as Corporate Storytelling // City. Vol. 18. № 3. P. 307–320.
- Star S., Griesemer J.* (1989). Institutional Ecology, «Translations» and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39 // Social Studies of Science. Vol. 19. № 3. P. 387–420.
- Tironi M., Sánchez Criado T.* (2015). Of Sensors and Sensitivities: Towards a Cosmopolitics of «Smart Cities»? // TECNOSCIENZA: Italian Journal of Science & Technology Studies. Vol. 6. № 1. P. 89–108.

Digital Urban Studies: Collaboration Problems with Patterns of Coordination

Liliia V. Zemnukhova

Candidate of Sociological Sciences, Research Fellow, Center for Science and Technology Studies (STS),

European University in St. Petersburg

Senior Research Fellow, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (FCTAS)

Address: 7th Krasnoarmeyskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: l.zemnukhova@gmail.com

Nikolai I. Rudenko

Candidate of Sociological Sciences, Research Fellow, Center for Science and Technology Studies (STS),

European University in St. Petersburg

Senior Research Fellow, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (FCTAS)

Address: 7th Krasnoarmeyskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: diogenstyx@gmail.com

Denis Y. Sivkov

Candidate of Philosophical Sciences, Research Fellow, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (FCTAS)

Associate Professor, Department of Epistemology and Theoretical Sociology, Institute of Social Sciences, RANEPA

Address: 7th Krasnoarmeyskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: d.y.sivkov@gmail.com

Inside urban digital projects, clashes occur between scholars (urbanists, anthropologists, sociologists, geographers, etc.) and technical specialists (programmers, data analysts, web

developers, etc.). These clashes take the form of misunderstanding from the lack of a single language, and the criticism of the normative methodologies of each other, both of which allows us to highlight typical problems. From the materials of in-depth interviews with representatives of urban projects dealing with digital methods and data, we show that the projects create two main directions to resolve problems and coordinate participants from different epistemological traditions: one direction is finding a common language, which is a more pragmatic mode of coordination through "border objects." We demonstrate these two areas using the example of working with data and methods within interdisciplinary teams. In addition, we single out five patterns of coordination between urban scholars and programmers (a mixture of expertise, collaboration, formal management, temporary assembly, and the orders). Their predominance depends on the presence of institutional pressure, the organizational division of labor, the availability of financial resources for hiring technical specialists and managers, as well as a strong leader who determines the situation.

Keywords: urban studies, interdisciplinary teams, digital methods, digital data, science and technology research, quantitative and qualitative methodologies, black boxes

References

- Barry A., Born G., Weszkalnys G. (2008) Logics of Interdisciplinarity. *Economy and Society*, vol. 37, no 1, pp. 20–49.
- Brednikova O., Zaporozhets O. (eds.) (2015) *Mikrourbanizm: gorod v detaljakh* [Microurbanism: The City in Details], Moscow: New Literary Observer.
- Castells M. (1996) *The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell.
- Foth M. (2009) *Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice and Promise of the Real-Time City*, Hershey: Information Science Reference.
- Fujimura J. H. (1992) Crafting Science: Standardized Packages, Boundary Objects, and "Translation". *Science as Practice and Culture* (ed. A. Pickering), Chicago: University of Chicago Press, pp. 168–214.
- Galison P. (1999) Trading Zone: Coordinating Action and Belief. *The Science Studies Reader* (ed. M. Biagioli), London: Routledge, pp. 137–160.
- Gibbons M. (ed.) (1994) *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*, London: SAGE.
- Graham S. (2001) Information Technologies and Reconfigurations of Urban Space. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 25, no 2, pp. 405–410.
- Hine C. (2000) *Virtual Ethnography*, London: SAGE.
- Hine C. (2005) Virtual Methods and the Sociology of Cyber-Social-Scientific Knowledge. *Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet* (ed. C. Hine), New York: Berg, pp. 1–17.
- Kinder-Kurlanda K., Weller K. (2014) "I always feel it must be great to be a hacker!": The Role of Interdisciplinary Work in Social Media Research. *WebSci'14: Proceedings of the 2014 ACM Web Science Conference*, New York: ACM, pp. 91–98.
- Kvale S. (2003) *Issledovatel'skoe interv'ju* [Research Interview], Moscow: Smysl.
- Latour B. (1996) *Aramis; or, The Love of Technology*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (2013) *Nauka v dejstvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnutri obshchestva* [Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society], Saint Petersburg: European University.
- Manovich L. (2011) What is Visualisation?. *Visual Studies*, vol. 26, no 1, pp. 36–49.
- Merry S. E. (2016) *The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence and Sex Trafficking*, Chicago: Chicago University Press.
- Pinch T., Bijker W. (1984) The Social Construction of Facts and Artefacts; or, How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. *The Social Construction of Technological Systems. New Direction in the Sociology of Technology* (eds. T. Pinch, W. Bijker, T. Hughes), Cambridge: MIT Press, pp. 17–50.

- Pravitelstvo RF (2017). Programma "Tsifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii" [The State Program "Digital Economy of the Russian Federation"]. Available at: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79l5v7yLVuPgu4bvR7Mo.pdf> (accessed 30 July 2019).
- Rudenko N. (2018) Tam, gde STS vstrechaet cifru: metodologiya, eksperimenti i participaciya. Recenziya na knigu [Where STS Meets the Digit: Methodology, Experiments and Participation] (Review: Marres N. (2017) Digital Sociology: The Reinvention of Social Research, Cambridge: Polity Press). *Sociology of Power*, vol. 30, no 3, pp. 201–209.
- Sassen S. (2001) Impacts of Information Technologies on Urban Economies and Politics. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 25, no 2, pp. 411–418.
- Söderström O., Paasche T., Klauser F. (2014) Smart Cities as Corporate Storytelling. *City*, vol. 18, no 3, pp. 307–320.
- Star S., Griesemer J. (1989) Institutional Ecology, "Translations" and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. *Social studies of science*, vol. 19, no 3, pp. 387–420.
- Tironi M., Sánchez Criado T. (2015) Of Sensors and Sensitivities: Towards a Cosmopolitics of "Smart Cities"? *TECNOSCIENZA: Italian Journal of Science & Technology Studies*, vol. 6, no 1, pp. 89–108.
- Zaporozhets O., Lapina-Kratushuk E. (2015) Antropologija cifrovogo goroda: k voprosu o vybore metoda [Anthropology of Digital City: On Choosing the Method]. *Ethnographic Review*, no 4, pp. 41–54.
- Zemnukhova L. (2013) IT-rabotniki na rynke truda [IT Professionals on the Market]. *Sociology of Science and Technology*, vol. 4, no 2, pp. 77–90.
- Wiener B., Divisenko K. (2018) Social'naja struktura issledovatel'skoj oblasti "jetnografija/antropologija goroda" v rossiskoj jetnologii [Social Structure of Research Field "Urban Ethnography/Urban Anthropology" in Russian Ethnology]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 21, no 2, pp. 7–43.

О ПОНЯТИЯХ «СЕМЬЯ» И «ДОМОХОЗЯЙСТВО» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЖАНА БОДЕНА

Гульнара Баязитова

Кандидат исторических наук, доцент Тюменского государственного университета

Адрес: ул. Володарского, д. 6, г. Тюмень, Российская Федерация 625003

E-mail: g.bayazitova@utmn.ru

В статье рассматривается традиция формирования понятий «семья» и «домохозяйство» в политической теории французского юриста и государствоведа Жана Бодена. Автор исследует главный политический труд Бодена «Шесть книг о Республике» для изучения коннотаций данных понятий и определения смысла, вкладываемого в эти термины Боденом. В качестве второстепенных источников привлекаются работы Ксенофonta, Аристотеля, Апулея и Юстиниана Историка, а также Свод законов Юстиниана. Боден обращается к трем разным традициям: древнееврейской, древнегреческой и древнеримской; каждая из них имеет собственную историю понятий «семья» и «домохозяйство». Боден использует древние традиции для полемики, и в конечном счете у него формируется собственное понимание не только дефиниций *famille* (семья) и *ménage* (домохозяйство), но и *République* — понятия республики, обозначающего с некоторыми оговорками домодерное государство. Сама фиксация данных понятий постулирует разделение политического пространства на частную и публичную сферы. Кроме того, понятия «семья» и «домохозяйство» являются ключевыми для раскрытия сущности суверенитета — принципа организации верховной власти в Республике. Автор приходит к выводу, что различие в понимании боденовских *famille* и *ménage* заключается не только в обладании собственностью и законодательном закреплении этого права, но и в том, что домохозяйство выступает как основа Республики, формирующая новое для политической мысли понятие «суверенитет».

Ключевые слова: семья, *famille*, домохозяйство, *ménage*, Республика, Боден

Политические и правовые воззрения французского юриста и государствоведа Жана Бодена (1530–1596) традиционно вызывают интерес исследователей с момента выхода его первого большого политического трактата «Шесть книг о Республике» в 1576 году. Ранних апологетов его творчества привлекало понятие «абсолютной монархии», которое он раскрыл и последовательно защищал в своем труде. Однако наиболее известной концептуально оформленшейся дефиницией стало понятие суверенитета. Изучение творческого наследия Бодена ненадолго приостанавливалось лишь в XVIII веке, когда на волне эпохи Просвещения и Французской революции он выглядел крайне непопулярным автором. Уже в XIX веке возобновилось активное изучение политico-правовых идей автора как в отечественной, так и в зарубежной историографии (Баязитова, Митюрова, 2012: 25–36). Взгляды

Бодена остаются объектом исследовательского интереса для многих современных авторов. Его тексты продолжают выходить на разных языках, и по мере углубления работы над переводами его книг появляются новые области исследования, такие как анализ понятий, терминологии, используемой Боденом. В русле этих исследований находится и представленная в данной статье проблема перевода понятий «семья» и «домохозяйство» в политической теории Бодена.

Сравнительно недавно вышло новое комментированное издание трактата «О демонизации колдунов» на французском языке К. Мартином и В. Кроузом совместно с их коллегой Э. Макфейлом (Bodin, 2016). С 2017 года в издательстве «Шпрингер» анонсирован выход «Шести книг о Республике» на немецком языке под редакцией профессора Петера Майер-Таша¹ (сейчас ожидаемая дата издания обозначена 2021 годом). В России первый научный перевод работы Бодена сделан в 2000 году М.С. Бобковой (Боден, 2000). Это был трактат «Метод легкого познания истории», выпущенный издательством «Наука» с комментариями и большой вводной статьей. «Метод легкого познания истории» был первым крупным трудом Бодена, увидевшим свет в 1566 году. По сути, в «Методе» были впервые изложены политические воззрения Бодена, развернутые затем в «Шести книгах о Республике». В 2018 году Издательский дом Высшей школы экономики выпустил новое издание трактата под названием «Метод легкого чтения историй» под редакцией И. В. Кривушкина и Е. С. Кривушиной (Боден, 2018). Актуальность обращения к творчеству Жана Бодена Кривушин объясняет размышлениями современных авторов над процессами «деколонизации, распадом старых империй, возникновением новых надгосударственных образований (Евросоюз)» (Кривушин, 2018: 30). При этом в поле зрения автора не попала российская историография «Метода», представленная главным образом работами М. С. Бобковой (Бобкова, 2000, 2001, 2010). Между тем, указанная актуализация относится именно к «Шести книгам», а не к «Методу». Главный политический труд Бодена — «Шесть книг о Республике» — до сих пор не переведен полностью на русский язык; мы имеем только фрагментарные переводы (Хачатуян, 1995: 688–695; Баязитова, 2012: 225–238). В 2018 году на конференции «Республиканизм: теория, история, современные практики» в Санкт-Петербурге молодая исследовательница Е. С. Захарова представила проект перевода первой книги о Республике Бодена.

Если обратиться непосредственно к изучению политического наследия Бодена, то мы можем выделить несколько основных дискуссионных полей, сформировавшихся в последние два десятилетия: проблема власти (Conti Odorioso, 2007; Ивонина, 2015); демонология Бодена в контексте политической борьбы и политической культуры раннемодерного французского общества (Тогоева, 2014; Martin, 2013: 117–136; Krause, 2013: 97–116); рецепция политических идей Бодена в разных

1. Профессор Питер Майер-Таш является одним из ведущих немецких специалистов по исследованию политических воззрений Жана Бодена. Ему принадлежат монография о Жане Бодене (2000 и 2011 года издания) и два переиздания «Шести книг о Республике» на немецком языке (1981 и 1986 годы).

странах (Lloyd, 2013; Митюрёва, 2016); республиканская традиция и формирование модерного государства (Скиннер, 2015; Krogh, 2015).

В 2013 году вышел сборник статей, посвященный рецепции политических, религиозных, исторических идей Бодена в итальянской, английской, кастильской политической мысли под редакцией Хауэлла Ллойда (Lloyd, 2013). В 2015 году норвежский исследователь Томас Крог опубликовал статью о становлении модерного государства и влиянии на данный процесс политической философии Бодена, в частности предложенной им трактовки понятия «государственная власть» (*state power*) как соотношения двух концепций: суверенитета и абсолютизма (Krogh, 2015: 43). Он определяет актуальность своего исследования, ссылаясь на авторитет Квентина Скиннера, отметившего, что «боденовская концепция государства является важным шагом к концепции модерного государства, которую мы имеем сегодня» (Ibid.: 45). В таком контексте совершенно естественными представляется обращение ученых к переводу трактатов, попытки объяснить через анализ терминов понятия и идеи, которые политические философы развивали в своих трудах.

Политический язык и терминологию Жана Бодена исследовали Д. Кола, К. Скиннер, О. Хархордин, В. Шюрбаум (Кола, 2002: 75–152; Скиннер, 2002: 12–74; Хархордин, 2009: 45–73; Шюрбаум, 2009: 171–246). В них можно констатировать движение в сторону нового прочтения работ Бодена сквозь призму различных методологических подходов, постижения смыслов через исследование понятий, что также требует бережного и внимательного отношения к источнику и переводу его на другие языки. Обращение к истории понятий, предпринятое Рейнхартом Козеллеком и его коллегами в рамках направления *Begriffsgeschichten* (Арнаутова, 2014), а позже Кембриджской школой и, в частности, Скиннером (Skinner, 1978), актуально, поскольку, как показывают современные дискуссии о республиканизме, суверенитете и государстве, политические понятия возникают, видоизменяются и получают новые коннотации в зависимости от эпохи, контекста, личности автора. Так, в одной из последних статей Скиннера, вышедших на русском языке, автор рассматривает вопрос о свободе. Он начинает анализ с Т. Гоббса и Дж. Локка, попутно обращаясь к понятию справедливости у древних греков и в Дигестах Юстиниана, однако обходит мнение Бодена по вопросу свобод и ограничений власти (Скиннер, 2015: 25–42). Филипп Петит, размышляя о гражданской республиканской теории, обращается к понятиям *dominium* и *imperium* и их влиянию на формирование модерных представлений о частной и публичной власти и свободе человека, но также не упоминает о суверенитете в политической теории Бодена (Петит, 2015: 43–88).

Тема власти и собственности, рассматриваемые Боденом в качестве основы организации домохозяйства, являющегося, в свою очередь, элементом первого политического догосударственного образования — «республики», получает новое развитие в контексте изучения истории власти мужчин и положения женщин в семье. Итальянская исследовательница Джиневра Конти Одориосо рассматривает соотношение таких явлений, как семья и государство, у Бодена. Она спорит

с традицией и ставит под сомнение тезис Бодена о сходстве семьи и государства, пытаясь определить их различия и контрасты. Автор показывает, что политico-символическая функция передавалась от отца к семье-суверену. Ее позиция диктуется теоретической рамкой, фокус которой сосредоточен на феминизме. Так, исследовательница приходит к выводу, что в сфере частного и в межличностных отношениях центральной проблемой является исключение женщин из публичной сферы (Conti Odorioso, 2007: 15). Конти Одориосо уточняет, что Боден, употребляя в своем трактате термин *ménage*, имеет в виду «домашнее хозяйство» (*maisonné*) — расширенную семью, состоящую из основного ядра и других семейных групп, сформированных из женатых детей, которые находятся под властью отца (Ibid.: 16). И уже здесь мы видим принцип неделимости власти. Автор утверждает, что противопоставление семьи и государства начинается с определения, которое Боден дает семье и государству — какциальному управлению, которое противопоставляется «управлению» главы бандитов и пиратов. Таким образом, Боден ставит вопрос о легитимности власти. Спорным представляется утверждение Конти Одориосо о том, что определение отцовской власти (*puissance paternelle*) не дает никакого критерия легитимности (Ibid.: 20). Определение правильного управления семьей у Бодена содержит лишь власть отца семейства над всеми своими домочадцами и подчинение, которое они обязаны выказывать ему (Bodin, 1579: 10). Таким образом, государство ни в коем случае не является аналогом большой семьи. Но семья конституирует государство, поскольку именно из домохозяйств складывается собственно государство, или *République*, как его называет Боден. Однако Конти Одориосо не обращается к истокам боденовского *famille*, априори прививая его к *ménage*.

Монография Конти Одориосо включает в себя исследование понятия государства, рассматривает связь понятий государства и домохозяйства. В книге уделяется внимание разбору принципа организации домохозяйства и его сопряжению с современными проблемами распределения власти в семье. Однако подробное исследование особенностей употребления Боденом термина «домохозяйство» и его соотношения с понятием «семья» в работе отсутствует, как нет подобного анализа и в работах других авторов. Между тем, Боден неслучайно начинает свой огромный труд с определения республики через понятие домохозяйства и затем продолжает книгу главой о домохозяйстве: «домохозяйство» — основа рассуждений о принципе организации и о структуре боденовской республики. Для обозначения этого понятия он использует три основных термина: *ménage*, *menagerie* (домохозяйство) и *famille* (семья). Каждый из этих терминов имеет однозначный перевод, но в тексте Бодена они используются иногда как синонимы, а иногда как взаимодополняющие термины. Цель нашего исследования — определить, что вкладывает Боден в понятия *famille/ménage*, и проанализировать, как они соотносятся друг с другом и какую смысловую нагрузку несут в его политico-философских построениях. В этой связи мы рассмотрим два аспекта: во-первых, изучим собственно формирование традиции использования понятий *famille*/

ménage в западной политической мысли и историю постепенного стирания границ у этих терминов в историографии Бодена. Во-вторых, раскроем, каким образом заурядный для политической философии сюжет о связи между понятиями «семья»/«домохозяйство» и «Республика» становится ключевым для «Шести книг» в свете политических дискуссий во Франции XVI века.

Трактат Бодена «Шесть книг о Республике» впервые был издан в 1576 году и выдержал около десятка переизданий в разных странах и на разных языках до начала XVIII века. Написанный в полемике с гугенотским публицистом Франсуа Отманом, трактат стал важной вехой в становлении представлений о модерном государстве, поскольку ввел в политический язык понятие «суверенитет». В нашей работе перевод главного политического трактата Бодена как «Шесть книг о Республике», в отличие от общепринятого варианта «Шесть книг о государстве», обусловлен не только особенностью оригинального словоупотребления самим автором (*«la République»*, *«Res publica»*), но и тем обстоятельством, что у Бодена появляются лишь элементы идеи модерного государства (*«état»*) (Баязитова, 2016); говорить же о Франции XVI века как о модерном государстве представляется анахроничным. Цельное осмысление этого термина в самом трактате отсутствует. В данной статье в качестве источника используется издание на французском языке 1579 года, дополненное статьей о суверенитете, а также латинское издание 1591 года, переведенное самим Боденом. В тексте статьи приводятся ключевые определения понятий и основных сюжетов, иллюстрирующих применение дефиниций в разных традициях на языке оригинала.

К моменту создания «Шести книг о Республике» в арсенале политических философов уже имелись базовые понятия для оформления политической мысли. Это были интерпретации латинских понятий, которые коррелировали с греческими терминами и впоследствии нашли свое отражение в теории Бодена: *res publica* — πόλις — *république* — государство; *potestas, imperium* — κράτος — *pouvoir*, *puissance* — власть, могущество; *justicia* — δικαιόσύνη — *justice* — справедливость, правосудие². Каждый из них имел собственный, более узкий смысл и мог трактоваться в зависимости от контекста употребления. В XVI веке мы уже видим устоявшуюся традицию обращения к референтной группе политических мыслителей. Так, в «Шести книгах» поля содержат многочисленные гlosсы и ссылки. Ксенофонт, Аристотель, Платон, Полибий, Апuleй, Цицерон, Дионисий Галикарнасский, Раввин Маймон — те авторы, к политическому наследию которых Боден обращается наиболее часто. Это говорит не о предпочтениях автора, а скорее об общей ученой традиции, которая не позволяет высказывать суждение без ссылки на авторитеты. Другой причиной обращения к традиции является тот факт, что «Шесть книг» мыслились автором как продолжение этой самой традиции. Проблемы, которые затрагивает Боден в своей работе, — это сюжеты, повторяющиеся как у античных, так и у средневековых мыслителей: вопрос о зарождении πόλις, *civitas, res*

2. О соотношении понятий «правосудие» и «справедливость» у Бодена подробно написано в работе: Баязитова, Митюрова, 2012: 160–166.

publica; вопрос о формах государственного устройства, вырождении государств; сюжет о семье как прообразе государства также типичен для многих античных авторов. Р. Шовирэ отмечает, что семья предстает первым стабильным элементом общества, существовавшим длительное время. По его мнению, ни в античных обществах, ни в обществе раннего Нового времени индивидуум не существовал как ценность, но ценностью было сообщество — семья, клан, род, отчество, и именно поэтому семья (*famille*) становится одним из объектов исследования у Бодена (Chauviré, 1914: 305).

Первым определением, по поводу которого дискутирует Боден, является определение домоводства у Ксенофона (в греческом варианте — *οἰκονομία*) как науки, «при помощи которой люди могут обогащать хозяйство, а хозяйство, согласно нашему определению, есть все без исключения имущество, а имуществом каждого мы назвали то, что полезно ему в жизни, а полезное, как мы нашли, — это все, чем человек умеет пользоваться» (Xenophon, 1921: ch. 6). Ксенофонт во главу угла ставит именно экономическую составляющую домохозяйства. По мнению Бодена, это неверно, поскольку нельзя отчленить главное от целого, в частности, экономику от полиса³ (Bodin, 1579: 10). Для Бодена экономическая и политическая составляющие неразрывно связаны между собой. Ведь именно Боден одним из первых европейских мыслителей дал обоснование количественной теории денег, показав в своем трактате взаимозависимость политической конъюнктуры и экономического благополучия государства (Коган-Бернштейн, 1946: 345).

Тем не менее в рассуждениях Боден сам отталкивается от идей античных авторов, и не только методом «от противного». Все вопросы, которых касались Ксенофонт и Аристотель, Боден поднимает снова в попытке уточнить природу власти. Во-первых, подвергая анализу идеи Ксенофона, он не артикулирует, но все же принимает во внимание фразу древнего автора о том, что «дело хорошего хозяина состоит в хорошем управлении хозяйством» (Xenophon, 1921: ch. 1). Во-вторых, он пользуется логикой Аристотеля, который в своей «Политике» дает важное уточнение по поводу домохозяйства: домохозяин (*οἰκονομικὸν*) и царь (*βασιλικόν*) хоть и различаются количеством управляемых ими людей, но природа их власти схожа, поскольку и тот и другой управляют в силу присущей им лично власти (Aristotle, 1957: 1.1252a). Таким образом, проблема власти и управления поднимается и Ксенофонтом, и Аристотелем при определении того, что же такое домохозяйство. Боден резюмирует это в своем знаменитом определении: «Так что хорошо управляемая семья является истинным изображением Республики, и домашняя власть похожа на суверенное могущество: [она] также является правильным управлением домом, истинной моделью управления в Республике»⁴ (Bodin, 1579: 11).

3. «Et par ainsi Xenophon et Aristote, sans occasion à mon avis, ont divisé l'économie de la police: ce qu'on ne peut faire sans demembrer la partie principale du total, et batir une ville sans maisons...»

4. «Tout ainsi donc que la famille bien conduite, est la vraye image de la Republique, et la puissance domestique semblable à la puissance souveraine: aussi est le droit gouvernement de la maison, la vraye modelle du gouvernement de la Republique».

Второй момент дискуссии — это организация домохозяйства. Боден говорит о пяти и более персонах, создающих домохозяйство. Это глава семейства (*chef de famille*), мать семейства (*mere⁵ de famille*), дети, рабы или освобожденные люди⁶ (Bodin, 1579: 11). Его понимание структуры домохозяйства строится на аристотелевской или даже более ранней традиции. Аристотель выделяет три типа отношений в домохозяйстве: господин и раб, муж и жена, отец и дети (Aristotle, 1957: 1.1253b). Он также обращает внимание на то, что в современной ему семье присутствуют два элемента — свободные люди и рабы. Очевидно, что Боден сближается с Аристотелем в понимании того, как организовано домохозяйство с точки зрения структуры.

Другой источник — это мнение Апулея, о котором упоминает Боден: «Пятнадцать свободных людей — это народ, пятнадцать рабов — это домохозяйство, пятнадцать скованных рабов — тюрьма» (Apuleius, 1912: 47). Народ, с точки зрения Апулея, состоит из пятнадцати персон и, следовательно, трех домохозяйств. Боден соглашается с ним: «Мы говорим по той же причине, что необходимо не менее трех домохозяйств для того, чтобы создать одну Республику, что составляло бы три раза по пять [персон] для трех полных домохозяйств»⁷ (Bodin, 1579: 11). При этом он обращает внимание на то, что даже если семья будет насчитывать более тысячи человек, это будет тем не менее домохозяйство, которое подчиняется одному главе семьи и управляет им: так, даже очень крупное хозяйство, где «отец семейства (*pere de famille*) имеет триста наложниц, шестьсот детей... или пятьсот рабов», находится под властью домохозяина, но не является при этом ни народом, ни Республикой — «ce n'est pas un peuple»⁸, оставаясь всего лишь домохозяйством (Bodin, 1579: 11–12). И далее, рассуждая про малые и большие королевства и наличие у них суверенной власти, Боден подчеркивает, что для признания за некоторым образованием статуса республики важна не численность подданных, а принцип распределения власти; иные семейства по размеру могут оказаться крупнее отдельно взятой республики, авторитет же отца семейства, подобно авторитету суверенного монарха — непререкаем и неделим⁹ (Bodin, 1579: 13). Три домохозяй-

5. Цитаты и большинство терминов в работе приведены в том виде, в котором они присутствуют в первоисточнике, и их вид может отличаться от написания, принятого в современном французском языке.

6. «Car la loy veut du moins trois personnes pour faire un college, et autant pour faire une famille, outre le chef de famille, soient enfans, ou esclaves, ou affranchis, ou gens libres qui se soubmettent volontairement à l'obeissance du chef de mesnage, qui fait le quatrième, et toutefois membre de la famille. Et d'autant que les mesnages, corps et colleges, ensemble les Republiques, et tout le genre humain peritoit, s'il n'estoit repeuplé par mariages, il s'ensuit bien que la famille ne sera pas accomplie de tout point sans femme, qui pour ceste cause est appellée *mere de famille*».

7. «Nous dirons par mesme raison, qu'il faut du moins trois mesnages pour faire une Republique, qui seroit trois fois cinq pour trois mesnages parfaictes».

8. «Autrement s'il n'y a qu'un mesnage, encore que la pere de famille eust trois cens femmes, et six cens enfans, autant qu'en avoit Hermotimus Roy de Parthe, ou cinq cens esclaves comme Crassus: s'ils sont tous sous la puissance d'un chef de mesnage, ce n'est pas un peuple, ny une Republique, ains un mesnage seulement».

9. «Et par ce moyen il se pourra faire, qu'une famille sera plus grande qu'une Republique, et mieux peuplée: comme l'on dit du bon pere de famille *Ælius Tuberon...*»

ства Боден ассоциирует с составными частями республики, и опять можно видеть, как происходит переход из сферы частного к сфере публичного: «Говорят, может быть, что три корпуса и коллегии или многочисленные частные лица без семьи могут также хорошо составить республику, если она управляет суверенной властью. Выглядит вроде бы верно, но тем не менее это не республика, поскольку все корпуса и коллегии распадаются сами собой, если не укреплены семьей»¹⁰ (Bodin, 1579: 12).

Боден часто обращается как к мнению авторитетных иудейских раввинов, например, раввина Маймона, так и собственно к каббале. И, раскрывая вопрос, связанный с «семьей» и «домохозяйством», он не обходит стороной древнееврейскую традицию. Поэтому третий источник, который мы выделяем для определения того, что он вкладывает в понятие «семья» или «домохозяйство», — это древнееврейская традиция, влияние которой прослеживается во всем тексте «Шести книг о Республике». Согласно традиции, глава, хозяин или господин дает семье (*famille*) свое имя, и кроме того, семья (*famille*) — это то, что подразумевает владение имуществом: «И по этой причине евреи, которые всегда обозначают свойство вещи в ее названии, называли семью אלף (элеф — тысяча) не оттого, что семья содержала бы тысячу персон, как говорит один раввин (Rabin), а от слова אלף (элух — тысячник), которое обозначает главу, хозяина, государя (*Prince*), называющего по своему имени семью»¹¹ (Bodin, 1579: 12).

Наконец, четвертый, и, на наш взгляд, ключевой источник для понимания того, что такое домохозяйство (*ménage*) у Бодена, — римское право. По мнению одного из исследователей юридического наследия Бодена Жана Моро-Рейбеля, моделью для Бодена выступает не «Политика» Аристотеля, а «Свод Юстиниана» (*Corpus Juris civilis*). Моро-Рейбель одним из первых указал на истоки концепций Бодена, в частности, мужской и отцовской власти, могущества хозяина над рабами (Moreau-Reibel, 1933: 139). Он говорит о том, что семья (*famille*) как домохозяйство (*ménage*) и как ячейка (*cellule*) придает политическому телу смысл социальный, а понятие суверенитета (*souverainité*) — юридический (Moreau-Reibel, 1933: 151).

В Дигестах Юстиниана *familia* определяется в нескольких значениях. Во-первых, как «обозначение какой бы то ни было корпорации, которая образуется правом самих (ее членов) или целой общности родственников. В узком юридическом значении фамилией мы называем несколько лиц, находящихся под властью одного, подчиненных ему по природе или в соответствии с правом, как, например, отец семейства или мать семейства, подвластный сын, подвластная дочь, а также те, кто следуют за ними... Фамилией общего права мы называем всех аг-

10. «Mais on dira peut estre, que trois corps et colleges, ou plusieurs particuliers sans famille, peuvent aussi bien composer une Republique, s'ils sont gouvernez avec puissance souveraine: il y a bien apparence: et toutefois ce n'est point Republique: veu que tout corps et college s'aneantist de soy-mesme: s'il n'est reparé par les familles».

11. «Et pour ceste cause les Hebrieux, qui monstrent toujours la propriete des choses par les noms, ont appellé famille... non pas pour ce que la famille contient mil personnes, comme dit un Rabin, mais du mot... qui signifie chef, seigneur, prince, nommant la famille par le chef d'icelle».

наторов...» (D. 50. 16. 195. 2; Дигесты Юстиниана, 2005: 503). Таким образом, здесь признается факт власти и родства. Во-вторых, далее говорится, что рабы также входят в *familia*: «Рабов мы также обычно называем фамилией, как мы это находим в преторском эдикте в титуле о воровстве, где претор говорит о фамилии публиканов... В другой же части эдикта этим (словом) охватываются все рабы, как, например, в (титуле) о похищении людей, об имуществе, захваченном силой, а также об (иске) относительно отмены договора купли-продажи, когда возвращается вещь, оказавшаяся хуже при использовании ее покупателем или его фамилией, и в (титуле) об интердикте „что силой“ термин „фамилия“ включает в себя всех рабов» (D. 50. 16. 195. 3; Дигесты Юстиниана, 2005: 503). Рабы представляют собой движимое имущество и являются собственностью *familia*. В-третьих, *familia* — это «некоторое количество лиц, которые по крови происходят от одного и того же родоначальника (как, например, мы говорим „фамилия Юлия“), как бы в память о некоем общем истоке». Кроме того, говорится, что «этот (термин) [familia] распространяется как на вещи, так и на лица» (D. 50. 16. 195. 4; Дигесты Юстиниана, 2005: 503). Здесь выделяется особая принадлежность человека к определенному сообществу. Следовательно, в римском праве обозначается три основных значения *familia*: родство, власть и собственность.

В латинском варианте текста Боден говорит не просто о *familia* в значении «семья» или «домохозяйство», но о *iure familiare* («праве семьи») (Bodini, 1591: 10). Идея о том, что глава семейства должен сохранять имя семьи, имущество и древние признаки, также существует и в древнеримском *ius familiare* и сохраняется в древних семьях Франции и Германии: «Такие законы семейств, которые римляне также имели и называли *ius familiare*, создавались отцами семейств для взаимного сохранения своих имуществ, имени и древних признаков»¹² (Bodin, 1579: 18). В небольшой дискуссии, развернувшейся на страницах интернет-журнала, Александр Марей поясняет, что Боден, используя термин *familia*, имеет в виду не семью в современном понимании, а именно домохозяйство, поскольку этим понятием обозначались не только отношения родства, но также и движимое и недвижимое имущество, включая рабов; следовательно, и *pater familias* следует переводить не как «отец семейства», но скорее как «домовладыка»: «Боден, наследуя традиции римского частного права, освоенного им в Университете Тулузы, пишет не о семье, но о „домохозяйстве“... римский *pater familias* — это не „отец семейства“, а „домовладыка“» (Марей, 2016). Данное замечание ценно, поскольку выводит нас за рамки привычной терминологии, уточняя и расширяя возможности перевода и интерпретации. *Pater familias* — отец (глава) семейства, термин, который известный исследователь в области римского права Д. В. Дождев также переводит, в том числе, и как «домовладыка» (Дождев, 1993: 64). Само представление о *pater familias* восходит к царскому совету, членов которого Ромул называл *patres* («отцы») (Там же: 25). Этот орган выполнял функции *interregnium* (междучарствия), когда «отцы»

12. «Telles loix de familles, que les Latins avoient aussi, et les appelloient *ius familiare*, sont faites par les chefs de familles, pour la conservation mutuelle de leurs biens, nom et marques anciennes».

поочередно отправляли власть. *Patres* обладали правом производить птицегадания (ауспиции); отправление ауспиций наделяло *patres* всей властью в государстве. *Patres* имели право утверждать нового царя. Дождев цитирует Цицерона, говоря о том, что *principes*, выбранные Ромулом в совет, были названы «*patres*» из-за *caritas* — «уважения, почета» (Там же: 34). *Patres* обладали *auctoritas* (авторитетом) как лидеры малых групп. *Auctoritas* противостоял *imperium* — публичной власти высших магистратов, приравненной к царской власти, и ограничивал ее (Там же: 48). Соответственно, Дождев дает следующий перевод определению *pater familias* в «Дигестах Юстиниана»: «Отцом же семейства называется тот, кто в доме имеет *dominium*, и правильно называется этим именем, даже если не имеет сына: ведь не только его лицо, но и власть обозначаем, даже малолетнего называем отцом семейства» (Там же: 64). Также автор обращает внимание, что *dominium* — власть домовладыки по отношению к рабу (Там же: 62). В переводе же А. Л. Смышляевой *dominium* приводится в первом случае как «собственность» (D. 50. 16. 195. 2; Дигесты Юстиниана, 2005: 503), а во втором — как «власть в отношении рабов»: «Слово “власть” имеет много значений; в отношении личности магистрата оно означает его империю, в отношении детей — отцовскую власть, в отношении рабов — власть господина» (D. 50. 16. 215; Дигесты Юстиниана, 2005: 511). Следовательно, *dominium* — это частная власть домовладыки, включающая, в том числе, владение рабами. *Familia* при этом является тем, с чем себя идентифицирует *pater familias* (отец семейства, домовладыка), например, принадлежность к определенному роду. В этом смысле домовладыка является частью этой *familia* (Дождев, 1993: 63).

Таким образом, мы видим, как понятие *ménage*, которое использует Боден в тексте на французском языке, по сути, объединяет не только представление о структуре семьи, системе родства, но также и о ее собственности, закрепленной юридически. Это немаловажно, поскольку сама *familia*, будучи социальным элементом, составляла важную часть правовой системы. Именно этот момент важно отметить при интерпретации *ménage*. Здесь снова можно вернуться к тезису Конти Одориосо об отсутствии легитимации власти *pater familias*. Власть *pater familias* была закреплена законодательно, по крайней мере, в римском праве. В XVI веке во многих регионах Франции римское право оставалось действующим законодательством, поэтому данный тезис представляется неверным.

Мы определили, что как у древних евреев и древних греков, так и у римлян понятие семьи несло в себе коннотацию обладания собственностью. И этот аспект является превалирующим для древних и для Бодена, поскольку, характеризуя и *ménage*, и *République*, он говорит о собственности, которой обладает как семья, так и государство. Видно, что *familia* дополняется, подкрепляется понятием *dominium*. Поэтому можно утверждать, что *familia* — это субъект, который обладает *dominium* — правом собственности. Следовательно, *ménage* — это домохозяйство, основанное на праве собственности. И это очевидным образом вытекает из рассуждений Бодена, который не только опирался на философскую, нарративную

традицию, но и апеллировал к древнеримским законам. Само определение *ménage* (понятия «домохозяйство») предполагает обладание имуществом, собственностью: «Домохозяйство есть правильное управление главой семейства многими подданными и имуществом, которое семейству принадлежит»¹³ (Bodin, 1579: 10). Имущество (*biens*) — экономическая основа домохозяйства и любой Республики. Поэтому Боден четко проводит разделение между частным и публичным. «Но кроме суверенитета необходимо нечто общее и публичное, такое как публичный домен, публичная казна, улицы, городские стены, площади, башни, рынки, обычаи, законы, кутюмы, правосудие, налоги, наказания и другие подобные вещи, которые являются общими или публичными, или и тем и другим вместе; поскольку нет республики, если нет ничего публичного»¹⁴ (Ibid.: 14). И здесь, конечно, публичное пространство противопоставляется частному. В дефиниции *ménage* — «ce qui luy est propre», «то, что у него есть частного», обозначает имущество, которым владеют домовладыки (главы семейств). Оно естественным образом противопоставляется «ce qui leur commune» — «то, что у них есть общего» — публичному имуществу. Марей обращает внимание на то, что «„общее“, о котором пишет Боден, мы обычно называем сегодня „публичным пространством“, причем сразу в нескольких смыслах: и в вещественном, и в правовом» (Марей, 2016). Стrogую критику уничтожения частного имущества, предлагаемого Платоном и анабаптистами, Боден строит на основе принципа политического: граждане, владеющие частным имуществом, вносят вклад в общее имущество (*bien public*) в виде налогов: «Республика — это правильное управление множеством семей и всем их общим имуществом; также и семья — это правильное управление главой семейства множеством подданных и имуществом, которое семейству принадлежит, и в этом состоит настояще различие между Республикой и семьей, так как глава семейства управляет собственностью семьи. При этом каждая семья часто и почти в обязательном порядке должна предоставлять и вносить что-нибудь из своего частного в общее в форме талли или дорожной пошлины или экстраординарных налогов»¹⁵. Магистраты также должны петься об имуществе сирот, безумных и людей, оставшихся без дохода, поскольку сохранение частного имущества гарантирует сохранение публичного¹⁶ (Bodin, 1579: 15–17).

13. «Mesnage est un droit gouvernement de plusieurs sujets, sous l'obeissance d'un chef de famille, et de ce qui luy est propre».

14. «Mais outre la souveraineté, il faut qu'il y ait quelque chose de commun, et de public: comme le domaine public, le thresor public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places, les temples, les marchez, les usages, les loix, les coutumes, la iustice, les loyers, les peines, et autres choses semblables, qui sont ou communes, ou publiques, ou l'un et l'autre ensemble: car ce n'est pas Republique s'il n'y a rien de public».

15. «Tout ainsi donc que la Republique est un droit gouvernement de plusieurs familles, et de ce qui leur est commune, avec puissance souveraine: aussi la famille est un droit gouvernement de plusieurs sujets sous l'obeissance d'un chef de famille, et de ce qui luy est propre, et en cela gist la vraye difference de la Republique et de la famille: car les chefs de famille ont le gouvernement de ce qui leur est propre: encors que chacune famille soit bien souvent, et quasi par tout obligee, d'apporter, et contribuer quelque chose de particulier en commune, soit par forme de taille, ou de peages, ou d'impots extraordinaires».

16. «Les magistrats en toute Republique bien ordonnee, ont soin et soucy du bien particulier des orphelins, des insensez, et des prodigues: comme chose qui touche et concerne le public...»

Проблема собственности семьи становится, таким образом, центральной для Бодена. Именно право частной собственности выступает у него одним из ограничений власти суверена. Если публичная собственность — составляющая часть республики, то частная собственность выступает как ее основа, при этом уважение права собственности является добродетелью истинного правителя: «Если же суверенный государь не властен нарушать границы законов природы, которые установил Бог, чьим образом на Земле он является, то он также не может брать имущество другого без справедливой и разумной причины, а либо посредством покупки, либо обмена, либо законной конфискации»¹⁷ (Bodin, 1579: 156). Поэтому можно поспорить с утверждением С. Гойард-Фабр о том, что политическое сообщество не подпадает под действие естественного закона, поскольку якобы только семья как частное сообщество подчиняется естественному закону в силу своего естественного происхождения (Goyard-Fabre, 1989: 82). Естественный закон ограничивал и действие публичного права, и действия государя как публичного лица. И здесь важно вспомнить сюжет спора о королевском домене на заседании Генеральных штатов в Блуа в 1576 году, в котором Боден принимал непосредственное участие. Этот спор органически вписывается в обсуждение вопроса о том, что представляют собой «семья» и «домохозяйство» для Бодена. Во время заседания Боден в качестве депутата от округа Вермандуа защищал позицию о неделимости королевского домена и возражал против продажи части домена со стороны короля. Домен являлся, с одной стороны, личным фьефом короля, а с другой стороны — фискальной собственностью. Кроме того, он символизировал территорию, объединявшую французский народ. Здесь необходимо обратиться к интерпретации фигур короля и королевства как мужа и жены, а домен, таким образом, символизирует домохозяйство, в котором властвует король как домовладыка (Канторович, 2015: 321; Десимон, 2002: 139). Франсуа Отман писал в своей «Франкогаллии»: «Домен короля — это как бы приданое королевства» (Hotmani, 1586: 66).

В XVI веке дискуссия Бодена о «домохозяйстве» и «семье» вписывается в общую дискуссию об увеличении королевских прерогатив, по сути, королевской власти. Часть политических мыслителей видела в этом явлении узурпацию власти со стороны монарха (Hotmani, 1573; De Bèze, 1575), другая часть, наоборот, говорила о необходимости усиления централизованной власти и сосредоточении ее в одних руках, поскольку это будет содействовать укреплению и процветанию государства (Seyssel, 1557). Постепенно начинает формироваться представление о верховной власти (о том, что в средневековых канонических источниках называлось *summa potestas* или *summa imperium*). Однако до 1576 года, до издания «Шести книг», мы можем встретить лишь отдельные упоминания о верховной власти, или *majestatem senioria* — «άκραν ἔχουσιαν» (Bodin, 1579: 85). За десять лет до появления понятия

17. «Si donc le prince souverain n'a pas puissance de franchir les bornes des loix de nature, que Dieu, duquel il est l'image, a posees, il ne pourra aussi prendre le bien d'autrui sans cause qui soit iuste et raisonnable, soit par achart, ou eschange, ou confiscation legitime, ou traittant paix avec l'ennem, si autrement elle ne se peut conclure, qu'en prenant du bien des particuliers pour la conservation de l'estat».

«суверенитет» Боден формулирует пять основных признаков суверенитета как возможность реализации следующих прав: назначать магistratов; принимать, отменять и обнародовать законы; объявлять войну и заключать мир; выступать высшей судебной инстанцией для граждан; карать и миловать (Боден, 2000: 151–152).

Тема верховной власти, суверенитета, его отличительных признаков и пределов влияния была актуализирована в XVI веке и представляет исследовательский интерес в настоящее время. И здесь уже следует говорить не только о власти домовладыки. Глава «Шести книг», посвященная домохозяйству, условно делится на несколько разделов: это собственно определение того, что такое *ménage* (домохозяйство), фиксация структуры семьи и переход от структуры семьи к структуре республики; ассоциативный ряд от главы семьи к главе Республики, обладающему суверенной властью, и от частных вещей к публичным вещам; фиксация того, что такая республика и что такая семья как часть этой республики и главный налогоплательщик; и, наконец, роль магistratов в сохранении частного имущества. В пяти абзацах Боден совершает переход от частного к общему, от семьи к республике, от частной власти к суверенитету. Этот момент тоже важно отрефлексировать: Боден практически сразу разделяет две сферы жизни — частную и публичную. Власть, о которой он будет говорить в последующих главах, также подразделяется на частную и публичную. Власть, которую реализует в своем домохозяйстве глава семейства, относится к частной сфере, равно как и все домохозяйство в целом: «Частное управление находится у главы домохозяйства и у корпусов и коллегий в общем... Управление домохозяйствами существует в четырех видах: мужа над женой, отца над детьми, господина над рабами, хозяина над наемными работниками» (Bodin, 1579: 19)¹⁸. На основе частной власти отца семейства выстраивается другая, более важная система власти: «Публичная власть возлагается на суверена, который дает закон, или на персону магistrата, который повинуется закону и руководит другими магistrатами и частными лицами»¹⁹ (Ibid.: 19). Здесь обнаруживается ключевое отличие в понимании домохозяйства по сравнению со всей предыдущей традицией. Боден вводит понятие «домохозяйство» в публичную сферу, связывая его с сувереном, который обладает правами и обязанностями как лицо, управляющее республикой: «Республика является правильным управлением множеством домохозяйств и всем общим, что им принадлежит, посредством суверенной власти»²⁰ (Ibid.: 1). Лишь в XVII веке, когда Гоббс поставит частную жизнь и имущество под действие публичного закона и публичной власти, мы сможем увидеть, как начинают стираться границы между понятиями *famille* и *ménage* (семья и домохозяйство). Авторы сначала превращают данные термины в сино-

18. «Le commandement particulier est aux chefs de mesnages, et aux corps et collèges en general... Les commandement des mesnages se prend en quatre sortes, du mary envers la femme, du pere envers les enfans, du seigneur envers les esclaves, du maistre envers les serviteurs».

19. «La puissance publique gist au souverain qui donne la loy, ou en la personne des magistrats, qui ploient sous la loy... et commandement particulier est aux chefs de mesnages, et aux corps et collèges en general...»

20. «République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et de ce qui leu rest commun, avec puissance souveraine».

нимы, а потом и вовсе заменяют устаревший термин *ménage* на более понятный и современный *famille*. С легкой руки Анри Бодрияра *République* заменяется термином *État*, а *ménage* — термином *famille*. Бодрияр приравнял понятия, положив начало традиции говорить о «Шести книгах о Республике» как о «Шести книгах о государстве» (Baudrillart, 1853: 233–234). Здесь, очевидно, сыграло свою роль складывание института нуклеарной семьи на Западе, когда семья уже мыслилась более узко, включала в себя меньшее количество членов и превратилась из домохозяйства в семью в современном понимании.

Таким образом, можно сделать три основных вывода.

Во-первых, можно с уверенностью сказать, что наличие разных терминов для обозначения такого явления, как «семья»/«домохозяйство», в политической теории Жана Бодена объясняется не только исторически сложившимися особенностями развития французского языка, но и наличием сразу нескольких традиций, которыми воспользовался Боден для обоснования того, что же такое семья и домохозяйство в республике, которую он описывает. Эти традиции имеют разную временную длительность, но являются репрезентативными для самого мыслителя: древнееврейская, древнегреческая, древнеримская, а также христианская традиция, о которой не упоминает сам мыслитель, говоря о домохозяйстве, но которая появится в последующих главах текста «Шести книг», поскольку божественный и естественный закон отправляет нас прямиком к томистской традиции иерархизации высших законов. Другим важнейшим поводом обращения Бодена к теме определения понятия домохозяйства является политический контекст второй половины XVI века с его спорами о верховной власти и ее пределах. Боден встраивает актуальный спор о королевском домене в теоретические рамки политической традиции.

Во-вторых, в основе любой хорошо устроенной Республики лежит хорошо устроенное домохозяйство, управляемое домовладыкой, базирующееся на законе, которое пополняет казну Республики путем уплаты налогов, сохраняет в не-прикосновенности частное имущество подданных и, следовательно, охраняет имущество Республики. Более того, частная собственность выступает гарантом сохранения публичной собственности и гарантом публичной суверенной власти. Цепочка «семья — домохозяйство — республика» является преемственной и неразрывной для понимания того, как строится структура всей республики Жана Бодена в целом. Однако самым важным здесь выступает понятие суверенитета, конституирующее как семью, так и государство. Суверенная власть рождается в домохозяйстве. Философы, предшественники Бодена, выводили полис/цивитас/республику из домохозяйства, однако не фиксировали наличие суверенитета как принципиально необходимого элемента.

В-третьих, мы можем констатировать процесс движения к усложнению терминов. Семья (*famille*), состоящая из главы семейства (домовладыки), его жены, детей и рабов, которые образуют домохозяйство (*ménage*), занимается самовоспроизводством. Домохозяйство — это не просто экономическая структура или

часть политической системы, это существование отдельных людей, семьи в рамках сложных общественных, имущественных и правовых отношений. В определенный период времени и исследований произошло упрощение терминологии, это было связано с различными процессами, протекавшими в обществе и отражавшимися на переводе источников. В настоящее время мы обращаемся к новым переводам, пытаемся понять, что стояло за теми или иными понятиями, почему они использовались именно в такой конфигурации. Поэтому взаимодополняющий перевод терминов *famille/ménage* в зависимости от контекста, безусловно, оправдан и применим в данном конкретном случае, но следует помнить, что синонимами они ни в коем случае не являются.

Литература

- Арнаутова Ю. (ред.). (2014). Словарь основных исторических понятий. М.: Новое литературное обозрение.
- Баязитова Г. И. (2016). «Государство, государство, вечное государство...» URL: <http://gefter.ru/archive/20469> (дата доступа: 01.12.2019)
- Баязитова Г. И., Митюрёва Д. С. (2012). В преддверии рождения государства: язык, право и философия в политической теории Жана Бодена. Тюмень: Изд-во ТГУ.
- Бобкова М. С. (2000). Жан Боден и его трактат «Метод легкого познания истории» // Боден Ж. Метод легкого познания истории. М.: Наука, 2000. С. 332–360.
- Бобкова М. С. (2001). Еще одна попытка реконструкции биографии Жана Бодена // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 5. М.: УРСС. С. 75–101.
- Бобкова М. С. (2010). «Historia pragmata»: формирование исторического сознания новоевропейского общества. М.: ИВИ РАН.
- Боден Ж. (2000). Метод легкого познания истории / Пер. с лат. М. С. Бобковой. М.: Наука.
- Дигесты Юстиниана (2005). Т. VII. Полутом 2 / Под ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут.
- Дождев Д. В. (1993). Римское архаическое наследственное право. М.: Наука.
- Ивонина Л. И. (2015). Монополизация власти и государственный суверенитет в эпоху классической Европы // Исторический формат. № 1. С. 92–103.
- Коган-Бернштейн Ф. А. (1946). Экономические взгляды Бодена // Средние века. Вып. 2. С. 333–348.
- Кола Д. (2002). Политическая семантика «Estat» и «état» во французском языке / Пер. с франц. Д. Калугина // Хархордин О. В. (ред.). Понятие государства в четырех языках. СПб.: ЕУСПб; М.: Летний сад. С. 75–113.
- Кривушин И. В. (2018). Возвращение Бодена // Боден Ж. Метод легкого чтения историй. Т. 1: Что есть исторический жанр. М.: НИУ ВШЭ. С. 26–30.
- Марей А. В. (2016). О Жане Бодене замолвите слово. URL: <http://gefter.ru/archive/20194> (дата доступа: 19.10.2018).

- Митюрёва Д. С. (2016). К вопросу о преемственности идей Ж. Бодена в трактате Д. Уира // Вестник Томского государственного университета. История. № 6. С. 65–69.
- Петит Ф. (2015). Гражданская республиканская теория // Рощин Е. Н. (ред.). Современная республиканская теория свободы. СПб.: ЕУСПб. С. 43–88.
- Скиннер К. (2002). The State / Пер. с англ. Д. Федотенко // Хархордин О. В. (ред.). Понятие государства в четырех языках. СПб.: ЕУСПб; М.: Летний сад. С. 12–74.
- Скиннер К. (2015). О свободе республик / Пер. с англ. В. Макарова и Е. Рощина // Рощин Е. Н. (ред.). Современная республиканская теория свободы. СПб.: ЕУСПб. С. 25–42.
- Тогоева О. И. (2014). Узнать врага в лицо: иерархия ведьм и колдунов в «Демономании» Жана Бодена // Антонов Д. И., Христофорова О. Б. (ред.). In Umbra: демонология как семиотическая система. Альманах. Вып. 3. М.: Индрик. С. 17–40.
- Хархордин О. В. (2009). Была ли *Res publica* вещью? // Хархордин О. В. (ред.). Что такое республиканская традиция? СПб.: ЕУСПб. С. 171–246.
- Хачатуриян Н. А. (1999). Ж. Боден. Шесть книг о государстве. Перевод и комментарии // Антология мировой правовой мысли. Т. 2. М.: Мысль 1999. С. 688–695.
- Шюрбаум В. (2009). Цицерон: *De Re Publica* // Хархордин О. В. (ред.). *Res publica: история понятия*. СПб.: ЕУСПб. С. 45–73.
- Apuleius (1912). *Apologia*. URL: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:latinLit:phi1212.phio01> (дата доступа: 19.12.2019).
- Aristotle (1957). Політіка. URL: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlgo086.tlg035> (дата доступа: 19.12.2019).
- Baudrillard H. (1853). Jean Bodin et son temps: tableau des theorie politiques et des idées économiques au seizième siècles. P.: Guillaumin.
- Bodin J. (1579). Les six livres de la République. P.: Jacques du Puys.
- Bodin J. (2016). De la démonomanie des sorciers / Ed. V. Krause, Ch. Martin, E. MacPhail. Geneva: Droz.
- Bodini I. (1591). *De familia* // Bodini I. *De republica libri sex*. Genève: Apud Iacobum Du-Puys.
- Chauviré R. (1914). Jean Bodin, auteur de la «République». P.: Champion.
- Conti Odorizio G. (2007). La famille et l'État dans «La République» de Jean Bodin. P.: L'Harmattan.
- Corpus Juris civilis (1872). Vol. 1: *Instituiones. Digesta* / Ed. Th. Mommsen, P. Krüger. Berolini: Apud Weidmannos.
- De Bèze T. (1575). *Du droit des magistrats sur leurs subjets: traité très nécessaire en ce temps, pour advertir de leur devoir, tant les magistrats que les subjets*. Paris.
- Goyard-Fabre S. (1989). Jean Bodin et le droit de la République. P.: PUF.
- Hotomani F. (1586). *Francogallia. Francofurdi*: Apud heredes Andrae Wecheli.
- Justinus Marcus Junianus (2003). *Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée*. URL: <http://www.forumromanum.org/literature/justinx.html> (дата доступа: 19.12.2019).

- Krause V. (2013). Listening to Wirches: Bodin's Use of Confession in *De Démonamonie des Sorciers* // Lloyd H. A. (ed.). The Reception of Bodin. Leiden: Brill. P. 97–116.
- Krogh T. (2015). Jean Bodin: The Modern State Comes into Being // Fløistad G. (ed.). Philosophy of Justice. Dordrecht: Springer. P. 43–60.
- Lloyd H. A. (ed.). (2013). The Reception of Bodin. Leiden: Brill.
- Machielsen J. (2013). Bodin in the Netherlands // Lloyd H. A. (ed.). The Reception of Bodin. Leiden: Brill. P. 157–192.
- Martin C. (2013). Bodin's Reception of Johann Weyer in *De Démonamonie des Sorciers* // Lloyd H. A. (ed.). The Reception of Bodin. Leiden: Brill. P. 117–136.
- Moreau-Reibel J. (1933). Jean Bodin et le droit public comparé dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire. P: Vrin.
- Seyssel C. de (1557). La Grand Monarchie de France. P: Galiot du Pré.
- Skinner Q. (1978). The Foundation of Political Thought. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Xenophon (1921). Οἰκονομικός. URL: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlgo032.tlgo03> (дата доступа: 19.12.2019).

On the Concepts of the “Family” and the “Household” in the Political Theory of Jean Bodin

Gulnara Bayazitova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, University of Tyumen

Address: Volodarskogo str., 6, Tyumen, Russian Federation 625003

E-mail: g.bayazitova@utmn.ru

The article examines the tradition of formation of the concepts “family” (famille) and “household” (ménage) in the political theory of the French lawyer, Jean Bodin. The article looks into different editions of *Six Books of the Commonwealth* to explore the connotations of the key concepts and the meaning that Bodin ascribed to them. As secondary sources, Bodin uses the works by Xenophon, Aristotle, Apuleus, and Marcus Junianus Justin, as well as the *Corpus Juris Civilis*. Bodin examines three different traditions, those of Ancient Greece, Ancient Hebrew, and Ancient Rome. Each of these traditions has its own history of the concepts of the “family” and of the “household”. Bodin refers to ancient traditions for polemics, but eventually offers his own understanding, not only of the concepts of “famille” and “ménage”, but also of the term «République», defined as the Republic, a term that (with some reservations) refers to the modern notion of state. The very fact that these concepts are being used signifies the division of the political space into the spheres of the private and the public. Furthermore, the concepts of the “family” and of the “household” are key to understand the essence of sovereignty as the supreme authority in the Republic. The author concludes that the difference between Bodin's concepts of the “family” and the “household” lies not only in the possession of property and its legal manifestation, but also in the fact that the “household” is seen by Bodin as the basis of the Republic, the first step in the system of subordination to the authority.

Keywords: la famille, le ménage, the family, the household, la république, Bodin

References

- Apuleius (1912) *Apologia*. Available at: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:latinLit:phi1212.phi001> (accessed 19 December 2019).
- Aristotle (1957) *Πολιτικά*. Available at: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlgo086.tlgo35> (accessed 19 December 2019).
- Arnautova Y. (ed.) (2014) *Slvar osnovnih istorisheskikh ponyati* [Dictionary of Major Historical Concepts], Moscow: New Literary Observer.
- Baudrillard H. (1853) *Jean Bodin et son temps: tableau des theorie politiques et des idées économiques au seizième siècles*, Paris: Guillaumin.
- Bayazitova G. (2016) "Gosudarstvo, gosudarstvo, vechnoe gosudarstvo..." ["State, State, Eternal State..."]. Available at: <http://gefter.ru/archive/20469> (accessed 19 December 2019).
- Bayazitova G., Mitureva D. (2012) *V preddverii rozhdeniya gosudarstva: yazik, pravo i philosophia v politisheskoi teorii Zhana Bodena* [In Anticipation of the Emergence of the State: Language, Law and Philosophy in the Political Theory of Jean Bodin], Tyumen: Tyumen State University.
- Bobkova M. (2000) *Zhan Boden i ego traktat "Method legkogo poznania istorii"* [Jean Bodin and His Treatise "Method for Easy Comprehension of History"]. Bodin J., *Method legkogo poznania istorii* [Method for Easy Comprehension of History], Moscow: Nauka, pp. 332–360.
- Bobkova M. (2001) *Eshe odna popitka rekonstrukcii biographii Zhana Bodena* [An Attempt to Reconstruct the Biography of Jean Bodin]. *Dialog so vremenem: Almanah intellectualnoj istorii. Vyp. 5* [Dialogue with Time: An Almanac of Intellectual History, Issue 5], Moscow: URSS, pp. 75–101.
- Bobkova M. (2010) *"Historia pragmata": phormirovanie istorischeskogo soznania novoeuropeiskogo obschestva* ["Historia pragmata": The Formation of the Historical Consciousness of a Modern Europe Society], Moscow: IVI RAN.
- Bodin J. (1579) *Lex six livres de la République*, Paris: Jacques du Puys.
- Bodin J. (2016) *De la démonomanie des sorciers*, Geneva: Droz.
- Bodin J. (2000) *Metod legkogo poznania istorii* [Method for Easy Comprehension of History], Moscow: Nauka.
- Bodini I. (1591) *De familia. De republica libri sex*, Genève: Iacobum Du-Puys.
- Chauvire R. (1914) *Jean Bodin, auteur de la "République"*, Paris: Champion.
- Conti Odorisi G. (2007) *La famille et l'État dans "La République" de Jean Bodin*, Paris: L'Harmattan.
- De Bèze T. (1575) *Du droit des magistrats sur leurs subjets: traité très nécessaire en ce temps, pour advertir de leur devoir, tant les magistrats que les subjets*, Paris.
- Dozhdev D. (1993) *Rimskoe arhaicheskoe nasledstvennoe pravo* [The Roman Archaic Inheritance Law], Moscow: Nauka.
- Goyard-Fabre S. (1889) *Jean Bodin et le droit de la République*, Paris: PUF.
- Hotomani F. (1586) *Francogallia*, Francofurdi: Apud heredes Andrae Wecheli.
- Ivonina L. (2015) *Monopolizacija vlasti i gosudarstvennji suverenitet v epohu klassitchesloj Evropi* [The Monopolization of Power and Sovereignty in the Era of Classical Europe]. *Historical Format*, no 1, pp. 92–103.
- Justinus Marcus Junianus (2003) *Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée*. Available at: <http://www.forumromanum.org/literature/justinx.html> (accessed 19 December 2019).
- Kharkhordin O. (2009) *Byla li Res publica veshcyy? [Was the Res publica a Thing?]*. *Chto takoj o respublikanskaja tradicija? [What is Republican Tradition?]* (ed. O. Kharkhordin), Saint Petersburg: European University, pp. 171–246.
- Khatchaturian N. (1999) *Zh. Boden. Schest knig o gosudarstve* [J. Bodin, Six Books of a Commonwealth]. *Antologia mirovoi pravovoi misli. T. 2* [Anthology of World Legal Thought, Vol. 2], Moscow: Misl, pp. 688–695.
- Kofanov L. (ed.) (2005) *Digesti Yustiniana, T. 7, Half 2*, Moscow: Statut.
- Kogan-Bernshtein F. (1946) *Jekonomicheskie vzgljady Bodena* [The Economic Views of Bodin]. *Srednie veka*, vol. 2, pp. 333–348.

- Kola D. (2002) Politicheskaja semantika "Estat" i "état" vo francuzskom jazyke [Political Semantics of 'Estat' and 'état' in French]. *Ponjatie gosudarstva v chetyrjoh jazykah* [The Notion of the "State" in Four Languages] (ed. O. Kharkhordin), Saint Petersburg: European University, pp. 75–113.
- Krause V. (2013) Listening to Witches: Bodin's Use of Confession in *De Démonomanie des Sorciers. The Reception of Bodin* (ed. H. A. Lloyd), Leiden: Brill, pp. 97–116.
- Krivushin I. (2018) Vozvrashenie Bodena [The Return of Bodin]. Boden J., *Metod legkogo tchtenya istorii. T. 1: Tchto est istorisheski zhannr* [Method for Easy Comprehension of History, Vol. 1: What is the Historical Genre], Moscow: HSE, pp. 26–30.
- Krogh T. (2015) Jean Bodin: The Modern State Comes into Being. *Philosophy of Justice* (ed. G. Fløistad), Dordrecht: Springer, pp. 43–60.
- Lloyd H. A. (ed.) (2013) *The Reception of Bodin*, Leiden: Brill.
- Machielsen J. (2013) Bodin in the Netherlands. *The Reception of Bodin* (ed. H. A. Lloyd), Leiden: Brill, pp. 157–192.
- Marey A. (2016) O Zhane Bodene zamolvite slovo [Say a Word about Jean Bodin]. Available at: <http://gefter.ru/archive/20194> (accessed 19 October 2018).
- Martin C. (2013) Bodin's Reception of Johann Weyer in *De Démonomanie des Sorciers. The Reception of Bodin* (ed. H. A. Lloyd), Leiden: Brill, pp. 117–136.
- Mityureva D. (2016) K voprosu o preemstvennosti idej J. Bodena v tractate J. Bodena i D. Uira [On the Question of Continuity of Ideas of Jean Bodin in a Treatise by Degory Wheare]. *Tomsk State University Journal of History*, no 6, pp. 65–69.
- Mommesen Th., Krüger R. (eds.) (1872) *Corpus Juris civilis*, Vol. 1: *Instituiones. Digesta*, Berolini: Apud Weidmannos.
- Moreau-Reibel J. (1933) *Jean Bodin et le droit public comparé dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire*, Paris: Vrin.
- Petit F. (2015) Grajdanskaya respublikanskaya teoría [Civic Republicanism]. *Sovremennaya respublikanskaya teoria svobodi* [Modern Republican Theory of Freedom] (ed. E. Roschin). Saint Petersburg: European University, pp. 43–88.
- Seyssel C. de (1557) *La Grand Monarchie de France*, Paris: Galiot du Pré.
- Shyurbaum V. (2009) Ciceron: De Re Publica [Cicero: De Re Publica]. *Res publica: istorija ponjatija [Res Publica: The History of the Concept]* (ed. O. Kharkhordin), Saint Petersburg: European University, pp. 45–73.
- Skinner K. (2002) The State [The State]. *Ponjatie gosudarstva v chetyrjoh jazykah* [The Notion of the "State" in Four Languages] (ed. O. Kharkhordin), Saint Petersburg: European University, pp. 12–74.
- Skinner Q. (1978) *The Foundation of Political Thought*, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.
- Skinner Q. (2015) O svobode respublik [On The Liberty of Republics]. *Sovremennaya respublikanskaya teoria svobodi* [Modern Republican Theory of Freedom] (ed. E. Roschin), Saint Petersburg: European University, pp. 25–42.
- Togoeva O. (2014) Uznat vraga v lico: ierarhia vedm i koldunov v "Demonomanii" Zhana Bodena [To Know Your Enemy: The Hierarchy of Witches and Sorcerers in "Demonomania" by Jean Bodin]. *In Umbra: Demonologia kak semioticheskaya Sistema. Vyp. 3* [In Umbra: Demonology as a semiotic System, Issue 3], Moscow: Indrik, pp. 17–40.
- Xenophon (1921). Οἰκονομικός. Available at: <http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlgo0032.tlgo003> (accessed 19 December 2019).

The Digital Transformation of the Public Sphere, Its Features in the Context of Various Political Regimes, and Its Possible Influence on Political Processes

Alexey Salikov

PhD, Leading Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology,
National Research University — Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: dr.alexey.salikov@gmail.com

The question of how the digital transformation of the public sphere affects political processes has been of interest to researchers since the spread of the Internet in the early 1990s. However, today there is no clear or unambiguous answer to this question; expert estimates differ radically, from extremely positive to extremely negative. This article attempts to take a comprehensive approach to this issue, conceptualizing the transformations taking place in the public sphere under the influence of Internet communication technologies, taking their political context into account, and identifying the relationship between these changes and possible transformations of political regimes. In order to achieve these goals, several tasks are tackled during this research. The first section examines the issue as to whether the concept of the public sphere can be used in a non-democratic context. It also delineates two main types of the public sphere, the “democratic public sphere” and the “authoritarian public sphere,” in order to take into account the features of public discourse in the context of various political regimes. The second section discusses the special aspects of the digital transformation of the public sphere in a democratic context. The third section considers the special aspects of the digital transformation of the public sphere in a non-democratic context. The concluding section summarizes the results of the study, states the existing gaps and difficulties, outlines the ways for their possible extension, and raises questions requiring attention from other researchers.

Keywords: public sphere, democratic public sphere, authoritarian public sphere, internet, digitalization, transformation, political regime

Introduction

The question of how the digital transformation of the public sphere affects political processes has been of interest to researchers since the spread of the Internet in the early 1990s (see, for instance, Dahlberg, 1998; Fountain, 2001; Weare, 2002). However, today there is no clear or unambiguous answer to this question. For a long time, the science was dominated by the paradigm of so-called cyber-optimism (or cyber-utopianism), according to which the development and dissemination of Internet technologies should promote democratization (Gore, 1995; Tsagarousianou et al., 1998; Hacker, van Dijk, 2000;

Ferdinand, 2000) and “constitute a threat to authoritarian regimes” (Kalathil, Boas, 2003: 1). If its use is associated with the success of the mass protest movements of the 2000s and early 2010s, the emergence and following boom of social media, in many respects, only seemed to strengthen the position of this paradigm (see, for instance, Diamond, 2010; Shirky, 2011). At some point, it might seem that the process of digitalization of the public sphere should inevitably turn all political regimes on the planet into democracies; then, it would be enough to give the entire population access to the Internet. Therefore, the problem would turn from a political problem into a technical one. However, since the early 2000s, works began to appear in which the authors were rather pessimistic about the influence of the Internet on politics. These scholars believe that Internet technologies are more likely to harm the development and spread of democracy, and point out a number of negative effects of the Internet in democracies as well as the ability of authoritarian regimes to cope with this technological challenge (Kalathil, Boas, 2001, 2003; Aday et al., 2010; Morozov, 2011; Deibert, 2015). Nowadays, it seems that both paradigms of cyber-optimism and cyber-pessimism provide a somewhat overly-simplified and one-sided picture of the impact that the digital transformation of the public sphere has on politics; in fact, they overlook the complexity and multidimensionality of the influence of Internet technologies on the public sphere (for more on this topic, see also; Deibert, Rohozinski, 2010; Toepfl, 2013: 244; Torres-Soriano, 2013: 1–22), as well as the specific and particular features of political regimes (full democracy, flawed democracy, hybrid regime, and various forms of authoritarian regimes) in the context of which this public sphere exists. This makes us think of the need for a more realistic and multidimensional approach to the public sphere which would proceed from the complexity and multidimensionality of the public sphere where public activities happen, as well as taking the political context into consideration. This complex understanding of the public sphere would have both a theoretical and applied significance. In theoretical terms, such a rethinking of the concept of the public sphere would mean a further departure from Habermas’ normative model and the development of a more realistic concept reflecting both the multiplicity and complexity of the public sphere and the political environment in which a public sphere is functional. The applied meaning of such a rethinking of the concept of the public sphere consists in providing the necessary theoretical basis for empirical research on the influence of the Internet on the citizens’ public and political activities, and on the connection between these activities and political changes. This study does not pretend to create a new concept of the public sphere, but represents an attempt to contribute to the development of a new approach to its understanding by combining existing data from sociology, communication studies, and political science, and would close the gap between theory and a rapidly-changing reality.

In this article, I will first examine the issue of whether the concept of the public sphere can be used in a non-democratic context. I will also delineate the public sphere into two main types, the “democratic public sphere” (designated as the DPS) and the “authoritarian public sphere” (designated as the APS) in order to take into account the features of public discourse in the context of various political regimes. In the second section, I will

discuss the special aspects of the digital transformation of the public sphere in a democratic context. In the third section, I will consider the special aspects of the digital transformation of the public sphere in an authoritarian context. In the concluding section, I will summarize the results of the study, state the existing gaps and difficulties, outline the ways for their possible extension, and raise questions requiring attention from other researchers.

The Concept of the Public Sphere in Various Political Contexts

It is traditionally believed that the concept of the public sphere reflects public communication between various citizens, and between citizens and authorities in a democratic society. This, supposedly, automatically implies that such communication, if it exists, is built on completely different principles in a non-democratic society. Moreover, the very use of the concept of the public sphere in an undemocratic context may not seem entirely legitimate, since the very principles of the classical concept of the public sphere, dating back to Jürgen Habermas's *Structural Transformation of the Public Sphere*, are inherently deeply democratic and incompatible with authoritarian practices. Therefore, scientists often avoid using the concept of the public sphere in relation to undemocratic countries, especially when it comes to apparent dictatorships and hard authoritarian regimes, or they use neutral substitute terms ("public-at-large" (e.g. Toepfl, 2019)) in order to somehow denote the entirety of various publics existing there. However, this caution does not seem fully justified since it significantly reduces the use of the concept of the public sphere, forcing it to limit the scope of its application exclusively to those political systems that are characterized in political science as full democracies. Because even the public spheres of countries recognized as full democracies (for example, Norway or Iceland) do not entirely correspond to the Habermasian idealistic model of the public sphere, this makes the latter being of little value for empirically-based studies of the public activity, especially on the scale of such large and complex communities as a country's society with its pluralism and contradictions.

Therefore, a more realistic understanding of the public sphere would be to construe it as a large, complex, and constantly developing system — a multiple public sphere, so to speak — consisting of many separate public spaces (publics, environments) in which people (participants) are open (at least within these public spaces) to communication with each other, to the exchange of information, opinions, and the exercising of discursive practices: "The conventional ideal of a unified public sphere and its corresponding vision of a republic of citizens striving to live up to some 'public good' are obsolete. Public life is today subject to 'medievalization', not as Habermas defined it in *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, but in the different sense of a developing and complex mosaic of differently sized, overlapping and interconnected public spheres" (Keane, 1995: 1; see also Fraser, 1990; Asen, 2000; Breese, 2011; Lunt, Livingstone, 2013). Within these groups, communication (including discursive practices) can be carried out in different ways;

opinions of different participants may not have the same weight,¹ or discursive practices can differ greatly from the normative standard proposed by Habermas. In the discursive ethics developed by Habermas, the discursive practice should be based on a rational and impartial weighing of arguments, be open to all comers, free from lies and coercion, and aim at the rational consensus of all participants in the discourse (1983: 97–101). However, in reality, the discussion is rarely kept within this framework since competitive, adversarial, emotional, irrational, and other moments are usually mixed in. Participants of a discussion can have completely different and often conflicting motivations and goals, the criticality levels of the public can be very different (from completely uncritical to extremely critical), and access to participation in these discussions may not always be open to all. Thus, it seems to be reasonable to broadly define the public sphere, trying to take the whole range of possible publics and relationships between them into account, which, in some aspects, may be more consistent with the theories of the proponents of a participatory public sphere; in other aspects, they can meet liberal, constructionist, or agonistic traditions of public sphere theory (see Schäfer, 2015). In addition, the fact should not be ignored that the border between the public and the private is actually often blurred and uncertain. There are many partially public spaces and semi-public environments that form the so-called “gray” hybrid zone between the public and private spheres (Klinger, 2018), which is also to be taken into account. This hybrid, partially-public zone is growing significantly; in the last years, there is a visible tendency of leaving “broadcast social media” in favor of increasingly popular “narrowcast tools”, which makes possible a narrow limitation of addressees and potential audience (messenger services as WhatsApp, Telegram, etc.), or in which messages appear only for a few seconds before they are deleted or inaccessible (Klinger, 2018; see also: Duncan, 2016). This tendency seems to be even more obvious in authoritarian countries, where people are looking for secure places for the exchange of opinions and discussions in order not to be punished for such actions by the ruling regime.

There is no doubt that public communication has its own characteristic features under different political conditions. Nevertheless, the exchange of opinions and the discussion of common issues are integral parts of almost any human society, including a nondemocratic one, although there are many fewer opportunities for this under an authoritarian rule than in liberal democracies. These discussions may take other forms or be critical of the ruling regime to different extents, but they exist, even if they can be marginalized and put out of the political mainstream. This means that, just like in democracies (whether full or flawed), under authoritarian rule there is something that is similar to the public spheres of democracies, a kind of public sphere even if it may differ from the democratic public sphere in many respects. In order to distinguish this phenomenon from the latter, it may be called an “authoritarian public sphere.” This kind of public sphere is even further away from the ideal Habermas public sphere than democratic one, which

¹ For example, opinions of famous people or leaders of public opinion formally have the same significance as an opinion of an ordinary Internet user; However, in fact, their arguments have different weights in the eyes of the rest of the Internet community.

also does not fully correspond to the ideal type, is heterogeneous, and can contain various elements and practices, including authoritarian ones (see, for instance, Michaelsen, Glasius, 2018). The APS provides fewer possibilities for open and equal access to discussions of important social issues, and less freedom in open criticism of the authorities and in defending their political views, compared with a democratic one. Nevertheless, the public spheres of non-democracies have a number of common qualities and characteristics which are similar to the public spheres of democracies; they consist of the same or similar elements (various public communities of different types of publics, for example), albeit in different proportions. Moreover, it would be wrong to idealize the public spheres of democracies by claiming that they consist solely of critical publics; many people in liberal democracies are absolutely apolitical and do not participate in political life, and, thus, in a political sense, they represent an uncritical public which just follows the mainstream, a sort of a passively-apolitical, consumption-oriented mass. In addition, some part of the population of democratic countries, in exactly the same way as parts of the population of autocracies and countries with a hybrid regime, is not able to critically evaluate politicians' statements and simply follows the most charismatic leader. The recent growing populism in liberal democracies around the world confirms the validity of this statement. With regard to their critical activity in the public sphere, both groups of population differ little from similar uncritical populations from authoritarian and hybrid regimes. In addition, there are several taboo topics even in the Western liberal democracies, which, even though, they are not officially forbidden, are considered unwelcome and marginal. For this reason, the majority of the population avoids them (for example, some issues around the current migrant crisis in many countries of the EU, the high levels of crime committed by migrants, the resentments of local people regarding Muslims or Islam or against the migration policy of a ruling political and decision-making elite). It can therefore be argued that there are not only many differences between the public spheres of democracies and the public spheres of undemocratic countries, but there are also many similarities. Moreover, it can be assumed that the digitalization of the public sphere seems to lead to a smoothing of these differences, that is, to a kind of hybridization which manifests itself in the fact that the public spheres (and political systems) of democracies acquire some authoritarian traits, while the public spheres (and political regimes) of non-democratic countries acquire some democratic traits.

The first steps in the developing of the concept that characterizes the public sphere in a non-democratic context are already taken by some authors. Alexander Dukalskis uses the concept of the APS in his book *The Authoritarian Public Sphere: Legitimation and Autocratic Power in North Korea, Burma, and China*, a term that is understood as "a realm of political discussion and information that is dominated and manipulated by the authoritarian regime and/or its allies" (2017: 3–4). According to Dukalskis, the APS "is characterized by the state's efforts to establish its foundations, delineate its boundaries, and monitor its content. The state does this by saturating the public sphere with its legitimating messages and guarding against any unwanted intrusion by potentially dangerous alternative perspectives" (Ibid.). Dukalskis considers the APS as "an inversion of the very

meaning of a genuine public sphere" (Ibid.). However, I would prefer to define the APS not as the complete opposite of the public sphere itself in its most pronounced "ideal" form described by Habermas (because the complete opposite of the public sphere would be its absence — as is the case with totalitarian rule) but as its special condition in which public discourse in its classical democratic form is possible nonetheless, even if it is often problematic and may take forms deviating from classic democratic patterns. So, for example, public activity can shift to the semi-public and partially-public spaces, and criticism of the ruling elite may become less direct and take more sophisticated forms. Under this approach, public activity under any political conditions could be described in terms of the public sphere, making, of course, the necessary reservations on the particularities of the political regime in which this public activity takes place. Hence, the whole variety of public spheres could be presented as a certain continuum with the DPS at one pole, the APS at the other pole, and some transitional subtypes in-between.

In terms of digitalization, the DPS and the APS should obviously have differences in their transformations because of the various conditions under which public discourse takes place in their respective spheres. On the other hand, as history shows, changes taking place in the public sphere exert an influence on political communication, on political processes, and in some cases, even lead to regime change. The exact correlation between these phenomena has not yet been fully studied. However, the existing theoretical and empirical studies let us to draw some preliminary conclusions about specific aspects of digital transformation in various political contexts. The following two sections will be devoted to considering the features of the digital transformation of the public sphere in democratic and authoritarian contexts.

Digital Transformation of Democratic Public Sphere

The vast majority of empirical and theoretical studies devoted to various aspects of the influence of digitalization of the public sphere on politics are dedicated to the changes in the public spheres of democratic countries (see, for instance, Ferree et al., 2002; Krueger, 2002; Gibson et al., 2005; Di Gennaro, Dutton, 2006; Gerhards, Schäfer, 2010; Mossberger, Tolbert, 2010; Lindner et al., 2016). An indisputable result of the digital transformation of the public sphere that was noted by almost all researchers was the emergence of many online public spaces. These spaces serve as an alternative to traditional ones, are more open for participation, allowing citizens to "cooperate and express their opinions, and serve as watchdogs over society on a peer-production model" (Benkler, 2006: 177), and to "reorient themselves from passive readers and listeners to potential speakers and participants in a conversation" (213). In other words, the digitalization of the public sphere contributes to the strengthening of the social and political activities of citizens, opens the way for non-professional politicians and public persons (Elmer, Langlois, McKelvey, 2012: 6) as well as for members of those groups for which it was previously closed (Salikov, 2018). At the same time, some scholars note that digitalization maintains the growing fragmentation and isolationism of the public sphere (Bright, 2018;

Dahlberg, 2007; Papacharissi, 2002; Sunstein, 2009), and contributes to the phenomenon that Cass Sunstein called the “balkanization” of the public sphere (2008). The essence of the Internet-balkanization of the public sphere is that people with similar views tend to form isolated communities and avoid communication with members of other communities (Rasmussen, 2016: 74), “preventing the discussion and the emergence of alternative opinions on certain topics and defending the monopoly of a single opinion as ‘objective’ Truths” (Salikov, Zhavoronkov, 2018: 27; 2017: 523). Empirical studies confirm the existence of these negative transformations in the public sphere (Colleoni, Rozza, Arvidsson, 2014; Gaines, Mondak, 2009; Garcia et al., 2015). As a result, such communities can form so-called “echo chambers” (Sunstein, 2009) “in which individuals are largely exposed to conforming opinions” (Flaxman et al., 2016: 299), and be marginalized from the mainstream of the multiple public sphere that “can ultimately lead to the even stronger homogenization of views within such groups, to the filtering out of news and information coming in from the outside which does not fit into the world picture of these groups’ members, to declaring something false to be true, to the creation of fake news, and to the radicalization of their agenda in order to make themselves heard in the society” (Salikov, 2018: 90–91). These groups can be very critical and even hostile towards other points of view, especially against the mainstream. At the same time, they can be very homogeneous and uncritical towards members of their own communities, especially towards their leaders. Another negative trend in the development of the public sphere under the influence of digitalization is the changes of discursive practices themselves; the spread of hatred (hate speech), aggression, manipulation, mobbing, trolling, bullying, and other phenomena that occurred much less frequently during face-to-face communication and which are very far from Habermas’ discourse ethics. In addition, digitalization leads to growing inequalities and imbalances in the level of attention and influence in the public sphere; the opinions of popular bloggers can be considerably more significant for public opinion than the opinions of many ordinary users (Rasmussen, 2016: 75). At the same time, the opinions of celebrities can be perceived completely uncritically and outweigh many of the most reasonable arguments. This means that public discourse in the networked public sphere “is far from democratic, if we understand democracy as the equal distribution of presence and visibility” (Salikov, 2018: 91).

Another important trend actively developing in the public sphere under the influence of the Internet is its hybridization, the merging of the public and the private, the political and the non-political, or what Hannah Arendt called the “rise of the social” (1998: 38). According to Arendt, this ‘rise of the social’ in the public sphere has dramatic consequences for the latter; “instead of competition between different opinions, the desire to express individuality and to present one’s own uniqueness to others is replaced by conformism and the intention to be ‘normal’, whilst free and spontaneous action is substituted by a “kind of behavior, imposing innumerable and various rules, all of which tend to ‘normalize’ its members, to make them behave, to exclude spontaneous action or outstanding achievement” (40). As a result, the public sphere has been transforming into “a pseudo-space of interaction in which individuals no longer “act” but “merely be-

have" as economic producers, consumers and urban city dwellers" (Benhabib, 1997: 4). Empirical studies show that conformism often puts pressure on the free and open expression of opinions, and on the defense of political position in public discourse (Mallinson, Hatemi, 2018). Given the openness and accessibility of information increasing with the digitalization of the public sphere, many people who hold conformist positions prefer to avoid sensitive and hot-button political topics in the politically heterogeneous communities they have close relations with (Mutz, 2006). Thus, many people prefer nowadays "to discuss political topics in closed or semi-closed communities of like-minded people, that is, people with similar political views" (Salikov, 2018: 98). This hybridization of the public sphere, along with the phenomena of its fragmentation, atomization, and polarization, should, in my opinion, inevitably lead to some hybridization of democracies. This is because the deterioration in the quality of public discourse and the quality of communication between different communities should inevitably lead to some degradation of democratic institutions. This degradation leads to the maintenance of the appearance and wide distribution of some authoritarian practices, which will blend with democratic ones and "hybridize" the political regime.

The Digital Transformation of the Authoritarian Public Sphere

Compared to the number of studies focusing on the digital transformation of the public sphere in democracies, there are significantly fewer studies devoted to non-democratic countries. These studies have been basically grouped around three main topics: 1) the role of the new ICT in organizing opposition protests (see, for instance, Lim, 2012; White, McAllister, 2014; Rød, Weidmann, 2015; Reuter, Szakonyi, 2015); 2) the use of the Internet and social media by authoritarian authorities for control over their countries (see, for instance, Mackinnon, 2011; Pearce, Kendzior, 2012; Hussain, Howard, 2014; Gunitsky, 2015; Han, 2015; King et al., 2017); and 3) attempts of authoritarian regimes to influence the politics in others countries (see, for instance, Aro, 2016; Maréchal, 2017; Tenove et al., 2018; Rid, 2016). In general, the digitalization of an APS has many common traits with a DPS (an increase in the multiplicity of forms of public discourse and ways to participate in it, an increase in civic activity, fragmentation, and hybridization), but it has also its own specifics connected with the state's active intervention in it, its attempts to take the online sphere under its control, or to use new technologies to strengthen its power (Morozov, 2011; Göbel, 2013). Thus, in an authoritarian regime, the digitalization of the public sphere simultaneously strengthens two conflicting trends: 1) an increase in the citizens' political activity, and the appearance of new forms and ways for exchanging opinions; and 2) the growth of the ruling regime's ability to control and influence society.

As for authoritarian regimes, the digitalization of the public sphere essentially represents a special case of the dictator's dilemma, the essence of which is that new technologies carry certain risks for an authoritarian leader. New technologies threaten the loss of control over the population, while the rejection of these technologies would lead to a technical and economic lag behind other countries, which, ultimately, also carries

not only the loss of a positive image, but also poses the same threat of losing power in the country. Existing authoritarian regimes solve this problem in different ways. Some, like North Korea, restrict their citizens' access to the Internet almost completely, or, the authoritarian regimes in countries like Laos and Turkmenistan do not formally prohibit the Internet but practically inhibit the development of the needed infrastructure, thereby cutting off a significant part of the population from the World Wide Web (Dukalskis, 2017: 147). Others, such as China, Russia, or Saudi Arabia strongly support the development of Internet communications while attempting at the same time to take the online sphere under their complete control and developing sophisticated methods to manipulate it.

It might be supposed that the second option will become the main way to solve the digitalization dilemma for most authoritarian regimes, as evidenced by the rapid development of Internet technologies in many authoritarian countries (*Ibid.*), considering the fact that the level of Internet penetration in a number of authoritarian countries is higher than the world average, and in some cases it is even one of the highest in the world. The statistics from the Internet World Stats for June, 2019, show that the Internet penetration rate in Qatar is 99.6%, in Bahrain — 98.6%, in the UAE — 98.5%, in Brunei — 94.9%, in Saudi Arabia — 93.3%, in Jordan — 86.4%, in Turkey — 83.3%, in Azerbaijan — 79.8%, in Kazakhstan — 78.9%, in Russia — 76.1%, in Iran — 76 %, in Belarus — 74.4%, and in Vietnam — 70.3%, which are all significantly higher than the average Internet penetration in the world which is 57.3%, and it is quite comparable with the average penetration level in the two most developed regions of the planet in terms of Internet communication technologies, North America (89.4%) and Europe (86.8%).

Given such levels of Internet penetration, it is almost impossible to completely control the whole online sphere and to prevent the formation of autonomous public spaces. Attempts to build a sovereign local network isolated from the global web exist (for example, in North Korea), but its advantages for the ruling regime (controllability) do not outweigh its disadvantages (the lack of access to global sources of information), and ultimately leads to a technological lag, although not as fast as in case of complete blocking. This means that authoritarian regimes, if they do not want to lose in global competition, are forced, at least to a certain extent, to allow the existence of autonomous public spaces, critical discussions, and the exchanges of views on the Internet. Undoubtedly, they will make efforts to limit the scope and quantity of these "islands of freedom", while at the same time establishing certain frames and "red lines" marking dangerous levels for the regime. This, for example, can explain the Telegram phenomenon with its channels and semi-closed publics in Russia, Iran, and some other countries, whose users often are very critical of the ruling regime and go negative on it (Akbari, Gabdulhakov, 2019: 223–231), but, with rare exceptions, avoid serious persecution by the authorities. Moreover, the authorities themselves often use social media (Telegram is here a vivid example), both for a kind of intra-elite communication and for the leaking of information that cannot be officially disseminated and for the formation of public opinion (Salikov, 2019).

Thus, there are some reasons to assert that authoritarian regimes of the digital era will in a certain sense be “softer” than their predecessors from pre-digital times, allowing a certain degree of freedom within those boundaries in which these freedoms do not pose a danger to the preservation of the ruling regime, and rigidly suppressing all that is dangerous to the regime within this framework. In addition, one cannot ignore another aspect of digitalization that can affect the very nature of the political regime in the long run. As the old political elite, accustomed to the traditional mode of communication, leaves the political scene, they will be replaced by a new political elite belonging to the “digital generation.” For this new, “digital” generation of the ruling elite, communication through Internet platforms and social media will be the norm. The new elite will, at least to some extent, share basic “digital” habits and values such as instant access to the Internet, a freer and more open exchange of information and communication between people, a more emotional, spontaneous, and critical way of expressing opinions, etc. This inevitably should lead to more transparent and open political communication, which in the end should cause some certain changes in the public sphere of authoritarian regimes. Consequentially, authoritarian regimes will absorb some democratic traits and hybridize.

Conclusions and Discussion

This article can be seen as an effort to examine the issue of how the digital transformation of the public sphere is occurring in various political contexts, and to identify the connection between these changes and the transformations of political regimes. In order to achieve these goals, several tasks were tackled during this research. First, I have summarized the results of the studies regarding the influence of Internet technologies on the transformation of the public sphere under different political regimes, and established the main vectors of this transformation. Based on this, I have hypothesized that the main effect of the Internet on the public sphere is its hybridization in many different senses. Secondly, I hypothesize that the digitalization of the public sphere seems to lead to a smoothing of these differences as a result of a kind of hybridization. This manifests itself in the fact that the public spheres (and political systems) of democracies acquire some authoritarian traits, while the public spheres (and political regimes) of non-democratic countries acquire some democratic traits. Thirdly, I associate digitalization with the hybridization of the public sphere (and political regimes). This, in my opinion, leads to the erosion of democratic and authoritarian tendencies in a political regime, democracies acquire some authoritarian features, while autocracies tend to soften and get some democratic traits.

Hopefully, the working hypotheses and analytical findings made in this article will contribute to the further development of a complex and realistic concept of the public sphere which would take into account specifics of the public sphere in various political contexts and move away from its too-normative understanding having a little value for praxis-oriented political studies. In addition, such a broad and universal approach should provide the establishment of a connection between the state of the public sphere and the

state of the political regime. This connection could serve as a basis for the development of empirical markers for the analysis of actual and predictions of future political transformations. However, my hypotheses need further theoretical verification and development, as well as empirical studies that could verify or correct them. To do this, we primarily need empirical methods to determine the ratio of different types of publics in the public sphere. The thesis about the hybrid nature of the Internet's influence on the transformation of political regimes also needs to be tested. This thesis seems to be true under contemporary circumstances (the growth of right-wing beliefs in liberal democracies, the relative softening of authoritarian regimes, and the spread of hybrid political regimes), but it needs a more special and in-depth study based on a comparative analysis and generalization of extensive empirical material from political regimes of all types.

References

- Aday S., Farrell H., Lynch M., Sides J., Kelly J., Zuckerman E. (2010) Blogs and Bullets: New Media in Contentious Politics. *Peaceworks*, vol. 65, pp. 1–36.
- Akbari A., Gabdulhakov R. (2019) Platform Surveillance and Resistance in Iran and Russia: The Case of Telegram. *Surveillance & Society*, vol. 17, no 1-2, pp. 223–231.
- Arendt H. (1998) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Aro J. (2016) The Cyberspace War: Propaganda and Trolling as Warfare Tools. *European View*, vol. 15, no 1, pp. 121–132.
- Asen R. (2000). Seeking the “Counter” in Counterpublics. *Communication Theory*, vol. 10, no 4, pp. 424–446.
- Benhabib S. (1997) The Embattled Public Sphere: Hannah Arendt, Juergen Habermas and Beyond. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, no 90, pp. 1–24.
- Benkler Y. (2006) *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven: Yale University Press.
- Breese, E. B. (2011). Mapping the Variety of Public Spheres. *Communication Theory*, vol. 21, no 2, pp. 130–149.
- Bright J. (2018) Explaining the Emergence of Political Fragmentation on Social Media: The Role of Ideolog and Extremism. *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 23, no 1, pp. 17–33.
- Colleoni E., Rozza A., Arvidsson A. (2014) Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data. *Journal of Communication*, vol. 64, no 2, pp. 317–332.
- Dahlberg L. (1998). Cyberspace and the Public Sphere: Exploring the Democratic Potential of the Net. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, vol. 4, no 1, pp. 70–84.
- Dahlberg L. (2007) Rethinking the Fragmentation of the Cyberpublic: From Consensus to Contestation. *New Media & Society*, vol. 9, no 5, pp. 827–847.
- Deibert R. (2015) Authoritarianism Goes Global: Cyberspace Under Siege. *Journal of Democracy*, vol. 26, no 3, pp. 64–78.

- Deibert R., Rohozinski R. (2010) Liberation vs. Control: The Future of Cyberspace. *Journal of Democracy*, vol. 21, no 4, pp. 43–57.
- Diamond L. (2010) Liberation Technology. *Journal of Democracy*, vol. 22, no 3, pp. 69–83.
- Di Gennaro C., Dutton W. (2006) The Internet and the Public: Online and Offline Political Participation in the United Kingdom. *Parliamentary Affairs*, vol. 59, no 2, pp. 299–313.
- Dukalskis A. (2017) *The Authoritarian Public Sphere: Legitimation and Autocratic Power in North Korea, Burma, and China*, London: Routledge.
- Duncan F. (2016). So Long Social Media: The Kids are Opting Out of the Online Public Square. Available at: <http://theconversation.com/so-long-social-media-the-kids-are-opting-out-of-the-onlinepublic-square-53274> (accessed 12 November 2019).
- Elmer G., Langlois G., McKelvey F. (2012) *The Permanent Campaign: New Media, New Politics*, Berlin: Peter Lang.
- Fountain J. E. (2001) *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*, Washington: Brookings Institution.
- Han R. (2015) Manufacturing Consent in Cyberspace: China’s “Fifty-Cent Army”. *Journal of Current Chinese Affairs*, vol. 44, no 2, pp. 105–134.
- Habermas J. (1983) *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hacker K., van Dijk J. (2000) What is Digital Democracy?. *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice* (eds. K. L. Hacker, J. van Dijk), London: SAGE, pp. 1–9.
- Hussain M. M., Howard P. N. (2014) *State Power 2.0: Authoritarian Entrenchment and Political Engagement Worldwide*, Farnham: Ashgate.
- Internet World Stats (2019). Available at: <https://www.internetworldstats.com> (accessed 12 November 2019).
- Ferdinand P. (ed.) (2000) *The Internet, Democracy and Democratization*, London: Frank Cass.
- Ferree M. M., Gamson W. A., Gerhards J., Rucht D. (2002) Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. *Theory and Society*, vol. 31, no 3, pp. 289–324.
- Flaxman S., Goel S., Rao J. M. (2016). Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption. *Public Opinion Quarterly*, vol. 80, no S1, pp. 298–320.
- Fraser N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, no 25–26, pp. 56–80.
- Gaines B., Mondak J. (2009) Typing Together?: Clustering of Ideological Types in Online Social Networks. *Journal of Information Technology & Politics*, vol. 6, no 3, pp. 216–231.
- Garcia D., Abisheva A., Schweighofer S., Serdült U., Schweitzer F. (2015) Ideological and Temporal Components of Network Polarization in Online Political Participatory Media. *Policy & Internet*, vol. 7, no 1, pp. 46–79.
- Gerhards J., Schäfer M. (2010) Is the Internet a Better Public Sphere?: Comparing Old and New Media in Germany and the US. *New Media and Society*, vol. 4, no 1, pp. 143–160.

- Gibson R.K., Lusoli W., Ward S. (2005) Online Participation in the UK: Testing a “Contextualized” Model of Internet Effects. *British Journal of Politics & International Relations*, vol. 7, no 4, pp. 561–583.
- Gore A. (1995) Forging a New Athenian Age of Democracy. *Intermedia*, vol. 22, no 2, p. 4–6.
- Göbel C. (2013) The Information Dilemma: How ICT Strengthen or Weaken Authoritarian Rule. *Statsvetenskaplig Tidskrift*, vol. 115, no 4, pp. 385–402.
- Gunitsky S. (2015) Corrupting the Cyber-Commons: Social Media as a Tool of Autocratic Stability. *Perspectives on Politics*, vol. 13, no 1, pp. 42–54.
- Kalathil S., Boas T. C. (2001) The Internet and State Control in Authoritarian Regimes: China, Cuba, and the Counterrevolution. *First Monday*, vol. 6, no 8. Available at: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/876/785> (accessed 12 November 2019).
- Kalathil S., Boas T. C. (2003) *Open Networks, Closed Regimes: The Impact of the Internet on Authoritarian Rule*, Washington: Carnegie Endowment.
- King G., Pan J., Roberts M. E. (2017) How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, not Engaged Argument. *American Political Science Review*, vol. 111, no 3, pp. 484–501.
- Klinger U. (2018) Aufstieg der Semiöffentlichkeit: Eine relationale Perspektive. *Publizistik*, vol. 63, no 2, pp. 245–267.
- Krueger B.S. (2002) Assessing the Potential of Internet Political Participation in the United States. *American Politics Research*, vol. 30, no 5, pp. 476–498.
- Lim M. (2012) Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt, 2004–2011. *Journal of Communication*, vol. 62, no 2, pp. 231–248.
- Lindner R., Aichholzer G., Hennen L. (eds.) (2016) *Electronic Democracy in Europe: Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting*, Cham: Springer.
- Lunt P., Livingstone S. (2013) Media Studies’ Fascination with the Concept of the Public Sphere: Critical Reflections and Emerging Debates. *Media, Culture & Society*, vol. 35, no 1, pp. 87–96.
- Mackinnon R. (2011) Liberation Technology: China’s “Networked Authoritarianism”. *Journal of Democracy*, vol. 22, no 2, pp. 32–46.
- Mallinson D. J., Hatemi P. K. (2018) The Effects of Information and Social Conformity on Opinion Change. *PLoS ONE*, vol. 13, no 5, e0196600.
- Maréchal N. (2017). Networked Authoritarianism and the Geopolitics of Information: Understanding Russian Internet Policy. *Media and Communication*, vol. 5, no 1, pp. 29–41.
- Michaelsen M., Glasius M. (2018) Authoritarian Practices in the Digital Age. *International Journal of Communication*, vol. 12, pp. 3788–3794.
- Morozov E. (2011) *The Net Delusion: How not to Liberate the World*, London: Allen Lane.
- Mossberger K., Tolbert C. J. (2010) Digital Democracy: How Politics Online Is Changing Electoral Participation. *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior* (ed. J. E. Leighley), Oxford: Oxford University Press, pp. 200–218.

- Mutz D. C. (2006). *Hearing the Other Side: Deliberative Versus Participatory Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Papacharissi Z. (2002). The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere. *New Media and Society*, vol. 4, no 1, pp. 9–27.
- Pearce K., Kendzior S. (2012) Networked Authoritarianism and Social Media in Azerbaijan. *Journal of Communication*, vol. 62, no 2, pp. 283–298.
- Rasmussen T. (2016) *The Internet Soapbox: Perspectives on a Changing Public Sphere*, Oslo: Universitetsforlaget.
- Rid Th. (2016) The Plot Against America, Part 1: How Russia Pulled Off the Biggest Election Hack in U.S. History. *Esquire*, vol. 166, pp. 130–153.
- Reuter O. J., Szakonyi D. (2015) Online Social Media and Political Awareness in Authoritarian Regimes. *British Journal of Political Science*, vol. 45, no 1, pp. 29–51.
- Rød E. G., Weidmann N. B. (2015) Empowering Activists or Autocrats?: The Internet in Authoritarian Regimes. *Journal of Peace Research*, vol. 52, no 3, pp. 338–351.
- Salikov A. (2018) Hannah Arendt, Jürgen Habermas and Rethinking the Public Sphere in the Age of Social Media. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 4, pp. 88–102.
- Salikov A. (2019) Telegram as a Means of Political Communication and Its Use by Russia's Ruling Elite. *Politology*, vol. 95, no 3, pp. 83–110.
- Salikov A., Zhavoronkov A. (2017) The Public Realm and Revolution: Hannah Arendt between Theory and Praxis. *Estudos Ibero-Americanos*, vol. 43, no 3, pp. 513–523.
- Salikov A., Zhavoronkov A. (2018) Transformatsiya publichnogo prostranstva v usloviyakh revolyutsii: vzglyad iz perspektivy Khanny Arendt [The Revolutionary Transformation of the Public Realm: An Arendtian Perspective]. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 1, pp. 9–29.
- Schäfer M. S. (2015) Digital Public Sphere. *The International Encyclopedia of Political Communication* (eds. G. Mazzoleni, K. G. Barnhurst, K. Ikeda, R. C. M. Maia, H. Wessler), London: Wiley Blackwell, pp. 322–328.
- Shirky C. (2011) The Political Power of Social Media. *Foreign Affairs*, vol. 90, no 1, pp. 28–41.
- Sunstein C. R. (2008) Neither Hayek nor Habermas. *Public Choice*, vol. 134, pp. 87–95.
- Sunstein C. (2009). *Republic 2.0*, Princeton: Princeton University Press.
- Tenove Ch., Buffie J., McKay S., Moscrop D. (2018) Digital Threats to Democratic Elections: How Foreign Actors Use Digital Techniques to Undermine Democracy. Research Report, Centre for the Study of Democratic Institutions, University of British Columbia. Available at: <https://ssrn.com/abstract=3235819> (accessed 12 November 2019).
- Toepfl F. (2013) Making Sense of the News in a Hybrid Regime: How Young Russians Decode State TV and an Oppositional Blog. *Journal of Communication*, vol. 63, no 2, pp. 244–265.
- Toepfl F. (2019) Comparing Authoritarian Publics: The Benefits and Risks of Three Types of Publics for Autocrats. *Communication Theory* (in press).

- Torres-Soriano M.R. (2013) Internet as a Driver of Political Change: Cyber-Pessimists and Cyber-Optimists. *Journal of the Spanish Institute of Strategic Studies*, vol. 1, no 1, pp. 1–22.
- Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds.) (1998) *Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks*, London: Routledge.
- Weare Ch. (2002) The Internet and Democracy: The Causal Links between Technology and Politics. *International Journal of Public Administration*, vol. 25, no 5, pp. 659–691.
- White S., McAllister I. (2014) Did Russia (Nearly) Have a Facebook Revolution in 2011? Social Media's Challenge to Authoritarianism. *Political Studies Association*, vol. 34, no 1, pp. 72–84.

Цифровая трансформация публичной сферы, ее особенности в контексте различных политических режимов и ее возможное влияние на политические процессы

Алексей Саликов

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: dr.alexey.salikov@gmail.com

Вопрос о том, какое влияние дигитализация публичной сферы оказывает на политические процессы, притягивает внимание исследователей с момента широкого распространения Интернета в начале 1990-х годов. Однако до сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет: оценки экспертов расходятся иногда радикально, от крайне положительных до крайне отрицательных. В настоящей статье предпринимается попытка комплексного подхода к этому вопросу: осмыслить происходящие сегодня под влиянием интернет-технологий трансформации в публичной сфере с учетом того политического контекста, в котором она происходит, выявить взаимосвязь между этими изменениями и возможными трансформациями политических режимов. Для достижения этих целей в рамках исследования решаются несколько задач. В начале обсуждается вопрос о правомерности использования понятия публичной сферы для анализа публичной активности в недемократическом контексте и делается вывод о необходимости более широкого понимания публичной сферы по сравнению с классическим, восходящим к работам Юргена Хабермаса. Затем в статье рассматриваются особенности цифровой трансформации публичной сферы в условиях демократического режима и делается вывод о возможном характере влияния дигитализации на политическое развитие демократий. После этого анализируются особенности цифровой трансформации в авторитарном контексте и делается вывод о характере влияния дигитализации на политическую трансформацию недемократических режимов. В заключительной части суммируются полученные выводы и намечаются направления для дальнейшего исследования влияния цифровой трансформации публичной сферы на политические процессы.

Ключевые слова: публичная сфера, демократическая публичная сфера, авторитарная публичная сфера, Интернет, дигитализация, трансформация, политический режим

Начало и конец советского проекта культурного фундаментализма^{*}

Руслан Хестанов

Доктор философии (PhD), профессор Школы культурологии гуманитарного факультета

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: rhestanov@hse.ru

Александр Сувалко

Преподаватель Школы культурологии гуманитарного факультета

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: asuvalko@hse.ru

В центре внимания статьи — самобытные представления большевиков, а затем и советской номенклатуры о культуре. Хронологически наше исследование охватывает первые годы становления советских государственных учреждений (так называемые ленинский, затем сталинский периоды руководства) и завершается началом периода, который часто называют оттепелью. Чтобы ухватить концептуальные и доктринальные мотивы строительства советских культурных и государственных институтов, в качестве главного источника мы использовали стенографические отчеты партийных съездов. Культура придавала политической доктрине концептуальную целостность, связывая между собой представления о государстве, руководстве и управлении, коммунизме и труде. Анализ выбранных источников свидетельствует о наличии вполне определенной траектории культурной политики: 1) рождение большевистского культурного проекта, 2) материализация его в учреждениях советской государственности, 3) нормализация созданных государственных структур и, наконец, 4) бюрократизация и маргинализация культурного вопроса. Мы ввели понятие «культурный фундаментализм», чтобы подчеркнуть особенность культурного проекта большевиков, в котором выразился радикальный и утопический антиэтатизм, предполагавший компенсацию культурой «отмирающей» государственности. Внутренняя логика развития культурного проекта привела, однако, к парадоксальному результату — к созданию тотального социального государства. Главный тезис статьи — концепт культуры играл центральную и стратегическую роль в строительстве новой социалистической государственности.

Ключевые слова: культурная революция, культурный фундаментализм, большевики, аппараты управления, «карта некультурностей», советская государственность.

© Хестанов Р. З., 2019

© Сувалко А. С., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-164-185

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Инфраструктуры научного знания и развитие территорий», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году.

Первой целью данной статьи является экспликация центрального характера концепта культуры как для коммунистического визионерства советской партийной номенклатуры, так и для государственной практики. Хронологически наше исследование распространяется на первые годы становления советских государственных учреждений, на так называемые ленинский, затем сталинский периоды руководства, и завершается в самом начале периода, часто именуемого оттепелью. Предмет анализа — представления о культуре партийных руководителей, создававших и реализовывавших советский проект, а потому мы сознательно изъяли из него теоретическое наследие советской гуманитарной мысли и науки. Так мы надеялись ухватить концептуальные и доктринальные мотивы тех, кто был вовлечен в планирование и строительство советских институтов. Наш основной источник — стенографические отчеты партийных съездов.

Представления партийного и советского руководства о культуре не отличались концептуальной строгостью — в докладах и репликах на партийных съездах нет ни теорий, ни дефиниций. Вместе с тем этих не всегда ясных суждений, случайных фраз, интуиций или «прозрений», в которых просматривается нечеткий образ культуры, оказалось достаточно для проектирования и учреждения новых государственных институтов. Хотя культура не относилась к ключевым понятиям русского марксизма предреволюционного периода, дискуссии на партийных съездах и пленумах вокруг вопросов культуры придали ей центральную значимость в доктринальном корпусе большевиков. Все труднее становилось вести речь о коммунизме, прогрессе, социалистическом государстве или бюрократии, не прибегая при этом к термину «культура».

Некоторое время назад мы уже предпринимали попытку объяснить, почему именно в СССР были созданы предпосылки для появления первого в мире национального министерства культуры (Хестанов, 2013). Хотя министерство было учреждено после смерти И. Сталина, мы предположили, что решение готовилось в недрах советского аппарата при его жизни, впрочем, первые попытки превращения культуры в объект государственного управления осуществлялись еще в период ленинского руководства партией. Наше предположение основано лишь на том факте, что министерство было учреждено всего лишь десять дней спустя после смерти вождя. Решение не могло приниматься скоропалительно, а потому уместно считать, что готовилось оно при сталинском руководстве.

Данное предположение было подтверждено некоторыми фактами, обнаруженными историком-архивистом Михаилом Гершзоном. Новое министерство возникло в рамках более широкой реформы советского управления, которая, судя по всему, готовилась также при жизни Сталина: «Министерство культуры — принципиально новая структурная единица в составе правительства — было образовано в соответствии с Законом о преобразовании министерств СССР от 15 марта 1953 года. Постановление об объединении министерств было сначала представлено Г.М. Маленковым на мартовском (1953) Пленуме ЦК КПСС» (Гершзон, 2018: 176). Гершзон сообщает, что сам Маленков, будучи председателем Совмина СССР,

подчеркивал в газете «Правда», что реформа по укрупнению министерств готовилась «уже длительное время, при жизни Сталина» (Гершзон, 2018: 176).

Однако вне сферы нашего анализа осталось одно примечательное обстоятельство, на которое мы обратили внимание благодаря архивным изысканиям Гершзона. Поражают широта и разнообразие сфер ответственности, которые были изначально вменены министерству культуры. В состав нового министерства вошли не только прежние министерства и подразделения, связанные с комплексом разных видов искусств, «культпросветом» и массовыми развлечениями (например, зоопарки). В него влились министерства образования и трудовых резервов (последнее отвечало за подготовку квалифицированных кадров рабочих специальностей), а также столь важный орган внешней и внутренней пропаганды, как Совинформбюро, ведомства, управляющие радиовещанием и зарождавшимся телевидением, строительством детсадов и учреждений здравоохранения, наукой и вузами, введением промышленных предприятий, производством аппаратуры для кинопроката, полиграфическими предприятиями и т. п. Более подробно с этим пестрым и длинным списком подведомственных культуры отраслей и ведомств можно ознакомиться в книге нашего архивариуса (Гершзон, 2018: 177–180). Список этот занимает примерно три страницы. Автор заключает: «Можно утверждать, что Министерство культуры в определенной степени относилось и к разряду промышленных министерств… что по объему, сфере деятельности, количеству подведомственных отраслей новому Министерству культуры не было равных в отечественной истории» (Там же: 177–178).

Министерскую реформу 1953 года иногда называют «укрупнением» министерств и связывают с общим стремлением к «рационализации» управления посредством организации мегаминистерств. Иначе говоря, укрупнение коснулось не только ведомства культуры, но и других сфер управления страной. Следовательно, наличие особой мотивации в учреждении мегаминистерства культуры выглядит сомнительным. Практически сразу после учреждения министерства наметился обратный процесс — от него одна за другой отпочковывались отдельные отрасли¹, а потому учреждение культурного мегаминистерства можно было бы считать временной иррациональной аберрацией, проявлением исконно советского волюнтаризма.

Тем не менее мы рискнули сформулировать гипотезу о том, что решение об организации министерства культуры со столь масштабными и разнообразными сферами ответственности не могло быть результатом случайной и эклектической сборки. Корпус объектов управления министерства культуры слишком значительный и выделяется на фоне остальных укрупнений. Мы полагаем, что за

1. «Это было довольно сложное в организационном отношении десятилетие, когда сначала в русле общей реорганизации министерств под Минкультуры оказались все органы управления, связанные с этой сферой, а затем в результате отпочкования отдельных отраслей и сужения собственной компетенции Министерство культуры потеряло их значительную часть (руководство высшим образованием и трудовыми резервами — 1954 год, радиовещанием и телевидением — в 1957 году, кинопроизводством — в 1963 году и др.)» (Гершзон, 2018: 380–381).

этим решением стояло некое видение, сделавшее возможным и, по меньшей мере, мыслимым широкое толкование культурной сферы. Предпосылки этого видения сформировались в первые годы советской власти, они восходят к тому универсальному и первостепенному значению, которое большевики вслед за Лениным и Сталиным приписывали культуре. Корни культурной мегаломании находятся в самом большевистском проекте. В дальнейшем мы наметим основные контуры возможной реконструкции этого проекта.

Самобытное истолкование культуры

Проблематика, связанная с культурой, обрела для большевиков подлинную значимость только после Октябрьской революции. Случилось это довольно поздно, если учесть, что, скажем, в политической повестке дня немецких социал-демократов культура присутствовала уже как минимум 40 лет. С 1874 года Вильгельм Либкнехт, отец более известного в России революционера и марксиста Карла Либкнехта, настаивал на полной политизации культурной жизни и призывал создать новую пролетарскую литературу и искусство. Он полагал, что в Германии уже сложилась модель двух противостоящих классовых культур — пролетарской и буржуазной, — а затем призвал рабочий класс к перехвату культурной миссии у буржуазии, которой не удалось довести до конца освободительную миссию Проповеди (Hake, 2017: 158–159). Уже в 1840-е годы в Германии намечалась тенденция на формирование «двух культур», выражавшаяся в противостоянии двух культурных движений, олицетворяемых, с одной стороны, образовательными ассоциациями рабочих (Arbeiterbildungsvereine), с другой — более консервативным движением народного образования (Volksbildungsbewegung). Чуть позднее оформились культурно-образовательные программы протестантских и католической церквей, которые считали нужным компенсировать неравенство классово ориентированной образовательной системы. К началу Первой мировой войны в Германии была создана развитая сеть культурно-образовательных учреждений, имевших ярко выраженную классовую природу.

Специфика России была обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, поздней, по сравнению с Англией или Германией, индустриализацией. Во-вторых, жесткие полицейские ограничения, наложенные на деятельность рабочих организаций и социал-демократических партий, затрудняли кристаллизацию политизированной модели «двух культур» в легальном поле. Никаких заметных культурно-просветительских организаций дооктябрьский период русская социал-демократия не создала. Рабочие и крестьяне, тем не менее, стали объектами культурных усилий со стороны церкви, политических организаций либеральной интеллигенции, отдельных предпринимателей-филантропов и, конечно, государства. «Культурничество», так именовалось новое гетерогенное движение, набирало силу и создавало, в особенности в промышленных центрах страны, сеть культурно-просветительских учреждений: библиотеки, воскресные и вечерние школы,

народные университеты, клубы, предназначенные в том числе для рабочих и их детей².

Революционеры-марксисты не участвовали до поры до времени ни в культурничестве, ни в дебатах о культуре. Разве что на собраниях марксистской группы «Вперед» живо обсуждались вопросы культуры. Большевики, конечно, также употребляли термин «культура», но он не был интегрирован в их политический словарь. В. Ленин был осведомлен о противостоянии «двух культур» в Германии, о чем свидетельствуют его работы дооктябрьского периода, а также он изучал опыт *Kulturmampf*³. Тем не менее, согласно распространенному среди большевиков мнению, слово культура имело привкус меньшевизма⁴. Ортодоксальная классовая точка зрения на общество и историю подсказывала, что более приемлемой заменой «культуре» были термины «идеология» и «пропаганда». Через призму идеологии понимал культуру, например, Александр Богданов, описывая ее как «идеологический комплекс».

Кардинальным образом отношение большевиков к культуре изменилось после того, как они оказались у руля государства. Они в полной мере осознали большой легитимирующий потенциал и необходимость перехвата культурной повестки дня у отстраненных от власти политических сил. Правда, они не ограничились заимствованиями форм культурной работы у своих немецких соратников, но, как будет показано, встроили концепт «культуры» в оптику правительственной рациональности, сделав из него инструмент создания новой социалистической государственности.

Впервые вопрос о культуре встал на VIII съезде партии. При этом центральным для всего партийного дискурса термином культуру сделал В. И. Ленин. Не вдаваясь в подробности полемики⁵ между лидерами партии, отметим, что именно с 1918 года «культура» начала обретать для партии важнейший доктринальный статус и вес. Смысл инновации большевиков лучше всего схватывается через сравнение. Немецкие социал-демократы пошли по пути «апроприации буржуазной эстетики»

2. Под покровительством непролетарских активистов, в частности, была создана первая массовая легальная организация рабочих «Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга», сыгравшая известную роль в революционных событиях 1905 года. Цели «Собрания» были, прежде всего, культурно-просветительские: организация досуга, формирование культуры трезвости, улучшение быта и условий труда, организация вокальных и хоровых мероприятий, литературных вечеров и проч. Учредителем ее был известный священнослужитель Георгий Гапон, а сама организация создана на основе «Санкт-Петербургского общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве», которым руководил высокопоставленный сотрудник полиции Сергей Зубатов.

3. См., например, его статью в газете «Пролетарий» «Об отношении рабочей партии к религии» (1985 [1909]).

4. В частности М. Лацис, говоривший о «Культурном центре», который был учрежден в Риге большевиками, заметил, что «название отдает меньшевизмом» (Шестой съезд РСДРП (большевиков), 1958: 176).

5. Во время дискуссии о возможности привлечения к управлению народным хозяйством и производством «буржуазных специалистов» Ленин выдвигает «культурный аргумент»: «Без наследия капиталистической культуры нам социализма не построить; специалисты — это «техническая и культурная сила» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 20).

и высокой культуры, пытаясь обогатить их фольклорным содержанием. «Культура», «духовность», «мораль», «чувственность», а также гумбольдтовское представление о *Bildung* как полной реализации человеческого потенциала, стали строительными блоками для немецкого концепта пролетарской культуры. Присвоение буржуазного представления о «высокой культуре» позволяло с «взятой высоты» критиковать капиталистическую коммерциализацию искусства, изображая последнюю как фатальную культурную неудачу буржуазии (Hake, 2017: 155). Но как свидетельствует полемика, развернувшаяся на первых послеоктябрьских съездах партии, в формулу советского понимания культуры были вложены три переменные: *труд, управление и государство*. Эти три переменные составляют ядро советского культурного проекта — выхода человечества из варварского состояния эксплуатации человека человеком, начала новой эры человеческого разума.

Именно труд позволяет Ленину внедрить в речевой оборот соратников термин «культура» и соответствующую проблематику. Он выстраивает необычную для сегодняшнего дня оппозицию между *бюрократизмом* и *культурой*, обозначающую различие мотиваций к труду. *Бюрократическая* мотивация понимается как насильственная, а *культурная* — как сознательная и добровольная. Труд русских рабочих, говорит Ленин, мотивирован исключительно «бюрократически» и, как следует из контекста выступления, «бюрократически» — значит «принудительно». Пример другой мотивации Ленин находит у специалистов и инженеров — у них она «культурная», иначе говоря, творческая. Даже деньги, как стимул к труду, для квалифицированных специалистов играют второстепенную роль, ведь «специалисты — это культурные деятели». Сознательной творческой мотивации к труду пока недостаточно у русских рабочих, а потому именно их «некультурность» понижает Советскую власть и воссоздает бюрократию» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 58).

Если рабочих мотивировать к труду творчески, «культурно», то никакие аппараты принуждения не понадобятся. Культуру русского рабочего поэтому следует подтягивать до уровня инженеров, рассуждает Ленин. При системе труда, основанной на культурных стимулах, необходимые для эксплуататорского общества бюрократия и государство, вся надстройка, оказываются бессмысленными. Коммунизм будет построен лишь тогда, когда осуществится полная победа над бюрократизмом, когда государственная власть будет уничтожена как таковая. В этом состоит стратегическая цель партии.

Это рассуждение было отлито в лаконичную фразу резолюции съезда и вошло в Программу партии. Были обозначены два непременных условия отмирания государства: 1) «вовлечение всего трудящегося населения поголовно в работу по управлению государством», 2) «повышение культурного уровня» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 397). Ленину удалось убедить товарищей по партии, что государство при социализме будет существовать до тех пор, пока сохраняется культурная отсталость рабочих, пока они не будут вовлечены в управление государством,

пока рабочих приходится «из-под палки» принуждать к труду. Больше культуры — меньше государства. Высокая культура — отмирание государства.

Выступление Ленина на VIII съезде партии положило начало большому советскому культурному проекту, который парадоксальным образом, вопреки стартовым расчетам и намерениям дал импульс строительству громоздкой структуры советского сверхцентрализованного государства. Как и в любой культурный проект, в него было встроено нечто, что Тонни Беннетт назвал «стратегической нормативностью» (Bennett, 1998: 91–92), которая подразумевает фундаментальные политические расколы. Во-первых, культура мыслится как противоположность чему-то, положенному вне нее (например, культура/анархия, культура/природа). У большевиков в качестве оппозиции культуры представляли бюрократия (как форма принуждения к труду) и государство (как аппарат насилия). Во-вторых, культура предполагает идею о внутреннем расколе (высокая культура/низкая или массовая культура; советская/национальная культура). У большевиков высокая культура противопоставлялась низкой, и поэтому культура в их программе строительства коммунизма предполагала установление нормативных градиентов и шкал — «выше», «ниже»).

Делегаты того памятного съезда быстро подхватили простую ленинскую схему и увлеклись необычной риторической игрой сопоставления и измерения уровней культуры разных народов, классов и социальных групп: русских с поляками, азербайджанцами, грузинами, финнами и проч., а также рабочих и крестьян, мужчин и женщин и т. д. Похожие фигуры речи употреблялись Лениным, Сталиным и многими другими делегатами. Например, «башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 106). «Финляндия... отличается от остальных народов, населявших прежнюю Российскую Империю, большей культурностью» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 101). Разумеется, четкой меры и градиентов в их распоряжении не было — довольствовались интуицией и общим чувством, но сам ход дебатов способствовал тому, что в воображении делегатов складывался сложный иерархический порядок разных культур.

«Карта некультурностей»

Предложенный Лениным культурный схематизм оказался весьма удобным инструментом категоризации населения. Разные группы «культурной отсталости» идентифицировались не только по национальным признакам. Культурные водоразделы проводились между городом и деревней, конфессиями и уровнями образования, мужчинами и женщинами, работницами и женщинами (простыми домохозяйками). В особую категорию выделялись молодежь, дети и беспризорники. Культурные различия выявлялись также в зависимости от навыков самоорганизации и самоуправления, технологических и производственных квалификаций. Тот

же схематизм использовался на более поздних съездах, когда в отдельную проблему выделялся разрыв между трудом умственным и физическим.

Коллективное воображение делегатов съезда создавало таким образом нечто, что мы назовем «картой некультурностей», а выделенные на ней категории населения, по сути дела, были социальными объектами государственного управления, подлежащими особым режимам контроля и опеки. Эти категории требовали создания специфических учреждений (женсоветы, союз молодежи и т. д.), делом которых станет повышение культурного уровня данной категории населения. Хотя изобретаемая на съезде политика мыслилась под эгидой «культуры», фактически создавалась новая разновидность социальной политики и социального управления. По большому счету, проектировалось социальное государство нового, советского типа, с новыми государственными аппаратами и особыми советскими общественными организациями.

Глубина и тотальность вмешательства в социальную ткань достигались посредством взаимного пересечения институтов двух типов: назовем их условно «адресными» и «универсальными». Адресные были нацелены на повышение культурного уровня отдельных социальных групп — солдат, резервистов, женщин, рабочих, крестьян или мусульманок. Универсальные так или иначе работали с населением как целым или с большими группами населения. К ним можно было отнести разные виды учреждений культуры просвета и бытовых услуг. Дискуссии на партийных съездах и в партийной печати говорят о том, насколько тонко чувствовали большевики противоречивость процесса создания новых учреждений: с одной стороны, они должны были быть наделены автоматизмом, независимым от людей, с другой — укоренены в быте и социальной ткани.

Нельзя, однако, сказать, что дизайн новой сети культурно-социальных учреждений был глубоко продуманным. Культурный проект большевиков был скорее волонтистским, чем рефлексивным. Процесс модернизации семьи и семейных отношений может служить хорошей иллюстрацией сказанному. Как таковой семейной политики в первые годы советской власти не было. Напрямую вопросы семьи и семейного строительства на съездах не затрагивались, но обсуждались косвенно, в ходе дискуссий вокруг женского вопроса. Комплекс разрозненных мер, замыслов и институциональных инициатив радикально менял социальную и бытовую среду, а затем в ней спонтанно формировалась семья советского типа.

На «карте некультурностей» особое место занимали женщины как наиболее «отсталая» категория⁶. Столь прискорбное состояние обусловлено, по словам Ленина, тем, что «женщина продолжает оставаться *домашней рабыней*... ибо ее давит, душит, отупляет, приижает *мелкое домашнее* хозяйство, приковывая ее

6. Первый секретарь ВЦСПС Николай Шверник, в частности, говорил: «Профсоюзы должны учить... необходимость культурного подъема наиболее отсталых групп, в первую очередь, женщин» (XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1930: 633). Кстати, если на XI съезде партии (1922 г.) присутствовало всего 16 женщин (1,7%) и 671 мужчин, то на XVI съезде (1930 г.) их было уже 165 (7,6%).

к кухне и к детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительною, мелочою, изнервливающею, отупляющею, забивающею». Повышение уровня культуры женщин зависит от их эмансипации от «мелкого домашнего хозяйства», поэтому Ленин призывает к массовой борьбе с этим последним оплотом эксплуатации, к «массовой перестройке его в крупное социалистическое хозяйство» (Ленин, 1970: 24). Ту же идею мы находим у Льва Троцкого в книге «Преданная революция», в главе «Семейный термидор»: «Место семьи, как замкнутого мелкого предприятия, должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания» (Троцкий, 1991: 121). Иначе говоря, женский труд, неоплачиваемый и неблагодарный, следует вывести из частной сферы. «Семью нельзя „отменить“: ее надо заменить» — говорит Троцкий (Там же: 122). Большевики не ставили вопрос о семье столь же радикально, но думали похожим образом и действовали в том же направлении. По крайней мере, и Ленин, и Троцкий говорят о перестройке домохозяйства в крупное социалистическое хозяйство, об экстернализации «средневековых» семейных обязанностей женщин.

Например, женские функции по воспитанию детей можно делегировать государственным яслям, детсадам, школам или интернатам. Изнурительной стиркой и гладкой семейного гардероба могли бы заняться дома быта. Наконец, домашнее питание необходимо заменить питанием общественным. В принципе, все перечисленные женские семейные функции можно было бы собрать в одном или нескольких социалистических учреждениях, например, в «рабочих клубах».

Когда Надежда Крупская в 1918 году вчерне набрасывает прототип домов культуры, она явным образом проектирует место, которое могло бы составить конкуренцию «семейному очагу»: «Обычно свободное время человек проводит в семье. Но... много таких, которых тяготит замкнутая атмосфера современной семьи, с ее вечными разговорами о детях, хозяйстве, которым хочется провести свой досуг с теми, с кем можно поговорить о том, что интересует». Крупская называет клуб «общественным домашним очагом»: «Рабочему человеку больше чем кому бы то ни было нужен свой общественный домашний очаг». У рабочего, пишет она, самые развитые общественные инстинкты. К тому же дома тесно, «убогое помещение, шум, плач детей», а все это никак не помогает рабочему отдохнуть. Крупская говорит именно о рабочем, подразумевая мужчину, ведь в те времена в ходу было также слово «работница». В общественном убежище рабочего должны быть предусмотрены умывальные комнаты, чтобы не ехать к себе на квартиру, а идти в клуб сразу с работы. Естественно, мыло, полотенце, шкафчики для завсегдатаев со сменным бельем и одеждой. Чай и обед без очередей. Комнаты для разговоров, кружковой работы, лекций и... уединения («просто посидеть, помолчать, отойти от дневной сутолоки»). Укромные уголки в столовой, где можно посидеть в одиночку. Уют, чистота, гравюры на стенах, книги, газеты... «Всего не перечесть, что можно устроить в рабочем клубе. <...> Он будет одним из камней, которые пойдут на постройку социалистической культуры» (Крупская, 1960: 7–12).

Проект рабочего клуба Крупской опирается, как она сама и подчеркивает, на зарубежный опыт клубных организаций для рабочих. Немецкие и английские рабочие клубы представляли собой учреждения новой социальности: они реформировали и утончали нравы, культивировали трезвость,ексуальную воздержанность и контроль над рождаемостью. Но за ними не стояла столь радикальная революционная проекция, предполагавшая экстернализацию женских функций в семье и организацию «общественного домашнего очага». Хотя в таком изводе советские клубы так и не нашли своего полного воплощения, культурный проект большевиков имел эффекты, выходящие за пределы сферы культуры. Планы по частичному преобразованию домохозяйств в государственные предприятия были реализованы в виде советских предприятий службы быта. Через трансформацию бытовой среды население усваивало новую семейную норму, согласно которой кормильцем является не только мужчина, но и женщина-работница. Стремление освободить женщину от домашнего труда решало также прагматическую задачу — удовлетворяло потребности растущего советского хозяйства за счет открытия нового источника рабочей силы⁷.

«Культурный фундаментализм»

Мы сочли возможным охарактеризовать культурный проект большевиков как проявление *культурного фундаментализма*. Безусловно, он представляет собой одну из версий модернизации, а понятие фундаментализма чаще всего трактуется излишне узко и употребляется по отношению к консервативным течениям мысли, опирающимся на события, откровения или прозрения, на незыблемые основания. С нашей точки зрения, термин следует трактовать шире — как приложимый не только к консервативным учениям, но и к модернизаторским, реформаторским и революционным, в которых догматическое визионерство сочетается с радикализмом и нетерпимостью к альтернативам. Создание корпуса канонических текстов, назначение непререкаемых классиков и идейных авторитетов, стремление во что бы то ни стало сохранить аутентичность учения, создавать завершенные концептуальные каркасы, идеологии, модели интерпретаций и действий — все эти черты можно обнаружить в модернизаторских течениях, начиная с позитивизма и заканчивая неолиберализмом. К тому же одна из особенностей модерна состоит в том, что не только консервативные, но даже модернизаторские проекты подвержены скорой архаизации, догматизации и сегментации, отчего в исторической ретроспективе они оцениваются иногда как консервативные.

Гипертрофированная значимость культуры в большевистском проекте сочеталась с радикализмом, обратной стороной которого был догматизм и нетерпимость

7. XVI съезд партии настаивал в своей резолюции: «Съезд обязывает все партийные, профсоюзные, советские и другие организации усилить свою работу по мобилизации широких масс трудящихся женщин, особенно в деревне, на развертывание социалистического строительства» (XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1930: 715).

к оппозиции. Ленинский курс предполагал, что культура поступательно и непрерывно будет перехватывать некоторые ключевые функции общего государственного регулирования и руководства. Партия обещала организовать жизнь каждого советского гражданина «от колыбели до могилы». Ей нужна была почти вечность, жизнь нескольких поколений для того, чтобы искоренить и вытеснить культурой бюрократию, правовые и политические институты. Вместо государственного и правового порядка должны воцариться «развитая культура» и социальная гомогенность. Партия была готова идти только на тактические отступления. От упразднения права и государства следовало воздерживаться лишь до той поры, пока общество не станет культурно и социально однородным. А потому на данном этапе следует «систематически работать над уничтожением неравенства более организованного пролетариата с крестьянством» (Восьмой съезд РКП (б), 1959: 64).

Этот ленинский курс обозначен в Программе партии, принятой на VIII съезде. Позже, уже в 1927 году, он был прописан в резолюции XV съезда: «...упрощение функций управления при повышении культурного уровня трудящихся ведет к уничтожению государственной власти» (XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1928: 560–561). Центральная роль, которая отводилась культуре, была подтверждена в докладе о первой советской пятилетке члена Политбюро Алексея Рыкова: «Начиная уже с ближайшего года на культуру мы должны давать относительно больше, чем даже на восстановление хозяйства... Без быстрого культурного роста мы не сможем по-настоящему переконструировать наше хозяйство» (XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1928: 778–779).

В одной из последних и, пожалуй, самых «прочитанных» статей Ленина, «О кооперации» (1970 [1923]), содержится странность, мимо которой проходят исследователи. Множество работ приводят отрывок из статьи, где Ленин впервые говорит о наступлении периода «культурной революции». Тезис этот принимается, обсуждается, но никто не задается вопросом, почему культура обретает здесь столь гипертрофированную значимость. Ленин неожиданно резко противопоставляет политику («политическую борьбу») и культурную работу, утверждая, что вместе с социализмом наступило время культурничества, а не политики:

Захватив власть в свои руки, большевики были вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную культурную работу. Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносится на культурничество, если бы не международные отношения, не обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе. Но если оставить это в стороне и ограничиться внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести работы сводится к культурничеству. (Ленин, 1970 [1923]: 376)

Но эта странность, эта гипертрофированная значимость культуры, на наш взгляд, связана с центральной, глобальной ролью, которую начинает играть в этот период культура в доктрине социалистического строительства большевиков. Наша интерпретация помогает понять: а) почему революция продолжается после захвата власти, трансформируясь из политической в культурную; б) почему новый этап социалистического строительства есть «культурная революция» и «целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы» (Ленин, 1970 [1923]: 372).

Пролетариат и его партийный авангард трансформируют политическую пропаганду в культурную (и «духовную») работу в мелкобуржуазной среде, главным образом крестьянской. Примерно об этом идет речь в резолюции XI съезда партии: «Работа партии в деревне должна быть направлена преимущественно в сторону хозяйственно-организационную и культурно-просветительскую, взамен предлагаемого ранее административно-принудительного и политически-агитационного» (Протоколы одиннадцатого съезда РКП(б), 1936: 573).

На последующих съездах, однако, есть признаки того, что доктрина «культурной революции» пересматривается. Здесь нам трудно пройти мимо вопроса о ревизии: можно ли говорить, что сталинское руководство подвергло ее пересмотру, вернув политику и классовую борьбу в процесс строительства социализма? Вопрос этот важен, поскольку именно ревизия учения «основоположника», как правило, рассматривается в качестве основания для выделения периодов, для обозначения всякого рода поворотов и этапов в политике страны. В июле 1928 года Stalin сформулировал известный тезис об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму. На последовавшим за этим заявлением XVI съезде А. Бубнов мог, например, сказать, что «Культурная работа является областью обостреннейшей классовой борьбы» (XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1930: 183). Первый секретарь Северо-Кавказского крайкома партии А. А. Андреев на том же XVI съезде горячо призывал:

На фронте культурной революции мы должны пойти также решительно, как идем на фронте нашего хозяйства. <...> Нам нужна не вообще культура для культуры, нам нужна такая культура, которая обеспечивала бы быстрый подъем социалистического строительства. <...> Вот почему, товарищи, мне кажется, что по мере ликвидации кулачества как класса, по мере колективизации деревни центр тяжести в деревне будет перемещаться от вопросов политики на вопросы культуры, на вопросы техники, на вопросы организации. (XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1930: 124)

Как следует из приведенных цитат, возврат к ортодоксии классовой борьбы налицо, хотя «культурная революция» по-прежнему понималась по-ленински предельно широко, а «конец политики» также маячил как видимая и осязаемая перспектива, увязанная с прекращением сопротивления со стороны мелкобуржуазных слоев населения. По формальному признаку ревизия состоялась. Но озна-

чает ли эта формально состоявшаяся ревизия смену политического курса или завершение большевистского культурного проекта? Можно ли на этом основании заключить, что начался новый, сталинский, этап в культурной политике?

Мы полагаем, что проблему динамики режима следует отделить от проблемы ревизии. С точки зрения политического процесса можно говорить о том, что большевистский культурный проект непрерывно адаптировался к изменявшимся внешним и внутренним обстоятельствам, сохраняя свой культурно-социальный импульс к тотальному изменению социальной ткани и созданию государственных аппаратов мощного социального контроля. С точки зрения проблемы ревизии важна рефлексия над эффектами политического действия, которая фиксируется в изменении риторики и способов высказывания, подменах, расширениях или изменении трактовок ключевых концептов. Подобные дискурсивные сдвиги в советской истории наиболее очевидны и легко фиксируются при смене руководства (Ленин, Сталин, Хрущев и т. д.), что позволяет их затем популяризировать и активно использовать в политической полемике.

Однако если придерживаться предмета исследования — культурной политики, — то следует обращать внимание на то, насколько стабилен проект, воображеная проекция правящих групп, которая воплощается в учреждении или развитии государственных аппаратов и общественных институтов. Материализация культурного проекта большевиков неизбежно сталкивалась с сопротивлением социальной среды и внешнего мира. Проект корректировался, приспосабливаясь к новым политическим обстоятельствам, но сталинское руководство сохраняло догматическую преданность культурному проекту большевиков.

Аппараты

Преданность сталинского руководства изначальному культурному проекту, на наш взгляд, проявилась в том, как он воплощался в государственных и квазигосударственных институтах. Примерно к 1923 году у большевиков сложилось более или менее четкое видение того, какими должны быть институты новой социалистической государственности. В основании конструкции лежало выработанное коллективным образом представление о социальной структуре общества послевоенного периода — та самая «карта некультурностей», которая позволяла осуществлять навигацию, намечать линию стратегического развития в условиях многоукладности, территориальной и социальной сложности. Непростые вопросы, вставшие перед большевиками, можно сформулировать следующим образом: как перевести выработанную проекцию («культурную точку зрения») в конкретные учреждения? Как должна выглядеть сеть партийных и государственных аппаратов, которые были бы способны управлять пестрой культурной данностью и, главное, создавать новую культурную и социальную реальность — социализм?

Стихийным образом некоторые советские аппараты сложились еще при ленинском руководстве. Но концептуально конструкция социалистической государ-

ственности зримо предстала на XII съезде партии, первом съезде, работавшем без смертельно больного Ленина. Принципиально важен отчетный доклад Сталина съезду (Двенадцатый съезд РКП(б), 1968: 55–69), в котором с помощью метафоры автомата или механизма делегатам съезда наглядным образом была представлена модель новой государственности. Простота изложения и точность сталинской метафоры позволили большинству понять и принять главную идею и основные принципы создававшейся советской государственной машины. Видимо поэтому столь популярным стало выражение из сталинского доклада *«приводной ремень партии»*. Такие метафоры имеют значение — в них выражается поэтический момент мышления как говорящего, так и его аудитории.

О том, что вопросы государственного строительства и создания вполне конкретных государственных органов на этом съезде приобрели актуальность, свидетельствует еще одно обстоятельство: речи большинства делегатов изобиловали механистическими метафорами и частым, иногда даже чрезмерным употреблением слова «аппарат» и его производных. Так, только в одном небольшом выступлении Феликса Дзержинского, которое заняло пять страниц стенограммы съезда объемом в 921 страницу, слово «аппарат» встречается 51 раз (Двенадцатый съезд РКП(б), 1968: 760–764). Мы полагаем, что четкий абрис новой государственной машины, представленный в сталинском докладе, следует считать результатом колективной работы руководства партии.

Сталин начинает с известного тезиса о том, что партия является авангардом рабочего класса. Но это не означает, что отношения партии с рабочим классом должны складываться, как в армии. В военной области армию создает командный состав, он ее формирует. В политике все наоборот: командный состав не создает, а «находит свою армию — рабочий класс». В политике не класс зависит от партии, но партия от класса. Поэтому, завершает свой силлогизм Stalin, чтобы руководить, партия должна «облегаться» широкой сетью беспартийных аппаратов. Эти аппараты он называет «щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии».

Первым «приводным ремнем», «основным передаточным аппаратом», являются профсоюзы. Связь партии с ними обеспечивается значительным присутствием коммунистов в руководстве союзами, в особенности на губернском уровне, и среди рядовых членов. Первичные ячейки союзов — фабзавкомы — «не везде еще наши», обозначает проблему докладчик.

Вторым «приводным ремнем» «массового характера», «при помощи которого партия связывается с классом», являются кооперативы. Потребительская (распределение продуктов), связанная с рабочими, и сельскохозяйственная кооперация, охватывающая сельскую бедноту. К XII съезду в потребительских кооперативах, говорит Stalin, состояло около 3,3 млн рабочих. При этом представительство коммунистов в губернских органах возросло до 50%. Сельхозкооперация объединяет около 4 млн хозяйств.

Третий «приводной ремень» — союзы молодежи. Основная деятельность союзов молодежи — это школы фабзавуча (фабрично-заводского обучения).

Четвертый — женские организации, «делегатские собрания работниц» — механизм, соединяющий партию с женской частью рабочего класса. Суть работы среди женщин состоит в том, чтобы «направить щупальца партии для подрыва влияния попов, среди молодежи, которую воспитывают женщины». В этом точном политическом расчете, сделанном Сталиным, мы можем увидеть, как следовало работать с «картой некультурностей».

Пятый «приводной ремень» — это совпартшколы и коммунистические университеты: они развивают коммунистическое просвещение и «фабрикуют» командный состав просвещения, который «сеет среди рабочего населения семена социализма и тем самым связывает партию духовными связями с рабочим классом».

Шестой «приводной ремень» — печать. Она не является массовым аппаратом или массовой организацией, но по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера. Печать — единственное оружие, с помощью которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на нужном ей языке. Другого такого гибкого аппарата по налаживанию духовных связей партии с рабочим классом не существует.

Седьмой «приводной ремень» — армия — это не только аппарат обороны и наступления, но «сборный пункт рабочих и крестьян». Войны часто приводят к революциям именно потому, что собирают в армии «оторванных друг от друга, живущих в разных губерниях» рабочих и крестьян, а там они сообща «выковывают свою политическую мысль», создают «то или иное массовое революционное движение»: «Ведь обычно воронежский мужик не встречается с питерским, пскович не видит сибиряка, а в армии же они встречаются». Поэтому армия есть «величайший аппарат», «единственный всероссийский», «всефедеративный сборный пункт, где люди разных губерний и областей, сходясь, учатся и приучаются к политической жизни». Такова сложная сеть массовых аппаратов, с помощью которых партия превращает себя в авангард, а рабочий класс «из распыленной массы превращается в действительную политическую армию».

Перечисленные аппараты, как заключает докладчик, не являются государственными — это массовые организации (за исключением печати). Именно так характеризует список сам Сталин, хотя в него вошла также армия. Во второй части доклада он переходит к аппаратам государства и партии.

Государственный аппарат является самым главным «приводным ремнем», поскольку соединяет рабочий класс, господствующий над обществом через свою партию, с крестьянством. Stalin ссылается на проблему, связанную с функционированием этого аппарата, которая была обозначена на прошлом съезде Лениным: сам по себе государственный аппарат правильно отстроен, «он советский», но иногда фальшивит, поскольку некоторые его составные части по-прежнему остаются «казенными, царско-буржуазными», то есть обеспечивают «кормление». Нам же нужен аппарат, который стал бы средством обслуживания народных масс.

Позже, говорит Сталин, Ленин предложил решение: создать рычаг для перестройки всех составных частей машины — ревизионный или контролирующий аппарат: «добавочный маленький аппаратик, то есть для управления аппаратом управления».

Но ключевым аппаратом, сердцем всей этой жуткой машины стало маленькое бюро, которое называлось Учраспред — учетно-распределительное бюро ЦК. Учраспред занимался учетом и распределением партийных и хозяйственных кадров, «как на низах, так и вверху». Правильной политической линии для госаппарата недостаточно, недостаточно давать верные директивы, необходимо, чтобы в Учраспреде сидели «правильные» люди, не «сановники». Отсюда столь высокая политическая значимость данного аппарата. До учреждения Учраспреда вопросы учета и расстановки кадров решались разовыми кампаниями — объявлялись так называемые партмобилизации. С появлением нового аппарата такая работа становилась регулярной. Учраспред стал «тиглем» советских элит, выплавляющим партийно-хозяйственную номенклатуру.

Из представленной Сталиным схемы видно, насколько созданная сеть аппаратов была социально детерминированной, отражала «карту некультурностей», которая вырабатывалась на первых послеоктябрьских съездах. Женщины, молодежь, военнослужащие, рабочие и крестьяне — каждая из этих категорий населения получила свои аппараты партийно-государственного управления и контроля. Схема позже будет дополнена аппаратами, управляющими интеллигенцией. На XVIII съезде в 1939 году Сталин скажет: «В результате... громадной культурной работы народилась и сложилась у нас многочисленная новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьянства, советских служащих... Я думаю, что нарождение этой новой, народной, социалистической интеллигенции является одним из самых важных результатов культурной революции в нашей стране» (XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б), 1939: 25). Однако один из первых «приводных ремней», связавший партию с советской интеллигенцией, появился еще до этого торжественного заявления: в 1934 году был учрежден первый творческий союз — Союз писателей СССР. Партийное влияние на «нацменов» обеспечивалось посредством аппаратов территориального управления — союзных и автономных республик, которые на подведомственных территориях копировали структуру центральных аппаратов СССР.

Созданная система оказалась *необратимо однопартийной*, что провоцировало извечный вопрос о том, была ли партия, строго говоря, партией. Сталин четко обозначил функционал и принципы работы партийно-государственной машины: 1) каждый социальный сегмент получает специфический аппарат; 2) связь каждого аппарата с целым обеспечивается за счет расстановки членов партии на руководящих постах каждого звена каждого аппарата; 3) кадры партии «фабрикуются» партийными школами и университетами; 4) коммуникация и «духовная связь» с рабочим классом и крестьянством обеспечивается органами пропаганды и пе-

чати; 5) Учраспред — единственная не поддающаяся механизации часть машины, которая ведает расстановкой и генерацией кадров.

В этой целостной и хорошо продуманной схеме есть одна фундаментальная странность, которая может показаться ошибкой или упущением. В ней отсутствуют аппараты управления народным хозяйством — народные комиссариаты, будущие министерства. В столь красноречивом отсутствии важнейших органов управления экономикой и финансами мы видим не столько ошибку или изъян, сколько работу «слепого пятна», встроенного в оптику культурного проекта. Во всяком случае, пропуск свидетельствует о том, что руководство и управление обществом мыслились через призму по-ленински понятой культуры, а не экономики.

Внутри созданной системы управления особую пронзительность обрела проблема известной неразличимости партийных и государственных аппаратов. Впрочем, во весь свой рост эта проблема встала до того, как Сталин сделал свой доклад, а именно в ходе бурной дискуссии по поводу принципа разграничения полномочий между партийными и государственными органами на X съезде партии. Опять же важно, что вопрос возник во время дебатов о культурной политике, а именно, когда зашла речь об организации Главполитпросвета, главного государственного учреждения, осуществлявшего управление культурой. Не вдаваясь в детали polemiki, которая сама по себе заслуживает внимания, скажем, что решение, одобренное большинством делегатов, было предложено Евгением Преображенским. Существующую ситуацию он охарактеризовал как «организационный разброда»: культурной работой занимались и в армии, и в партийных организациях, и в профсоюзах, а также уполномоченные и специализированные госучреждения, а потому единую политику было крайне сложно выработать. Каждый аппарат отстаивал права на собственную автономию, аргументируя спецификой собственной «паствы». Тем не менее участники дискуссии сходились в одном: монополия на культурную политику должна принадлежать партии.

Решение партийно-государственного параллелизма, предложенное Преображенским, состояло в том, что партия может делегировать государственным органам только ту часть культурно-просветительской работы, которая поддается «механизации», «тиражированию» и организации по принципу «массового производства». Даже если окажется возможным «механизировать работу по выработке коммунистов», партия может ее также делегировать учреждениям Главполитпросвета. Остальная работа, не подвластная «механизации», — оргработка по распределению партийных кадров, а также идейное и теоретическое руководство — являлись «абсолютной областью» партии (Протоколы X съезда РКП (б), 1933: 145). Эта область не могла быть «национализирована».

Преображенский не только выделил принцип разделения полномочий партии и советских органов, он взглянул на этот процесс в динамике. Ему казалось, что процесс поэтапной передачи партией новых функций Главполитпросвету будет возможен по мере роста культурного уровня и однородности культуры. Иначе говоря, серийное и массовое производство имеет тенденцию становиться уни-

версальным, поэтому делегирование новых функций партии государству будет процессом непрерывного «коммунизирования государственного аппарата», «показателем того, насколько далеко мы шагнули, как пролетарское государство, насколько мы далеко шагнули в части превращения коммунистической партии в функции государственного аппарата» (Протоколы X съезда РКП (б), 1933: 149). Преображенский, таким образом, обозначил финал процесса культурного роста — полная конвергенция партии и государства, триумф культуры, достигшей абсолютной механизации и неразличимости некультурностей.

Хотя проблема партийного и советского параллелизма возникала в последующие годы, к глубокой дискуссии больше не возвращались. О «теоретическом» решении Преображенского некоторое время спустя также забыли. Оно сыграло свою роль на самом важном — раннем этапе настройки партийно-государственной машины. По большому счету, по-новому, по-советски было найдено решение извечной проблемы правительственной рациональности: как институциональным образом развести стратегическое руководство (планирование) и оперативное управление.

Выводы

Анализ наших источников свидетельствует о наличии вполне определенной траектории культурного проекта большевиков: он начался с радикального неприятия всякой государственности, но внутренняя логика развития привела к парадоксальному результату — к созданию государства тотального социального контроля. Проект опирался на «культурную точку зрения», внутри которой проектировался каркас новой социалистической государственности. Благодаря «карте некультурностей» выделялись основные объекты управления, по преимуществу социальные объекты, градация которых осуществлялась согласно «уровням развития культуры». Культурная проекция, а не экономическая или политическая, как мы показали, сыграла ключевую роль в оформлении дизайна советских государственных и квазигосударственных аппаратов. Самобытность советского государственного строительства проявилась в том, что государство создавалось на основе культурного проекта. «Культурный фундаментализм» подразумевал отказ от правовых и парламентских форм управления обществом, а также замещение политики культурой.

Уже в начале 1930-х годов, хотя на съездах по-прежнему часто употреблялись термины «культура» и «культурная революция», их прежняя доктринальная значимость стирается, а культурная проекция постепенно теряет свой фокус. Несмотря на это, вплоть до принятия третьей программы партии в 1961 году сохранялось программное положение о том, что условием отмирания государства является «вовлечение всего трудящегося населения поголовно в работу по управлению государством» при одновременном «повышении культурного уровня».

Маргинализация культурной проблематики выразилась в том, что «культура» все чаще стала упоминаться наряду с терминами, так или иначе отсылающими к экономике: «хозяйство», «материальное благосостояние» и т. п. При этом культура ставилась всегда на «почетное» второе место. «Теперь основная задача нашей партии внутри страны состоит в мирной хозяйствственно-организаторской и культурно-воспитательной работе» — говорил Сталин на XVIII съезде партии (XVIII съезд ВКП (б), 1939: 35). На том же съезде проявилась тенденция к прекращению содержательных дискуссий о культуре, партийном и государственном строительстве. Выступления в прениях и доклады утратили остроту и превратились в отчеты о показателях роста культуры разных слоев советского населения и регионов, надоев молока или производительности труда. С нашей точки зрения, связано это не только с тем, что режим вошел в самую мрачную фазу сталинской ортодоксии, но также с тем, что к этому времени функционирование партийно-государственной машины было окончательно налажено и стабилизировано. Наступила постреволюционная фаза кумулятивного развития и институциональной нормализации.

Вместе с тем факт учреждения Министерства культуры СССР в 1953 году свидетельствует о том, что культура все еще сохраняла свою стратегическую значимость. Сверхминистерство культуры попросту оказалось мыслимым и возможным. Его масштабы и сфера ответственности распространялись за пределы управления искусствами и досугом, вплоть до разработки норм питания для учащихся, управления детсадами, школами, вузами и наукой. Все это можно считать эхом и отражением той гипертрофированной значимости, которую большевики придавали культуре.

Таким образом, деградация приоритета культуры в оптике партийного руководства проходила постепенно, едва заметно, без явно выраженных дискуссий и радикальных поворотов. С нашей точки зрения, коренной пересмотр роли и места культуры, а вместе с ним и формирование схемы нового стратегического видения, можно отслеживать, начиная с опубликованной в 1952 году работы Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Брошюра, написанная в связи с подготовкой нового учебника по политэкономии, ввела необычное для партийной номенклатуры выражение «культурные потребности» и способствовала изменению взгляда на культуру. Позже оно станет одним из распространенных клише партийной номенклатуры и доживет до наших дней.

Нам бы хотелось проверить данную гипотезу в следующей статье, которую намереваемся написать в продолжение нынешней.

Список использованных источников

- XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.; Л.: Государственное издательство, 1926.
- XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.; Л.: Государственное издательство, 1928.

- XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.; Л.: Государственное издательство, 1930.
- XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1939.
- XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 года. Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1956.
- Восьмой съезд РКП (б). Март 1919 года. Протоколы. М.: Госполитиздат, 1959.
- Двенадцатый съезд РКП (б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968.
- Девятый съезд РКП (б). Март — апрель 1920 г. М.: Партизат, 1934.
- Протоколы X съезда РКП (б). М.: Партизат, 1933.
- Протоколы одиннадцатого съезда РКП (б). М.: Партизат ЦК ВКП(б), 1936.
- Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года. Протоколы. М: Госполитиздат, 1958.

Литература

- Гершон М. М. (2018). Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. М.: Модест Колеров.
- Крупская Н. К. (1960 [1918]). Чем должен быть рабочий клуб // Крупская Н. К. Педагогические сочинения. Т. 8. М.: Изд-во Академии педагогических наук. С. 7–12.
- Ленин В. И. (1968 [1909]). Об отношении рабочей партии к религии // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 17. М.: Политиздат. С. 415–426.
- Ленин В. И. (1970 [1919]). Великий почин // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 39. М.: Политиздат. С. 1–29.
- Ленин В. И. (1970 [1923]). О кооперации // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат. С. 369–377.
- Троцкий Л. Д. (1991). Преданная революция. М.: НИИ культуры.
- Хестанов Р. З. (2013). Генезис культурной политики и возникновение массовой культуры в СССР // Социология власти. № 8. С. 74–96.
- Bennett T. (1998). Culture: A Reformer's Science. London: SAGE.
- Hake S. (2017). The Proletarian Dream: Socialism, Culture, and Emotion in Germany, 1863–1933. Berlin: De Gruyter.

The Beginning and the End of the Soviet Cultural Fundamentalism Project

Rouslan Khestanov

Doctor of Philosophy (PhD), Professor, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics
Address: 20 Myasnitskaya Street, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: khestanov@hse.ru

Alexander Suvalko

Lecturer, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics
Address: 20 Myasnitskaya Street, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: asuvalko@hse.ru

The article focuses on one of the most mysterious and intriguing stories of the Soviet civilization that is connected with the original ideas of the Bolsheviks and then to the Soviet nomenclature of culture. Chronologically, our research covers the first years of the formation of Soviet state institutions, the so-called Leninist and then Stalinist periods of leadership, and ends with a period that is often called "The Thaw." In order to grasp the conceptual and doctrinal motifs for building Soviet cultural and state institutions, we used verbatim records of the Party Congresses as our main source of information. Our main task was to clarify why culture was central and strategic for early Soviet leaders. We will show how culture gave political doctrine its conceptual integrity by linking perceptions of state, leadership and governance, and communism and labour. The analysis of our sources testifies to the existence of a quite definite trajectory of cultural policy: (1) the birth of the Bolshevik cultural project, (2) its materialization in the institutions of the Soviet statehood, (3) the normalization of the created state structures and, finally, (4) the marginalization of the cultural issue. We introduced the concept of "cultural fundamentalism" to emphasize the peculiarity of the Bolshevik cultural project in which radical anti-etatism was expressed, which implied compensation by the culture of the abolished statehood. The internal logic of the development of the cultural project led, however, to a paradoxical result — the creation of a total social state. The principal thesis of the article is that the concept of culture played a central and strategic role in the construction of a new socialist state.

Keywords: cultural revolution, cultural fundamentalism, Bolsheviks, control apparatuses, map of "backwardness", Soviet statehood

References

- Bennett T. (1998) *Culture: A Reformer's Science*, London: Sage.
- Gershzon M. (2018) *Zakat Stalina i Ottepel': upravlenie kul'turoj v SSSR v 1950-h — nachale 1960-h gg.* [Stalin's Decline and the Thaw: Managing Culture in the USSR in the 1950s and Early 1960s], Moscow: Modest Kolerov.
- Hake S. (2017) *The Proletarian Dream: Socialism, Culture, and Emotion in Germany, 1863–1933*, Berlin: De Gruyter.
- Khestanov R. (2013) *Genezis kul'turnoj politiki i vozniknovenie massovoj kul'tury v SSSR* [The Genesis of Cultural Policy and the Emergence of Mass Culture in the USSR (1917–1953)]. *Sociology of Power*, no 8, pp. 74–96.
- Krupskaya N. (1960 [1918]) *Chem dolzhen byt' rabochij klub* [What a Working Club is Supposed to Be]. *Pedagogicheskie sochinenija. T. 8* [Pedagogical Essays, Vol. 8], Moscow: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskikh nauk, pp. 7–12.

- Lenin V. (1968 [1909]) Ob otnoshenii rabochej partii k religii [The Attitude of the Workers' Party to Religion]. *Polnoe sobranie sochinenij. T. 17* [Complete Works, Vol. 17], Moscow: Politizdat, pp. 415–426.
- Lenin V. (1970 [1919]) Velikij pochin [A Great Beginning]. *Polnoe sobranie sochinenij. T. 39* [Complete Works, Vol. 39], Moscow: Politizdat, pp. 1–29.
- Lenin V. (1970 [1923]) O kooperacii [On Cooperation]. *Polnoe sobranie sochinenij. T. 45* [Complete Works, Vol. 45], Moscow: Politizdat, pp. 369–377.
- Trotsky L. (1991) *Predannaja revoljucija* [The Revolution Betrayed], Moscow: NII kul'tury.

Реципрокность «по благословению»: дискуссионные вопросы дарообмена в церковном социальном пространстве*

Борис Кнорре

Кандидат философских наук, доцент факультета гуманитарных наук,
старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: verlibr@yandex.ru

Анна Мурашова

Ассистент факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: murashova.hse@gmail.com

Статья представляет собой опыт анализа наиболее значимых аспектов дарообмена применительно к моделям хозяйственной интеграции в церковной среде. В центр обсуждения поставлены закономерности и тезисы, обозначенные в недавних работах Г. Юдина, прот. Н. Емельянова, И. Забаева и других исследователей, связанные с описанием особых возможностей священника генерировать дарообменные отношения, в связи с чем авторы предлагают говорить о некоей особой «пастырской модели дарообмена». Мы показываем, что ряд ключевых вопросов, связанных с «пастырской моделью дарообмена», остается дискуссионным. Насколько священники сегодня свободны от отношений конкуренции и от нацеленности на максимизацию ресурсов? Каковы модусы личной зависимости/независимости в церковной среде? Каковы механизмы формирования солидарности, морального долга, формальных и неформальных обязательств между священником, прихожанами, крупными донаторами и внешними по отношению к Церкви акторами? Какова природа самих обменных отношений и насколько они удовлетворяют критериям дарообмена, чтобы их можно было бы отделять от патрон-клиентских отношений, иерархического распределения ресурсов или отношений, запускаемых бигменами? Эти и другие вопросы применительно к церковной среде рассматриваются в статье с привлечением эмпирического материала и наблюдений, иллюстрирующих специфику социальной интеграции и конкретные варианты обменных отношений. Мы делаем попытку очертить приблизительный *status quo* сегодняшних дарообменных церковных отношений, их препятствия, точки сбоя и риски. Вместе с тем мы предлагаем свое теоретическое объяснение этих препятствий и обусловленных ими коллизий, возникающих в процессе организации дарообмена в церковной среде.

Ключевые слова: реципрокные отношения, дарообмен, священник, хозяйственная этика, церковное сообщество, православие

© Кнорре Б. К., 2019

© Мурашова А. А., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: [10.17323/1728-192X-2019-4-186-211](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2019-4-186-211)

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году.

Наша статья посвящена анализу принципов хозяйственной интеграции, обусловленных традициями современного российского православия, и фокусируется на анализе практик дарообмена в церковной среде. Она носит полемический характер и опирается на уже сделанные, достаточно оригинальные исследования в этой области, рассматривающие особенности хозяйственной интеграции и формы взаимодействия церковных акторов сквозь призму теории дарообмена: Ларкина, Юдин, 2015; Емельянов, Юдин, 2018; Юдин, 2015; Юдин, Орешина, 2016; Zabaev, Zueva, Koloshenko, 2015; Забаев, Зуева, Колошенко, 2018.

Данные и подходы, представленные в указанных работах, заслуживают внимания и должны быть приняты в расчет при обсуждении темы. Поэтому прежде всего мы обратимся к выводам этих работ, потом к теории дарообмена — методам и аргументам, которые применяют авторы, и проанализируем их, соотнеся с наблюдениями из собственных исследований по хозяйственной интеграции, церковного ethos и мотивации социальной деятельности в рамках церковных сообществ (Кнорре, 2012a, 2012b, 2018). Также для анализа мы будем использовать неосмысленные ранее эмпирические данные по практикам дарообмена и экономическим отношениям, полученные в процессе открытых и полуоткрытых интервью Б. К. Кнорре с православными священниками и мирянами во время поездок в Татарстан (2014–2016), Кировскую область (2011–2012), Республику Алтай (2009), совместно с А. А. Мурашовой — во время полевых исследований в Удмуртии (2018) и Тверской области (2019). При подготовке статьи также будут использованы эмпирические данные, полученные Б. К. Кнорре во время исследований церковно-приходской жизни в г. Москве, в Московской, Архангельской, Костромской, Ярославской областях и Республике Алтай за период с 1999–2004 и 2009 гг. в рамках проекта Кестонского института «Энциклопедия современной религиозной жизни России» и во время бесед с церковными акторами во время девятилетней работы в Синодальном Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ. Кроме того, мы воспользуемся данными, полученными А. А. Мурашовой в ходе включенного наблюдения внутри православного прихода в рамках организации молодежной работы и интервьюирования церковных работников в Московской области в 2016–2018 гг.

Используя собственные данные, мы опираемся также на исследования отечественных и зарубежных коллег, анализирующих вопросы церковной экономики (Митрохин, Эдельштейн, 2000), организации церковной общин в постсоветском православии (Köllner, 2013), взаимодействия церкви и бизнеса в постсоветском православии (Köllner, 2011, 2013). Наконец, мы учитываем не только полученные в рамках интервью, но и публичные свидетельства самих священников о церковной жизни.

В процессе анализа мы постараемся показать, насколько выводы, которые представлены в исследованиях авторов, подтверждаются или нет, в какой степени требуют корректировки или переосмысливания в контексте российской реальности. Мы построим наш анализ следующим образом. В каждом разделе будет разби-

раться один из наиболее важных промежуточных выводов или посылов авторов, и мы будем анализировать, с одной стороны, его внутреннюю непротиворечивость, а с другой стороны — соотносить его с теми факторами, воздействующими на обменные процессы в церковной среде, которые, как нам представляется, авторы не учли.

Итак, перейдем к работам вышеуказанных авторов. Рассматривая разные аспекты дарообмена, они сходятся в мысли об актуальности и перспективности дарообмена в контексте тех рисков, которые связаны как с разрушительной конкуренцией, так и с иждивенческой зависимостью от центральной власти. В работах артикулируется специфика интеракций в церковной среде, высказывается ряд важных концептуальных утверждений.

Авторы выражают убеждение в том, что «дарообмен может возникать там, где существуют или строятся сообщества, объединяющие людей и основанные на мотивации, не сводящейся к преследованию личного интереса» (Емельянов, Юдин, 2018: 10). В качестве такого сообщества авторы видят Церковь, объясняя это тем, что «Церковь — одна из основных институций, апеллирующих к надындивидуальному в человеке» (Там же). В силу того что священник выступает от лица Церкви и от лица Бога, он не нацелен на максимизацию ресурсов, на преследование личного интереса в процессе хозяйственной интеграции, «священник — одна из парадигмальных бескорыстных фигур, которая не может иметь корыстных намерений» (Ларкина, Юдин, 2015: 26). То есть церковную позицию священника по отношению к обменным отношениям авторы называют «исключенным участием».

Исходя из этого, ключевую задачу священника авторы определяют как генерацию дарообмена, утверждая, что «историческая литература показывает, что именно на этом принципе традиционно строились христианские общины» (Емельянов, Юдин, 2018: 9). Таким образом, благодаря своей специфической структурной позиции священник обладает исключительными возможностями для стимулирования и воспроизведения отношений дарообмена, в связи с чем авторы выдвигают тезис о наличии специфической «партийской модели дарообмена». При этом «механизм дарообмена, запускаемый священником, способен производить солидарность как в сакральных, так и в профанных ситуациях: воздействие учреждаемых священником отношений может простираться далеко за пределы приходского хозяйства» (Там же: 25).

Ценно уже само по себе озвучивание данных идей в академическом поле. Но не менее важным представляется соотнести данные идеи с реальностью, с тем, насколько их воплощение соответствует теории. Заметим, что в статье относительно «партийской модели дарообмена» есть важная оговорка: «При наличии более 17 000 священников РПЦ только на территории РФ можно предположить, что эта модель потенциально способна стать важным фактором регулирования экономической жизни России в целом» (Там же: 18). То есть исследование авторов сделано с расчетом не только на представление о реальном воплощении партийской мо-

дели дарообмена в церковной среде, но и о влиянии ее на экономическую жизнь страны в целом.

Однако для того чтобы оценить, насколько достоверно пастырская модель дарообмена может воплощаться в российской церковной жизни, необходимо учитывать не только собственно нормативные представления о функции священника и нормативные принципы организации церковных общин, но и факторы, определяющие специфику хозяйственной, а в более широком плане — социальной интеграции среди церковных акторов, которые, как нам представляется, не учтены в работах авторов, а также социокультурные стереотипы российского православия, церковный ethos, которые, по нашему убеждению, непосредственно влияют на мотивацию хозяйственной деятельности и социальной активности как таковой в церковном пространстве.

Действительно ли священник — «неучаствующий участник» дарообмена?

Напомним, что Емельянов и Юдин рассматривают применительно к Церкви внутреннюю структуру дарообмена, которая была раскрыта Марслем Моссом, показавшим, что дарообмен может существовать только при функционировании нормативной структуры, состоящей из трех императивов: *дарить, принимать, отдавать* (Мосс, 2011: 152). Они применяют к церкви интерпретацию теории Мосса, предложенную Маршаллом Салинзом, утверждающую, что «обязательность принятия дара и последующего принесения ответного дара обусловлена тем, что можно назвать „императивом неприсвоения избытка“ — то есть требованием увеличивать (символическую) ценность каждого последующего дара по отношению к предыдущему» (Емельянов, Юдин, 2018: 13). При такой схеме принципиальную роль играет исходный даритель, в качестве которого соответственно «не может выступать обычный участник дарообмена, нацеленный на максимизацию собственного статуса». «Чтобы цепь дарообмена была запущена, запускающий должен обладать некоторым символическим преимуществом, представлять некоторую безличную силу, которая заведомо выключена из отношений конкуренции между членами сообщества». Эта исключенность принципиально важна, потому что позволяет воспринимать интенцию лица, запускающего обменные отношения, «как работу не на собственный статус, а на преумножение блага сообщества» (Там же).

Важнейший тезис статьи состоит в том, что священник, согласно своему статусу в церкви, не нацелен на максимизацию собственного статуса, то есть он — «исключенный участник». Авторы объясняют это тем, что, «с одной стороны, он обеспечивает устойчивое воспроизведение системы дарообмена как инстанция, сообщающая перемещению даров символический смысл. С другой стороны, он исключен из дарообмена как обычный участник, нацеленный на соперничество и максимизацию своего статуса» (Там же: 19). Такое своеобразное «включенное исключение» обуславливается тем, что священник действует не от себя, а от лица

Церкви, которая «одновременно и находится в отношениях дарообмена, и выключена из них». «Эта позиция включенного исключения, — полагают авторы, — позволяет устраниить препятствия для дарообмена, поскольку находящийся в ней участвует в дарообмене не от своего лица, он дарит не от себя и принимает дары не для себя» (Там же: 14).

Но задумаемся, насколько действительно в российской ситуации, с учетом социально-политического положения Церкви, священник может выступать в качестве «исключенного участника», который «не входит в отношения конкуренции и безразличен к максимизации ресурсов»? Проблема в том, что Церковь в России в силу разных причин в разные исторические периоды не была достаточно независима и самостоятельна, чтобы отвечать столь идеальным нормативным, согласно богословскому пониманию, представлениям о нем, какие озвучены авторами. Помимо нормативных функций она так или иначе выполняет роль института, оказывающего идеологическую поддержку государству, а нередко и подтверждение имперского триумфализма на символическом уровне (Agadjanian, 2017). Недаром получило распространение понятие «проправославный консенсус», которое тесно связано с традиционной практикой «симфонии» Церкви и власти и ролью религии как символа национального единства (Furman, Kaagainen, 2007: 94; Лункин, 2008: 141). Отсюда вытекают формальные и неформальные обязательства священнослужителей в отношениях с государственной властью.

Священнослужители на руководящих постах, как, впрочем, и настоятели крупных городских приходов, встроены соответственно в федеральную или региональную элиту — степень этой встроенности, как правило, зависит от иерархического или административного положения (Митрохин, 2006: 89–91). Соответственно, такие священнослужители вынуждены принимать законы этой элиты, включая имиджевую конкуренцию, которая в российских традициях зависит не в последнюю очередь от масштаба имеющихся в распоряжении ресурсов. Следовательно, приоритетным направлением деятельности епископов, благочинных и просто настоятелей храмов является забота о благолепии и материальном благополучии епархии или отдельных храмов (для каждого на своем уровне) (Митрохин, Эдельштейн, 2000). Священники вынуждены соревноваться друг с другом за то, кто скорее и лучше отреставрирует храм и обеспечит его материальную сторону¹. Значит, священники так или иначе нуждаются в поддержке со стороны прихожан.

В рамках ресурсов, имеющихся у приходской общины, задача восстановления храма и обеспечения его благолепия, как правило, неподъемна и требует привлечения целевых средств со стороны бизнеса или госбюджета. В случае если священник не имеет достаточных связей, обеспечивающих поддержку на государственном уровне, он, как отмечает Митрохин, «вынужден обивать пороги различных организаций и фирм (причем далеко не только в своем районе) с просьбой опла-

1. Заметим, что один из примеров, который приводят И. В. Забаев, А. В. Зуева и Ю. М. Колошенко, как раз свидетельствует о том, что успех духовенства принято мерить подобными показателями (Zabaev, Zueva, Koloshenko, 2015: 131).

тить ту или иную часть работ» (Митрохин, 2006: 171). В итоге необходимость поиска дополнительной ресурсной поддержки бывает сопряжена даже с откатами по нравственно сомнительным схемам с участием в них духовенства (Там же: 169–170).

В силу этих обстоятельств священник часто оказывается вынужден отнюдь не «одаривать», будучи выведенным из конкуренции и нацеленности на ресурсный профит, а расчетливо осваивать методы фандрайзинга в надежде на вполне конкретную материально измеримую отдачу. В церковной среде это называется «навыками работы со спонсорами». Кроме того, священнику приходится изыскивать ресурсы на коммунальные платежи, для вознаграждения труда помогающим при храме по хозяйству людям — уборщицам, поварам, бухгалтерам, которых городским храмам приходится привлекать на регулярной основе. Для оплаты их труда выделяется некая гарантированная денежная сумма, часто по остаточному принципу, и на которую не всегда хватает средств. И как правило, она более низкая, чем во внерцерковных организациях (Кнорре, 2012: 91).

Заметим, что сами священники далеко не всегда решаются не только на публичные, но и даже на частные признания о тонкостях экономического обеспечения церковно-приходской жизни, стараются уйти от этой темы в силу корпоративно обусловленного жесткого запрета в церковной среде «выносить сор из избы» (Митрохин, 2006: 11). Готовность к разговору на чувствительные темы требует доверия священника к интервьюеру либо включенности интервьюера в саму жизнь прихода или религиозной организации. Тем не менее в рамках наших совместных собственных наблюдений, в частности во время опросов респондентов в Удмуртии (2018) и Тверской (2019) области, а также более ранних наблюдений Б. К. Кнорре в Татарстане (2013–2016), в Кировской области (2010–2012), в Москве (2008–2009), в интервью со священниками и активными прихожанами прихода была зафиксирована констатация того, что получаемое от дарителей приходится тратить не в качестве свободного одаривания в рамках социальной благотворительности, а в качестве целевых средств на материальное обеспечение храма либо для выполнения всех корпоративных и часто прямых административных требований по отчислениям епархии, о чем подробнее скажем ниже.

Однако в последнее время прорываются и публичные признания со стороны самих священников (Максимов, 2018)². Есть и аналитические наблюдения систематического обобщающего характера, которые представляются особо ценными. Например, столичный священник (сегодня благочинный) прот. Георгий Крылов сетует на корпоративно закрепленную практику кадровой политики Церкви оценивать профессионализм священника по успехам в строительстве, по «навыкам

2. См. также: Ощущаю себя сдувшимся шаром (<https://ahilla.ru/oshhushhayu-sebya-sduvshimsya-sharom/>), Плыви по течению, которое несет тебя в ад (<https://ahilla.ru/plyvi-po-techeniyu-kotoroe-unosit-tebya-v-ad/>), Этот мыльный пузырь лопнет с ужасным треском (<https://ahilla.ru/etot-mylnyj-puzyr-lopnet-s-uzhasnym-treskom/>).

работы со спонсорами» и даже требовать корпоративного соответствия внешнему облику священника (Крылов, 2011).

Таким образом, священнику в условиях современной социальной реальности и церковного ethos в России очень не просто оставаться «исключенным участником», выведенным из отношений конкуренции и безразличным к максимизации ресурсов. На практике он оказывается включенным в специфическую систему конкуренции. Беда в том, что это конкуренция не за «право считаться самым щедрым», что, согласно Малиновскому (Малиновский, 2004: 113), вполне могло бы отвечать принципам дарообмена, а за статус наиболее хозяйственного, умеющего хорошо себя презентовать и обеспечить внешний имидж.

При всем сказанном отметим, что подобная корпоративная обусловленность, включенность в структурный административный контекст государства, в котором функционирует Церковь в России, не исключают случаев того, когда священник частично сохраняет свою «исключенность», но такие случаи достаточно редки, и требуют от священника не только исключительных личностных качеств, но иногда и определенной смелости, чтобы расставить приоритеты иначе, чем того требует церковно-административная система. Выходит, что для дарообмена необходимо быть хотя бы отчасти отстраненным от сложившихся на сегодня корпоративных правил, дистанцироваться от ряда поведенческих паттернов привычного в церковной среде ethos. Система включенности в местные элиты и имиджевые требования к Церкви во многом является помехой для реализации функции священника как генератора дарообмена.

Конфликт позиций жреца и бигмена

Хотелось бы акцентировать внимание еще на одной теме в рамках рассмотрения священника как «исключенного участника» и его возможности запускать цепь дарообмена. Как отмечается в работе Т. Ю. Ларкиной и Г. Б. Юдина, возможно одновременное исполнение священником функций бигмена и жреца. Функции бигмена священник осуществляет, выступая связующим звеном и распределяя ресурсы между прихожанами, так как знаком с ними и имеет представление об их возможностях и потребностях (Ларкина, Юдин, 2015: 16). Прот. Н. Емельянов и Г. Б. Юдин (Емельянов, Юдин, 2018), И. В. Забаев, А. В. Зуева и Ю. А. Колошенко (Zabaev, Zueva, Koloshenko, 2015) сравнивают так называемую пастырскую модель дарообмена с кругом Кула у маори, в котором исходной инстанцией дарения выступает дух изобилия, помещаемый в лесу жрецами. То есть жрецы представляют безличную силу, которая исключена из отношений конкуренции внутри сообщества, поэтому для них представляется возможным начать процесс дарообмена.

В связи с этим будет не лишним задаться двумя вопросами. Во-первых, благодаря чему запускается круг Кула у маори — благодаря действиям жрецов, то есть совершению обрядов, или благодаря собственно их статусу? Во-вторых, как различаются статусы жреца и бигмена? Ответ на первый вопрос состоит в том, что

жрецы выступают в качестве гаранта прироста хау и в качестве исключенной из реципрокных отношений стороны, но запускающей их. То есть наличие жреца само по себе способно вселять веру в то, что дарообмен приведет к росту благосостояния и потому необходим. Ответ на второй вопрос заключается в том, что, в то время как бигменом может становиться каждый, кто включается в гонку за престиж, у жреца есть формальный статус и иерархическое посвящение, доступное не всем — а значит, источники их власти принципиально разные.

Православный священник получает свой статус от архиерея во время хиротонии, что делает логичным его сравнение с жрецом, но не с бигменом — неформальным лидером сообщества. Но возможно ли одновременное исполнение священником функций бигмена и жреца (в чем убеждены Юдин и Ларкина)? Напомним, что жрец по Салинзу — исключенный участник, запускающий цепь дарообмена, а бигмен — распределитель ресурсов, имеющий задачу накопить «фонд власти» за счет такого распределения, то есть он имеет личный интерес и потому не может быть исключенным участником. Юдин и Емельянов (Емельянов, Юдин, 2018), Юдин и Ларкина (Ларкина, Юдин, 2013) хотят провести параллели между православным священником и жрецом у маори, между православным священником и бигменом, ведь священник пытается исполнить две роли, однако в результате получается искажение: эти роли принципиально разные, невозможно одновременно быть и исключенным, и невключенным участником.

К какой же позиции близок православный священник: к позиции жреца или бигмена? В современной социальной деятельности РПЦ священник, как правило, не только благословляет какую-либо благотворительность, но и руководит ей, что делает его включенным участником. В пользу этого говорит история создания диаконского чина (диакония — милосердие), чтобы апостолы могли не «пещься о столах», а пребывать «в молитве и служении слова» (Деян. 6:2–4). Таким образом, эти функции разграничивались уже в Древней Церкви:

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаении потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещься о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семью человек изведенных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. (Деян. 6:1–4)

Это разграничение находит отражение в практике просить у священников благословения на добрые дела, при этом не вовлекая их в процесс организации таких дел:

С одной стороны, мы можем это сделать сами, но, с другой стороны, без благословения что-то делать боком выйдет. Это уже все усвоили в храме хорошо. Любое благое дело... Нет, что-то, решать какие-то свои вопросы, да, там

вот, мы уже там и друг к другу в гости можем пойти, и что-то там решить, это все, но какие-то глобальные вещи, которые, все-таки, затрагивают середину, да, это как паутина, в которой много частей, но сосредоточение — это храм, это середина. Решать все вопросы через храм глупо, когда можно по периферии это решить, да, но когда какие-то глобальные вопросы или связанные все-таки, даже не знаю, с чем... С какими-то такими нравственными вопросами, да, вот это все-таки через храм. (Ларкина, Юдин, 2015: 15–16)

При этом на практике социальной деятельностью в основном руководят священнослужители — как через центры социальной деятельности, так и организуя социальную деятельность на приходах. Если на приходе даже есть социальный работник или ответственный за молодежное служение, то его полномочия все равно сильно ограничены, и руководство по факту осуществляет либо настоятель прихода, либо выделенный для организации социальной деятельности священник. На настоятеле лежит хозяйствственно-административная деятельность прихода, сохранность здания и имущества храма. Заметим, что такое положение было не всегда. Согласно изменениям к «Положению об управлении Русской Православной Церкви» 1961 г. клирики освобождались от участия в хозяйственно-финансовой деятельности (она полностью возлагалась на исполнительный орган прихода), вновь эти полномочия клирикам вернули на Юбилейном соборе 1988 г. При этом не все члены Собора 1988 г. поддержали этот возврат, например архиепископ Хризостом (Мартишкин) высказался против возвращения настоятелям полномочий административного руководства в приходах, аргументировав свою позицию тем, что священники неизбежно будут злоупотреблять:

Помню 40-е годы, с 1943 по 1954 год, у нас тоже было возрождение, даже более мощное, чем сейчас: открывались храмы тысячами. Священнослужители имели возможность и административной, и пастырской деятельности. С чего они начали и чем они кончили, я думаю, все, кто жил в это время, знают. Начинали с того, что покупали себе роскошные дома на самом видном месте, красили заборы в зеленый цвет. Приезжай в любое место: лучший дом с зеленым забором и злой собакой — дом священника, и к нему не подберешься. А машины — не просто «Волги», а ЗИЛы. Я думаю, что великим благом, Промыслительным действием Божиим было то, что в 1961 году отказались от административной деятельности. <...> По крайней мере у нас не было возможности так широко пользоваться церковным карманом, мы часто путаем его со своим. (Московская Патриархия, 1988: 397)

То есть в этих рассуждениях архиеп. Хризостом мы видим, что попытка сочетать в одном лице функции жреца и бигмена ведет к противоречию и конфликту между этими двумя функциями. Заметим, что владыка Хризостом высказывал эту позицию, когда в силу инерции церковного гетто, привычного для советского периода, в церковной среде установки на благолепие и на создание внешнего имиджа не было.

В сегодняшней социальной позиции священника так или иначе есть черты, которые сближают его с позицией бигмена. Главная черта господства «большого человека» — это личная власть над основанной на связях с ним группой, и его смерть подрывает такую группу. То же самое можно сказать и о священнике как организаторе социальной деятельности на приходе или в рамках отдельной организации: его смерть или перевод в другое место способны парализовать приходскую социальную деятельность. Например, в Зеленоградском благочинии Московской епархии в 2018 г. произошла перестановка: священника, который активно занимался молодежной работой, переместили на другой приход. Молодежь, с которой он работал, перешла за ним в новый храм, что на старом приходе привело к упадку молодежной работы — в том числе связанной с благотворительной деятельностью. Показательно, что сказал руководитель Молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов об этой ситуации:

Батюшка просто работал качественно и хорошо, и — что ж делать — они [молодежь] пошли за ним. На новом приходе будет продолжать свою работу. А тому батюшке, который назначен новый, ему надо начинать свою новую жизнь. Это непросто, конечно... Батюшке надо просто начинать работать, искать новые пути, новых ребят. (28.01.2019, Международные Рождественские образовательные чтения, панельное обсуждение «Основные направления волонтерской деятельности в епархии. Проблемы развития и как их избежать»)

Это демонстрирует, что социальная деятельность прихода зависит от личного авторитета того священника, который этой деятельностью руководит. Но всегда ли отношения с бигменами являются реципрокными? Есть основания полагать, что они проявляют себя также как патрон-клиентские: некоторые бигмены заменяют взаимность односторонним принятием продуктов в обмен на возможность «питаться славой лидера»³, что можно сравнить с тем, как патроны получают от клиентов ресурсы в обмен на учет их интересов (Салинз, 2018: 26).

В патрон-клиентских отношениях патрон и клиент обладают разной обеспеченностью ресурсами за счет принадлежности к разным уровням той иерархии, которая их объединяет. Патрон предоставляет клиенту ресурсы в обмен на благодарность за опеку (Ковалев, 1999: 128), которая может иметь разные формы. Их внешне добровольный обмен не порождает отношения реципрокности, ведь эта форма хозяйственной организации существует как изнаночная сторона формального порядка, как неформальные договоренности в рамках выполняемых субъектами функциональных ролей. Иерархичность патрон-клиентских отношений, в которых роли жестко закреплены, противостоят симметричности сети реципрокных отношений, субъекты которых могут чередовать роли реципиентов и да-

3. Мы имеем в виду ситуацию, в которой священник внушает прихожанам пietет, а прихожане дарят священнику ресурсы, чувствуя себя причастными к его статусу, «своими» для него.

рителей (Радаев, 2003: 12). Реципрокные отношения демонстрируют преимущества обладания социальным капиталом, а патрон-клиентские — административным.

Учитывая вышесказанное, уместно в первую очередь говорить о существовании патрон-клиентских отношений внутри церковной системы, нежели рассматривать священника как бигмена. Ниже мы покажем, как система, не позволяющая быть исключенным участником, порождает патрон-клиентизм.

Модусы личной зависимости в условиях взаимодействия со спонсорами

Рассматривая модель дарообмена, которая, согласно М. Моссу, состоит из трех нормативных компонентов — дарить, принимать дар и отдавать, авторы практически во всех статьях (Юдин, 2015; Ларкина, Юдин, 2015; Емельянов, Юдин, 2018) делают корректировку теории Мосса с учетом того, какой из этих компонентов оказывается под угрозой в капиталистическом обществе, сопровождающемся доминированием утилитаризма. Например, в работах Г. Б. Юдина и Т. Ю. Ларкиной (Юдин, 2015; Ларкина, Юдин, 2015) утверждается, что наиболее серьезный удар современный утилитаризм наносит не по третьему принципу (отдавать с избытком), а по второму — «принимать дар» (Ларкина, Юдин, 2015: 13), так как в условиях капитализма «забота об охране собственной независимости не позволяет поставить себя в положение принимающего и, соответственно, обязанного» (Емельянов, Юдин, 2018: 12–13). Наличие данной посылки дает основание связать возможность деблокировки второго принципа дарообмена с фигурой священника, объясняя это тем, что «во взаимодействии с ним не может возникать личной зависимости», так как «этая возможность целиком поглощается его церковной функцией» (Там же: 19). Коль скоро «изначально он находится в положении представителя Бога, и потому как получение, так и передача дара священнику не создает личных обязательств» (Там же: 24), он «в силу своей социальной позиции обладает способностью устранивать страх формирования личной зависимости у получателя дара» (Там же: 19).

Не отрицая важность личной независимости в условиях капитализма, отметим, что авторы скорее всего преувеличивают значение опасений ее утраты, когда говорят о том, что именно этот фактор препятствует принятию дара в условиях современного утилитаризма. Представляется, что, говоря об опасениях попадания в личную зависимость, нужно учитывать фактор отчуждения, формирующийся неизбежно в городской среде в условиях массовых потоков, подпитываемых теперь не только урбанизацией, но совершенствованием цифровых технологий, безмерно расширяющих границы коммуникации.

Фактор отчуждения, снижение необходимости визуальных контактов при коммуникации снижает ощущение моральной ответственности, делает менее ощущимой личную зависимость при невыполнении моральных обязательств, в связи с чем происходит постепенная замена моральных обязательств юридическими. То есть, повышая значение личной независимости, отчуждение делает эту зави-

симость одновременно и менее уязвимой. Поэтому Мосс оказывается не так уж и не прав в том, что в капиталистическом обществе первый и третий компоненты цепочки дарообмена находятся под большей угрозой. Вернее, однако, сказать — «в большей степени под угрозой», чем второй компонент, так как полностью отрицать угрозу второму компоненту — фактору опасения утраты личной независимости у коммуницирующих акторов — нельзя. Этот фактор присутствует, но не играет столь значимую роль, как сказано в вышеупомянутых работах.

Священник запускает цепочку дарообмена путем одаривания кого-либо вещью, имеющей не материальную, а символическую ценность. Как правило, это то, что священник может предложить именно в силу своего иерархического сакрального статуса — богослужебный обряд, церковные таинства, частные трябы, в исполнении которых он даже выступает не как источник и вершитель, а как исполнитель или фигура, репрезентирующая то, что совершает Бог. То есть речь идет о символических дарах, и их принятие действительно не сопровождается страхом попасть в личную зависимость к священнику, потому что принимающий такие дары становится обязанным Богу, а не лично священнику. Наряду с актами священнодействия священник может предлагать духовную помощь и человеческое соучастие в скорбях и проблемах, ценность таких даров опять-таки возрастает из-за того, что священник — лицо, наделенное особым сакральным статусом и действующее от имени Церкви.

Поскольку в дарообмене, по Малиновскому, «важно не чем обмениваются, а с кем производится обмен» (Юдин, 2015: 33), кроме собственно священнодействий значимыми дарами со стороны священника могут быть обыкновенные поздравления с памятными датами и знаки внимания. Яркий пример — специфическая традиция одаривания, когда Патриарх Кирилл во время визита в тот или иной храм после богослужения раздает (через своих помощников) маленькие штампованные иконки с его подписью, не имеющие художественной ценности, но ценимые прихожанами в силу того, что образок преподносится представителем Церкви, то есть как «патриаршее благословение» (Патриарх Кирилл, 2010). На уровне общения с высокопоставленными чиновниками или бизнесом символические одаривания могут делаться адресно, в виде регулярного поздравления чиновников с праздниками с одновременным одариванием уже более значимыми дарами, чем штампованные иконки.

Применяя систему понятий американского психолога Роберта Чалдини, подобное дарение можно рассматривать в контексте «правила взаимного обмена», когда «небольшая любезность может породить чувство признательности, вынуждающее согласиться на оказание гораздо более важной ответной услуги» (Чалдини, 2001). В соответствии с мыслью Чалдини, подобное одаривание выступает в качестве одной из «доходных» тактик определенного рода «профессионалов уступчивости», которая «заключается в том, чтобы что-нибудь дать человеку перед тем, как попросить его об ответной услуге» (Там же).

Священник, разумеется, может участвовать в цепочке дарообмена и в позиции принимающего дар, то есть одариваемого. И в этом случае он очень часто принимает уже не символические дары, а вполне материальные, ценность которых, как и сам акт одаривания, по логике дарообмена не должна соотноситься с их потребительской стоимостью — в соответствии с притчей о лепте вдовицы, ценимой по евангельским меркам. Однако на деле священнику чаще всего не удается удержаться от оценивания ресурсной емкости предлагаемого дара, то есть ценообразования, в силу тех факторов, которые мы отметили выше — включенность священника в имиджевую конкуренцию и нацеленность на максимизацию ресурсов, определяемую церковными корпоративными требованиями.

К этому нужно прибавить и то, что сами донаторы, осознавая авторитетность социальной позиции священника, зачастую ожидают от него определенной отдачи, то есть бывают настроены на определенное имиджевое или символическое выгодоприобретение в сообществе. А священник, будучи нацелен на максимизацию ресурса, вынужден хотя бы в какой-то степени отплачивать бизнесменам доступными ему средствами. То есть избежать запуска механизма личной зависимости не удается.

Обратимся в этой связи к исследованию Тобиаса Кёллнера «Предприниматели, священники и приходы: религиозная индивидуализация и приватизация в России» (Köllner, 2013). Как показывает Кёллнер, бизнесмены, делая пожертвования «на храм» (в широком смысле на благие цели), ожидают от священника привилегированного отношения. Это может быть выделение более почетного, в сравнении с остальными прихожанами, места в иерархии церковной общины в зависимости от материального вклада бизнесмена в жизнь прихода. Кроме того, по отношению к крупным донаторам священник часто делает исключение из нормативных церковных правил касательно церковной дисциплины, «воздерживается от критики их предпринимательских преступков», выстраивает отношения, которые так или иначе «отражают личные предпочтения бизнесменов» (Ibid.: 44).

Священник таким образом учитывает при принятии даров их потребительскую стоимость, действуя в режиме ценообразования. Соответственно, осуществляемый обмен переводится из плоскости дарообмена в плоскость договорных или патрон-клиентских отношений. То есть, переводя дары в потребительскую плоскость, священник десакрализует их, дискредитирует данный ему аванс, независимости и бескорыстности в действиях акторов такого обмена не получается.

Священник хорошо понимает свою зависимость от бизнесменов и нередко сознательно или несознательно соглашается на нее даже тогда, когда дары, предлагаемые донаторами, заработаны не всегда честным способом или, допустим, их накопление было связано с недоплатой работникам, зависящим от бизнесмена⁴.

4. Рассказы о неправомерных сделках священников с бизнесменами были представлены в следующих интервью: с бывшим проректором Казанской духовной семинарии иеромонахом Петром Гайденко (45 лет) (13.07.2015, дер. Державино, Республика Татарстан); с прихожанами храма Всех Святых в Пено (пгт. Пено, 23.07.2019); с работницей патронажной службы, прихожанкой прихода Марфо-Мариинской обители в Казани (20.07.2019).

Священники таким образом легитимируют на символическо-духовном уровне систему несправедливого распределения ресурсов, материальный дисбаланс, образующийся по ходу хозяйственной интеграции, предоставляя своего рода индульгенцию на не всегда честную с точки зрения моральных норм деятельность.

В статье «Построенное на золоте и слезах? Нравственный дискурс церковного строительства и роли предпринимательских пожертвований» Кёллнер подробно показывает, какая мотивация примешивается к благотворительности, в частности то, что «пожертвования являются попыткой расплатиться за совершенные грехи и оправдать свое богатство перед другими» (Köllner, 2011). Как показывает Кёллнер на примере практик церковной благотворительности в г. Владимире, пожертвования, совершаемые для Церкви, способствуют повышению социального или политического статуса донатора, то есть предстают как вариант социального лифта. Таким «социальным лифтом» иногда пользуются нувориши, конвертируя свою церковную благотворительность в политический капитал, создавая условия для успешного баллотирования на выборах в те или иные органы власти (*Ibid.*). То есть здесь мы снова имеем реализацию патрон-клиентских отношений, где в качестве патрона, «получающего от клиентов ресурсы в обмен на учет их интересов», выступает священник, получающий от бизнесменов материальные ресурсы для восстановления храма, а в качестве клиента — бизнесмен, получающий символическую и моральную поддержку со стороны священника во время участия в предвыборной кампании. Заметим, что такое выгодоприобретение между религиозными организациями и бизнесменами весьма сходно с типом выгодоприобретений между бизнесом и НКО, распространенным в первые годы после коллапса советской социалистической системы в Восточной Европе (Sampson, 1994).

Особенности выгодоприобретения в рамках специфической помощи Церкви со стороны корпоративного социально-ответственного бизнеса применительно к культурным проектам Пермского региона описаны в книге антрополога Дугласа Роджерса «Недра России: нефть и культура». По его мнению (Rogers, 2015: 238–239), в деятельности корпоративного социально-ответственного бизнеса в России действует принцип «Богатства — для Отечества, имя — для нас самих», который означает, что пожертвования обмениваются на право использования исторически значимых имен людей, лейблов или брендов. И этот принцип актуален в том числе и для благотворительности на благо Церкви, в частности Роджерс говорит о практике ЛУКОЙЛа в Пермском крае пожертвований местной церковной епархии на создание иконописной школы отнюдь не в качестве свободного от расчетов дара, а в обмен на согласие епархии говорить публично о ЛУКОЙЛе как о продолжателе культурной традиции дореволюционных благотворителей — Строгановых, то есть давая бизнесменам ЛУКОЙЛа возможность презентовать себя в качестве наследников дореволюционного меценатства, заботившегося о развитии националь-

риинской обители Светланой Семеновой (г. Москва, 15.02.2009); с прихожанином храма... Андреем Ступаком (Киров, 2009, 2010); с настоятелем храма свт. Николая в Голутвине (г. Москва); с прихожанкой Андреевского монастыря.

ной культуры (Там же: 239–242). Другой пример — бизнесмен Геннадий Тимченко (производитель воды «Акваника», входит в «Volga Group»), который делает крупные пожертвования в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь в обмен на использование товарного знака Русской православной церкви «Муромский источник» и включение благословения Патриарха Кирилла в товарный знак марки, производимой холдингом минеральной воды (Сотникова, Витъко, 2016).

Дарообмен «по принуждению» в церковной системе интеракций

Рассмотрим еще один тип личных зависимостей, которые могут образовываться между священником и дарителями, когда последние — не бизнесмены, не высокопоставленные чиновники, а обычные прихожане, не являющиеся крупными спонсорами. Большинство прихожан, участвующих в регулярной церковной жизни, как правило, не могут сделать крупные пожертвования, но их одаривание священнику и Церкви состоит в их регулярной или фрагментарной работе, волонтерстве на благо церковного прихода. Это работники воскресных школ, певчие, социальные работники, люди, следящие за чистотой в храме, и прочие категории прихожан, дар которых состоит в том, что они отдают свой труд, квалификацию, время ради поддержания церковного прихода, соглашаясь на более низкую зарплату, чем в светской среде. Если их помощь носит эпизодический характер и осуществляется не на регулярной основе, то они могут работать бесплатно либо получать благодарность в виде материальной помощи, но их работа в церковном пространстве рассматривается априори как работа на благо Церкви — в этой связи существует специальная формула «во славу Божию», являющаяся отчасти аналогом светского понятия *«pro bono»*.

Для иллюстрации дарообменных отношений И. В. Забаев, А. В. Зуева и Ю. А. Колошенко приводят вполне релевантный пример: один священник без какого-либо расчета, исключительно в силу веры в Бога, бескорыстно помогал бездомным — давал им ночлег, кормил, одевал их и помогал им восстанавливать документы (Забаев, Зуева, Колошенко, 2015: 130). Со временем выяснилось, что среди них много квалифицированных рабочих, и, получив эту помощь и таким образом частичную реабилитацию, они стали выполнять различные строительные работы, тем самым возвращая полученный дар с избытком.

Авторы приводят данный пример со ссылкой на: Ямпольская, 2012, отмечая, что «согласно логике дарообмена взаимность возникает или усиливается только тогда, когда сторона, принимающая дар, не чувствует, что ее используют, или, другими словами, когда дар становится внезапным, безусловным, не ожидающим расплаты» (Забаев, Зуева, Колошенко, 2015: 130). Однако, исходя из вышеприведенных рассуждений Кёллера, Чалдини, а также и наших собственных наблюдений, к которым сейчас обратимся, мы видим, что одаривание приходящих к церковной ограде людей очень часто связано с расчетом на получение обратного дара с избытком, то есть с заинтересованностью в «расплате». В рамках хозяйственной

интеграции и организации внебогослужебных форм деятельности на церковном приходе, священник использует свой иерархический или духовнический авторитет, складывающийся в процессе духовного окормления людей. Приведем примеры.

Людмила Сергеевна — пенсионерка, воспитывающая внучку, работавшая ранее педагогом по вокалу в музыкальной школе и уволившаяся из школы по собственному желанию ради того, чтобы регулярно петь в церковном хоре. Настоятель храма, в котором поет Людмила Сергеевна, разрешает ей за это бесплатно питаться в приходской столовой и выделяет ей крошечную материальную помощь, сильно не соответствующую тому, что она получала бы в школе. Певчая соглашается с неадекватными условиями своей профессиональной деятельности в силу доверия настоятелю как своему духовнику (она исповедуется у него). То есть она оказывается в зависимости от воли настоятеля и выбирает церковное пение взамен более оплачиваемой работы. Условия, на которых работает Людмила Сергеевна, в итоге оказываются хуже, чем у других певчих, относящихся к настоятелю с меньшим питетом и доверием, и хуже, чем у ее коллег на светской работе.

Приведем пример, показывающий, как может влиять на затратность мероприятия наличие благословения. Группа прихожан одного крупного прихода в Подмосковье во главе с клириком храма отцом Анатолием решила съездить в паломническую поездку, на что было получено благословение настоятеля перед началом процесса организации путешествия. Но настоятель помимо благословения сформулировал также некоторые условия, в том числе он значительно повысил стоимость паломничества по сравнению с той, на которую рассчитывали прихожане, исходя из реальных цен на проживание, питание, транспорт и экскурсии. Когда прихожане узнали о «наценке», то, несмотря на недовольство, большинство отказалось поднимать вопрос о завышении цены, аргументируя это тем, что со священником не положено спорить, дабы не подвергать сомнению его духовный авторитет. Один из прихожан, Сергей (50 лет) аргументировал это так:

Знаешь, я считаю, что это непослушание — спорить о сумме. Ведь у нас не туристическая поездка, а паломничество — значит, нужно быть готовыми проявлять послушание. Настоятель сказал столько пожертвовать за поездку — получается, храму столько нужно. Он [настоятель] лучше деньгами распорядится. (Интервью 28.01.2018, Московская обл.)

То есть мы видим, что одаривание может быть не вполне добровольным, а манипулятивным механизмом с использованием авторитета священника для побуждения членов прихода к жертве своими ресурсами — финансовыми, профессиональными и временем на жизнь прихода. Получается не столько дарообмен, сколько манипуляция доверием к церковному сообществу и к священнику как к его лидеру. Ведь прихожанин, в особенности неофиц, воспринимает церковную общину как пространство социальной солидарности, свободное от обычных расчетливо-договорных отношений, и его ожидания обычно намного превосходят то,

что он реально обнаруживает (Кнорре 2012: 89–100). Распространенной является ситуация, когда, помогая в режиме фул-тайм в течение нескольких лет в храме в сфере, далекой от своей профессии, тот или иной прихожанин жертвуя карьерным ростом, приобретением профессиональных навыков либо частично утрачивает их, и в итоге теряет в плане адаптации к светской конкурентной среде, то есть допускает элемент социальной дезадаптации. Однако в случае возникновения проблем у такого прихожанина оказывается, что храм далеко не всегда готов ему помочь и брать на себя социальную защиту такого человека. Приведем в пример свидетельство прихожанина одного из московских храмов.

У нас в храме был случай. Владимир был очень хорошим реставратором, ну он всегда, если батюшка просил, готов был работать больше, чем другие соглашались. И соглашался на заниженную в сравнении с тем, как за это обычно платят, зарплату красить стены, он умел и циклевать, и особые техники покрытия лаком знал. Но однажды он сорвался с лесов, недоглядел, и получил травму позвоночника. Срочно потребовалась медицинская помощь, чтобы получить ее бесплатно, нужно было долго ждать квоты, а помощь нужна была срочно, поэтому стали просить помочь настоятеля из денег храма. Но он отказался, сказал, что у храма денег нет. Вот не понимаю, ведь на новую облицовку стен хватает, для новой покраски стен потребовалось средств намного больше, чем требовалось Владимиру, но наш о. Алексий ни в какую. Мы тогда, кто-то из общины попытались своими средствами помочь ему, собирать, в итоге помочь ему оказана была только с опозданием. (Интервью 11.10.2013, г. Москва)

Интересно, что в процессе обмена позиции сторон далеко не симметричные. Отношения тут не только и не всегда дарообменные, а походят на патрон-клиентские, так как прихожанин часто вкладывает свой труд в интересы прихода одновременно из-за доверия к священнику как к духовному пастырю и как к шефу, организующему приходскую деятельность. Значимость распоряжений священника, выступающего в роли шефа приходской жизни, усиливается благодаря сопряжению его административного авторитета с духовным. По причине совмещения священником двух статусов табуирование критики по отношению к священнику как к духовному пастырю экстраполируется на табуирование критики по отношению к нему как к администрации.

Данный феномен — то есть практика не совсем свободного, зачастую понуждаемого со стороны священника, дарообмена — имеет место не только между священниками и прихожанами, участвующими в церковно-приходской жизни. Обязанность одаривания накладывается и на самих священников со стороны священнослужителей более высокого ранга как в форме формальных отчислений в епархию, так и в форме, не прописанной в официальных документах практики вручения конвертов с деньгами епархиальному архиерею (или его секретарю) во время его торжественного визита на церковный приход.

Нужно сказать, что в первые 10–15 лет постсоветского православия — период, в который Русской православной церкви пришлось столкнуться с наиболее тяжелыми экономическими трудностями, — Московская Патриархия не ставила задачи жесткого выстраивания административной вертикали с епархиями. Соответственно, сбор епархиальных взносов осуществлялся снисходительно по отношению к церковным приходам, даже по отношению к состоятельным, давая им возможность накопления некоего избыточного ресурса (Эдельштейн, Митрохин, 2000). Со временем, особенно начиная с 2010–2011 гг. вопрос об отчислениях с епархий в общеперковную казну вышел на поверхность церковной политики, и требования с епархиального начальства по обеспечению взносов стали возрастать. Впрочем, все равно сумма взносов во многом продолжает разниться в зависимости от епархий.

Но помимо собственно церковного налога, отчисляемого в епархии, в Церкви есть негласная и неформальная практика одаривания, как правило, деньгами, лично архиерея и его свиты во время их визитов на приход — эта практика называется «вручением конвертов» или по-простому «практикой конвертов». О ней не принято открыто говорить или тем более прописывать на уровне каких-либо документов, но она хорошо известна. Вышеупомянутый нами прот. Георгий Крылов, перечисляя проблемы, обусловленные корпоративностью в церкви, сетует на практику обязательности дарений низших по рангу священнослужителей высшим: «...а чего стоит неписанный „прейскурант“ ценности подарков в зависимости от иерархического положения одариваемого и дарителя?» (Крылов, 2011). То есть из слов о. Георгия видно, что, во-первых, требования по масштабу финансового ресурса ранжируются в зависимости от того, кто дарит, и кто принимает дар, а во-вторых, решение подарить отдается отнюдь не на свободный выбор дарителя, а является обязательным, хотя это ни в каких нормативных документах или инструкциях не прописано.

Заметим, что ситуация существенно прогрессировала по сравнению с тем, что отмечали Н. А. Митрохин и М. Ю. Эдельштейн (Митрохин, Эдельштейн, 2000). В отличие от эмпирических исследований церковно-приходской жизни, проведенных Б. К. Кнорре в Москве, в Московской, Архангельской, Костромской, Ярославской областях в 1999–2004 гг., после 2009 г. священники стали часто говорить об увеличении (иногда значительном) требований к отчислениям от храмов в епархии. Эта тенденция отслеживается по интервью, проведенных Б. К. Кнорре в Республике Алтай (2009 г.), Кировской области в 2011–2012 гг., Татарстане в 2014–2016 гг., а также совместно с А. А. Мурашовой в Удмуртии в 2018 г. и в Тверской области в 2019 г.

В отдельных случаях негодование по поводу «конвертов» может получать огласку в СМИ. Например, священник Георгий Максимов рассказал в своем видеоблоге о ситуации, когда священнику Валуйской епархии протоиерею Игорю Рыбалкину секретарь епархии иерей Вадим Лебедев после визита архиерея стал жестко выговаривать из-за того, что он вложил в конверт не соответствующую негласным

требованиям сумму, угрожая перевести на другой приход (Максимов, 2018). По признанию самих священников, такие случаи отнюдь не единичны, а достаточно распространены. Подобные рассказы публикует на сайте «Ахилла» его редактор Алексей Плужников в проекте «Исповедь анонимного священника»⁵. В рамках проекта он предложил священникам заполнить анкеты с откровенными вопросами по поводу динамики их самоощущения в Церкви на протяжении времени их служения, а также относительно проблемных моментов их служения на приходах и взаимоотношения со священниками, мирянами и начальством.

Например, иеромонах, благочинный одного из монастырей признается в 2017 г.: «Архиерей служит не меньше пяти раз в год. Традиционный конверт 50 000 рублей плюс подарки типа облачения за пару сотен тысяч рублей, плюс иподиаконы, плюс хор. Плюс ежемесячный взнос в епархию 120 000 рублей. Плюс несколько неофициальных визитов в год с подобными конвертами» (Гуров, 2017). Подобные признания есть и в других материалах «Ахиллы»⁶.

То есть здесь мы видим примеры негласных принудительных одариваний (или вернее — отдаиваний) в церковной среде, за неучастие в которых священнику грозят санкции. Эти случаи говорят не в пользу пастырской модели дарообмена: ведь лишь тот ресурс, который остается после всех требующихся отдаиваний, представляет для священника то, чем он может распорядиться на свое усмотрение.

Заключение

Подводя итог нашему рассуждению, мы хотели бы отметить, что относительно оценки социальной пользы и перспектив дарообменных практик в церковном сообществе мы согласны с утверждениями Г. Б. Юдина, прот. Н. Емельянова, И. В. Забаева и выступающих вместе с ними соавторов их работ. Очерченная ими «пастырская модель дарообмена», если она действительно или хотя бы отчасти реализуется, может существенно позитивно влиять на социальный баланс. Более того, нам представляется, что стоит говорить не только о перспективах дарообмена, а о том, что дарообмен сам по себе может являть определенный императив для церковного сообщества, согласный с евангельской этикой.

Но для того чтобы потенциал дарообмена можно было реализовать, необходим честный разговор о всех нестыковках, побочных или внутренних по отношению к церковной среде социальных факторах, искажающих дарообмен. Потому что в условиях реальной социальной среды, в которой сегодня осуществляет свою деятельность Церковь, реальное воплощение обменных отношений, запускаемых

5. Подробнее о проекте «Исповедь анонимного священника» см.: <http://ahilla.ru/tag/ispoved-anonimnogo-svyashhennika/>.

6. Например, см.: Оккультизм в церкви возможен потому, что существуют плотные конвертики (<https://ahilla.ru/okkultizm-v-tserkvi-vozmozen-potomu-chto-sushhestvuyut-plotnye-konvertiki/>), Приказы на приказы и обещание кары небесной за невыполнение (<https://ahilla.ru/prikazy-na-prikazy-i-obeshshanie-kary-nebesnoj-za-nevypolnenie/>).

священником, сильно отличается от той идеальной модели, которую можно представить теоретически.

Например, ссылаясь на модель Грекори, Г. Б. Юдин и прот. Н. Емельянов пишут, что «изъятые из системы исключенным участником средства должны быть направлены вне самой системы... иначе их использование десакрализует исходные дары» (Емельянов, Юдин, 2018: 14). Переводя это утверждение на плоскость церковного сообщества, они допускают, что «вне самой системы» может означать направление средств «на благотворительную помощь нуждающимся, не принадлежащим к общине», отмечают, что священник «изымает из системы ресурсы, который может направлять на социально одобряемые цели» (Там же: 14). Но в условиях реальной социальной среды и факторов, которые мы рассмотрели выше, в сухом остатке, после всех вынужденных «отдаиваний» ресурсов, происходящих в рамках всех взаимодействий священника с чиновниками, местной элитой и собственным церковным руководством, у него очень мало остается ресурсов, которые можно считать «изъятыми из системы». То есть мало ресурсов для раздачи их нуждающимся и для социальной благотворительности. Таким образом, ресурсы, получаемые в рамках обменных отношений со стороны жертвователей, используются в большей степени не «вне системы — например, на помощь нуждающимся», а наоборот, именно внутри системы. В этой связи понятным выглядит то, что, несмотря на привлекаемые бюджетные средства, из общего числа церковных приходов и монастырей РПЦ заявить о наличии у себя каких-либо форм социального служения смогли только 8–9% (Knorre, 2018: 45).

Если же говорить о распределении ресурсов внутри системы, то проблема в том, что это распределение часто бывает далеким от принципов чистого дарообмена. Это контрастирует с убеждением авторов (Емельянов, Юдин, 2018: 15) в том, что сообщества, в которых присутствует деятельность священника, имеют некоторую особую солидарность между своими членами, чувствуют взаимосвязанность и ответственность друг за друга. И соответственно, уровень доверия между ними больше, чем в обычной «профанной» светской среде.

Нельзя отрицать того, что на определенных уровнях коммуникативной культуры Церкви эти солидарность и доверие есть. Но именно не на всех (Knorre, 2012a), а главное проявляются они крайне несимметрично. Об этой асимметрии свидетельствует прот. Георгий Крылов, когда говорит о том, что «священство обособляется от мирян в особую субкорпорацию, образуя определенный закрытый круг общения, среду взаимодействия» (Крылов, 2011). Со стороны мирян по отношению к священникам доверия и, в особенности, степени открытости очевидным образом больше, чем со стороны священников к мирянам (Knorre, 2012a).

Помимо обособления клириков от мирян внутри самого клира есть обособление епископов по отношению к священнослужителям, и епископат тоже представляет «субкорпорацию» уже внутри самих клириков (Крылов, 2011), причем прот. Георгий Крылов сравнивает эту «субкорпорацию» с армией, что вряд ли свидетельствует в пользу какого-либо снятия асимметрии.

Феномен обособленности церковных групп и неснимаемой асимметрии также подтверждает Сергей Чапнин, говоря о дистанции между начальствующими и подчиненными, которая, как он замечает, совсем ненейтрализуется в рамках хозяйственной интеграции, а остается в качестве серьезной проблемы в процессе церковного сотрудничества (Чапнин, 2012). Очень многое в церковной среде свидетельствует об асимметрии, поэтому утверждение о том, что эта асимметрия в каких-то случаях снимается, требует подробного рассмотрения и дополнительных доказательств по отдельным случаям. В Церкви есть свой дефицит солидарности — тоже ощутимая проблема. В подтверждение этого можно указать на специфику очень неравномерного и порой нерационального распределения средств внутри церковной системы (Кнорре, 2012а: 89–93).

Заметим, что сами авторы, очерчивающие реципрокные отношения в церковном сообществе, иногда делают соответствующие оговорки, выражая опасение, что священник может распорядиться своим преимуществом (передача дара без личных обязательств) по-разному, и «исходный „аванс“, который он имеет для отношений дарообмена, может быть упущен. В этом случае возможность инициировать отношения дарообмена будет утеряна» (Емельянов, Юдин: 24). И. В. Забаев, А. В. Зуева и Ю. М. Колошенко (Забаев, Зуева, Колошенко, 2018: 50–51) отмечают возможность возникновения у священника «институциональной логики» в том случае, когда пожертвования прихожан обуславливают выживание прихода — зачастую такие священники стремятся к максимизации получаемых им ресурсов. В то же время они обоснованно говорят о том, что реципрокные отношения могут возникнуть лишь тогда, когда «у принимающего не создается ощущения, что его используют», под принимающим подразумевая прихожанина.

Г. Б. Юдин и Т. Ю. Ларкина также резонно задаются вопросом: «...не могут ли связанные с дарообменом мотивации использоватьсь в корыстных мотивах — для повышения статуса, подчинения или даже элементарного вымогательства? А если могут, то какие пределы этому можно положить?» (Ларкина, Юдин, 2015: 27). Говоря о перспективах ответа на эти вопросы, авторы отмечают, что они носят как позитивный, так и моральный характер, настаивая на том, что «проверка теории дарообмена становится не чисто академическим вопросом, но и вопросом практики построения сообществ» (Там же).

В этой связи наши проекции теоретических размышлений о дарообмене на православную социосреду с опорой на эмпирические материалы мы рассматриваем не только как попытку соотнести некоторые тезисы, высказанные в рамках исследований авторов, с традициями церковного ethos и социальной реальностью, но и как попытку ответить на опасения и вопросы, озвученные в серии статей, посвященных реципрокности.

Литература

- Барсукова С. Ю. (2004). Реципрокные взаимодействия: сущность, функции, специфика // Социологические исследования. № 9. С. 20–29.
- Барсукова С. Ю. (2005). Сетевые обмены российских домохозяйств: опыт эмпирического исследования // Экономическая социология. № 8. С. 34–45.
- Библия (2011). М: Российское библейское общество.
- Гуров Ю. (2017). Как найду работу, которая обеспечит мне жилье и хлеб — уйду // Ахилла. URL: <https://ahilla.ru/kak-najdu-rabotu-kotoraya-obespechit-mne-zhile-i-hleb-ujdu/> (дата обращения: 05 June 2019)
- Емельянов Н. Н, Юдин Г. Б. (2018). Структурная позиция священника в системах дарообмена // Социологическое обозрение. Т. 17. № 3. С. 9–29.
- Забаев И. В., Зуева А. В., Колошенко Ю. М. (2018). Смирение и дар: избирательное сродство институтов и этики на приходах Русской православной церкви // Научный результат. Социология и управление. Т. 4. № 1. С. 33–62.
- Каариайнен К., Фурман Д. Е. (2007) Религиозность в России на рубеже XX–XXI столетий // Общественные науки и современность. № 2. С. 78–95.
- Кнорре Б. К. (2012a). От «церковной десятины» — к «церковной экономике»: размышления о проблеме доверия, самоорганизации и некоторых аспектах деловой культуры в Церкви // Russian Review. № 28.
- Кнорре Б. К. (2012b). Социальное служение современной Русской православной церкви как отражение поведенческих стереотипов церковного социума // Малашенко А., Филатов С. (ред.). Православная церковь при новом Патриархе. М.: РОССПЭН. С. 69–120.
- Ковалев Е. М. (1999). Взаимосвязи типа «патрон — клиент» в российской экономике // Шанин Т. (ред.). Неформальная экономика: Россия и мир. М.: Логос. С. 125–137.
- Крылов Г., прот. (2011). О корпоративности в Церкви (взгляд с позиции приходского священника) // Русская народная линия. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/05/11/o_korporativnosti_v_cerkvi_vzglyad_s_pozicii_prihodskogo_svyawennika/ (дата обращения: 14.06.2019).
- Ларкина Т. Ю., Юдин Г. Б. (2015). Теория дарообмена и формирование сообществ. Препринт ПСТГУ. Серия 2221-7320 «Материалы исследовательского семинара «Социология религии».
- Лункин Р. Н. (2008). «Проправославный консенсус» в России: вера и неверие // Современная Европа. № 1. С. 139–143.
- Максимов Г., иерей (2018). Про шокирующую запись из Валуйской епархии. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MOtDfbeDGe4&t=9s> (дата обращения: 29.06.2019).
- Малиновский Б. (2004). Аргонавты Западной части Тихого океана / Пер. с англ. В. Н. Поруса. М.: РОССПЭН.
- Митрохин Н. А. (2006). Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.: Новое литературное обозрение.

- Митрохин Н. А., Эдельштейн М. Ю. (2000). Экономическая деятельность Русской Православной Церкви и её теневая составляющая. М.: РГГУ.
- Московская Патриархия (1988). Тысячелетие Крещения Руси: Поместный Собор Русской Православной Церкви (Троице-Сергиева Лавра, 6–9 июня 1988 года): Материалы. М.: Изд-во Московской Патриархии.
- Мосс М. (2011). Опыт о даре // Мосс М. Общество. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: КДУ. С. 134–285.
- Патриарх Кирилл (2010). Слово Патриарха Кирилла в Воскресенском соборе Твери 04.07.2010. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MVXbQZIuXVI> (дата обращения: 27.06.2019).
- Радаев В. В. (2003). Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность. № 2. С. 20–32.
- Салинз М. (2018). Бедняк, богач, бигмен, вождь: политические типы в Меланезии и Полинезии / Пер. с англ. С. С. Будзинского и И. А. Кирпичникова // Сибирские исторические исследования. № 1. С. 18–41.
- Сотникова А., Витъко С. (2016). Бизнесмены о помощи РПЦ: «Эту радость не получить, заработав еще миллион» // РБК. 24 февраля. URL: <https://www.rbc.ru/photoreport/24/02/2016/56c8443d9a7947c9604aad3c> (дата обращения: 24.06.2019).
- Чалдини Р. (2001). Психология влияния. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Chiald/_02.php (дата обращения: 05.07.2012).
- Чапнин С. В. (2012). Запись на личной странице Facebook. URL: <https://web.facebook.com/chapnin> (дата обращения: 05.07.2012).
- Юдин Г. Б. (2015). Моральная природа долга и формирование ответственного заемщика // Вопросы экономики. № 3. С. 28–45.
- Юдин Г. Б., Орешина Д. А. (2016). Дарообмен и регуляция потребительского кредитования в сообществах: случай православных приходских общин // Социологический журнал. Т. 22. № 2. С. 110–134.
- Ямпольская А. В. (2012). Деррида между Марселеем Мессом и Августином // Русский журнал. URL: <http://www.russ.ru/pole/Derrida-mezhdu-Marselem-Mossom-i-Avgustinom> (дата обращения: 20.05.2019).
- Agadjanian A. S. (2017). Tradition, Morality and Community: Elaborating Orthodox Identity in Putin's Russia // Religion, State and Society. Vol. 45. № 1. P. 39–60.
- Knorre B. K. (2018). Volunteering, Social Ministry and Ethical-Behavioural Attitudes in Post-Soviet Russian Orthodox Christianity // Religion, State and Society. Vol. 46. № 1. P. 43–63.
- Köllner T. (2013). Businessmen, Priests and Parishes Religious Individualization and Privatization in Russia // Archives de Sciences Sociales des Religions. Vol. 162. № 2. P. 37–53.
- Köllner T. (2011). Built with Gold or Tears? Moral Discourses on Church Construction and the Role of Entrepreneurial Donations // Zigon J. (ed.). Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia. N. Y.: Berghahn Books. P. 191–213.

- Rogers D.* (2015). *The Depths of Russia. Oil, Power, and Culture after Socialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Sampson S. L.* (1994). Money Without Culture, Culture Without Money: Eastern Europe's Nouveaux Riches // *Anthropological Journal on European Cultures*. Vol. 3. № 1. P. 7–30.
- Zabaev I., Zueva A., Koloshenko Y.* (2015). Humility and The Gift: The Elective Affinity of Institutions and Ethics in Orthodox Parishes // *Journal of Economic Sociology*. Vol. 16. № 5. P. 118–139.

Reciprocity “by Blessing”: Debatable Issues of Gift Exchange in The Church Community

Boris Knorre

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research

University — Higher School of Economics

Senior Researcher, Center for Research on Civil Society and the Nonprofit Sector, National Research

University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya, Srt., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: verlibr@yandex.ru

Anna Murashova

Assistant, Faculty of Humanities, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya, Srt., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: murashova.hse@gmail.com

The article is an attempt to analyze the most significant aspects of gift exchange in the context of the models of economic integration in the Church's social milieu. The most important points of the discussion are the propositions and mechanisms of gift exchange designated in recent works by G. Yudin, I. Zabaev, the archpriest N. Emelyanov, and some other researchers providing an idea of the opportunity and the special role of the priest in generating gift exchange. We argue that a number of key issues concerning the opportunity for priests to generate gift exchange remains debatable and sensible. To what extent are priests today free from the competition in, engagement with, and from aiming at maximizing resources? What are the modes of personal dependence/independence in the Church's social milieu? What are the mechanisms for the formation of solidarity, moral duty, and formal and informal obligations between the priest, parishioners, major donators, and non-Church actors? What is the nature of the exchange processes, and how much do they match the criteria of gift exchange so that they can be distinguished from patron-client relations, the hierarchical distribution of resources, or processes launched by bigmen? These and other issues with regard to the Church environment are analyzed in the article using empirical material and the observations illustrating the specifics of social integration and certain options for exchange relations. We are aiming to delineate approximately what the “status quo” is of today's gift-exchange processes in the Church, their obstacles, and the points of failure and risks. At the same time, we offer our theoretical explanation of these obstacles and the resulting conflicts that arise during the organization of gift exchange in the Church's social milieu.

Keywords: reciprocity, gift exchange, priest, economic ethics, Church community, Orthodoxy

References

- Agadjanian A. S. (2017) Tradition, Morality and Community: Elaborating Orthodox Identity in Putin's Russia. *Religion, State and Society*, vol. 45, no 1, pp. 39–60.
- Barsukova S. (2004) Reciproknye vzaimodejstvija: Sushhnost', funkci, specifika [Reciprocal Interactions. Essence, Functions, and Peculiarities]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 20–29.
- Barsukova S. (2005) Setevye obmeny rossijskih domohozjajstv: opyt jempericheskogo issledovanija [Network Exchanges between Russian Households: Account of Empirical Research]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 34–45.
- Chaldini R. (2001) Psichologiya liyaniya [Psychology of Influence]. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Chiald/_02.php
- Chapnin S. (2012) Facebook post. Available at: <https://web.facebook.com/chapnin> (accessed 5 July 2012).
- Emelyanov N., Yudin G. (2018) Strukturnaya pozitsiya svyashchennika v sistemakh doroobmena [Structural Position of the Priest in Gift-Exchange Systems]. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 3, pp. 9–29.
- Kaariainen K., Furman D. (2007) Religioznost' v Rossii na rubezhe XX–XXI stoletij [Religiosity in Russia at the Edge of the 20th and 21st Centuries]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 2, pp. 78–95.
- Knorre B. (2012) Ot "tserkovnoy desyatiny" — k "tserkovnoy ekonomike": razmyshleniya o probleme doveriya, samoorganizatsii i nekotorykh aspektakh delovoy kul'tury v Tserkvi [From the "Church Tithes" to the "Church Economy": Thoughts on the Problem of Trust, Self-Organization, and Some Aspects of the Business Culture in the Church]. *Russian Review*, no 28.
- Knorre B. (2012) Sotsial'noye sluzheniye sovremennoy Russkoy pravoslavnoy tserkvi kak otrazheniye povedencheskikh stereotypov tserkovnogo sotsiuma [Social Service of the Modern Russian Orthodox Church as a Reflection of Behavioral Stereotypes of Church Society]. *Pravoslavnaya tserkov' pri novom Patriarkhe* [The Russian Orthodox Church under the New Patriarch] (eds. A. Malashenko, S. Filatov), Moscow: ROSSPEN pp. 69–120.
- Knorre B. (2018) Volunteering, Social Ministry and Ethical-Behavioural Attitudes in Post-Soviet Russian Orthodox Christianity. *Religion, State and Society*, vol. 46, no 1, pp. 43–63.
- Köllner T. (2013) Businessmen, Priests and Parishes Religious Individualization and Privatization in Russia. *Archives de Sciences Sociales des Religions*, vol. 162, no 2, pp. 37–53.
- Köllner T. (2011) Built with Gold or Tears? Moral Discourses on Church Construction and the Role of Entrepreneurial Donations. *Multiple Moralities and Religions in post-Soviet Russia* (ed. J. Zigon), New York: Berghahn Books, pp. 191–213.
- Kovalev E. (1999) Vzaimosvyazi tipa "patron — kliyent" v rossiyskoy ekonomike [The relationships of "Patron-Client" Type in the Russian Economy]. *Neformal'naya ekonomika: Rossiya i mir* [Informal Economics: Russia and the World] (ed. T. Shanin), Moscow: Logos, pp. 125–137.
- Krylov G., archpriest (2011) O korporativnosti v Tserkvi (vzglyad s pozitsii prikhodskogo svyashchennika) [About Corporatism in the Church (a View from the Perspective of the Parish Priest)]. Bogoslov.Ru, May 10. Available at: <http://archive.bogoslov.ru/text/1667366.html> (accessed 14 June 2019).
- Larkina T., Yudin G. (2015) Teoriya doroobmena i formirovaniye soobshchestv [The Theory of Gift Exchange and the Formation of Communities]. Working Papers of PSTGU.
- Lunkin R. (2008) "Propravoslavnyy consensus" v Rossii: vera i neveriye ["Pro-Orthodox Consensus" in Russia: Faith and Disbelief]. *Sovremennaya Evropa*, no 1, pp. 139–143.
- Maksimov G., priest (2018) Pro shokiruyushchuyu zapis' iz Valuyskoy yeparkhii [About the Shocking Record of Valuiskaya Diocese]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=MOOrDfbeDGe4&t=9s> (accessed 29 June 2019).
- Malinowski B. (2004) *Argonavty Zapadnoy chasti Tikhogo okeana* [Argonauts of the Western Pacific], Moscow: ROSSPEN.
- Mitrokhin N. (2006) *Russkaya pravoslavnaya tserkov': sovremennoye sostoyaniye i aktual'nyye problem* [Russian Orthodox Church: Current State and Actual Issues], Moscow: New Literary Observer.

- Mitrokhin N., Edelshtein M. (2000) *Ekonomicheskaya deyatel'nost' Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi i yego tenevaya sostavlyayushchaya* [Economic Activity of the Russian Orthodox Church and Its Shadow Component], Moscow: RGGU.
- Radaev V. (2003) Ponyatiye kapitala, formy kapitalov i ikh konvertatsiya [The Concept of Capital, Forms of Capital and Their Conversion]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 2, pp. 20–32.
- Rogers D. (2015) *The Depths of Russia: Oil, Power, and Culture after Socialism*, Ithaca: Cornell University Press.
- Sahlins M. (2018) Bednyak, bogach, bigmen, vozhd': politicheskiye tipy v Melanezii i Polinezii [The Poor Man, the Rich Man, the Big Man, the Leader: Political Types in Melanesia and Polynesia]. *Siberian Historical Studies*, no 1, pp. 18–41.
- Sampson S. L. (1994) Money Without Culture, Culture Without Money: Eastern Europe's Nouveaux Riches. *Anthropological Journal on European Cultures*, vol. 3, no 1, pp. 7–30.
- Patriarch Kirill (2010) Slovo Patriarkha Kirilla v Voskresenskom sobore Tveri [The Speech of Patriarch Kirill in the Resurrection Cathedral of Tver]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=MVXbQZluXVI> (accessed 27 June 2019).
- Sotnikova A., Vitko S. (2016) Bisnesmeny o pomoshi RPTs "Etu radost' ne poluchit', zarabotav eshe million" [Businessmen Speaking about Their Support to the Russian Orthodox Church: "One Cannot Experience This Joy while Earning One More Million"]. *RBK*, 24 February. Available at: <https://www.rbc.ru/photoreport/24/02/2016/56c8443d9a7947c9604aad3c> (accessed 24 June 2019).
- Moscow Patriarchate (1988) *Tysyacheletiye Kreshcheniya Rusi: Pomestnyy Sobor Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi (Troitse-Sergiyeva Lavra, 6–9 iyunya 1988 goda): Materialy* [Millennium of the Baptism of Russia: Proceedings of the Local Council of the Russian Orthodox Church (Trinity-Sergius Lavra, June 6–9, 1988)], Moscow: Moscow Patriarchate.
- Yampolskaya A. (2012) Derrida mezhdju Marselem Mossom i Avgustinom [Derrida between Marcel Moss and Augustin]. Available at: <http://www.russ.ru/pole/Derrida-mezhdju-Marselem-Mossom-i-Avgustinom> (accessed 20 May 2019).
- Yudin G. (2015) Moral'naya priroda dolga i formirovaniye otvetstvennogo zaemshchika [The Moral Nature of Debt and Formation of Responsible Borrower]. *Voprosy ekonomiki*, vol. 3, pp. 28–45.
- Yudin G., Oreshina D. (2016) Daroobmen i reguljatsiya potrebitel'skogo kreditovanija v soobshhestvah: sluchaj pravoslavnih prihodskih obshchin [Gift Exchange and Control of Consumer Credit in Russian Orthodox Communities]. *Sociological Journal*, vol. 22, no 2, pp. 110–134.
- Zabaev I., Zueva A., Koloshenko Y. (2015) Humility and The Gift: The Elective Affinity of Institutions and Ethics in Orthodox Parishes. *Journal of Economic Sociology*, vol. 16, no 5, pp. 118–139.
- Zabaev I., Zueva A., Koloshenko Y. (2018) Smireniye i dar: izbiratel'noye srodstvo institutov i etiki na prikhodakh Russkoy pravoslavnoy tserkvi [Humility and The Gift: The Elective Affinity of Institutions and Ethics in Parishes of Russian Orthodox Church]. *Research Result. Sociology and Management*, vol. 4, no 1, pp. 33–62.

Макс Вебер и модерн XXI века^{*}

Петер Вагнер

Профессор-исследователь Каталонского института высших исследований (ICREA)

Университета Барселоны

Главный научный сотрудник Уральского федерального университета

имени первого Президента России

Адрес: Passeig Lluís Companys, 23, Barcelona, Spain 08010

E-mail: peter.wagner@ub.edu

Олег Кильдюшов
(переводчик)

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

В трудах Макса Вебера довольно запутанным образом одновременно содержатся как общие теоретические рассуждения (включенные сегодня в канон *социологической теории*), так и анализ общественных изменений (в форме *исторической и сравнительно-исторической социологии*), а также размышления о политических событиях — *диагноз и критика эпохи*. Исходя из напряженности между этими аспектами веберовских работ, в статье предпринимается попытка прояснить, как такая сложная комбинация познавательных задач возможна сегодня и на какие барьеры наталкиваются исследователи. На что падает «свет великих культурных проблем», какие элементы прошлого обусловливают настоящее и какие события особенно значимы для понимания той или иной эпохи — вот те вопросы, ответы на которые каждый раз приходится искать заново. Автор при этом опирается на понятие «модерн», вернее, на поле интерпретаций, возникающих вокруг этого термина. Он исходит из предположения, что рассматриваемое поле достаточно широко для того, чтобы с помощью этого понятия объяснить наше настоящее, но в то же время уверен, что для успеха нынешний модерн необходимо подобающим образом соотнести с этим полем — как теоретически, так и исторически, а также в качестве диагноза эпохи.

Ключевые слова: демократия, индивидуализм, капитализм, модерн, рационализм, Макс Вебер

© Wagner P, 2019

© Кильдюшов О. В. (перевод), 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: [10.17323/1728-192X-2019-4-212-230](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2019-4-212-230)

* Данная статья основана на докладе, прочитанном 21 июня 2019 года в НИУ ВШЭ в Москве на международной конференции «Хрупкий модерн в перспективе Макса Вебера: мир и Россия в начале III тысячелетия». Работа над статьей была поддержана РНФ в рамках проекта «Varieties of modernity in the current global context: the role of BRICS and the Global South» (грант № 18-18-00236). Я благодарю участников конференции и сотрудников проекта за их комментарии. Сам текст был написан во время пребывания автора в коллегиуме/исследовательской группе «Будущие устойчивости» в Университете Гамбурга и во многом вдохновлен теми дискуссиями, что велись там.

В следующем году будет отмечаться столетие смерти Макса Вебера, что дает исследователям повод вновь обратиться к его наследию. Развитие «современного капитализма» (Weber, 1904–1905: 5) примерно с 1920 по 1970 год, казалось бы, сначала подтверждало веберовский диагноз. Однако позже, примерно с 1970 года и по настоящий момент, в «современном обществе» (Parsons, 1971) произошли такие серьезные изменения, что, по мнению многих авторов, уже в 1980-е годы возникла необходимость в новой фундаментальной теории.

Концепции вроде «другого модерна» (Beck, 1986) или «нового духа капитализма» (Boltanski, Chiapello, 1999) вызвали большой интерес, но не были приняты единодушно. Таким образом, остается открытым вопрос, можно ли по-прежнему анализировать модерн и капитализм с помощью понятий, разработанных в XIX и начале XX веков и вошедших в канон, или же необходимы новые теоретические перспективы.

Для дальнейшего обсуждения этого вопроса особенно полезно вновь обратиться к трудам Вебера, которые довольно запутанным образом одновременно содержат в себе как общие теоретические рассуждения (включенные сегодня в канон *социологической теории*), так и анализ общественных изменений (в форме *исторической и сравнительно-исторической социологии*), а также размышления о политических событиях — диагноз и критика эпохи. Я не ставлю своей целью определить, какой аспект веберовских работ сегодня все еще релевантен (в целом по этому вопросу см., например: Schwinn, Albert, 2016; Eliaeson, 2017; Filippov, Farkhatdinov, 2019). Напротив, исходя из напряженности между обозначенными выше частями наследия Вебера, в статье будет предпринята попытка понять, как такая сложная комбинация возможна сегодня и на какие барьеры наталкиваются ученые. На что падает «свет великих культурных проблем» (Weber, 1904: 87), какие элементы прошлого обусловливают настоящее и какие события особенно значимы для понимания той или иной эпохи — вот те вопросы, ответы на которые каждый раз приходится искать заново. Ответы, найденные в другой исторической ситуации, в лучшем случае окажутся «ключами», которые можно попытаться использовать, но нельзя быть уверенным в том, что они откроют нам путь к пониманию.

Далее будет предложен такой «ключ» — это понятие «модерн», вернее, то поле интерпретаций, что возникают вокруг этого термина. Я исхожу из предположения, что данное поле достаточно обширно для того, чтобы лучше понять наше настоящее, но в то же время уверен, что для успеха существующий сегодня модерн должен быть соотнесен с этими интерпретациями — теоретически, исторически и в качестве диагноза эпохи. При этом я использую следующую процедуру: прежде всего необходимо выделить элементы того, что можно было бы назвать стандартной теорией или базовым понятием модерна — тем, что применяется как в социологии, так и при самоопределении современных обществ. Работы Вебера можно читать — это следующий шаг — в качестве конституирующего элемента подобной теории. Однако сразу после этого я утверждаю, что возможно и другое прочтение

Вебера, которое скорее с трудом соотносится со стандартной теорией модерна. На этом этапе я буду ссылааться и на современных авторов, следующих, пусть не всегда явно, но по существу, за Вебером. Таким образом я постараюсь обосновать мои выводы относительно настоящего времени. Но прежде в краткой форме поставлю вопрос, что привело к появлению этих «двух Веберов». Ответ следует искать в напряженности между стремлением к теоретической согласованности и контекстуальным пониманием термина. Итак, ключ помещается в понятийное поле таким образом, чтобы открылись пути к теоретическим и историческим выводам, а также к диагностике настоящего.

Базовое понятие модерна

Современные общества — это социальные образования, институционализирующие принципы индивидуальной свободы и целеориентированного действия и тем самым обеспечивающие достижение более высокого уровня развития. Таково понятие модерна, сформировавшееся в качестве ядра самопонимания современности и в течение длительного времени определявшее «макросоциологические» исследования социальных формаций и динамики социальных изменений. Даже сегодня оно отнюдь не исчезло, хотя лишь изредка используется в такой всеобъемлющей формулировке (ср.: Wagner, 2020).

Невозможно утверждать, что понятие «модерн» когда-либо встречало единодушное одобрение. В такой интерпретации оно восходит к дюркгеймианской традиции и в эксплицитной форме было сформулировано уже после Второй мировой войны Толкоттом Парсонсом. Затем это понятие легло в основу теории модернизации, во времена холодной войны ставшей привлекательной альтернативой марксизму-ленинизму, прежде всего в американской социологии, хотя последняя ориентировалась преимущественно на количественные и микросоциологические исследования (Latham, 2003). Даже несмотря на социальные потрясения последних 50 лет, теория модернизации остается удивительно живучей, хотя и кажется сегодня уже не такой целостной. Иногда она именуется неомодернизационной теорией (Wagner, 1996; Knöbl, 2003). Критика в адрес этой теории никогда полностью не стихала (как, например, со стороны социологии конфликтов в 1950-е годы). Но чаще всего именно это базовое понятие модерна и модернизации становилось мишенью для важнейших критических течений, таких как Франкфуртская школа и неомарксизм 1970-х годов, феминизм или постколониализм. Модерн приравнивался к атомистическому индивидуализму, пришедшему на место социальных связей, и к инструментальному разуму как средству господства, заменившему интерпретационные дискуссии об отношениях человека с миром. Легче было критиковать модерн с точки зрения его соответствия реальности, чем исследовать его эмпирически или в сравнительно-исторической перспективе.

Если разделить понятие «модерн» на основные составляющие, то обнаружатся четыре элемента: индивидуализм, рационализм, универсализм и акцент на ана-

лизе институтов. Упоминание индивидуализма здесь может поначалу удивить, поскольку в соответствии с традицией, восходящей к Дюркгейму и Парсонсу, акцент делался скорее на коллективном понятии «общество» (см.: Wagner, 2000). Впрочем, подобные представления остаются в рамках широко понимаемой традиции Просвещения, которая исходит из свободы индивидов и их разумности. У Дюркгейма это проявляется как моральный индивидуализм, а у Парсонса — в мысли, что современные институты означают институционализацию свободы, поскольку выражают нормы, поддерживаемые и разделяемые индивидами посредством социализации. При такого рода социологическом переосмыслении традиции Просвещения рациональность понимается как повышение эффективности общественных институтов, которое исторически достигается путем функциональной дифференциации, осуществляющейся в ходе великих революций эпохи модерна. Благодаря этим достижениям открывается возможность отделить «модерные» общества от домодерных (Parsons, 1964, 1971). Однако последние также стремятся идти по пути более высокой функциональности, в результате чего «модернизация» становится универсальной тенденцией. Модерные и модернирующиеся общества различаются только по уровню развития, на котором они находятся. Наконец, из этого краткого описания понятно, что, хотя стандартная теория модерна исходит из человеческого действия, как, например, в ранней работе Парсонса «Структура социального действия» (Parsons, 1937), все же современные социальные образования отличаются своей институциональной структурой, а не формами действия.

Вклад Вебера в базовое понятие модерна

Ясно, что Макс Вебер внес значительный вклад в формирование базового понятия модерна. Во время «споров о методах» он встал на сторону Карла Менгера и критиковал Историческую школу национальной экономики за недостаточный интерес к прояснению понятий. Он эксплицитно предостерегал от простого перенесения «коллективных понятий» из обыденного языка в общественные науки (Weber, 1904: 85), поэтому его имя сегодня не без основания ассоциируется с формированием «методологического индивидуализма». Кроме того, для него важным был и вопрос о формах «ведения жизни» в современных ему условиях (здесь мы находим отголоски беспокойства Токвилля (Tocqueville, 1835–1840) по поводу порождаемой демократией склонности к конформизму). Такая постановка вопроса, часто обсуждаемого сегодня посредством понятия «личной самореализации», помещает в центр внимания отдельную личность (Honneth, 2004).

Более того, Вебера часто прочитывают так, будто он полагал, что «ведение жизни» становится все более «рациональным». При этом акцент может делаться на том, что люди убеждаются в превосходстве «целерационального действия» над другими формами действия именно благодаря характерной для него более высокой форме рациональности (см. обсуждение: Schluchter 1979; критика: Joas 1986).

И как следствие — вытеснение ценностно-рационального и, тем более, аффективного и традиционного действия. Однако сам Вебер никогда так не формулировал свой тезис об усиливающейся рационализации. Из «Протестантской этики» скорее можно сделать гораздо более конкретный вывод: однажды возникшая социальная этика изменяет условия действия для индивидов таким образом, что одна форма действия получает перед другими настолько явные преимущества, что начинает доминировать. Это изменение может принять столь устойчивую для индивида форму, что не просто влияет, а детерминирует его действие.

Веберовские понятия можно интерпретировать и так: «западный рационализм» (Weber, 1986 [1920]) выражает ориентацию действия, а «современный капитализм» — институциональную форму. Если читать Вебера так, что этика ведет к институциональной трансформации, то его анализ модерна из теории действия превращается в теорию институтов. Из «стального каркаса» (*stahlhartes Gehäuse*)¹ улетучился «дух». Подобное прочтение совпадает с размышлениями Вебера о государстве и бюрократии. Институционализация целей ведет к более высокой общественной рациональности. Амбивалентность взглядов Вебера на модерн сводится к необходимости ограничения индивидуального действия в интересах повышения общественной рациональности.

При таком прочтении рациональность оказывается причиной того, что события, происходящие в западных обществах, получают «универсальное значение»². Другие общества не могут уклониться от этой логики развития, потому что более высокая функциональность не только дает западным обществам конкурентные преимущества, но и улучшает условия жизни в них, делая их более привлекательными.

Прочитанные таким образом, социология Вебера в целом и его анализ социальных изменений и происхождения модерна в особенности полностью совместимы с социологией модернизации в духе Парсонса, ставшей доминирующей в 1960-х годах в США. Действительно, Вебера можно интерпретировать и так, но такое одностороннее прочтение возможно лишь узконаправленно ценой игнорирования нюансов. Далее я постараюсь вернуть эти нюансы и амбивалентность понятия в дискуссию о социальной теории и модерне, то есть связанную с рефлек-

1. Знаменитая веберовская метафора «*stahlhartes Gehäuse*» традиционно переводится на русский как «железная клетка» — явно вслед за Т. Парсонсом (*iron cage*). В статье Д. Ю. Куракина «Символические классификации и „железная клетка“: две перспективы теоретической социологии» предложен другой вариант перевода — «стальной панцирь». См.: https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211858155/4_1_3.pdf. — Прим. пер.

2. Поскольку я к этому еще вернусь, здесь следует полностью процитировать известное высказывание Вебера: «Какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались — по крайней мере, как мы склонны себе представлять — в направлении, получившем универсальный смысл и значимость?» (Weber, 1986 [1920]: 1). [Русский перевод приводится по изданию: Вебер М. Предварительные замечания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. 2006. С. 7. Перевод М. И. Левиной исправлен нами. — Прим. пер.]

сией по поводу трансформации модерна, что велась преимущественно во второй половине XX века.

Мысль Вебера за рамками базового понятия модерна

Хотя Вебер и поместил человеческую личность в центр своей социологии, однако эта веберовская личность имеет мало общего с тем изолированным целерациональным индивидом, который был formalизован в рамках экономической школы предельной полезности и используется сегодня в широко распространявшихся за пределами экономической науки теориях рационального выбора. Сближение позиций Вебера и Менгера в споре о методах скорее объясняется критикой недостаточной рефлексивности Исторической школы, нежели полной приверженностью Вебера индивидуализму новой экономики. Соответственно, типы действия должны рассматриваться не как формы убывающей рациональности, а как проявление множественности интерпретаций ситуации действия. И хотя порой идеи Вебера можно отнести к методологическому индивидуализму, все же плодотворнее рассматривать Вебера как мыслителя, избежавшего противопоставления индивидуализма/атомизма и коллективизма/холизма.

Говоря сегодняшним языком, Вебер скорее относится к традиции реляционной социологии, которая исходным пунктом для себя берет человека в социальных отношениях (см. обзор: Emirbayer, 1997). В таком случае типы действия указывают на формы отношений, которые человек поддерживает с другими людьми. Эта традиция старше, чем само понятие социологии, но ранее была слабо систематизирована и скорее использовалась как аргумент в исторических диагнозах. Например, мысль о том, что расширение коммерческих отношений между людьми делает общества более мирными (Монтескье) и/или более состоятельными (Смит), восходит к XVII и XVIII векам (Hirschman, 1977). Позднее, в XIX веке, в качестве реакции на политическую экономию различие между экономическими и — часто нечетко определенными — иными социальными отношениями стало пограничной линией между способами мышления в социальных науках. При этом все чаще экономические отношения определялись как целерациональные и воспринимались как индивидуалистические. Яркий пример этому дали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 1848 года (Marx, Engels, 1974 [1848]), где писали о распаде всех других социальных отношений, утонувших в «ледяной воде эгоистического расчета».

Хотя интеллектуальный контекст у мысли Вебера и таков, представляется неуместным считать его теоретические построения простым следованием двойной модели: индивидуализации и рационализации. Что касается первого момента, как указывалось ранее, Вебера больше интересовала множественность форм социальных связей, чем их распад. В качестве его последователей можно рассматривать представителей экономической антропологии — например, критику коммодификации у Карла Поланьи (Polanyi, 1944) или концептуализацию обмена дарами

у Марселя Мюсса (Mauss, 2007 [1923–1924]), позже к ним присоединился и Пьер Бурдье (Bourdieu, 1980).

Относительно второго момента новизна работ Вебера заключается не столько в обнаружении или понятийном постижении западного рационализма, сколько в скепсисе по отношению к нему. В своих научных трудах Вебер всегда остается скептиком; именно это вдохновляет его методологические работы. Свою задачу он видит в обнаружении значимых явлений своего времени и понимании причин их возникновения независимо от своего собственного отношения к ним. Однако это не мешает ему давать оценки, которые можно рассматривать как его вклад в проблематизирующую самоинтерпретацию общества — самоинтерпретацию, которая также является легитимной частью понимающей социологии.

Именно в этом духе следует читать знаменитое место в «Протестантской этике», где Вебер размышляет о возвращении к старым идеалам или о появлении новых пророков. Вывод здесь состоит в том, что рациональное овладение [миром] как социальный идеал остается очень хрупким, если это вообще не проявление тенденции к саморазрушению. Вебер-скептик далек от того, чтобы отрицать значение этого идеала, но он предостерегает от его абсолютизации и настаивает на его ограниченности. И в этом отношении можно назвать последователей, которые опять-таки оказываются вне канонизированной традиции социологии как дисциплины. Так, в «Истоках тоталитаризма» Ханна Арендт (Arendt, 1996 [1951]) анализирует национальное государство и капитализм как два основных феномена современных обществ, но показывает, что оба как таковые уже содержат в себе противоречия. Так, требование стабильности политической формы не согласуется с необходимостью неуклонного роста капиталистической экономики. Немного позже Корнелиус Кастроидис (например: Castoriadis, 1991) реконструировал принцип автономии, который находится в центре современного смыслополагания, и одновременно показал, что связанный с автономией принцип рационального контроля проявляется в западных обществах как «псевдорациональное псевдогосподство». В настоящее время веру в возможность контроля как роковую характеристику модерна, видимо, прежде всего идентифицирует экологическая критика.

Но если модерн характеризуется не фактическим господством, а верой в достижимость господства, то как тогда обстоит дело с той «универсальной значимостью», которую Вебер приписывает этому модерну? Несомненно то, что Вебер всегда сохранял определенную дистанцию в отношении того «западного» самопонимания, которое сам же разделял. Об этом свидетельствует знаменитое уточнение «по крайней мере, как мы склонны себе представлять» в широко известном месте в его сочинении. Но, следуя этой релятивизации, было бы излишним утверждать, что для Вебера рационализация посредством современного капитализма и бюрократической организации является всего лишь иллюзией. Парсонс и Хабермас правы, когда признают за Вебером выявление западных институциональных достижений, хотя и игнорируют в своих целях амбивалентность его идей.

Исследовательская программа Вебера в области сравнительной социологии религии делает очевидным и то, и другое одновременно: с одной стороны, он считал необходимым подвергнуть проверке тезис о рационализации, выдвинутый в «Протестантской этике». Он прекрасно понимал, что его гипотеза об избирательном средстве окажется состоятельной только в случае, если будут изучены и другие конstellации этики и рационализма. С другой стороны, его исследовательский дизайн, как сказали бы сегодня, был в высшей степени асимметричным. Он изучал другие мировые религии лишь с точки зрения наличия или отсутствия в них компонентов, которые он обнаружил в протестантизме. Он сделал первый шаг, не сделал обязательного второго. В настящее время это часто и справедливо критикуется. Впрочем, критики порой недооценивают, что он все-таки сделал этот первый значимый шаг, который многие его современники даже не рассматривали. Таким образом, стал возможен следующий шаг, а именно — симметричное сравнение мировых регионов с точки зрения значимости религиозных или вообще космологических ориентаций, формирующих те или иные цивилизации. Этот шаг был сделан Шмуэлем Айзенштадтом (Eisenstadt, 2000), который сознательно шел за Вебером, выдигая исследовательскую программу «множественных модернов» (*multiple modernities*).

Итак, если суммировать вышесказанное, можно утверждать, что самой большой загадкой при интерпретации Вебера является вопрос о том, как в его рассуждениях соотносятся «дух» и «каркас» (*Gehäuse*), этика и институты. Проблема возникает из-за того, что Вебер, с одной стороны, выступает против одностороннего материалистического объяснения истории, подчеркивая важность в социальной жизни мотиваций и интерпретаций, но с другой стороны, делает вывод, что с появлением институтов современного капитализма сформировался «стальной каркас», из которого улетучился «дух» и который детерминирует возможности действий человека. При поверхностном взгляде на работы Вебера его методология — интерпретативная социология — часто отделяется от его исторической социологии — рассмотрения появления современного капитализма, и тем самым проблема как бы снимается. Но все же остается некая странность: нынешняя реальность уклоняется от методологического подхода, который, казалось бы, должен применяться ко всем человеческим обществам.

Для решения этой проблемы необходимо сделать следующее. Поскольку понятие «духа» у Вебера заведомо неясно, оно нуждается в дальнейшем обсуждении. И Йохан Арнасон (Arnason, 2005) недавно напомнил о гегелевском различении абсолютного, объективного и субъективного духа. Под абсолютным духом могут пониматься господствующие мировоззрения — религиозные или иные; объективный дух обнаруживается в институтах; и только субъективный дух охватывает мотивации. В таком случае можно считать, что с точки зрения Вебера форма протестантской этики отложилась в институтах как объективный дух и потому субъективный дух в форме непосредственных мотиваций стал избыточным для современного капитализма.

Другой шаг делают Люк Болтански и Эв Кьяпелло, анализируя исторические трансформации «духа капитализма». В соответствии с тенденциями в новейшей теории общества, например, теории структурации Энтона Гидденса (Giddens, 1984), они исходят из того, что в отличие от материальных зданий социальные институты не терпят пустоты, но всегда каким-то образом должны поддерживаться посредством интерпретаций и мотиваций людей. Иными словами, источник институциональных изменений — в новых интерпретациях значения институтов (см. применение: Sewell, 2005). Заново прочитанные в этой перспективе работы Вебера предполагают не исчезновение всякого «духа» из «стального каркаса», а возникновение нового «второго духа» капитализма, который сменяет «первый» протестантский дух и ведет к возникновению организованного капитализма массового производства и во все большей степени — капитализма массового потребления.

Однако не следует упускать из виду одно значимое прозрение Вебера, для выражения которого необходимо новое понятие. Предполагаемое «бегство духа» можно понять лишь в контексте определенного варианта модерна — варианта, который был и остается «проектом». Он заключается в создании институтов, которые больше не должны опираться на мотивации. Уже Иммануил Кант (Kant, 1795: гл. 8) утверждал, что даже «народ, который состоял бы из дьяволов (если только они обладают рассудком)», мог бы создать государство, а именно — правила и институты, которые соответствовали бы дьявольским мотивациям. В современной политico-философской мысли эту попытку связывают с индивидуалистическим либерализмом, тогда как республиканизм исходит из того, что для создания и сохранения свободной общности всегда необходимы буржуазные добродетели. Говоря языком исторической социологии, в истории последних двух столетий аналогичным образом распознаются попытки создать диспозитивы стабилизации общества, например, посредством процедур социальной статистики и построенных на ней техниках презентации, которые находят практическое применение в системе страхования, в исследованиях потребительского и избирательного поведения, а также в классовом анализе, как, например в разработках Алена Дерозьера (Desrosières, 1993) в связи с идеями Люка Болтански и Лорана Тевено. Статья Вебера об «объективности» в социальных науках может быть прочитана в этом ключе.

Теперь можно констатировать, что это второе прочтение Вебера оказывается чрезвычайно пространным и в некоторых местах противоречит букве его сочинений. Тем не менее я склонен утверждать, что оно ближе «духу» Вебера, чем первое прочтение. Но возможно, что это — бесплодное утверждение, ибо мы вряд ли сможем приблизиться к интенциям Вебера сильнее, чем это уже было сделано за сто лет интерпретаций его работ. Гораздо важнее, на мой взгляд, понимание того, что устарела интерпретация Парсонса, которая не помогает нам понять нынешний модерн, тогда как второе прочтение вполне в состоянии это сделать.

В дальнейшей части моих размышлений я попытаюсь показать, как следует понимать само это расхождение двух трактовок Вебера. Любой текст открыт для

множества интерпретаций, и это тем более верно для столь богатых идеями и прозрениями работ Макса Вебера. Но в данном случае дивергенция постулируется таким образом, что стоит больше задумываться о ее причинах. Кроме того, это следует делать не с целью толкования термина, а для более четкого выявления различий между двумя интерпретациями модерна. Это позволит в заключительной части показать, как Вебер помогает понять модерн XXI века.

Попытка понять «двух Веберов»

Любой социально-научный труд, который — как у Вебера — применяется к реалиям настоящего времени, должен выдерживать напряжение между изменением понятий и диагнозом эпохи. Понятия разрабатываются для того, чтобы соотносить социальные ситуации друг с другом. Без понятий каждая ситуация остается уникальной. Работающие понятия обеспечивают соотнесение, которое, во-первых, понятно людям, переживающим определенную ситуацию, то есть они связаны с их опытом, а во-вторых, они делают эту ситуацию объяснимой и за пределами их опыта, соотнося с ней другие пространственно-временные ситуации. Так, Вебер предложил называть современную ему социальную конstellацию в Германии «современным капитализмом», отождествлять ее с конstellациями в США и Великобритании и отличать от тех, что существовали в более ранние времена и в других регионах мира. Сегодня мы продолжаем в основном соглашаться с этой характеристикой.

Благодаря этому различные социальные ситуации подводятся под одно понятие, и таким образом расширяется их понимание. Но в каждой социальной ситуации есть и нечто уникальное, обнаружение которого может быть ограничено понятийным соотнесением с другими ситуациями. Вебер осознавал эту проблему гораздо лучше, чем другие социальные ученые, о чем и свидетельствуют его так называемые методологические труды. Тем не менее он был убежден — хотя каждый раз и сохранял некоторые сомнения — в том, что происходящие социальные процессы делают возможным и осмыслившим развитие понятий и подведение под них реальности. Последующие размышления должны продемонстрировать, каким образом он мог прийти к такому убеждению.

Вебер был свидетелем превращения США и Германии в ведущие экономические державы. Это означало, во-первых, конец абсолютного господства Англии — события, которое еще можно было анализировать в рамках политической борьбы между европейскими государствами, хотя Англия была первой глобальной державой. Но с возвышением США и Германии произошла экономическая трансформация, которая по своим последствиям должна была быть более значимой для организации общества, чем даже (первая) Промышленная революция, которая запустила весь этот процесс. Гораздо в большей мере, чем Маркс, Вебер мог наблюдать распространение крупных капиталистических предприятий, когда гражданин-предприниматель уступал главную роль менеджеру, а ремесленник — фа-

бричному рабочему. Вебер отправной точкой этого сдвига считал индивидуальное усердие, которое, однако, привело к рационализации, сопровождавшейся созданием крупных бюрократических организаций не только в виде предприятий, но и в форме политических партий, профсоюзов и средств массовой информации в государственном управлении. Это были процессы коллективизации, которые я в другом месте назвал институционализацией «организованного модерна» (Wagner, 1995). И хотя Вебер наблюдал за этим развитием со скепсисом, в то же время у него появилось достаточно поводов считать его «универсально значимым». С одной стороны, возвышение новой организационной формы рассматривалось в качестве парадигмы нового общества: Ленин вслед за Энгельсом считал немецкую почуту образцом социалистической организации; Siemens и AEG разделили между собой европейский рынок электротехнической продукции; инновации Тейлора, а затем Форда превозносились как «белый социализм». С другой стороны, этот исторический момент и был кульминацией территориального освоения планеты европейскими державами. На Берлинской конференции 1884 года они поделили между собой Африку. Погружаясь в исторический контекст, трудно оспаривать правомерность базового понятия модерна, которое в нашем предшествующем изложении во многом соответствует первому прочтению Вебера.

Однако Вебер не поддался искушению взглянуть на модерн, который он наблюдал, как на модель или хотя бы как на нечто долговременное и стабильное. В эту ловушку, как ни парадоксально, попались много десятилетий спустя Толкотт Парсонс и Юрген Хабермас — парадоксально не только потому, что их прочтение отрицает амбивалентность идей Вебера, но и потому, что на образовании понятий у них никак не отразился опыт хрупкости модерна в Европе в первой половине XX века, включавший такие явления, как Русская революция, Великая депрессия, подъем национал-социализма и сталинизма и Вторая мировая война. Вебер на верняка разглядел бы здесь старые идеалы, новых пророков и смещающейся дальше свет культурных проблем. И действительно, были известные попытки включить этот опыт в широко понимаемую историческую политическую социологию. Здесь можно опять-таки лишь упомянуть концепцию Карла Мангейма о фундаментальной демократизации и ее социальных последствиях (Mannheim, 1935), критический анализ коммодификации и социальной реакции на нее у Карла Поланьи и глубокие рассуждения Ханны Арендт об истоках тоталитаризма в империализме и антисемитизме. Но в 1960-е годы ученые предпочитали считать этот опыт оставшимся в прошлом и потому малозначимым для настоящего.

Оглядываясь назад, действительно можно рассматривать 1960-е годы как период глобальной социальной стабильности. Правда, тогда ситуация определялась холодной войной; высадка в заливе Свиней, строительство Берлинской стены и Карибский кризис грозили привести к глобальному военному столкновению. Но пока это удавалось предотвращать, казалось, что на планете установился определенный порядок: «Первый мир» демократического капитализма, «Второй мир» советского социализма и «Третий мир» развивающихся стран. Кроме того, жиз-

ненно необходимая конвергенция между «Первым» и «Вторым» мирами и модернизация мира «Третьего» должны были постепенно ликвидировать существовавшие различия в их общественной организации. Эта точка зрения концептуально подкреплялась тем, что в ней прочно подгонялись друг к другу элементы базового понятия модерна, которые в начале века были слабо взаимосвязаны. Это вынуждало считать хрупкость первой половины века исключением, после ее преодоления якобы снова отчетливо обозначилось «направление развития» — понятие, которым пользовался уже Макс Вебер. Таким образом, от «раннего социального государства» прямой путь ведет нас к «государству всеобщего благосостояния», причем минуя Великую депрессию. А «демократизация» оказывается линейной тенденцией или, в крайнем случае, волновым движением, неизбежно идущим от волны к волне.

Другими словами, теория модернизации 1960-х годов предполагала, что люди наконец согласились на постоянное существование в «стальном каркасе» — вопрос о такой возможности Вебер ставил в эксплицитном виде, но не мог или не хотел дать на него ответа. В его время работа над созданием этого «каркаса» уже шла, были отчетливо видны и его преимущества, но отнюдь не его долговременная стабильность. Вернуться к Веберу в 1960-е годы в контексте американской гегемонии и большого оптимизма по поводу прогресса значит приписать его осторожным понятиям определенную телеологию философии истории, которую вряд ли можно найти у самого Вебера (Wagner, 2015a). Кроме того, это также парадоксальным образом означало, что эта телеология имеет лишь скачкообразную природу и обусловлена обстоятельствами. В рамках этих предположений казалось возможным, как отмечалось ранее, прочно поместить «современный капитализм» в рамки базового понятия модерна.

Модерн XXI века

Однако с уходом XX века это уже невозможно. С 1970-х годов увеличивалось число наблюдений, подтверждавших, что «модерн» переживает еще больший социальный кризис. Но именно это не предусматривалось базовым понятием модерна: ведь вместе с модернностью (Modernität) как бы достигалась высшая и в будущем неизменная форма социальной организации. Таким образом, тот, кто разделял мнение о больших изменениях, обязан был переинтерпретировать и само понятие. Компромиссом могло стать предположение, что классический, или «первый» модерн вполне точно характеризовался базовым понятием, но теперь его необходимо переосмыслить. Более радикальный подход требовал поставить под сомнение адекватность базового понятия даже для прошлого модерна.

Многие согласны с тем, что институциональный «каркас» организованного модерна находится в процессе разрушения самое позднее с 1980-х годов. Конец советского социализма можно считать событием, наиболее ярко воплощающим эту деинституционализацию. Но и в целом резко снизилась согласованность — эконо-

мических, политических, культурных — институциональных форм, которая, хотя и никогда не достигалась полностью, все же была чем-то большим, чем просто фикцией организованного модерна (Wagner, 1996b). Все дискуссии об упадке национального государства, экономическом deregулировании или же о фрагментированном Я и текучей идентичности указывают на одно и то же. В 1990-х годах эти тенденции тематизировались в социологии, а также в публичных дискуссиях посредством двойной модели индивидуализации и глобализации (см. обзор: Wagner, 2010a). В своей сильной форме эта концепция утверждала, что мы по всему миру движемся к ситуации, когда все люди окажутся индивидуальными существами, чьи отношения с другими людьми сплошь опутывают всю планету.

Хотя с начала XXI века эта двойная модель все больше теряла свою убедительность, ее до сих пор так и не заменил какой-либо более адекватный социологический диагноз эпохи, так что она остается фоном для теоретических усилий, направленных на выработку такового. Легко выделить направления развития мысли, которые кратко обсудим здесь в веберовской перспективе.

Первое — неомодернизационная теория, которая опирается на двойную модель индивидуализации и глобализации. Глобализация рассматривается здесь как подтверждение «универсальной значимости» тех процессов, которые когда-то были запущены в Европе. Отсутствие прочных связей с другими людьми опять-таки считается подтверждением индивидуализма и рационализма, но теперь уже в форме преобладания индивидуальной целерациональности как мотивации поведения. В одной из своих работ я описал это самопонимание как забвение исторического времени и нагруженного смыслом пространства (Wagner, 2018). Индивиды не видят ничего за пределами времени своей собственной жизни и следуют своим предпочтениям, воздерживаясь от пространственно структурированных социальных отношений. Часто это считается новым этапом процесса освобождения. Если в парсонсовской интерпретации классической социологии институты современного общества были именно теми сосудами, которые обеспечивали возможность свободного действия, то теперь они рассматриваются как тюрьмы, из которых индивиды должны освободиться. Упускается из виду, что именно отсутствие нагруженных смыслом институтов, то есть «каркаса», делает «неизбежными» индивидуалистически-рационалистические формы поведения.

И здесь становится очевидной необходимость уточнения понятия «дух». Одновременная тенденция к индивидуализации и глобализации ослабляет или даже разрушает институты как «отложения» интерпретаций — институты как объективный дух — и внушает нам, что они больше не нужны, тогда как субъективный дух выражает себя как мотивацию к преследованию индивидуальных целей, создавая тем самым новую и более радикальную форму бездуховности, чем та, которую диагностировал Вебер, — напоминающую дюркгеймовское понятие аномии.

Сегодня, спустя четверть века после появления двойной модели индивидуализации и глобализации, эти тенденции, с одной стороны, остаются заметными, но, с другой стороны, фиксируют и реакции на такую «бездуховность» в виде воз-

вращения к «старым идеалам». Так, связь национализма или религиозного фундаментализма — иногда сочетание обоих — с политическим авторитаризмом может быть понята как попытка воссоздания значимых институтов в ответ на забвение исторического времени и значимого пространства. Поскольку сегодня мы уже не так, как сто лет назад, убеждены в том, что история человечества имеет «направление развития», мы не можем просто квалифицировать подобные попытки как обращенные назад. Однако на фоне истории XIX и XX веков можем констатировать, что, учитывая исторически сложившееся взаимовлияние обществ, проведение четких и труднопреодолимых экономических, культурных и политических границ ведет скорее к игнорированию проблем, которые человечество создало себе в этот период.

Модерн XXI века и Макс Вебер

В заключение я хотел бы кратко продемонстрировать, как мысль Вебера при втором прочтении может помочь нам понять модерн XXI века. Для этого мы можем начать с теории множественных модернов. Как упоминалось выше, Шмуэль Айзенштадт при разработке этого подхода опирается на сравнительную социологию религии Вебера. Иными словами, речь пойдет об интерпретативной социологии, которая при постижении социальных констелляций исходит из самопонимания людей. Как и у Вебера, здесь присутствует интерес к сравнительному изучению глобальной ситуации по регионам мира. Сопоставимое с веберовским, но выходящее за его пределы сравнение строится симметрично: не только в других местах ищется нечто, характеризующее Запад, но и открывается перспектива для различия трех значений понятия «дух».

Очевидно, что здесь речь идет о слабом универсализме, который создает понятийную основу для понимания всех социальных констелляций и, опираясь на нее, проводит глобальный сравнительный анализ интерпретативного многообразия социального самопонимания (см.: Wagner, 2015b). Выходя за рамки подхода Айзенштадта, следует отказаться от представления об устойчивых пространственно-временных контейнерах, вмещающих различные виды культурного самопонимания, и учитывать как пространственное переплетение образцов интерпретации, так и их трансформации с течением времени (Randeria, 1999; Wagner, 2010b). Преобладающая в том или ином регионе интерпретация модерна всегда оказывается результатом исторического опыта и его интерпретации. Подобный подход может помочь понять расширение некоторых видов социального самопонимания, вплоть до глобального распространения, а также формирование его новых региональных вариантов: например, процессы самопонимания в Южной Африке после отмены апартеида, в Бразилии после окончания военной диктатуры или в России после распада Советского Союза. Создание объединения БРИКС опять-таки является попыткой связать между собой такие процессы переинтерпретации.

При этом, конечно, следует иметь в виду пределы таких процессов самопонимания. Как указывалось выше, в нынешнем глобальном контексте они протекают между двумя крайностями: с одной стороны, это окончательное преобладание комбинации индивидуализма и целерациональности, с другой — ограничение взаимопонимания посредством авторитарных мер и закрытости от глобальных коммуникационных процессов. Обе эти крайности обладают большой привлекательностью для господствующих групп и поддерживаются ими из инструментальных властных соображений во многих регионах мира. Но везде есть и значимые попытки пройти между этими крайностями. Тогда это приводит, с одной стороны, к отказу от радикального индивидуализма, укреплению социальных связей и созданию новых форм солидарности, а с другой стороны, к отказу от мифа о достижимости контроля, характерного для модерна, и к пониманию как возможностей, так и пределов человеческого действия. Оба элемента необходимы для того, чтобы прийти к адекватному пониманию наиболее острых в настоящее время глобальных проблем, а именно — глобальной социальной и глобальной экологической справедливости.

Глобальное социальное неравенство и эксплуатация природных ресурсов планеты являются следствием колониализма и индустриализма, которые нашли отражение в попытке Вебера понять особенности западного рационализма. К началу XXI века накопилось столько последствий этого модерна, что возникла насущная потребность в новом его понимании. Мы попытались показать, что интуиции Вебера при их нюансированном прочтении могут быть по-прежнему полезны для выработки такого понимания.

Литература

- Arendt H. (1955). *Elemente und Ursprünge der totalitären Herrschaft*, München: Piper.
- Arnason J. (2005). The Varieties of Accumulation: Civilizational Perspectives on Capitalism // Joerges C., Strath B., Wagner P. (eds.). *The Economy as a Polity: The Political Constitution of Contemporary Capitalism*. L.: UCL Press. P. 17–36.
- Arnason J. (2015). The Imaginary Dimensions of Modernity: Beyond Marx and Weber // Social Imaginaries. Bd. 1. H. 1. P. 135–149.
- Beck U. (1986). *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Boltanski L., Chiapello È. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.
- Bourdieu P. (1980). *Le sens pratique*. Paris: Minuit.
- Castoriadis C. (1991). *Philosophy, Politics, Autonomy*. Oxford: Oxford University Press.
- Desrosières A. (1995). *La politique des grands nombres: histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte.
- Eisenstadt S. N. (2000). Multiple Modernities // *Daedalus*. Bd. 129. H. 1. P. 1–29.
- Eliaeson S. (2017). Historical Paths and Intellectual Projects: The Case of Max Weber // *Historická Sociologie*. Vol. 1. P. 19–38.

- Emirbayer M.* (1997). Manifesto for a Relational Sociology // *American Journal of Sociology*. Vol. 103. № 2. P. 281–317.
- Filippov A., Farkhatdinov N.* (2019). Sociology of Max Weber in the 21st Century: From Reception to Actualization // *Russian Sociological Review*. Vol. 18. № 2. P. 9–15.
- Giddens A.* (1984). *The Constitution of Society: A Theory of Structuration*. Cambridge: Polity.
- Hirschman A.* (1977). *The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph*. Princeton: Princeton University Press.
- Honneth A.* (2004). Organized Self-Realization: Some Paradoxes of Individualization // *European Journal of Social Theory*. Vol. 7. № 4. P. 463–478.
- Joas H.* (1996). *Die Kreativität des Handelns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kant I.* (1795). *Zum Ewigen Frieden*. URL: <https://gutenberg.spiegel.de/buch/zum-ewigen-frieden-8301/8> (дата доступа: 31.10.2019).
- Knöbl W.* (2003). Theories that won't Pass Away: The Never-Ending Story of Modernization Theory // *Delanty G., Isin E. F.* (eds.). *Handbook of Historical Sociology*. L.: Routledge. P. 96–107.
- Latham M. E.* (2003). Modernization // *Porter T.* (ed.). *The Modern Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 721–734.
- Mannheim K.* (1935). *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus*. Leiden: Sijthoff.
- Marx K., Engels F.* (1974 [1848]). *Manifest der Kommunistischen Partei* // *Marx K., Engels F.* Werke. Bd. 4. Berlin: Dietz. P. 459–493.
- Mauss M.* (2007 [1923–1924]). *Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés primitives*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Parsons T.* (1937). *The Structure of Social Action*. N. Y.: McGraw-Hill.
- Parsons T.* (1964). Evolutionary Universals in Society // *American Sociological Review*. Vol. 29. № 3. P. 339–357.
- Parsons T.* (1971). *The System of Modern Societies*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Polanyi K.* (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. N. Y.: Farrar & Rinehart.
- Randeria S.* (1999). Geteilte Geschichte und verwobene Moderne // *Rüsén J., Leitgeb H., Jegeleka N.* (Hg.). *Zukunftsentwürfe: Ideen für eine Kultur der Veränderung*. Frankfurt am Main: Campus. P. 87–96.
- Schluchter W.* (1979). Die Entwicklung des okzidental Rationalismus: Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte. Tübingen: Mohr-Siebeck.
- Schwinn T., Albert G.* (Hg.). (2016). *Alte Begriffe — Neue Probleme: Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen*. Tübingen: Mohr-Siebeck.
- Sewell Jr. W. H.* (2005). Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bastille // *Sewell Jr. W. H.* *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*. Chicago: University of Chicago Press. P. 225–270.
- Tocqueville A. de* (1835–1840). *De la démocratie en Amérique*. Paris: Gosselin.
- Wagner P.* (1995). *Soziologie der Moderne: Freiheit und Disziplin*. Frankfurt am Main: Campus.

- Wagner P. (1996a). Über den Westen wenig Neues: Soziologische Theorien sozialen Wandels und der Moderne // *Berliner Journal für Soziologie*. Bd. 6. H. 3. P. 419–427.
- Wagner P. (1996b). Crises of Modernity: Political Sociology in Historical Contexts // Turner S. P. (ed.). *Social Theory and Sociology: The Classics and Beyond*. Cambridge: Basil Blackwell. P. 97–115.
- Wagner P. (2000). An Entirely New Object of Consciousness, of Volition, of Thought: The Coming into Being and (almost) Passing Away of «Society» as an Object of the Social Sciences // Daston L. (ed.). *Biographies of Scientific Objects*. Chicago: University of Chicago Press. P. 132–157.
- Wagner P. (2010). The Future of Sociology: Understanding the Transformations of the Social // Crothers Ch. (ed.). *Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology*. Vol. 1. Paris: UNESCO. P. 205–225.
- Wagner P. (2015a). Autonomy in History: Teleology in Nineteenth-Century European Social and Political Thought // Trüper H., Chakrabarty D., Subrahmanjan S. (eds.). *Historical Teleologies in the Modern World*. L.: Bloomsbury. P. 323–338.
- Wagner P. (2015b). Interpreting the Present // *Social Imaginaries*. Vol. 1. № 1. P. 105–129.
- Wagner P. (2018). *Fortschritt: Zur Erneuerung einer Idee*. Frankfurt am Main: Campus.
- Wagner P. (2020). Modernity // Kivisto P. (ed.). *Cambridge Handbook of Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. (In press)
- Weber M. (1904). Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*. Bd. 19. H. 1. P. 22–87.
- Weber M. (1904–1905). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*. Bd. 20. H. 1. P. 1–54; Bd. 21. H. 1. P. 1–10.
- Weber M. (1986 [1920]). *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*. Tübingen: Mohr-Siebeck.

Max Weber and 21st-Century Modern

Peter Wagner

Professor, Institutó Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Universitat de Barcelona
Chief Research Fellow, Ural Federal University

Address: Passeig Lluís Companys, 23, Barcelona, Spain 08010
E-mail: peter.wagner@ub.edu

Oleg Kildyushov (translator)

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str, 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

In a rather complicated manner, Max Weber's writings contain general theoretical reflections that are now incorporated in the canon of sociological theory, in the analyses of social change in the form of historical and comparative sociology, and in reflections on political events, all in the guise of the diagnosis and critique of his own historical age. This article attempts to draw conclusions from the tensions between these aspects in Weber's work by trying to discover how such a sophisticated combination of cognitive goals is possible today, and what limits it encounters. What the "light of great cultural problems" falls upon, what elements of the past determine the present, and what events are particularly important for understanding of a certain age are questions whose answers must regularly be sought anew. The author relies on the concept of "modernity", or rather, on the field of interpretation arising around this term. He assumes that the given field is wide enough to better understand our present condition by means of this term. In the meantime, the author believes that for this understanding to be successful, present-day modernity must be appropriately positioned in this field theoretically, historically, and as the diagnosis of our age.

Keywords: democracy, individualism, capitalism, modernity, rationalism, Max Weber

References

- Arendt H. (1955) *Elemente und Ursprünge der totalitären Herrschaft*, München: Piper.
- Arnason J. (2005) The Varieties of Accumulation: Civilizational Perspectives on Capitalism. *The Economy as a Polity: The Political Constitution of Contemporary Capitalism* (eds. C. Joerges, B. Strath, P. Wagner), London, UCL Press, pp. 17–36.
- Arnason J. (2015) The Imaginary Dimensions of Modernity: Beyond Marx and Weber. *Social Imaginaries*, vol. 1, no 1, pp. 135–149.
- Beck U. (1986) *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Boltanski L., Chiapello È. (1999) *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris: Gallimard.
- Bourdieu P. (1980) *Le sens pratique*, Paris: Minuit.
- Castoriadis C. (1991) *Philosophy, Politics, Autonomy*, Oxford: Oxford University Press.
- Desrosières A. (1995) *La politique des grands nombres: histoire de la raison statistique*, Paris: La Découverte.
- Eisenstadt S. N. (2000) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Eliaeson S. (2017) Historical Paths and Intellectual Projects: The Case of Max Weber. *Historická Sociologie*, vol. 1, pp. 19–38.
- Emirbayer M. (1997) Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*, vol. 103, no 2, pp. 281–317.
- Filippov A., Farkhatdinov N. (2019) Sociology of Max Weber in the 21st Century: From Reception to Actualization. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 2, pp. 9–15.
- Giddens A. (1984) *The Constitution of Society: A Theory of Structuration*, Cambridge: Polity.
- Hirschman A. (1977) *The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph*, Princeton: Princeton University Press.
- Honneth A. (2004) Organized Self-Realization: Some Paradoxes of Individualization. *European Journal of Social Theory*, vol. 7, no 4, pp. 463–478.
- Joas H. (1996) *Die Kreativität des Handelns*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kant I. (1795) *Zum Ewigen Frieden*. Available at: <https://gutenberg.spiegel.de/buch/zum-ewigen-frieden-8301/8> (accessed 31 October 2019).
- Knöbl W. (2003) Theories that won't Pass Away: The Never-Ending Story of Modernization Theory. *Handbook of Historical Sociology* (eds. G. Delanty, E. F. Isin), London: Routledge, pp. 96–107.
- Latham M. E. (2003) Modernization. *The Modern Social Sciences* (ed. T. Porter), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 721–734.
- Mannheim K. (1935) *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus*, Leiden: Sijthoff.
- Marx K., Engels F. (1974 [1848]) Manifest der Kommunistischen Partei. *Werke*, Vol. 4, Berlin: Dietz, pp. 459–493.

- Mauss M. (2007 [1923–1924]) *Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés primitives*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Parsons T. (1937) *The Structure of Social Action*, New York: McGraw-Hill.
- Parsons T. (1964) Evolutionary Universals in Society. *American Sociological Review*, vol. 29, no 3, pp. 339–357.
- Parsons T. (1971) *The System of Modern Societies*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Polanyi K. (1944) *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, New York: Farrar & Rinehart.
- Randeria S. (1999) Geteilte Geschichte und verwobene Moderne. *Zukunftsentwürfe: Ideen für eine Kultur der Veränderung* (eds. J. Rüsen, H. Leitgeb, N. Jegelka), Frankfurt am Main: Campus, pp. 87–96.
- Schluchter W. (1979) *Die Entwicklung des okzidental Rationalismus: Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte*, Tübingen: Mohr-Siebeck.
- Schwinn T., Albert G. (eds.) (2016) *Alte Begriffe — Neue Probleme: Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen*, Tübingen: Mohr-Siebeck.
- Sewell Jr W. H. (2005) Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bastille. *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 225–270.
- Tocqueville A. de (1835–1840) *De la démocratie en Amérique*, Paris: Gosselin.
- Wagner P. (1995) *Soziologie der Moderne: Freiheit und Disziplin*, Frankfurt am Main: Campus.
- Wagner P. (1996) Über den Westen wenig Neues: Soziologische Theorien sozialen Wandels und der Moderne. *Berliner Journal für Soziologie*, vol. 6, no 3, pp. 419–427.
- Wagner P. (1996) Crises of Modernity: Political Sociology in Historical Contexts. *Social Theory and Sociology: The Classics and Beyond* (ed. S. P. Turner), Cambridge: Basil Blackwell, pp. 97–115.
- Wagner P. (2000) An Entirely New Object of Consciousness, of Volition, of Thought: The Coming into Being and (almost) Passing Away of "Society" as an Object of the Social Sciences. *Biographies of Scientific Objects* (ed. L. Daston), Chicago: University of Chicago Press, pp. 132–157.
- Wagner P. (2010) The Future of Sociology: Understanding the Transformations of the Social. *Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology* (ed. Ch. Crothers), Paris: UNESCO, pp. 205–225.
- Wagner P. (2015) Autonomy in History: Teleology in Nineteenth-Century European Social and Political Thought. *Historical Teleologies in the Modern World* (eds. H. Trüper, D. Chakrabarty, S. Subrahmanjan), London: Bloomsbury, pp. 323–338.
- Wagner P. (2015) Interpreting the Present. *Social Imaginaries*, vol. 1, no 1, pp. 105–129.
- Wagner P. (2018) *Fortschritt: Zur Erneuerung einer Idee*, Frankfurt am Main: Campus.
- Wagner P. (2020) Modernity. *Cambridge Handbook of Social Theory* (ed. P. Kivisto), Cambridge: Cambridge University Press. (In press)
- Weber M. (1904). Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 19, no 1, pp. 22–87.
- Weber M. (1904–1905) Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*, vol. 20, no 1, pp. 1–54; vol. 21, no 1, pp. 1–10.
- Weber M. (1986 [1920]) *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen: Mohr-Siebeck.

Спиритуалистическая этика и новый дух капитализма*

Михаил Добровольский

Аспирант аспирантской школы по философии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российской Федерации 101000

E-mail: mdobrster@gmail.com

Объектом исследования в настоящей статье являются нетрадиционные спиритуалистические практики (Holistic/New Age Spirituality), которые в условиях (пост)секулярного мира видятся в качестве современного аналога протестантизма в том смысле, в котором его понимал Макс Вебер, а именно как идеологической основы (позднего) капитализма. В работе анализируются типичные проявления модерна как «текущей современности», для которой характерно ощущение тотальной нестабильности, проявляющееся как на уровне индивида (усложнение рынка труда, переход от постоянной занятости к временной), так и бизнеса (обострение конкуренции и борьба за клиента в условиях потребительской экономики). В качестве ответа на подобный вызов модерна выступает спиритуализм, который в условиях сокращающегося пространства публичной активности играет роль новой повседневной идеологии, прославляющей самость (Self). На уровне индивида сакрализация самости и связанный с ней кульп саморазвития не только помогают справиться с экзистенциальной тревогой в условиях неопределенности, но и конструируют новую поведенческую этику, предполагающую понимаемые максимально широко «инвестиции в себя». На уровне современного бизнеса, страдающего от той же неопределенности, спиритуализм способствует решению проблемы адаптации к постоянным переменам и связанному с ними постоянному же движению. Представитель высшего менеджмента превращается в «спиритуалистического лидера» — визионера, думающего не только о прибыли, сколько о развитии и творении нового, и вдохновляющего сотрудников на постоянную креативную активность. Таким образом, если изначальной целью веберовского протестантизма было посмертное спасение души, то основной целью «посюстороннего» спиритуализма является развитие личности, которая в условиях нестабильности оказывается единственным по-настоящему ценным активом.

Ключевые слова: протестантская этика, нью-эйдж, поздний капитализм, самость, неопределенность

Идея «расколдовывания» мира, предложенная Максом Вебером более ста лет назад, во второй половине XX века встречает все больше прямых или косвенных возражений. С одной стороны, это возросшая критика модерна как некоего универсального мирового проекта. С другой — утверждения о новом «заколдовы-

© Добровольский М. В., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-231-262

* В данной работе использованы результаты проекта «Между политической теологией и экспрессивным символизмом: дискурсивные формации позднего модерна как вызов социальному порядку», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году.

вании» (re-enchantment) Запада воспринимаются зачастую уже практически словно, как, например, в работе Кристофера Партиджа, посвященной феномену, названному автором «оккультурой» (Partridge, 2007).

Как отмечают многие исследователи, разрушение традиционной социальной организации, которая заменяется новым «множеством» (Вирно, 2015), или созданием трайбалистских структур, приводит к ситуации, когда «для массы, преломляющейся в племена и для племен, сливающихся в массы», наиболее распространенным «ингредиентом» становится разделяемая всеми чувствительность, или эмоция (Maffesoli, 1996: 28), а не логическое и рациональное поведение.

Как минимум частичному пересмотру веберовского наследия может способствовать и крайне популярный в последние десятилетия концепт постсекулярного мира, оказавшийся чрезвычайно востребованным как на Западе, так и в России (Узланер, 2008). Как отмечает в этой связи Питер Бергер, «сама по себе современность (modernity) не порождает секуляризацию... но она обязательно порождает плюрализм» (Berger, 2012: 9). Основные принципы секуляризации подвергаются сомнению в связи с очевидным глобальным ростом религиозности в мире, на который обращают внимание не только религиоведы и социологи религии. Например, по мнению Юргена Хабермаса, постсекулярный мир должен предоставлять больше возможностей для политического и социального диалога между представителями религиозных и секулярных сообществ (Habermas, 2006).

Противники теории секуляризации в качестве одного из контраргументов указывают в том числе и на современный спиритуализм (в иной терминологии — «холистический спиритуализм» (holistic spirituality), «нью-эйджевский спиритуализм» (New Age Spirituality) и т. д.¹). В частности, согласно Полу Хиласу, в случае со спиритуализмом мы наблюдаем лишь замену традиционной европейской религиозности, представляющую собой религию как образ жизни (Life as Religion). «Антисекуляристы» говорят также о специфическом типе внутренней религиозности

1. Термин «спиритуализм» (Spirituality) по отношению к массовой повседневной эклектической нетрадиционной религиозности, проявляющейся в том числе в интересе к ориентальным «духовным» практикам (йога, медитация, рейки, боевые искусства и т. д.), европейскому мистицизму, парapsихологии и т. д., начинает активно употребляться в западной академической традиции на рубеже 1990-х и 2000-х годов. В частности, для литературы более раннего периода характерно использование понятий «движение нью-эйдж» или «религия нью-эйдж». Тенденция хорошо прослеживается даже по названиям работ таких признанных авторитетов в этой области, как Воутер Ханеграаф и Пол Хилас. Например, *opus magnum* Ханеграафа назывался «Религия нью-эйдж и западная культура: эзотеризм через призму секулярной мысли» (Hanegraaff, 1996), в то время как уже через несколько лет он выпустил статью под названием «Нью-эйджевский спиритуализм как секулярная религия: историческая перспектива» (Hanegraaff, 1999). Хилас, в свою очередь, сначала издал работу «Движение нью-эйдж» (Heelas, 1996), а через десять лет в совместной книге с Линдой Вудхед уже написал про «холистическую спиритуальность (holistic spirituality), ранее известную как нью-эйдж» (Heelas, Woodhead 2005: 18). Однако термин «нью-эйдж» продолжает использоваться как в текстах, посвященных истории движения (Sutcliffe, 2002), так и в более современных работах (Redden, 2011; Hammer 2010; Zandbergen, 2010). В настоящей статье «нью-эйдж», «спиритуализм» и New Age Spirituality употребляются как синонимы. Следует также упомянуть Адама Помсами, предложившего вместо устаревшего, по его мнению, «нью-эйдж» использовать термин «перенензим» (Possamai, 2001, 2003).

в духе «невидимой религии» Томаса Лукмана, которую называют «субъективной спиритуальностью» (Subjective Life Spirituality) (Heelas, Woodhead, 2005; Heelas, 2007). Сразу отметим иную точку зрения на спиритуализм, упомянув коллегу и давнего оппонента Хиласа — Стива Брюса, автора работ с такими говорящими названиями, как «Бог мертв» (Bruce, 2002) и «Секуляризация: в защиту одной немодной теории» (Bruce, 2011), утверждающего, что спиритуализм — лишь манифестация разрушения традиционной религиозности, а сам современный массовый нью-эйдж — только «культура и среда».

Позицию Брюса прямо или косвенно разделяют и некоторые другие ученые. Так, авторы масштабного британского исследовательского проекта «Понимая неверие» (Understanding the Unbelief), представляя его результаты на сайте университета Кента, говорят, помимо прочего, о том, что количество нетеистов (non-theists) и агностиков в Великобритании больше, чем теистов: «...это „неверие“ объединено с квазирелигиозными убеждениями, такими как теории заговора, а также с распространенной верой в медитацию осознанности (mindfulness) в качестве спиритуалистической техники, направленной на улучшение социальных эмоций (таких как эмпатия и сострадание) и поведения»².

Как минимум, внешне современный спиритуализм довольно сильно отличается как от западных, так и от ориентальных религиозных традиций, и в целом может быть назван проявлением того, что Роберто Киприани (упоминающий именно в этом контексте спиритуализм и новые религиозные движения) назвал современной «диффузной религией» (Cipriani, 2017: 86), а Томас Лукман — «невидимой религией» (Luckmann, 1967).

Вне зависимости от действительной роли спиритуализма в процессе секуляризации (который не является предметом исследования в настоящей статье), он все более становится важным фактором, формирующим культурный ландшафт современного постиндустриального мира, и как массовое культурное явление представляет собой феномен именно позднего модерна (Lyotard, 1993).

Наиболее важной внешней его особенностью можно назвать полное отсутствие каких-либо вертикальных организационных структур, а также бесконечную эклектику. New Age Spirituality — часть сложной и взаимообусловленной, «ризоматичной» повседневности именно позднего модерна (или постмодерна), «текущей современности». Проявляется же он в виде набора неиерархических учений, содержание которых, по признанию Воутера Ханеграафа, «чрезмерно расплывчато» (Hanegraaff, 1996: 1), с трудом поддается какой-либо классификации, так что исследователям часто приходится лишь констатировать, что оно сводится к «огромному количеству идей и практик» (Davie, 1994: 108), или просто долго перечислять их особенности, как это делает Невилл Драри: «Нью-эйдж является спиритуалистическим движением, направляемым западной и восточной спиритуалистической и метафизической традициями, которые вдохновляются мотивационной психо-

2. <https://research.kent.ac.uk/understandingunbelief/research/adac/>

логией, холистической медициной, парапсихологией, исследованиями сознания и квантовой физикой» (Drury, 2004: 10).

Конкретный пример подобной эклектики приводит американский исследователь Уэйд Кларк Роф, описывая высказывания одной из своих респонденток, называвшей себя «секулярной иудейкой»:

...она использовала совершенно разнообразную религиозную терминологию: иудейскую, буддийскую, Стар Трека, нью-эйджевскую. Она передвигалась через конвенциональные религиозные границы с большой легкостью, не особенно пытаясь ни смешать их, ни понять схожесть и различие религий. Она говорила про «внутреннюю силу», «бога внутри», «энергии», «чакры», «архетипы» и даже про «Бога еврейского народа». Не особенно заботясь о том, что это совершенно различные онтологические реальности. (Roof, 2001: 32)

Характерно, что такая эклектика присуща не только людям, не имеющим четкой конфессиональной идентификации, но даже adeptам традиционных христианских деноминаций. Согласно данным опросов, в начале 2000-х годов в США 24% прихожан читали гороскопы каждую неделю, 20% верили в реинкарнацию и 11% — в ченнелинг, то есть коммуникацию с внечеловеческим разумом. Большинство из них в то же время придерживаются «как минимум одного метафизического верования» (Fuller, 2001: 69).

Активные сторонники спиритуализма зачастую описывают традиционную организованную религию как нечто принципиально негативное, сама она периодически называется даже «силой зла» (Bowman, 2000: 9). Отторгаются, по сути, базовые как религиозные, так и традиционно научные правила и законы, тогда как в основу процесса познания ставится индивидуальный опыт практикующего (Hammer, 2010). Типичный нью-эйджер — это «искатель» (seeker), «в отличие от классических для англо-американской религии ролей, таких как член (member), „причащающийся“ (communicant), „прихожанин“ (congregant), „обращенный“ (convert)» (Sutcliffe, 2002: 200). Само словосочетание spiritual seekers часто используется в литературе без какой-либо дальнейшей конкретизации (напр.: Albanese, 2007: 497).

Но проблема не только в отрицании конвенциональной религии, но и в отсутствии четкой самоидентификации. Подавляющее большинство тех, кто так или иначе может быть отнесен к активным сторонникам спиритуалистической идеологии или членам так называемой холистической среды (holistic milieu), в принципе отторгают какие-либо четкие определения, в том числе термины «ню-эйдж» или «ню-эйджер» (Sutcliffe, 2002: 197; Possamai, 2003).

Религиозная и идеологическая эклектика, то есть произвольное смешение совершенно различных ингредиентов в дискурсе сторонников нью-эйджа, с одной стороны, заставляла исследователей искать идеологические корни современного спиритуализма в предшествующей интеллектуальной истории, а с другой — сфор-

мировало у части научного сообщества представление о том, что само по себе это явление по сути не представляет собой ничего принципиально нового. Например, редакторы сборника «За пределами нью-эйдж: исследуя альтернативную спиритуальность» британцы Стивен Сатклифф и Мэрион Боуман в предисловии пишут буквально следующее: «В современном спиритуализме есть совсем немного вещей, которые уже не были бы представлены и доступны в 1920-е, 1930-е, в Эдвардианскую эпоху, в период *fin-de-siecle* или даже ранее» (Sutcliffe, Bowman, 2000: 4).

Говоря о корнях современного спиритуализма, американские авторы в основном фокусируются на традиционных для Северной Америки парахристианских течениях, таких как изобретенное Финеасом Куимби «новое мышление» (New Thought) и возникшая на его основе «христианская наука», в идеологии которых значительную роль играли такие действительно важные для современного спиритуализма идеи, как религиозный эклектизм, позитивное мышление, оккультизм и самоисцеление (Albanese, 2007; Tumber, 2002). Влияние «нового мышления» на становление нью-эйджа отмечают и европейские авторы, например, Вутер Ханеграаф (Hanegraaff, 1996: 518).

Европейские (преимущественно британские) исследователи, в свою очередь, особый акцент делают на локальной романтической традиции, эзотерических и оккультных учениях конца XIX — начала XX века (Heelas, 2007), в первую очередь идеях «теософского общества» (Tingay, 2000: 37) и т. д.

Кроме того, если в континентальной Европе, Великобритании и ее бывших переселенческих колониях нью-эйдж воспринимается в большей степени как транснациональное религиозное и культурное явление, то в США — общество с гораздо меньшим влиянием секуляризации — в качестве лишь одного из проявлений локальной «американской» или «метафизической религии», манифестацией «нецерковной» (unchurched) Америки (Fuller, 2001). Здесь, безусловно, стоит вспомнить такие традиционные для североамериканской мысли идеи, прославляющие ее «религиозную исключительность», как концепция религиозного рынка, в рамках которой спиритуализм может восприниматься, по сути, лишь как одно из проявлений этого рынка, то есть новый, возможно, более привлекательный для публики товар на полках гигантского религиозного супермаркета.

Безусловно, с точки зрения конкретных идеологических и интеллектуальных феноменов можно говорить о различии корней исключительно американского и британского нью-эйджа. Однако в настоящий момент New Age Spirituality скорее превратилось уже в транснациональное, глобализованное движение, имеющее «глобализованную», национальную специфику, которая влияет на формы манифестации спиритуализма в тех или иных регионах планеты, но никак не на его универсальную сущность в качестве феномена позднего модерна, «явно современного в своих общих чертах, возникающего из контркультуры 1960-х» (Redden, 2011: 650).

О широком распространении спиритуализма именно как международного феномена свидетельствуют, например, японское слово *supirichuarity*, впервые употребленное еще в 1944 году знаменитым на Западе популяризатором дзен-

буддизма Дейсетцу Судзуки (Horie, 2009: 2), широко распространенный в Израиле так называемый иудео-эйдж (Jew Age), представляющий собой смесь традиционного западного спиритуализма с иудаизмом (Ruah-Midbar, 2012), или история банкротства российского банка «Уралсиб», ставшая широко известной благодаря увлечению его владельца нью-эйджевскими практиками³. Как отмечал в этой связи Никлас Луман, «эволюционные достижения приобретают характер диффузии в эволюции общества. <...> Поэтому нисколько не исключено, что и открытие первоначальных форм, и чисто историческая литература, и, скажем, поиски первоначальных, автохтонных государственных образований — все это может оказаться малоинформационным, ведь эволюционные достижения получали свою форму лишь в процессе диффузии, в ходе которого эта форма ложилась в основу дальнейшей эволюции» (Луман, 2011: 550).

Помимо прочего, следует обратить внимание, что (несмотря на видимые исторические корни) именно в современном виде New Age Spirituality имеет несколько специфических черт, делающих его непохожим на все существовавшие до этого оккультные и религиозные практики.

Во-первых, это концентрация на саморазвитии, которую различные авторы называли «торжеством» (Heelas, 1996) или «культом» (Tucker, 2002) самости (Self), характерная прежде всего для мироощущения потребительского общества позднего модерна.

Во-вторых, это перенниализм, воплощающийся в принципе «есть одна истина, но много путей к ней».

В-третьих, это бриколаж, то есть способность создавать индивидуальные мифологические реальности из любого подручного материала.

Именно уникальное сочетание этих трех факторов, а также массовый, эгалистарный характер спиритуалистических идеологии и практики, формируют не-повторимый современный образ New Age Spirituality (Aupers, Houtman, 2010: 7; Partridge, 2006: 85). В этом контексте стоит процитировать Лукмана, который, описывая поведение «потребителя» религии в условиях упадка традиционных западных институтов (включая религиозные), отмечает: «„Автономный“ потребитель отбирает конкретные религиозные темы из доступного ассортимента и встраивает их в своего рода неустойчивую частную систему „конечной“ значимости. Индивидуальная религиозность таким образом больше не является репликой или приближением к „официальной“ модели» (Luckmann, 1967: 102).

3. Обозреватель «Ведомостей» Борис Грязовский писал: «Кажется, прибыльность и риски заботили руководство ФК меньше, чем „развитие человеческого капитала сотрудников“ и повышение „качества социальной среды“. Уже в 2009 г., говорится в отчете за тот год, 45% работников приняли участие в программах здорового образа жизни (ЗОЖ). Тогда же ФК заключила с работниками коллективный договор, по которому они должны были придерживаться ЗОЖ и позитивного мышления, разделять ценности компании. ФК публично заявила, что обязуется „внедрить управление по ценностям, и сотрудники, которые не будут соответствовать принятым нормам, рано или поздно не смогут работать в корпорации“» (<https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/21/delo-veri-kak-ezotericheskie-praktiki-pomeshali-razvivatsya-fl-uralsib>).

Кроме того, как отмечает Андреа Джейн в работе, посвященной йоге — одному из главных иконических символов современного спиритуализма, — для нью-эйджа вообще и йоги в частности характерно то, что она называет недуалистичной метафизикой, то есть отрицание различия между материальным и сакральным миром (Jain, 2019: 104). Это чрезвычайно важная особенность нью-эйджевского дискурса, проявляющаяся в холистическом видении реальности, неразрывности ее различных полюсов, например, в популярности таких символов, как инь-ян и т. д. (Hanegraaff, 1996: 153). Нью-эйдж, таким образом, превращается в совершенную мирскую идеологию: любые метафизические теории и практики используются в практических целях, для достижения конкретного результата «здесь и сейчас». И результат этот может быть и строго материальным (достижение успеха), и более абстрактным (конструирование самости).

Как пишет Гай Редден, нью-эйдж «представляет собой особенный микс альтернативы и мейнстрима» (Redden, 2011: 651). С одной стороны, это более или менее нонконформистское течение, в котором декларируемое развитие самости вступает в противоречие с идеологией современного общества, что в некоторых случаях приводит к очевидному отторжению активных нью-эйджеров социумом (Heelas, 2007: 6)⁴. С другой стороны, спиритуалистические идеология и практика в последние десятилетия все более проникают в менеджмент и управление персоналом, особенно в крупных компаниях, формируя такое явление, как «њью-эйдж инкорпорейтед» (Aldred, 2002; Aupers, Houtman, 2010). Иными словами, современный спиритуализм в той или иной форме тесно связан не только с социокультурной реальностью вообще, но именно с современным бизнесом. Он одновременно и формирует то, что можно назвать специфической нью-эйджевской экономикой, то есть индустрией по продаже спиритуалистических услуг (Lau, 2000), и используется крупными компаниями в управлеченском контексте.

Таким образом, спиритуализм можно назвать как религиозным/культурным явлением, так и чисто экономическим, и именно эта последняя его ипостась требует особого прояснения.

Безусловно, авторы, анализирующие роль нью-эйджа в экономике, пытаются определить его основную функцию в бизнес-процессах. Эта функция описывается либо как современное проявление кальвинистской трудовой этики (York, 2001), либо, в совершенно марксистском духе, как манифестация новых форм эксплуатации (Carette, King, 2005), либо даже как своего рода проявление неоколониализма (Aldred, 2002). Однако, как представляется, эти и другие подобные объяснения (зачастую достаточно точные в деталях, например, трудно не согласиться с Дж. Кэрретте и Р. Кингом в том, что нью-эйджевские практики применяются работодателями для более эффективного использования персонала), как правило,

4. При том, что такое конструирование самости часто само описывается в более широком контексте консюмеризма, через идентификацию себя не только с потребленными товарами, но и жизненным опытом. Подробнее речь об этом пойдет ниже.

не дают именно общего определения экономических функций нью-эйджевского спиритуализма.

Целью настоящей статьи является определение этих функций по отношению к духу современного капитализма.

Как представляется, в случае нью-эйджа мы имеем дело не просто с неким инструментом, используемым бизнесом в прикладных целях, но с целостной и всеобъемлющей идеологией, направленной на легитимацию современного экономического и социального порядка. И здесь мы, прежде всего, можем вспомнить фразу Вебера: «Вопрос о движущих силах экспансии современного капитализма не сводится к вопросу об источнике используемых капиталистом денежных ресурсов. Это в первую очередь вопрос о развитии капиталистического духа. Там, где он возникает и оказывает свое воздействие, он добывает необходимые ему денежные ресурсы, но не наоборот» (Вебер, 1990: 88).

Говоря о современном капитализме, логично предполагать наличие его собственного уникального «духа», который, может, и должен отличаться от духа капитализма классического. Мы, в данном случае, считаем, что в роли этого духа как раз и может выступать нью-эджевский спиритуализм, который зачастую играет роль современной (квази)религиозной идеологии, формирующей новые, отличающиеся от традиционных ценности.

Фоновая критика самой концепции «избирательного сродства» протестантской (прежде всего кальвинистской) трудовой этики, выступавшей, по мнению Вебера, агентом рационализации, с одной стороны, и капиталистического духа — с другой, появляется практически с момента публикации «Протестантской этики» (Забаев, 2018: 109), в первую очередь со стороны историков, самым известным из которых был Фернан Бродель (Bruhns, 2006: 44), и продолжается до сих пор (напр.: Pellicani, 1988). Однако вместе с тем сама концепция «протестантской этики» как агента рационализации остается востребованной. В данном случае можно упомянуть известную речь Питера Бергера «Макс Вебер жив, здоров и живет в Гватемале», в которой автор, проводя параллели между пятидесятничеством в Латинской Америке в начале XXI века и протестантскими сектами XVII–XVIII веков, отмечает (по нашему мнению, совершенно справедливо), что «есть сродство между протестантизмом и ранним капитализмом. Есть сродство между пятидесятничеством и современным экономическим развитием. Но это не обязательно простая причинно-следственная связь. Это интерактивный процесс между бесконечным количеством экономических факторов, и динамика может периодически меняться» (Berger, 2010: 8–9).

Безусловно, нью-эйдж нельзя назвать прямым аналогом веберовского протестантизма, просто хотя бы потому, что невозможно полное совпадение двух историко-культурных феноменов. Кроме того, новое постиндустриальное общество сформировалось на основе «старого» капиталистического, в котором описанная Вебером рационализация, проявившаяся в том числе в виде «расколдовывания» реальности, уже фактически стала свершившимся фактом. Более того, «проте-

стантская этика» давно превратилась в устойчивое словосочетание, используемое слишком часто — не всегда корректно, по поводу и без повода⁵.

Кроме того, аскетизм, особенно аскетизм раннего протестантизма, очевидным образом контрастирует с гедонистической реальностью потребительского общества, частью которого является *New Age Spirituality*. Та самая *Auri sacra fames* (стремление к обладанию материальными ценностями), называемая Вебером скорее препятствием для развития рационалистического западного мышления, ставшего основанием для капитализма (Вебер, 1990: 78), во многом является основанием спиритуалистического дискурса, проповедующего позитивный настрой для достижения жизненного успеха. Важно, безусловно, также и то, что в веберовском толковании именно протестантизм сконструировал ту идеологическую среду, в которой сформировался современный для германского социолога капитализм, а в случае с нью-эйджем постиндустриальное общество, скорее, появилось первым.

Однако мы можем наблюдать также и то, как тесно спиритуализм связан и с новой потребительской экономикой, и с поведением новой постиндустриальной буржуазии, а также — и это, возможно, даже более важно, — с распространяющимися последние 30 лет корпоративными практиками, которые часто прямо или косвенно используют спиритуализм нью-эйджевского толка для решения прикладных задач управления бизнесом (Mitroff, Denton, 2013).

Автор настоящей статьи исходит из базового посыла о том, что дискурс современного спиритуализма непосредственно коррелирует с идеей личностного развития и адаптации к неопределенности экономического и социального статуса индивида, которые могут быть названы одними из фундаментальных принципов существования в условиях позднего модерна. Вместе с тем эти же принципы оказываются важнейшими особенностями посткапитализма как формирующейся на наших глазах новой экономической системы.

Таким образом, основным нашим тезисом является утверждение об «избирательном сродстве» *New Age Spirituality* и современного капитализма, которое проявляется в тесном взаимовлиянии чисто экономических и культурных (идеологических или религиозных) факторов. В итоге спиритуалистическое прославление самости (*Self*), равно как и адаптация к неопределенности, оказывается необходимой для современного капитализма идеологией, помогающей как бизнесу в целом, так и отдельным индивидам, максимально эффективно адаптироваться к новым экономическим условиям.

Кроме того, мы также полагаем, что спиритуализм имеет и некоторое чисто внешнее сходство с веберовским протестантизмом в отношении таких важных по-

5. В частности, в последние годы можно отметить рост числа разговоров о «протестантизации» религии как факторе социально-экономического развития, причем такие разговоры идут не только в отношении христианства. Например, в октябре 2005 года на ежегодной встрече германского антропологического общества в Галле индонезийским исследователем Саидом Фаридом Аталаасом был сделан доклад «Протестантизация ислама» (Ramstedt, 2007: 188).

нятий, как рационализм и отношение к традиции. Несмотря на распространенное восприятие нью-эйджа в качестве антирационалистической идеологии, во многом идущее, на наш взгляд, от самого факта неприятия конвенциональной науки и замены объективного опыта субъективным, содержательно он предельно функционален и настроен на получение конкретных результатов от спиритуалистической практики здесь и сейчас.

В отношении же признанных конвенциональных социокультурных практик спиритуализм настроен предельно жестко, отвергая считающиеся обыденными многие институты модерна, включая организованную религию, традиционную науку и т. д. В данном случае, будучи тесно связан с современным капитализмом, он несет такую же революционную функцию опрокидывания традиции, как и протестантизм XVI–XVII веков по отношению к архаическому социуму домодерной Европы.

Консюмеризм и нью-эйдж: спиритуализм как манифестация *Self*

Как отмечает Томас Лукман, «чувство автономии, характеризующее типического индивида в современных индустриальных обществах, тесно связано с широко распространенной потребительской ориентацией» (Luckmann, 1967: 96).

Консюмеристский характер нью-эйджа прослеживается достаточно давно, как минимум с 1980-х годов. Своего рода символом нового отношения к жизни можно назвать книгу британки Сондры Рей «Как быть шикарной, невероятной и жить вечно» (Ray, 1995). Существует множество материалов, посвященных достижению персонального жизненного успеха, например, фильм «Секрет»⁶, техники «транс-серфинга реальности» Вадима Зеланда, основанная на дианетике «свободной зоны»⁷ «Техника модификации опыта» Филиппа Славинского и т. д. На сайте популярного во всем мире метода «тета хилинг» (являющегося официально зарегистрированной в США торговой маркой) можно увидеть следующее утверждение: «Наша философия проявляется в том, чтобы жить, учить, тренировать других тому, как достичь лучшей жизни через чистое ощущение любви»⁸. Исследованиям «ню-эйджевского капитализма» посвящена значительная литература, наиболее известные работы — «Нью-эйджевский капитализм: делая деньги к востоку от Эдема» (Lau, 2000) и «Продавая спиритуальность: незаметное поглощение религии» (Carrette, King, 2005).

Как отмечают многие авторы, такая четкая установка на достижение персонального успеха в нью-эйджевской среде формировалась постепенно. Можно говорить о некой эволюции от строго контркультурного нью-эйджа 1960-х —

6. <https://www.kinopoisk.ru/film/307012/>

7. Отец Филиппа Славинского Живодар считается автором технологии ПЭАТ, во многом основанной на техниках, применяемых в церкви сайентологии и в так называемой свободной зоне — раскольниках, отделившихся от головной организации после смерти Рона Хаббарда в 1983 году (http://www.mosronsorg.ru/index.php?section_ID=12).

8. <https://www.thetahealing.com/about-thetahealing.html>

1970-х годов к спиритуализму как идеологии достижения видимых результатов, возникшему уже в 1980-е годы, что позволило Полу Хиласу назвать нью-эйдж «Постмодернистской религией общества потребления» (Heelas, 1994). Собственно, уже сама организация спиритуалистической индустрии как отлаженной бизнес-структуры позволяет некоторым исследователям проводить параллели как с современным капитализмом, так и с веберовским протестантизмом. Например, по словам Майка Йорка, «њю-эйдж смоделирован на основе либерального западного капитализма. Это часть все той же самой „культурной логики позднего капитализма“, утвердившего право свободной и лишенной ограничений глобальной торговли. <...> он представляет современное продолжение кальвинистских принципов, которые превозносят материальный успех как знак, отражение или последствие достижения кем-то спиритуалистической благодати» (York, 2001: 367).

Однако, как уже было отмечено, столь прямолинейное (если не сказать вульгарное) восприятие нью-эйджа как строго экономической идеологии, проповедующей финансовый успех, вряд ли может быть продуктивным. Скорее мы можем солидаризироваться с Гаем Редденом, по мнению которого рыночные принципы свидетельствуют о социальной значимости нью-эйджа (Redden, 2016: 2). Подобное утверждение станет еще более актуальным, если мы учтем, что современный западный спиритуализм существует в консюмеристском обществе, обществе потребления, весь дискурс которого, собственно, и построен на идеологии успеха. Иными словами, сам факт коммерциализации нью-эйджа, возможно, не имеет серьезного самостоятельного значения, а скорее является отражением духа времени.

На наш взгляд, характер нью-эйджевского консюмеризма достаточно точно описан Адамом Пассами, который, следуя за такими классиками современной социологии, как Зигмунт Бауман и Майкл Физерстоун, расширяет понимание потребления, рассматривая его в спиритуалистической среде впечатлений, знаков, текстов, истории и культуры. В частности, по его словам, «популярная культура предлагает библиотеку мифов или нарративов для того, чтобы их употребляли и реконструировали на свой собственный манер в субъективные мифы...» (Possamai, 2003: 32).

Исследователи выделяют различные аспекты того, что можно назвать потребительским духом нью-эйджа. Это, во-первых, само стремление к жизненному успеху (напр.: Heelas, 1994). Во-вторых, «спиритуалистическая экономика», подробно описанная Кимберли Лай. На примере ароматерапии, макробиотической диеты, а также йоги и тай чи американская исследовательница рисует картину много-миллионного бизнеса, продающего своего рода новый образ жизни, который достаточно точно совпадает с современными культурными символами успеха: «От глянцевых страниц женских журналов до специальных видеозаписей, практикующие йогу или тай чи преимущественно белые (при этом часто загорелые), их тела всегда подходят под западные культурные идеалы — высокие, длинноногие, стройные женщины и такие же высокие мускулистые мужчины» (Lau, 2000: 116).

Говоря о консюмеризме, следует обратить внимание на одну его принципиальную особенность, тесно связанную со спиритуалистическим дискурсом: потребление как способ самовыражения или манифестации человеческой самости (Self). Как отмечает Энтони Гидденс, в реальности позднего модерна распространение нарциссизма является следствием сокращения значения публичной сферы, в результате чего люди начинают искать в своей собственной жизни то, чего им не хватает вовне. В результате «капитализм создает потребителей, которые имеют различные (и культивируемые) потребности» (Giddens, 1991: 171–172). Кроме того, «мы можем говорить о специфической жажде „полезных предметов“, разжигаемой нашим обществом потребления, как о желании желать, а не быть удовлетворенным» (Бауман, 2005: 128). Как отмечают Паси Фальк и Колин Кэмпбелл, консюмеристская реальность в случае конструирования самости не может и не должна сводиться исключительно к акту купли-продажи. Шоппинг имеет множество измерений, и

...«взаимодействие» с товарами варьируется от разнообразия чувственных экспериментов до актов воображения, в которых самость отражается в потенциальном объекте приобретения вопросами, которые редко формулируются и почти никогда не произносятся: «Это для меня? Я такой же, как это? Может ли это быть частью меня? Могу ли я быть таким же? Хочу ли я быть таким же, как это?» и так далее. Бесконечная серия вопросов, которые являются актами самоформирования (self-formation) самими по себе, вне зависимости от того, ведут ли они к решению купить, или нет. (Falk; Campbell, 1997: 4)

В то же время именно концентрация на Self является одной из ключевых особенностей нью-эйджа. Здесь можно вспомнить Воутера Ханеграафа, который дает трактовку спиритуализма, отстраивающую это явление от религии. Ханеграаф использует определение Клиффорда Гирца, согласно которому религия представляет собой символическую систему, подкрепляющую человеческую активность через ритуально поддерживаемый контакт повседневного мира с более общей метаэмигрантической смысловой рамкой. Определение spirituality Ханеграафа практически совпадает с определением религии, с единственным уточнением: «через индивидуальное [выделено мной — М. Д.] манипулирование символической системой» (Hanegraaff, 1999: 147).

Но ситуация не сводится исключительно к индивидуальному «манипулированию символической системой». Спецификой именно современного спиритуализма является развитие, культивирование самости. Одним из наиболее ярких проявлений этого культа можно считать фразу американской актрисы и одного из наиболее известных проповедников нью-эйджа Ширли Маклейн: «Я бог, я бог, я бог!». Как отмечает Джеймс Такер, для практикующих нью-эйджеров изучение себя есть центральная миссия их жизни, а сами «продавцы» спиритуалистических услуг говорят, что они не должны являться авторитетами для клиентов. Например,

один из практикующих холистических медиков заявляет: «Я пытаюсь донести до людей, что быть гуру не является моей жизненной ролью. Люди не должны отказываться от ответственности за свои собственные жизненные выборы» (Tucker, 2002: 48).

Большинство из опрошенных Поссамай нью-эйджеров (57%) заявили, что главным для них выступает самопознание, в то время как неким «высшим» знанием интересовались лишь 11% респондентов (Possamai, 2001: 89). Согласно другим исследованиям, нью-эйджеры, по сравнению с представителями традиционных религий (католицизм), придают большую ценность таким понятиям, как гедонизм, самодисциплина, поощрение и в целом проявляют значительно большую «моральную индивидуалистичность» (Farias; Lalljee, 2008: 287).

Итак, можно сделать вывод, что и в случае с консюмеризмом как ключевой чертой современности, и в отношении нью-эйджа мы можем говорить о большом значении *Self*. Манифестация самости становится чрезвычайно значимой для человека позднего модерна вообще и, в случае спиритуализма эта манифестация превращается едва ли не в основу всего дискурсивного поля. Важно также и то, что сам спиритуалистический бизнес в буквальном понимании зачастую является прямым способом манифестации *Self*, а точнее, того, что можно назвать преодолением личностного кризиса, поисками себя. Значительная (а возможно, и явно преобладающая) часть представителей «холистической среды» (*holistic milieu*) отмечает, что поиски себя в основном приводят к ощущению отчуждения от привычной бизнес-среды. В результате люди, строившие до этого успешные бизнес-карьеры, внезапно меняют офисное кресло на позицию тренера «духовного роста», инструктора йоги и т. д. (Aupers; Houtman, 2010: 143).

Таким образом, нью-эйджевский бизнес может быть не только и не столько способом заработка, то есть собственно индустрией, сколько, напротив, способом избегания прямолинейной реальности позднего капитализма. Джордж Ритцер, автор концепции «макдоナルдизации» (ошибочно понимаемой, в том числе и некоторыми исследователями спиритуализма, в качестве метафоры массового, примитивного консюмеризма), обратил внимание на то, что мир позднего капитализма, опять-таки в веберовском духе, становится все более и более рационалистическим и механистическим, а знаменитая американская сеть ресторанов быстрого питания выступает его идеальным символом — безупречно работающим механизмом по продаже стандартных товаров. По его мнению, единственным способом сопротивления макдоナルдизации может быть «вырезание немакдоナルдизированных ниш в макдоナルдизированных сообществах» (Ритцер, 2011: 478). Эта метафора достаточно точно соответствует духу нью-эйджевского бизнеса: избегание корпоративной реальности, создание собственного «немакдоナルдизированного» мира.

Процесс принятия нового мира людьми, перешедшими из конвенциональной реальности в спиритуалистический бизнес, делится на три стадии: 1) приобретение новой когнитивной рамки интерпретаций, 2) новый жизненный опыт и 3) легитимация вновь приобретенного видения мира (Aupers, Houtman, 2010: 143–144).

Многие нью-эйджеры настроены резко критически по отношению к социуму, который видится «индоctrинированным мейнстримом и культурой» (Heelas, 1996: 18). Причина такого положения в том, что «спиритуалистическая сакрализация самости идет рука об руку с демонизацией социальных институтов, что приводит к формированию однозначно дуалистического взгляда на мир» (Aupers, Houtman, 2010: 140).

В данном случае было бы чрезвычайно заманчивым предположить, что нью-эйдж играет роль некой идеологии сопротивления «системе», но это было бы таким же грубым упрощением, как и упоминавшаяся ранее идея о спиритуализме как апологии капитализма. Скорее всего, истина, как и в большинстве случаев, находится где-то посередине. Ж. Бодрийяр указывает на то, что интенсификация экономики и связанное с этим ускорение темпа жизни приводит к усилению давления на индивида, порождающего усталость («астению»), которая оказывается естественным «психосоматическим» ответом на условия жизни. На начальном этапе усталость является своего рода формой пассивной агрессии: «Усталость гражданина постиндустриального общества недалека от скрытой забастовки, от торможения, от „slowing down“ рабочих на заводе или от школьной „скучки“» (Бодрийяр, 2006: 231). Однако затем, по мере развития современной экономики, «усталость как невроз» может трансформироваться в культурное явление, стать естественной частью культуры потребления. Эта усталость превращается в «потребленную усталость» и «возвращается в общественный ритуал обмена или уровня жизни» (Там же: 234). Именно эта «потребленная усталость», скорее всего, и является движущей силой, позволяющей активным участникам «спиритуалистической среды» отвергать социум, защищая «астеническую» самость.

Таким образом, в описанном контексте спиритуализм, несмотря на проповедь идей персонального успеха, скорее всего, не будет простой апологией приобретательства. И сам нью-эйдж, и тесно связанный с ним консюмеризм, безусловно, являются манифестацией Self. Однако можем ли мы, используя приведенные примеры, говорить, что спиритуализм есть своего рода новая идеология, отражающая дух позднекапиталистической эпохи? Сама по себе самость, при всей ее важности в обществе позднего модерна, вряд ли может стать неким идейным основанием новой экономики. И здесь, как представляется, на помощь приходит второе измерение спиритуализма, а именно — его востребованность современной корпоративной средой.

Корпоративный спиритуализм

Останавливаясь на автобиографии Бенджамина Франклина, в том числе на его пассаже о функциональности добродетельной жизни, Вебер отмечает, что «представление о профессиональном долге, об обязательствах, которые каждый человек должен ощущать и ощущает по отношению к своей „профессиональной“ деятельности, в чем бы она ни заключалась и независимо от того, воспринимается ли она

индивидуом как использование его рабочей силы или его имущества (в качестве „капитала“), — это представление характерно для „социальной этики“ капиталистической культуры, а в известном смысле имеет для нее и конститутивное значение» (Вебер, 1990: 74). Это утверждение, безусловно, применимо и к современному капитализму, однако, как представляется, место божественного призыва, при котором «труд становится абсолютной самоцелью» (Там же: 83), в экономике позднего модерна занимают «креативность», «творчество», «гибкость», «саморазвитие», являющиеся необходимым условием в ситуации постоянных перемен. И именно они в полной мере воплощаются в том, что называется «нью-эйдж инкорпорейтед».

В нью-эйджевской индустрии (по крайней мере, в отношении ядра, занимающегося ее организацией) мы наблюдаем достаточно узкую и даже изолированную группу людей, в основном воспринимаемую социумом резко негативно, в качестве «мечтателей» или даже «людей с проблемами» (Aupers, Houtman, 2010: 145). По сути, это то, что Воутер Ханеграаф назвал нью-эйджем *sensu stricto*, или собственно «религией нью-эйдж». И здесь важно отметить, что этому феномену автор противопоставляет нью-эйдж *sensu lato*. Последний является продолжением калифорнийской субкультуры, традиций американского «позитивного мышления» и т. д. (Hanegraaff, 1996: 97). Используя терминологию Ханеграафа, можно говорить о том, что если приверженцы нью-эйджа *sensu stricti* конструируют собственную (в том числе социальную) реальность, воплощающуюся в своего рода манифестиации внутреннего я (Inner Self), то нью-эйдж *sensu lato* представляет собой гораздо более конформное и массовое явление⁹. И корпоративный спиритуализм в гораздо большей мере может быть отнесен как раз к нью-эйджу *sensu lato*.

Уже в 1990-е годы корпоративная спиритуальность стала заметным явлением, а к концу десятилетия траты на различные мероприятия и консультантов в этой сфере только в американской корпоративной среде составили до 4 млрд долл. (Carrette, King, 2005: 133). В частности, Хилас приводит примеры большого числа учебных курсов по работе со спиритуальностью в корпорациях. Эти курсы были организованы, в том числе, ведущими британскими университетами (включая его родной университет Ланкастера) и бизнес-школами. Параллельно подобные мероприятия проводились традиционными центрами нью-эйджа: шотландским Финдхорном и калифорнийским Эсаленом (Heelas, 1999: 55).

9. Масштабы распространения повседневного массового спиритуализма, названного Ханеграафом нью-эйджем *sensu lato*, были продемонстрированы, в частности, в ходе так называемого «Проекта Кендалл». Группа исследователей из Ланкастерского университета во главе с Полом Хиласом, Брониславом Сзержинским и Линдой Вудхед создавала «карту» распространения религиозности и спиритуализма в североанглийском городе Кендалл. Были изучены как организованные структуры, от буддийских групп до врачей-гомеопатов, так и торговые предприятия. В частности, выяснено, что до 40% магазинов на центральной торговой улице Кендалла торговали продукцией, в той или иной мере относящейся к спиритуалистической реальности, от головы Будды до карт таро (Heelas, Woodhead, 2005).

Своего рода фоновый характер корпоративного спиритуализма хорошо виден на примере описанного Труде Фоннеланд гестхауса «Полмакмоен» в северной Норвегии (Fonneland, 2012). Сооруженный на месте бывшей фермы гестхаус является центром спиритуалистического туризма, построенного вокруг культуры коренных жителей Скандинавии — саамов. Гости гестхауса могут погрузиться во «внутреннее путешествие с увлекательными приключениями, медитацией, традиционной медициной, саамским шаманизмом, курсами саморазвития» (Ibid.: 162). Гестхаус используется для индивидуального и группового туризма, а также выездных мероприятий. В частности, здесь проводят конференции такие крупные фирмы, как «Вольво» или «Статойл»¹⁰, отдельные представители правительства Норвегии и Норвежского Саамского парламента. И даже если сотрудники подобных организаций не принимают участия в специально организованных нью-эйджевых курсах, они все оказываются вовлечены в обычные мероприятия, включающие «стандартный спиритуалистический репертуар» гестхауса (ibid: 167).

Популярность спиритуальности в корпоративной среде позволяет некоторым исследователям делать на первый взгляд очевидный, но в то же время чрезвычайно прямолинейный вывод о том, что нью-эйдж является своего рода новой идеологией, навязываемой менеджментом сотрудникам для более эффективной их эксплуатации (Carette, King, 2005: 178). Как и в случае с нью-эйджевским бизнесом, финансовые вопросы, безусловно, крайне важны. Однако мы солидаризуемся здесь с Мэри Дуглас и Бэрроном Айшервудом. Рассуждая о веберовском анализе религии, они пишут: «Никогда и никому не следует объяснять социоэкономическое поведение, говоря: „Они ведут себя таким образом потому, что они католики, индуисты, конфуцианцы и т. д.“. Доктрины не могут объяснить ничего без объяснения того, почему люди к ним привязаны. <...> Социологи должны думать о том, почему журавль в небе (a pie-in-the-sky) в виде доктрины о посмертной компенсации за отказ от прижизненных благ становится приемлемым» (Douglas, Isherwood, 1996: 16).

В случае же корпоративного спиритуализма вопрос может быть задан следующим образом: какие именно его особенности корреспондируют с мироощущением позднего капитализма? Или, перефразируя Дуглас и Айшервуда: что представляет собой этот самый «журавль в небе» для человека, внедряющего нью-эйджевые практики в управление предприятием, и для рядовых сотрудников этого предприятия? Ответом на этот вопрос служит, на наш взгляд, выделение таких ключевых особенностей позднего модерна вообще и его экономической модели в частности, как текучесть и неопределенность, требующие кардинально нового вида деятельности и нового вида мышления.

Образы неопределенности и движения заложены в уже ставших классическими определения модерна как «рефлексирующего» или как «текучей» современности.

10. С 2018 года Equinor — крупнейшая норвежская энергетическая и нефтегазовая компания, занимающаяся в том числе добычей углеводородов на шельфе Северного моря. Владеет крупной сетью автозаправок.

В экономической области можно наблюдать значительное усиление конкуренции и растущую переменчивость самого рынка. В первую очередь эта ситуация касается непосредственно работников. Как отмечает Питер Друкер, «сегодня работник уже не может рассчитывать, что организация, в которой он служит с 30 лет, благополучно просуществует до того дня, когда ему исполнится 60. Вместе с тем заниматься одним и тем же делом на протяжении 40–50 лет для большинства из нас, наверное, тоже не самый подходящий вариант» (Друкер, 2004: 339). В конечном счете именно эта ситуация порождает то, что Бодрийяр назвал «усталостью».

Однако неопределенность оказывается вызовом не только для конкретных служащих, но и для компании как структуры, тем более что в условиях потребительской экономики и потребительской культуры для бизнеса критически важно понимание, что именно необходимо сделать, чтобы не уйти с рынка раньше времени. А в условиях внешней неопределенности, как мы уже отмечали ранее, именно самость становится наиболее важным «активом» конкретного индивида. И здесь мы можем вспомнить фразу Энтона Гидденса о том, что в обществе позднего модерна самоидентификация «становится рефлексивно организованным усилием» (Giddens, 1991: 5). Принципиальным оказывается выбор стиля поведения, «лайфстайла», который, с одной стороны, служит фактором самоидентификации индивида, а с другой — конструирует ее (Ibid.: 81). По сути, эти принципы можно приложить и к потребителю товаров, и к производителю, то есть конкретной компании. Если индивид конструирует идентичность на основе потребления, то компания — на основе произведенного товара/услуги.

Поиск и удержание клиента, а также технологические инновации, постоянно меняющие рынок, как раз и формируют ту самую ситуацию неопределенности, в которой существует современный бизнес. В результате «его девиз — гибкость, креативность, реактивность» (Болтански, Кьяпелло, 2011: 177). Взаимодействие с потребителем и конкурентами все более превращается в искусство, которое требует от руководителя не просто навыков управления и организации: он должен иметь глубокое понимание ситуации, быть визионером. В результате, на передний план часто выходят навыки предвидения, то есть предвосхищения новых трендов на рынке, новых потребностей клиентов. Так, автор книги о Стиве Джобсе Уолтер Айзексон писал: «„Наша задача — читать то, что еще не написано“», — объяснял Джобс. Вместо того чтобы полагаться на маркетинговые исследования, он оттацивал эмпатию, учился понимать чужие желания. Интуицию, основанную на мудрости накопленного опыта, он по-настоящему оценил, когда, бросив учебу в университете, постигал буддизм»¹¹.

Далее, предприятие, подстраиваясь под клиента, должно не просто создавать некую мифологию, «миссию» и т. д. — оно все более вынуждено становиться живым организмом, который, в свою очередь, ищет экзистенциальный смысл собственного существования. Можно говорить также и о том, что осмысление по-

11. <https://hbr-russia.ru/karrera/lichnye-kachestva-i-navyki/a11261>

требностей клиента приводит предпринимателей к пониманию необходимости формирования новой корпоративной культуры. В результате компания постепенно трансформируется в организацию, внутренняя среда которой требует от персонала дополнительной мотивации, часто выходящей за пределы собственно экономической деятельности. Болтански и Кьяпелло обращают отдельное внимание на переход к проектной экономике, который приводит к формированию новой поведенческой стратегии менеджеров и рядовых сотрудников, где есть «перспектива участия в интересном, „стоящем“ проекте компании, направляемом „исключительной личностью“, чью „мечту“ может разделить каждый из участников проекта» (Болтански, Кьяпелло, 2011: 178).

Один из современных теоретиков менеджмента профессор бизнес-школы университета Южной Калифорнии Йен Митрофф делает особый упор на том, что изменения коснулись и самого характера занятости, которая из стабильной все более становится временной. Если ранее работа была «постоянной семьей», то теперь «семья заменена холодной и безличной виртуальной системой управления в киберпространстве» (Mitroff, Mitroff, 2012: 14). Задачей менеджмента в такой ситуации становится самостоятельное создание новой «дружественной» для работников среды, в которой они бы чувствовали себя комфортнее (*Ibid.*: 56).

Пришло время суммировать интересующие нас особенности нового бизнеса: ощущение постоянных изменений, вызванных необходимостью реагирования на меняющееся поведение потребителей и активность конкурентов; изменение взаимоотношения с сотрудниками, которые, с одной стороны, теряют ощущение стабильности, а с другой — вместе с разрушением жестких управлеченческих структур приобретают возможность бесконечного (само)развития. В новых условиях менеджмент в отношении персонала вынужден апеллировать к его внутреннему развитию, а не к банальному инстинкту приобретательства. В связи с этим даже такие основополагающие доктрины, как «пирамида Маслоу», теряют авторитет. Имеется в виду популярная в 1950–1960-е годы идея о том, что для эффективного функционирования работника компания должна сначала удовлетворить его базовые потребности, включая потребность в стабильном заработке, а затем уже он сможет думать о самореализации (Болтански, Кьяпелло, 2011: 181). В условиях неопределенности, когда «риски и неуверенность входят в правило» (Там же: 183), менеджер или руководитель проекта создает принципиально новую среду. «В своей работе он руководствуется любовью, жертвенностью: он создает долговременные привязанности, его сотрудники — постоянно развивающиеся люди» (Там же: 185).

Эти задачи привели к появлению такого понятия, как «трансформационное лидерство» (руководство). Как подчеркивает Манфред Кетс де Врис в книге «Мистика лидерства», если традиционное руководство основано на иерархических принципах и «своекорыстии», то «трансформационное руководство» базируется в большей степени на вовлечении подчиненных в творческий процесс взаимного обмена идеями, «в результате чего последователи преобразуют свои собственные интересы на пользу компании» (Кэтс де Врис, 2007: 206).

Другая чрезвычайно популярная в современном бизнесе модель — концепция эмоционального (социального) интеллекта, подразумевающая расширение базового интеллекта за счет таких навыков, как понимание, эмпатия, самоактуализация, оптимизм и т. д. Концепт чрезвычайно популярен в литературе по менеджменту, например, в работах Дениэла Гоулмана (Гоулман, 2013).

На этом этапе уже появляется фигура «спиритуалистического лидера», развивающего и углубляющего все те принципы, к которым призывают сторонники концепции эмоционального интеллекта и трансформационного лидерства: «Спиритуалистический лидер не просто вовлечен в трансформацию организации, но также постоянно дает пример собственного самоусовершенствования. <...> Спиритуалистический лидер выходит за рамки обычного трансформационного лидера, используя время для того, чтобы конструировать свое собственное „внутреннее я“ через вовлечение в молитву, медитацию, чтение духовной литературы и воркшопы»¹².

Спиритуализм оказывается в данном случае очень важным инструментом адаптации к ситуации неопределенности. Эта адаптация может проявляться как минимум в трех важных сюжетах:

1) В уже упоминавшемся восприятии духовной деятельности как постоянного поиска, который проявляется в том числе в именовании представителей спиритуалистического комьюнити искателями (seekers). Это восприятие неопределенности, безусловно, тесно увязывается с концентрацией на саморазвитии и сводится к открытию потенциала самости.

2) В чрезвычайно популярных в нью-эйджевской литературе образах «движения», «энергии», «потока». Например, одним из ключевых понятий учения «Абрахам-Хикс»¹³ является идея «вихря» (vortex), который служит своего рода метафорой мировой гармонии. Таким образом, «войти в вихрь» (или «найти вихрь») означает найти баланс с космической мудростью (Hicks, Hicks, 2010: 20).

3) В концентрации на проживании настоящего момента, на жизни «здесь и сейчас», свойственной в том числе для экзистенциально-гуманистической психологии¹⁴. Чрезвычайно характерно название книги одного из наиболее влиятельных представителей идеологии нью-эйджа Эркхарда Толле, развивающего идеи осоз-

12. <https://gbr.pepperdine.edu/2017/12/spiritual-leadership-learning-organization/>

13. Учение, развиваемое канадской парой Джерри и Эстер Хикс, полученное от внеземного существа Абрахама. Классический случай чаннелинга: <https://www.abraham-hicks.com/>.

14. Идейная перекличка психотерапии и спиритуализма наблюдается достаточно часто. Например, для самоописания нью-эйджеры часто прибегают к языку гуманистической психологии (Aupers, Houltman, 2010: 144). Что касается самой экзистенциально-гуманистической психологии, то для нее характерна ярко выраженная концепция поиска себя. Джеймс Бюдженталь так описывает одного из своих пациентов: в результате терапии он «должен был пережить свою природу как процесс, а не как содержание или материю» (Бюдженталь, 1988: 72). По мнению Виктора Франкла, важным является восприятие невротика «как человека, бытие которого, всегда являющееся возможностью «всегда-стать-иным», он переосмыслил как необходимость «быть-только-так-и-никак-иначе» (Франкл, 1990: 115).

нанности и концентрации на настоящем моменте, — «Сила настоящего» (Толле, 2018).

В начале этого раздела мы поставили вопрос о том, что представляет собой «журавль в небе», ради которого современная бизнес-среда может быть готова использовать спиритуалистические практики. Как мы можем видеть, New Age Spirituality с его культом Self, проявляющимся прежде всего в стремлении к саморазвитию и самопознанию, полностью соответствует тому состоянию мышления, той бизнес-культуре, которая характерна для позднего капитализма.

Эта культура уже не предполагает прямого стремления к прибыли, так как в условиях тотальной неопределенности на первый план выходит стратегия адаптации к ней, что просто необходимо для долгосрочного выживания. Только адаптация к «текучести» и «изменчивости», способность находить внутренние резервы, постоянно развивающаяся становятся гарантией выживания в будущем. И этот подход формирует тот идеальный образ сотрудника, который совпадает с описанием менеджера, прошедшего спиритуалистический тренинг: «Нью-эйджевский менеджер (после соответствующего тренинга) пропитан „новыми“ качествами и добродетелями, новыми в том смысле, что они отличаются от тех, которые были у него на прошлом, не просветленном рабочем месте. Он должен обладать внутренней мудростью, аутентичной креативностью, ответственностью, подлинной энергией, любовью и так далее. Более того, сама по себе работа обычно видится как служение или как „среда для роста“» (Heelas, 1999: 65).

Новая спиритуалистическая рациональность и опрокидывание традиции

Помимо культа самости и оправдания неопределенности как замены концепции призвания мы можем провести и достаточно прямые аналогии нью-эйджа и протестантской этики в таких аспектах, как рационализм и критика традиционных, прежде всего социальных и экономических, практик. И именно в последнем случае достаточно четко проявляется прямое родство позднекапиталистического духа и современного спиритуализма.

Критика модерна — именно в качестве современности, вне зависимости от того, какие конкретно термины используются для ее наименования, — строится в значительной степени на признании факта разрушения традиционных иерархических структур в культурной и научной сфере. В этой связи характерно, например, использование Хабермасом термина «антимодерн» (Habermas, Ben-Habib, 1981: 3).

Не вдаваясь в подробности относительно того, насколько рационален в своих основаниях именно поздний модерн, мы, однако, можем утверждать, что непосредственно нью-эйдж как неотъемлемая часть повседневной культуры современности по сути своей крайне рационалистичен в своих базовых установках. В данном случае можно вспомнить употребленный Гербертом Маркузе (Маркузе, 2003) термин «операциональная рациональность». Феномен «операциональной рацио-

нальности» проявляется прежде всего в том, что при достаточно большом внимании, которое может оказываться конкретным «духовным» практикам (наиболее известны йога и различные формы медитации), сами материнские религиозные системы, из которых подобные практики взяты, часто даже не упоминаются. Йога потеряла для массового потребителя какие-либо религиозные коннотации и превратилась в разновидность модного фитнеса, используемого даже в армейской среде¹⁵ и представленного на рынке группой брендов (Jain, 2019: 73). Подобным же образом развивается индустрия буддийской медитации, фактически редуцировавшая древнюю религиозную практику, ранее доступную в основном монахам (Braun, 2014), до формата упражнений для релаксации и концентрации внимания, практиковать которые можно даже с помощью мобильных приложений.

Нью-эйджевская сакрализация самости ведет, по сути, к «сакрализации повседневности» как таковой (Redden, 2011), когда вся активность человека подчинена задаче достижения успеха. Нью-эйдж переключает внимание с внешней, социальной проблематики на самость, внутренний мир индивида, предпочитая индивидуальное переживание конвенциальному знанию (Hammer, 2010). Как отмечает Ханеграаф, «основополагающий миф нью-эйджевской религии — неограниченная спиритуалистическая эволюция, в которой самость обучается на основе собственного опыта в созданных ей самой реальностях, — должен быть понят как абсолютно рационалистический» (Hanegraaff, 1999: 158). Иными словами, весь нарратив, так или иначе связанный с достижением успеха, несмотря на часто внешне иррациональную форму, предельно рационален именно с операциональной точки зрения. И здесь нельзя не вспомнить утилитарные основания жизненных правил Франклина, описанные Вебером (1990: 74).

Далее. Крайне важен еще один аспект спиритуалистической идеологии, тесно перекликающийся как с раннекапиталистическим духом, так и с особенностями современного капитализма, а именно: опрокидывание традиции. Согласно Веберу, «первым противником, с которым пришлось столкнуться „духу“ капитализма и который являл собой определенный стиль жизни, нормативно обусловленный и выступающий в „этическом“ обличье, был тип восприятия и поведения, который может быть назван традиционализмом» (Вебер, 1990: 80). В случае же духа нового капитализма и нью-эйджа как отражения этого духа мы можем наблюдать очень похожее сопротивление традиционализму, но только в качестве этого самого традиционализма выступает уже привычный, «традиционный» промышленный капитализм. И здесь зачастую можно встретить прямое обращение к идеям немецкого социолога, содержащее чрезвычайно вольные трактовки его теоретических построений. Например, авторы статьи в журнале «Harvard Business Review» утверждают, что, по Веберу, техническая рациональность имела свое идеальное воплощение в бюрократии, чьим символом стал «гитлеровский лейтенант»

15. В частности, в материале на сайте телеканала Министерства обороны «Звезда», посвященном российско-индийским учениям «Индра-2018», упоминаются занятия «традиционной индийской гимнастикой»: <https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201811241022-rhz9.htm>

Адольф Эйхман — просто «хороший бюрократ». И «единственной силой, которая, как верил Вебер, могла противостоять бюрократизации, было харизматическое лидерство» (Goffee, Jones, 2000: 64).

Примечательно здесь то, что речь в процитированной статье идет не о политических или социальных процессах, а о корпоративном лидерстве, о новом типе руководителя компании. Как мы видели ранее, в литературе по менеджменту присутствует не просто противопоставление хороших и плохих методов управления: постоянно выделяются резко отрицательное старое и сугубо позитивное новое. Если традиционно управляемый, вертикально выстроенный бизнес предполагает наличие строгой иерархии и системы поощрений и наказаний, то современный капитализм претендует на создание горизонтальной, сетевой структуры, когда «новые методы организации ведут к разрушению бюрократической тюрьмы» (Болтански; Кяпелло, 2011: 177).

В случае нью-эйджа на противостояние старого и нового указывает уже сам этот термин, отсылающий к концепции наступления новой справедливой и прогрессивной «Эры Водолея», противостоящей старой, жесткой «эрэ Рыб», ассоциирующейся с уходящим христианством (Ferguson, 1981). Для спиритуализма характерно противопоставление «нового знания», «новой науки» и старой, отжившей реальности, проявляющееся в том числе в упоминавшихся ранее представлениях об обществе, «индоктринированном», испорченном истеблишментом. «Новое знание» нью-эйджа открыто сталкивается со стандартизированной наукой модерна, не учитывающей потребностей индивида. Представители «новой науки» предполагают сравнивать «новое» или «позитивное» знание и «старое», в котором человек воспринимается как своего рода машина (Lucas, 1996: 87).

Это может быть антиптививочное движение с его идеей о том, что конвенциональная медицина инвалидизирует пациента, превращая его в хронического потребителя продукции фармацевтических компаний (Коток, 2008). Это может быть холистическая педагогика, полная жестких инвектив в адрес массового образования, якобы превращающего детей в послушных невротизированных винтиков (Hunt; Hunt, 2008), и т. д. В некоторых случаях противопоставление рационализма Нового времени и более прогрессивной новой науки проговаривается открыто, например, в работах признанного гуру нью-эйджа Фритьофа Капры:

Картезианское разделение духовного и материального, а также механистическое мировоззрение оказали одновременно и позитивное, и негативное влияние на человечество. Они были полезны для развития классической механики и техники, но отрицательно воздействовали на цивилизацию. Поэтому так интересно наблюдать, как наука XX в., появившаяся на свет в результате картезианского разделения и доминирования механистического подхода, преодолевает их ограниченность и возвращается к идее единства материального и идеального, высказанной древними философами Греции и Востока. (Капра, 1995: 2)

Дискурс отрицания традиций и выстраивания новой системы ценностей со стороны как бизнеса, так и нью-эйджа соединяется, в частности, в корпоративной культуре высокотехнологичных компаний, в том числе расположенных в Калифорнийской Кремниевой долине. Одним из проявлений этого объединения является дигитализация нью-эйджа, проявляющаяся в так называемой кибер-спиритуальности, которую Ханеграаф называет *New Edge* (Hanegraaff, 1996: 11). В частности, сторонники этого направления считают киберпространство «новым платоновским домом для ума и сердца», «новым Иерусалимом» или даже «раем» (Zandbergen, 2010: 163).

Таким образом, в качестве феноменов позднего модерна и нью-эйджа, и современный капитализм очевидным образом несут достаточно четкий месседж со-противления предшествующим им культурным формам. К данной ситуации применимо замечание Скотта Лэша о том, что «новый постиндустриальный средний класс» таким образом может быть вовлечен в своего рода борьбу со старыми доминирующими группами, а в качестве средства в этой борьбе он использует постмодернистские культурные ценности (Lash, 1990: 21).

Заключение

Как уже было отмечено ранее, наивно предполагать, что спиритуализм может быть прямым аналогом веберовской протестантской этики, конструирующей ми-роощущение, позволяющее впоследствии появиться капиталистической экономике. Нью-эйдж даже не предшествует, а соприсутствует с новым капитализмом, являясь, как и он в целом, порождением позднего модерна.

Однако можно утверждать, что тесно связанные друг с другом внутри спиритуалистического дискурса представления о необходимости развития *Self* и адаптации к ситуации неопределенности являются концепциями, прямо отражающими дух времени и важные особенности современного капитализма. Саморазвитие и креативность, столь поощряемые современной экономикой, могут выступать в качестве аналога веберовской идеи призыва как важного фактора развития капиталистического духа. Вместо труда как самоцели, «хорошо исполненного долга» появляется труд как экспрессия самости и внутреннего развития. Это не просто работа ради работы, это спонтанное внутреннее творчество, направленное на реализацию креативных идей.

Кроме того, и нью-эйджевский и позднекапиталистический дискурсы во многом повторяют революционный дух раннего протестантизма. В случае нью-эйджевского спиритуализма это проявляется в апелляции к необходимости слома прежнего социального и экономического порядка, который видится ригидным, сдерживающим развитие личности и спонтанное проявление творчества. Как отмечает Ханеграаф, для нью-эйджа характерен последовательный критицизм в отношении того, что «воспринимается в качестве доминирующих ценностей

западной культуры вообще, и современного западного общества, в частности» (Hanegraaff, 1996: 515)

Немаловажно также и то, что за декларируемым стремлением к достижению успеха не всегда стоит желание приобретения богатства: ключевым в спиритуалистическом дискурсе скорее является стремление к достижению самореализации, которая часто видится таковой именно через призму материального успеха.

Сакрализация внутреннего мира — способ адаптации к неустойчивой, «текучей» природе модерна, в которой как отдельные люди, так и целые организации уже не могут (как минимум, полностью) полагаться на какие бы то ни было устойчивые структуры (в первую очередь в экономической сфере, но не только в ней)¹⁶. Спиритуалистическое мировоззрение позволяет, погрузившись во внутренний мир, сконцентрироваться на важнейшей задаче сохранения и приумножении внутренних ресурсов, в первую очередь за счет развития таких качеств, как самодисциплина, эмпатия, стремление к постоянному саморазвитию и расширению границ понимания.

Таким образом, нью-эйдж если и не является единственным источником духа позднего капитализма, то совершенно точно отражает этот дух и способствует развитию специфической трудовой этики, направленной на постоянное самосовершенствование, необходимое как отдельным индивидам, так и целым компаниям в условиях все усиливающейся конкуренции на рынке. В этом смысле спиритуалистическая трудовая этика напоминает протестантскую этику. Как отмечает Вебер, говоря о деятелях раннего протестантизма, таких как С. Менно, Дж. Фокс и Дж. Уэсли: «Спасение души, и только оно, было основной целью их жизни и деятельности. В нем и следует искать корни этических целей и практических воздействий их учений» (Вебер, 1990: 105). В случае же спиритуализма раскрытие потенциала, самости, полное развитие личности можно определить в качестве некой идеальной цели. Дух предпринимателей позднего капитализма все менее связан с простым зарабатыванием денег, но все более — с осознанием собственной уникальности, поиском миссии, цели и т. д. Как подчеркивал Пол Хилас, для «뉴-에이джevского менеджера» работа видится как «служение или средство для роста», то есть деятельность воспринимается прежде всего как инвестиция в себя.

И последнее. Как отмечают Болтански и Кьяпелло (Болтански, Кьяпелло, 2011: 205), новая экономическая реальность, воплощающаяся в том, что они называют «проектным градом»¹⁷, создается непосредственно на наших глазах, по крайней мере, в развитых индустриальных странах. Последствия этих изменений можно наблюдать уже сейчас. В этом смысле спиритуалистическая этика, равно как и этика протестантская в XVI–XVII веках, лишь формирует будущее капитализма или той экономической системы, которая может прийти ему на смену.

16. На самом деле описанные в статье принципы управления, в том числе так называемое «спиритуалистическое лидерство», предлагаются применять не только и не столько в бизнесе, но и по отношению к любым организациям, например, школам: <https://www.iispiritualleadership.com/wp-content/uploads/docs/SLTAOMPeggy0106.pdf>.

17. Подробнее о «социологии градов»: Наумова, 2014.

Литература

- Бауман З. (2005). Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноzemцева. М.: Логос.
- Бергер П. (2012). Фальсифицированная секуляризация. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 2. С. 8–20.
- Бодрийяр Ж. (2006). Общество потребления: его мифы и структуры / Пер. с франц. Е. А. Самарской. М.: Республика.
- Болтански Л., Кьянелло Э. (2011). Новый дух капитализма / Пер. с франц. под общ. ред. С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение.
- Бюдженталь Д. (1998). Наука быть живым: диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии / Пер. с англ. А. Б. Фенько. М.: Класс.
- Вебер М. (1990). Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 44–344.
- Вирно П. (2015). Грамматика множества: к анализу форм современной жизни / Пер. с ит. А. Петровой. М.: Ад Маргинем.
- Гоулман Д. (2013). Эмоциональный интеллект в бизнесе / Пер. с англ. А. П. Исаевой. М.: Манн, Иванов и Фарбер.
- Друкер П. (2004). Энциклопедия менеджмента / Пер. с англ. О. Л. Пелявского. М.: Вильямс.
- Забаев И. (2018). Религия и экономика: можем ли мы все еще опираться на Макса Вебера? // Социологическое обозрение. Т. 17. № 3. С. 107–148.
- Канпа Ф. (1994). Дао физики / Пер. с англ. П. Л. Гроховского. М.: Орис.
- Коток А. (2008). Беспощадная иммунизация: правда о прививках. Новосибирск: Гомеопатическая книга.
- Кэтс де Врис М. (2007). Мистика лидерства: развитие эмоционального интеллекта / Пер. с англ. М. Шалуновой. М: Альпина бизнес букс.
- Луман Н. (2011). Общество общества: Общество как социальная система. Медиа коммуникации. Эволюция / Пер. с нем. А. Антоновского, А. Глухова, О. Никифорова. М: Логос.
- Маркузе Г. (2003). Одномерный человек // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек / Пер. с англ. А. А. Юдина. М.: АСТ. С. 251–515.
- Наумова Е. (2014). Социология «градов» Л. Болтански и Л. Тевено и «режимы вовлеченности» в капитализм // Социологическое обозрение. Т. 13. № 3. С. 246–251.
- Толле Э. (2017). Сила настоящего: руководство к духовному пробуждению / Пер. с англ. И. Е. Мелдрис. М.: София.
- Узланер Д. (2008). Расколдовывание дискурса: «религиозное» и «светское» в языке нового времени // Логос. № 4. С. 140–159.
- Франкл В. (1990). Человек в поисках смысла / Пер. с англ. и нем. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс.
- Albanese C. (2006). A Republic of Mind and Spirit. A Cultural History of American Metaphysical Religion. New Heaven: Yale University Press.

- Aldred L.* (2002). «Money is Just Spiritual Energy»: Incorporating the New Age // *Journal of Popular Culture*. Vol. 35. № 4. P. 61–74.
- Aupers S., Houtman D.* (2010). Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public Significance of New Age Spirituality // *Aupers S., Houtman D.* (eds.). *Religions of Modernity Relocating the Sacred to the Self and the Digital*. Leiden: Brill. P. 135–160.
- Berger P. L.* (2010). Max Weber is Alive and Well, and Living in Guatemala: The Protestant Ethic Today // *The Review of Faith and International Affairs*. Vol. 8. № 4. P. 3–9.
- Braun E.* (2014). Meditation en Masse: How Colonialism Sparked the Global Vipassana Movement // *Tricycle*. Spring. P. 56–62.
- Bruce S.* (2002). *God is Dead: Secularization in the West*. Oxford: Blackwell.
- Bruce S.* (2011). *Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Bruhns H.* (2006). Max Weber's «Basic Concepts» in the Context of His Studies in Economic History // *Max Weber Studies*. Beiheft 1. P. 39–69.
- Carrette J., King R.* (2005). *Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion*. L.: Routledge.
- Cipriani R.* (2017). *Diffused Religion: Beyond Secularization*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Davie G.* (1995). *Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*. Oxford: Blackwell.
- Douglas M., Isherwood B.* (1996). *The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption*. L.: Routledge.
- Drury N.* (2004). *The New Age: Searching for the Spiritual Self*. L.: Thames & Hudson.
- Falk P., Campbell C.* (1997). Introduction // *Falk P., Campbell C.* (eds.). *The Shopping Experience*. L.: SAGE. P. 1–14.
- Farias M., Lalljee M.* (2008). Holistic Individualism in the Age of Aquarius: Measuring Individualism/Collectivism in New Age, Catholic, and Atheist/Agnostic Groups // *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 47. № 2. P. 277–289.
- Ferguson M.* (1981). *The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 80s*. L.: Routledge & Keagan Paul.
- Fonneland T.* (2012). Spiritual Entrepreneurship in a Northern Landscape: Spirituality, Tourism and Politics // *Temenos*. Vol. 48. № 2. P. 155–178.
- Fuller R. C.* (2001). Spiritual, But Not Religious: Understanding Unchurched America. Oxford: Oxford University Press.
- Giddens A.* (1991). *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Goffee R., Jones G.* (2000). Why Should Anyone Led by You? // *Harvard Business Review*. September-October. P. 63–70.
- Habermas J.* (2006). Religion in the Public Sphere // *European Journal of Philosophy*. Vol. 14. № 1. P. 1–25.
- Habermas J., Ben-Habib S.* (1981). Modernity versus Postmodernity // *New German Critique*. № 22. P. 3–14.

- Hammer O.* (2010). *I Did it My Way?: Individual Choice and Social Conformity in New Age Religion* // *Aupers S., Houtman D.* (eds.). *Religions of Modernity: Relocating the Sacred to the Self and the Digital*. Leiden: Brill. P. 49–68.
- Hanegraaff W. J.* (1996). *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*. Leiden: Brill.
- Hanegraaff W. J.* (1999). *New Age Spiritualities as Secular Religion: A Historian's Perspective* // *Social Compass*. Vol. 46. № 2. P. 145–160.
- Heelas P.* (1994). *The Limits of Consumption and the Post-Modern «Religion» of the New Age* // *Abercrombie N., Keat R., Whiteley N.* (eds.). *The Authority of the Consumer*. L.: Routledge. P. 94–108.
- Heelas P.* (1996). *The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity*. Oxford: Blackwell.
- Heelas P.* (1999). *Prosperity and the New Age Movement: The Efficacy of Spiritual Economics* // *Wilson B., Cresswell J.* (eds.). *New Religious Movements: Challenge and Response*. L.: Routledge. P. 51–77.
- Heelas P.* (2007). *Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism*. Oxford: Blackwell.
- Heelas P., Woodhead L.* (2005). *The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality*. Oxford: Blackwell.
- Hicks E., Hicks J.* (2010). *Getting into the Vortex*. Calsbad: Hay House.
- Horie N.* (2009–2011). *Spirituality and the Spiritual in Japan: Translation and Transformation* // *Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies*. Vol. 5. P. 66–81.
- Hunt J., Hunt J.* (2008). *The Unschooling Unmanual*. Salt Spring Island: Natural Child Project.
- Jain A.* (2019). *Selling Yoga: From Counterculture to Pop Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Lash S.* (1990). *Sociology of Postmodernism*. L.: Routledge.
- Lau K.* (2000). *New Age Capitalism: Making Money East of Eden*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Lucas E.* (1996). *Science and the New Age Challenge*. Leicester: IPV.
- Luckmann T.* (1967). *The Invisible Religion: The Problem of Modern Society*. N. Y.: Macmillan.
- Lyon D.* (1993). *A Bit of a Circus: Notes on Postmodernity and New Age* // *Religion*. Vol. 23. № 2. P. 117–126.
- Maffesoli M.* (1996). *The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society*. L.: SAGE.
- Mitroff D., Mitroff I.* (2012). *Fables and the Art of Leadership Applying the Wisdom of Mister Rogers to the Workplace*. L.: Palgrave Macmillan.
- Mitroff I., Denton E.* (2013). *A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Partridge C.* (2007). *The Re-enchantment of the West: Alternative Spiritualties, Sacralization, Popular Culture, and Occulture*. L.: T&T Clark.

- Pellicani L.* (1988). Weber and the Myth of Calvinism // *Telos*. № 75. P. 57–85.
- Possamai A.* (2001). Not the New Age: Perennism and Spiritual Knowledges // *Australian Religion Studies Review*. Vol. 14. № 1. P. 82–96.
- Possamai A.* (2003). Alternative Spiritualities and the Cultural Logic of Late Capitalism // *Culture and Religion*. Vol. 4. № 1. P. 31–45.
- Ramstedt M.* (2007). New Age and Business // *Kemp D., Lewis J. R.* (eds.). *Handbook of New Age*. Leiden: Brill. P. 185–205.
- Ray S.* (1990). *How to Be Chic, Fabulous, and Live Forever*. Berkeley: Celestial Arts.
- Redden G.* (2011). Religion, Cultural Studies and New Age Sacralization of Everyday Life // *European Journal of Cultural Studies*. Vol. 14. № 6. P. 649–663.
- Redden G.* (2016). Revisiting the Spiritual Supermarket: Does the Commodification of Spirituality Necessarily Devalue It? // *Culture and Religion*. Vol. 17. № 2. P. 231–249.
- Roof W. C.* (2001). *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*. Princeton: Princeton University Press.
- Ruah-Midbar M.* (2012). Current Jewish Spiritualities in Israel: A New Age // *Modern Judaism*. Vol. 32. № 1. P. 102–124.
- Sutcliffe S.* (2003). *Children of the New Age: A History of Spiritual Practices*. L.: Routledge.
- Sutcliffe S., Bowman M.* (2000). Introduction // *Sutcliffe S., Bowman M.* (eds.). *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality*. Edinburgh: Edinburgh University Press. P. 1–13.
- Tingay K.* (2000). Madame Blavatsky's Children: Theosophy and Its Heirs Tingay. // *Sutcliffe S., Bowman M.* (eds.). *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality*. Edinburgh: Edinburgh University Press. P. 37–50.
- Tucker J.* (2002). New Age Religion and the Cult of the Self // *Society*. Vol. 39. № 2. P. 46–51.
- Tumber C.* (2002). American Feminism and the Birth of New Age Spirituality: Searching for the Higher Self, 1875–1915. Lanham: Rowman & Littlefield.
- York M.* (2001). New Age Commodification and Appropriation of Spirituality // *Journal of Contemporary Religion*. Vol. 16. № 3. P. 361–372.
- Zandbergen D.* (2010). Silicon Valley New Age: The Co-consumption of the Digital and the Sacred // *Aupers S., Houtman D.* (eds.). *Religions of Modernity: Relocating the Sacred to the Self and the Digital*. Leiden: Brill. P. 161–186.

The Spiritual Ethic and the Spirit of Late Capitalism

Mikhail Dobrovolskiy

Graduate Student, Graduate School of Philosophy, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20. Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: mdobrster@gmail.com

The classical Weberian concept of disenchantment with the world has been criticized during the last several decades. However, this paper proceeds from the assumption that today it is possible to find a modern analogue of the protestant ethic, which helps to create a new version of capitalism. It is typical for late, or "liquid", modernity to create an atmosphere of total uncertainty, which affects both individuals and organizations, in particular in the business sphere. The modern sacralization of the self, embodied in the discourse of New Age spirituality, takes place along with the shrinking of the public space and the expansion of the consumer society. On the one hand, the celebration of self-development helps individuals to deal with the condition of existential insecurity created by late modernity, and to construct a new behavioral ethic, implying an investment in their own personal growth. On the other hand, such an ideology allows business to adapt to the new, chaotic market reality. A "spiritual manager" inspires their staff to be more creative and pro-active. He or she is a visionary who acts not only for profit, but also for the sake of a mission. Thus, if the initial goal of Weberian Protestantism was salvation, modern spirituality concentrates on self-development in a profane reality because the self becomes the only valuable commodity.

Keywords: Protestant ethic, spirituality, New Age, late capitalism, self, uncertainty

References

- Albanese C. (2006) *A Republic of Mind and Spirit: A Cultural History of American Meta-physical Religion*, New Heaven: Yale University Press.
- Aldred L. (2002) "Money is Just Spiritual Energy": Incorporating the New Age. *Journal of Popular Culture*, vol. 35, no 4, pp. 61–74.
- Aupers S., Houtman D. (2010) Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public Significance of New Age Spirituality. *Religions of Modernity Relocating the Sacred to the Self and the Digital* (eds. S. Aupers, D. Houtman), Leiden: Brill, pp. 135–160.
- Baudrillard J. (2006) *Obshhestvo potrebleniya: ego mify i struktury* [Consumer Society], Moscow: Respublika.
- Bauman Z. (2005) *Individualizirovannoe obshhestvo* [The Individualized Society], Moscow: Logos.
- Berger P. (2012) Fal'sificirovannaja sekuljarizacija [Secularization Falsified]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 2, pp. 8–20.
- Berger P. (2010) Max Weber is Alive and Well, and Living in Guatemala: The Protestant Ethic Today. *The Review of Faith & International Affairs*, vol. 8, no 4, pp. 3–9.
- Boltanski L., Chiapello E. (2011) *Novyj duh kapitalizma* [The New Spirit of Capitalism], Moscow: New Literary Observer.
- Braun E. (2014) Meditation en Masse: How Colonialism Sparked the Global Vipassana Movement. *Tricycle*, Spring, pp. 56–62.
- Bruce S. (2002) *God is Dead: Secularization in the West*, Oxford: Blackwell.
- Bruce S. (2011) *Secularization: In Defense of an Unfashionable Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Bruhns H. (2006) Max Weber's "Basic Concepts" in the Context of His Studies in Economic History. *Max Weber Studies*, Beiheft 1, pp. 39–69.
- Bugental J. (1998) *Nauka byt' zhivym: dialogi mezhdu terapeutom i pacientami v gumanisticheskoy terapii* [The Search for Existential Identity: Patient–Therapist Dialogues in Humanistic Psychotherapy], Moscow: Klass.
- Capra F. (1994) *Dao fiziki* [The Tao of the Physics], Moscow: Oris.
- Carrette J., King R. (2005) *Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion*, London: Routledge.
- Cipriani R. (2017) *Diffused Religion: Beyond Secularization*, Cham: Palgrave Macmillan.
- Davie G. (1994) *Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*, Oxford: Blackwell.
- Douglas M., Isherwood B. (1996) *The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption*, London: Routledge.
- Drucker P. (2004) *Jenciklopedija menedzhmenta* [The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management], Moscow: Wiliams.
- Drury N. (2004) *The New Age: Searching for the Spiritual Self*, London: Thames and Hudson.

- Falk P., Campbell C. (1997) Introduction. *The Shopping Experience* (eds. S. Aupers, D. Houtman), London: SAGE, pp. 1–14.
- Farias, M., Lalljee, M. (2008) Holistic Individualism in the Age of Aquarius: Measuring Individualism/Collectivism in New Age, Catholic, and Atheist/Agnostic Groups. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 47, no 2, pp. 277–289.
- Ferguson M. (1981) *The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 80s*, London: Routledge & Keagan Paul.
- Fonneland, T. (2012) Spiritual Entrepreneurship in a Northern Landscape: Spirituality, Tourism and Politics. *Temenos*, vol. 48, no 2, pp. 155–178.
- Frankl V. (1990) *Chelovek v poiskah smysla* [Man's Search for Meaning], Moscow: Progress.
- Fuller R. C. (2001) *Spiritual, But Not Religious: Understanding Unchurched America*, Oxford: Oxford University Press.
- Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity*, Cambridge: Polity Press.
- Goffee R., Jones G. (2000) Why Should Anyone Led by You?. *Harvard Business Review*, September–October, pp. 63–70.
- Goleman D. (2013) *Jemocional'nyj intellekt v biznese* [Emotional Intelligence in Business], Moscow: Mann, Ivanov i Farber.
- Habermas J. (2006) Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy*, vol. 14, no 1, pp. 1–25.
- Habermas J., Ben-Habib S. (1981) Modernity versus Postmodernity. *New German Critique*, no 22, pp. 3–14.
- Hammer O. (2010) I Did it my Way? Individual Choice and Social Conformity in New Age Religion. *Religions of Modernity Relocating the Sacred to the Self and the Digital* (eds. S. Aupers, D. Houtman), Leiden: Brill, pp. 49–68.
- Hanegraaff W. J. (1996) *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*, Leiden: Brill.
- Hanegraaff W. (1999) New Age Spiritualities as Secular Religion: A Historian's Perspective. *Social Compass*, vol. 46, no 2, pp. 145–160.
- Heelas P. (1994) The Limits of Consumption and the Post-Modern "Religion" of the New Age. *The Authority of the Consumer* (eds. N. Abercrombie, R. Keat, N. Whiteley), London: Routledge, pp. 94–108.
- Heelas P. (1996) *The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity*, Oxford: Blackwell.
- Heelas P. (1999) Prosperity and the New Age Movement: The Efficacy of Spiritual Economics. *New Religious Movements: Challenge and Response* (eds. B. Wilson, J. Cresswell), London: Routledge, pp. 51–77.
- Heelas P. (2007) *Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism*, Oxford: Blackwell.
- Heelas P., Woodhead L. (2005) *The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality*, Oxford: Blackwell.
- Hicks E., Hicks, J. (2010) *Getting into the Vortex*, Calsbad: Hay House.
- Horie N. (2009–2011) Spirituality and the Spiritual in Japan: Translation and Transformation. *Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies*, vol. 5, pp. 66–81.
- Hunt J., Hunt J., (2008) *The Unschooling Unmanual*, Salt Spring Island: Natural Child Project.
- Jain A. (2019) *Selling Yoga: From Counterculture to Pop Culture*, Oxford: Oxford University Press.
- Kets de Vries M. (2007) *Mistika liderstva: razvitiye jemocional'nogo intellekta* [The Leadership Mystique: A User's Manual for the Human Enterprise], Moscow: Alpina Business Books.
- Kotok A. (2008) *Besposhhadnaja immunizacija: pravda o privivkah* [Ruthless Immunization: The Truth about Vaccinations], Novosibirsk: Gomeopaticheskaya kniga.
- Lash S. (1990) *Sociology of Postmodernism*, London: Routledge.
- Lau K. (2000) *New Age Capitalism: Making Money East of Eden*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Lucas E. (1996) *Science and the New Age Challenge*, Leicester: IPV.
- Luckmann T. (1967) *The Invisible Religion: The Problem of Modern Society*, New York: Macmillan.

- Luhman N. (2011) *Obshhestvo obshhestva: Obshhestvo kak social'naja sistema. Media kommunikacii. Jevoljucija* [Society of Society: Society as Social System. Media Communications. Evolution], Moscow: Logos.
- Lyon D. (1993) A Bit of a Circus: Notes on Postmodernity and New Age. *Religion*, vol. 23, no 2, pp. 117–126.
- Maffesoli M. (1996) *The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society*, London: SAGE.
- Marcuse G. (2003) *Odnomernyj chelovek* [One-Dimensional Man]. *Eros i civilizacija. Odnomernyj chelovek* [Eros and Civilization. One-Dimensional Man], Moscow: AST, pp. 251–515.
- Mitroff D., Mitroff I. (2012) *Fables and the Art of Leadership Applying the Wisdom of Mister Rogers to the Workplace*, New York: Palgrave Macmillan.
- Mitroff I., Denton E. (2013) *A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Naumova E. (2014) Sociologija "gradov" L. Boltanski i L. Teveno i "rezhimy vovlechennosti" v kapitalizm [Luc Boltanski and Laurent Thévenot's Sociology of "Worlds" and "Regimes of Engagement" with Capitalism]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 3, pp. 246–251.
- Partridge C. (2007) *The Re-enchantment of the West: Alternative Spiritualties, Sacralization, Popular Culture, and Occulture*, London: T&T Clark.
- Pellicani, L. (1988) Weber and the Myth of Calvinism. *Telos*, no 75, pp. 57–85.
- Possamai A. (2001) Not the New Age: Perennialism and Spiritual Knowledges. *Australian Religion Studies Review*, vol. 14, no 1, pp. 82–96.
- Possamai A. (2003) Alternative Spiritualties and the Cultural Logic of Late Capitalism. *Culture and Religion*, vol. 4, no 1, pp. 31–45.
- Ramstedt M. (2007) New Age and Business. *Handbook of New Age* (eds. D. Kemp, J. R. Lewis), Leiden: Brill, pp. 185–205.
- Ray S. (1990) *How to Be Chic, Fabulous, and Live Forever*, Berkeley: Celestial Arts.
- Redden G. (2011) Religion, Cultural Studies and New Age Sacralization of Everyday Life. *European Journal of Cultural Studies*, vol. 14, no 6, pp. 649–663.
- Redden G. (2016). Revisiting the Spiritual Supermarket: Does the Commodification of Spirituality Necessarily Devalue It?. *Culture and Religion*, vol. 17, no 2, pp. 231–249.
- Roof W. C. (2001) *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*, Princeton: Princeton University Press.
- Ruah-Midbar M. (2012) Current Jewish Spiritualties in Israel: A New Age. *Modern Judaism*, vol. 32, no 1, pp. 102–124.
- Sutcliffe S. (2003) *Children of the New Age: A History of Spiritual Practices*, London: Routledge.
- Sutcliffe S., Bowman M. (2000). Introduction. *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality* (eds. S. Sutcliffe, M. Bowman), Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 1–13.
- Tingay K. (2000) Madame Blavatsky's Children: Theosophy and Its Heirs. *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality* (eds. S. Sutcliffe, M. Bowman), Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 37–50.
- Tolle E. (2017) *Sila nastojashhego: rukovodstvo k duhovnomu probuzhdeniju* [The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment], Moscow: Sophia.
- Tucker J. (2002) New Age Religion and the Cult of the Self. *Society*, vol. 39, no 2, pp. 46–51.
- Tumber C. (2002) *American Feminism and the Birth of New Age Spirituality. Searching for the Higher Self, 1875–1915*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Uzlaner D. (2008) Raskoldovyanie diskursa: "religioznoe" i "svetskoe" v jazyke novogo vremeni [Disenchantment Discourse: "Religious" and "Secular" in the Language of the New Time]. *Logos*, no 4, pp. 140–159.
- Virno P. (2015) *Grammatika mnozhestva: k analizu form sovremennoj zhizni* [A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life], Moscow: Ad Marginem.
- Weber M. (1990) Protestantskaja jetika i duh kapitalizma [The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism]. *Izbrannye proizvedenija* [Collected Works], Moscow: Progress, pp. 44–344.
- York M. (2001) New Age Commodification and Appropriation of Spirituality. *Journal of Contemporary Religion*, vol. 16, no 3, pp. 361–372.

- Zabaev I. (2018) Religija i jekonomika: mozhem li my vse eshhe opirat'sja na Maksa Vebera? [Religion and Economics: Can We Still Rely on Max Weber?] *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 3, pp. 107–148.
- Zandbergen D. (2010) Silicon Valley New Age: The Co-Consumption of the Digital and the Sacred. *Religions of Modernity Relocating the Sacred to the Self and the Digital* (eds. S. Aupers, D. Houtman), Leiden: Brill, pp. 161–186.

Reading Arendt in the Russian Context

Alexei Gloukhov

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, School of Philosophy,
National Research University — Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: agloukhov@hse.ru

Hannah Arendt is well-studied in Russia; her legacy is noticeable in academic discussions. However, her theoretical positions can hardly bring about a significant change in the present state of local political and philosophical affairs. The reason is the same for both the unusual popularity of her theoretical concepts and their lack of practical relevance. Her non-traditional approach to politics seamlessly fits into recurrent patterns of Russian social life which are no-less distant from the established forms of Western political culture. Being uncritically transplanted into different soil, her unorthodox way of thinking about politics found an immediate enthusiastic reception in Russia, but not at the same level of scrutiny as was in the West. Paradoxically, this proves that Arendt's views may confirm the local status-quo, rather than challenging it. In this paper, I will try to explain this paradox by presenting both the elements of her theory that remain under-appreciated by her Russian followers, and her dogmatic positions shared with her school of thought, which can be elucidated by reading them against the Russian context. Arendt's theory features hidden, but distinct, elitist, and liberal tendencies; to some degree, her theory goes well with the Machiavellian character of contemporary Russian politics. However, at the exact point when she finds an unlikely ally in Isaiah Berlin, her normative solutions mostly go unnoticed. On the other hand, reading her texts against the Russian experience exposes some of her preconceptions about human existence, the meaning of political life, and our relations to history, all of which weaken the practical relevance of her thoughts.

Keywords: Arendt, Russia, reception, totalitarianism, freedom, normativity

Drawing lessons from Arendt's study of totalitarianism is a required and perplexing challenge for anyone hoping to understand the contemporary political condition in Russia. Today, Arendt's verdict on Stalin's rule remains a focal point in any meaningful discussion of Russia's past. Even those who disagree with her analysis cannot afford to neglect it; even those who believe that they have moved past Arendt often find themselves repeating her conclusions. During Stalin's era, Russia suffered and delivered more than ever. This period was the peak of existential intensity on many levels, while the rest of the Soviet period was a slow, uneven downhill slide. Even today, Russians' political imaginaries must return to those years; they are horrified and spellbound by their recollections of their predecessors' deplorable crimes and miraculous feats, respectively. However, Russia is measured against those years. Arendt was an exceptional thinker who, while diagnosing totalitarianism as an absolute evil, claimed that we could learn something from it (1958a):

viii). Not every outside observer is ready to engage with — instead of recoiling from — Russia's dark past. Those in Russia do not have the luxury of a choice; they must engage with and learn lessons from their collective past. They are bound to follow Arendt's lead, but doing so is not an easy task. In the first section of this paper, I will present two contextual issues that complicate the appropriation of Arendt's analysis of totalitarianism in contemporary Russia. In the second section, I will discuss this analysis on a conceptual level in relation to her notion of performative freedom, her distrust of normative reasoning, and her explanation of the condition of loneliness.

Two Contextual Paradoxes

Hannah Arendt retains a special place in contemporary Russian intellectual life, even though Russia never occupied a special place in her political theory. This asymmetry is a curious historical coincidence, but it concerns two paradoxes that we must address if we want to learn from her study of totalitarianism.

The first paradox relates to Arendt's persistent status in Russia as of the one of the most relevant political theorists. For various reasons, which will be explained below, she is a beacon of the academic political discourse in Putin's Russia.¹ Arendt certainly would have been equally critical of the nationalist politics of the contemporary Russian state as she was of the imperialism of European countries in the first two chapters of *The Origins of Totalitarianism* (1958a). Another obvious point of contention is her consistent equation of the Nazi and Soviet regimes, which is on the verge of being prohibited by a Russian law. However, these features are ideological, which means that they are less important for her own essentially structural theory.

Arendt's analysis of totalitarianism is difficult to absorb in its entire complexity. On the one hand, she was clear about her final verdict of condemning totalitarian rule as an

1. For example, see a recent issue of the *Russian Sociological Review* entirely focused on Arendt (Salikov, Yudin, 2018). Arendt is one of a few (if not the only) contemporary political theorists whose legacy justifies opening a dedicated rubric in a leading Russian academic journal such as this one. Within the last few years, a number of dedicated academic discussions on Arendt have been organized in Russia, such as the “Actuality of Hannah Arendt's ideas” conference (Immanuel Kant BFU, Kaliningrad, 04.12.2014), the “Hannah Arendt: Freedom and Responsibility” conference (HSE, Moscow, 19–20.03.2015), the “Hannah Arendt's Legacy and the Present Day” panel discussion (IFRAN, Moscow, 20.10.2016), the “Hannah Arendt on the Limits of the Permissible: Public Sphere, Pluralism and Responsibility” workshop (Moscow School of Social and Economic Sciences, 31.03.2018), and the “Hannah Arendt: Problems of Translation, Problems of Interpretation” workshop (IFRAN, Moscow, 06.06.2019). Two recent publications evaluate the state of Arendtian studies in Russia: Salikov, 2017; Salikov, Zhavoronkov, 2019. In the latter paper, a bibliography of Russian scholarly publications on Arendt cites more entries for the 5 years of 2013–2018 (24 in total) than for all the previous years combined. My paper on Arendt (Gloukhov, 2015) that is not listed there, apparently because it is in English, is also to be counted in the first group. Understandably, the reviewers complain that the state of Arendtian studies and translations in Russia still leaves much to be desired, while granting that she enjoys the status of a first-class thinker and that the interest in her legacy is constantly growing in Russia (Salikov, Zhavoronkov, 2019: 136, 139). As I see it, this level of academic activity focused on a single contemporary thinker's legacy is a lot by Russian standards; the very fact that such a fundamental approach to establishing Arendt's studies in Russia currently being undertaken has no parallel with any other contemporary political theorist, at least for now.

absolute evil. On the other hand, totalitarian movements fascinated her as a new and unprecedented form of political organization. The duality of her approach escapes some Russian readers who tend to confuse her position with that of undeniably liberal thinkers, such as Isaiah Berlin. Nothing could be further from the truth since Arendt and Berlin shared no mutual intellectual affection (Berlin, Jahanbegloo, 1991). Instead, Arendt found her intellectual peers among dubious anti-liberal thinkers, such as Carl Schmitt.² Unsurprisingly, the contemporary Russian intellectual environment, which favors both Schmitt and Arendt, does not have much use for Berlin's ideas, even though he was the only one of these three thinkers who was genuinely interested in Russia's fate.

In some essential respects, Arendt's vision of political reality is at least compatible with the mainstream political mindset which is currently shared both by the Russian government and its opposition.³ The most significant feature of this vision is a tacit disregard for the normative dimension of politics. Although Arendt observed the cause of the dangerous atomization of the masses in the dissolution of traditional political and moral structures, she never proposed a decent legal system as the political ideal.⁴ In contrast, her account of freedom values those spontaneous deviations from norms and laws, which unsurprisingly enjoys an enthusiastic reception in Russia, where the very concept of the rule of law has never been taken for granted. Confronted with this local reality, in which some essential aspects of Arendt's theory are almost universally appreciated along

2. Undeniably, she had ideological differences with Schmitt. They were on the opposite sides in the war against Nazism; they may have had different geopolitical theories (Jurkevics, 2017). See also Filippov, 2015, where the author finds fundamental differences but also a complementarity in their concepts of the political since Arendt places the locus of the political inside the community, whereas Schmitt places it outside of the community. However, their affinity runs on a deeper non-ideological level of tacitly shared axioms of how to approach thinking about political reality. This explains why in *The Origins*, of all places, Arendt finds an occasion to praise Schmitt's "very ingenious theories about the end of democracy and legal government" that "still make arresting reading" (1958a: 339). She refers constantly to the crucial passages in his 1934 publication *State, Movement, People* (Schmitt, Draghici, 2001), where we can witness a gradual drift of her research focus from a familiar topic of imperialism to the conceptual discovery of totalitarianism, her major theoretical breakthrough. Today, one can also cite her ample marginalia found in the books from her private library. Schmitt was one of her most extensively studied authors; her marginalia in Schmitt are only outnumbered by those in the great three — Kant, Plato, and Heidegger.

3. To be sure, Alexey Navalny, who is a lawyer by education, relies essentially on available legal instruments in his day-to-day efforts to advance his cause. What I have in mind is rather visions of an ideal political community circulating among Russian intellectuals, where friendship, solidarity, and spontaneity play a more important part than justice, the rule of law, or representative democracy. Giving names is an unfortunate idea for many reasons; therefore, I suggest reading this statement at least as a warning.

4. Benhabib calls it "the missing normative foundations of Arendtian politics" (2003: 193–198). According to her, "the absence of a justification of the normative dimension of the political, that is, of the question of social and political justice in [Arendt's] work, is deeply disturbing." A recent body of research works exploring the normative dimension of Arendt's theory may seem to contradict my conclusion: Goldoni, McCorkindale, 2012; Isaac: 1996; Gündogdu, 2014; Birmingham, 2006. However, the crucial legal innovation suggested by Arendt was "human right to have rights", which clearly transcends the scope and purpose of any particular legal system, thus confirming rather than contradicting this thesis; see also (Gaffney, 2016). In the book *On Revolution*, Arendt directly connects the loss of the political spirit, "the lost treasure", to establishment of a firm legal framework (2006: 198–229). The point I am making in this paper is less about Arendt in general and more about considering such statements uncritically as helpful against the backdrop of Russian history where the rule of law has always been under attack from other sources.

the political spectrum, raising doubts regarding whether drawing lessons from her analysis can challenge the established status quo is reasonable.

Arendt neither stated nor resolved the problem surrounding the good political regime, because for her, political life was always about freedom and never about governance. She sharply contrasted the two ways of thinking about politics by comparing the miracle and exceptional phenomenality of freedom with the routine and stultifying character of political administration. The practical downside of her approach is that she discourages thinking about change in the most basic and everyday circumstances of political and social life. By prioritizing exceptional events, Arendt seemingly pushes us to surrender control of our ordinary lives to somebody else. In this respect, she finds natural allies in autocrats who want nothing more than to take on such responsibilities. As such, despite her approach's presumable opposition to the current political regime, students of Arendt are hardly able to challenge it. In contrast, to the extent that it concerns the question of how to change the most basic features of social life, following Arendt may even help reaffirm the authoritarian tendencies in contemporary Russia. Arendt certainly is not the preferred theoretical source of inspiration of the ideologues of the contemporary Russian state who would rather rely on more nationalistic local authors such as Ivan Ilyin or Aleksandr Solzhenitsyn. Nevertheless, the current political regime has proven its ability to think out of box in such matters. In the 2000s, the president's administration encouraged a surge in interest in postmodern philosophy by correctly predicting that its theoretical radicalism would eventually render it politically harmless. After 2016, it has become increasingly obvious that the Russian state has been cynically exploiting the same loophole intrinsic to the key arguments of French theory and of Arendt, e.g., distrust of the truth, reason, science, justice, human rights, the rule of law, and the social contract. This brilliant generation of thinkers believed rather naively that, because they did their best to uproot the entire topic of governance, their theories could never be abused for political profit. By always being more chaotic than rational since the very beginning in the Middle Ages, the Russian state has constantly been contradicting those who look for answers in terms of binary oppositions between politics of the extraordinary and normative orders (Kalyvas, 2008).

The second paradox relates to our desire to learn about Russia's past from a political theorist who was never particularly interested in Russian affairs. Although the matter is complicated and disputed, it must be systematically disentangled.

To begin with, this rule has a few notable exceptions. The Russian Revolution of 1917 was an extraordinary historic event. Being sensitive to the "miracles" of history, Arendt never tired of emphasizing the importance of "the new form of government" born through the Russian Revolution, what she called "the system of people's councils" (1958b: 216).⁵ However, people's councils were not a unique feature of Russian history since the *soviets* shared this distinction with several other instances of spontaneous revolutionary organizations, such as the Paris *Commune* of 1871, the German *Räte* of 1918, and the Hun-

5. In what follows, it is essential to note that her interpretation of people's councils downplayed the importance of social justice in their agendas (Medearis, 2004).

garian people's councils of 1956. Another possible reason for Arendt to focus primarily on Russian material was the legacy of Vladimir Lenin — an unrealized promise of a revolutionary alternative to totalitarianism. Arendt singled out Lenin among the leaders of 20th-century mass movements to suggest that a different path for this unprecedented form of political organization was indeed possible. However, she was not consistent in making this point, and the historic material, including Lenin's untimely death, could not provide her with conclusive evidence to support this conjecture.

Irrespective of the importance that we assign to Arendt's study of Russian material in *The Origins*, a much richer parallel treatment of German affairs has always overshadowed it. Initially, Arendt planned to study only the genealogy of Nazism. In her first draft, the first two parts of the book were intended to present the continuous historical development from European anti-Semitism and imperialism to the emergence of Nazism. She came to understand Nazism as an unprecedented form of political power that was matched only by Bolshevism no earlier than 1947. Nazism and Bolshevism were the only two species of totalitarianism in history. Thus, the published book provides few logical ties between the first two parts of her research on anti-Semitism and imperialism and the third part on totalitarianism. Additionally, these loose ties show that Arendt's material on Russia was not part of her initial project and was only a subordinate topic in her final research (Tsao, 2002). Only one section of her book was exclusively devoted to the Soviet situation; this final chapter was included in a second extended edition after Stalin's death. Even here, with the chapter being entitled "Epilogue: Reflections on the Hungarian Revolution", Arendt was more interested in the recent popular uprising in Soviet Hungary than in the power games within the Communist Party elite in the Soviet Union. Judging by these remarks, Arendt never predicted "the thaw" of the Khrushchev era (1958a: 14). The imbalance in her treatment of the Communist and Nazi sides of the totalitarian story was obvious to Arendt as she planned to expand her study after the first publication of *The Origins*. However, what she identified as "the most serious gap" in her book was "the lack of an adequate historical and conceptual analysis of the ideological background of Bolshevism" rather than a lack of information from inside the Iron Curtain (Kohn, 2002: v).⁶ Her research plan involved tracing the totalitarian features of Bolshevism to its philosophical roots, thus returning to the ideas of Marx. She drafted almost 1000 pages for this unrealized book, an excerpt of which was posthumously published as *Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought* (2002). Her way of addressing the "gap" in her analysis confirms the general thesis of her book from the outset, i.e., that totalitarianism was an outcome of Western modernity.

However, in demonstrating certain aspects of totalitarianism, Arendt ultimately found the Russian sources to be of paramount importance. For example, she attributed the quality of "selflessness" to members of the totalitarian party who were more concerned about their party membership than their own lives, and this quality was clearly

6. Arendt laments the lack of source material in her review of Waldemar Gurian's book on Bolshevism (1963). Since the only sources are Soviet propaganda, Gurian's strategy was "to concentrate on an analysis of the ideology, avoiding factual narrative as much as possible" (Arendt, 1994: 394).

modeled on the behavior of the Old Bolshevik Guard during the Moscow show trials of the 1930s. The indiscriminate use of violence and terror, even against agents of the secret police, was unique to Stalin's 'great purges' and, according to Arendt, did not compare to the Night of the Long Knives in Germany. Finally, in the first edition, Arendt's account of concentration camps was primarily based on a 1947 review of conditions in Stalin's gulag, and, to a limited extent, the Nazi camps in Germany, although the scope of the genocide in death camps in Eastern Europe was neglected (Tsao, 2002: 601). In general, Arendt regarded Stalin's Russia as much more advanced in its totalitarian rule than Hitler's Germany. Given the very limited source material available, she based this conclusion on her overall estimates (1994: 348). She had a theoretical concept of "fully developed totalitarian rule" in mind where all the local features disappeared and certain "identical structures reveal[ed] themselves." In her presentation of this concept in *The Origins*, she alternately relied heavily on both German and Russian material. However, as I show below, the key ingredient in this concept, the totalitarian movement, receives its structural perfection only against the backdrop of the Nazi regime.

Arendt's confidence that all the local features would disappear in the final stage of totalitarian rule correlates with the research method that she was forced to adopt due to her limited access to reliable sources. The theoretical concept of totalitarianism was the envelope that held the factual material emerging from two different directions. With regard to this method's reliability, she made a paradoxical but fully justified decision to take the statements of both Stalin and Hitler literally. A powerful hermeneutic argument informed this decision, to which I will return to later, because not even Arendt appreciated its full potential. Since totalitarianism makes reality correspond to the fiction of the leaders' prophecies, their statements become effective truths and the *only* truths from the internal perspective of the regimes. After Arendt developed a theoretical concept for the purpose of comparison and collected the highest effective truths in the hierarchy of statements, she could reasonably claim to have built her analysis on a solid foundation (338–339).

Arendt's methodical considerations seem to contradict this paper's argument. For her, discussing the Russian and German cases separately or seeking answers rooted in local historical and political conditions made no sense. Only the final structures of the fully developed totalitarian rule counted, and they were identical. Totalitarianism was an exceptional historical development in both Germany and Russia. However, these anomalies had common historical roots, and they were not exclusively caused by local conditions, but they were conditioned by the hidden forces of the same shared European legacy. Arendt would write that "The subterranean stream of Western history has finally come to the surface and usurped the dignity of our tradition" (1958a: ix). For Arendt, the totalitarianism or the political reality of Stalin's regime pointed to nothing specifically Russian. Therefore, discussing Arendt's application of her general theory to the Russian case is more appropriate than proposing that she had studied a specifically Russian form of totalitarianism. This point is worth stressing whenever we try to reverse-engineer and apply her conceptual framework to contemporary Russian conditions.

I will address this issue by showing that her structural analysis is a double-edged sword which will not immediately provide us with a meaningful answer. In fact, her ultimate litmus test for political regimes — the challenge of human freedom — was entirely different. In her essay *On the Nature of Totalitarianism*, a long but unfinished draft of the 14th chapter of the second edition of *The Origins*, she states from the very beginning that “In order to fight totalitarianism, one need understand only one thing: Totalitarianism is the most radical denial of freedom” (1994: 328). She starts with the diagnosis which she proceeds to explain further in structural terms. Strangely, Arendt does not refer to mass murders as proof of crimes against freedom, as if condemning the regimes purely on the grounds of the incalculable number of victims was too simplistic for her. Numbers do attest to the evil of the regimes, but their denial of freedom is what explains their radicalism. However, Arendt understood freedom in structural terms as a political event that is extraordinary even in a world without genocide. The most radical denial of freedom destroys the very possibility of its existence. It deprives human life of meaning, after which the logical machinery of totalitarianism condemns to death whatever has already been made meaningless. Although her explanation of the initial thesis is complete, it creates the illusion that the explanation is more important than the diagnosis, that is, a structural analysis may contribute more to understanding the destruction of meaning than the destruction itself. Contrary to what is initially obvious, freedom becomes conceptually dependent on the structure of its denial.

Before I demonstrate that freedom is different from what may be proven with a structural analysis, I must lift Arendt’s ban on referencing to specific Russian material. In doing so, the same structural features that may have different meaning in a different context are revealed.

In what was mentioned above as an explanation of the compatibility of Arendt’s language with mainstream Russian political discourse, the profound negligence of the law was not limited to the post-Yeltsin era. Indeed, the “liberal” Constitution of 1993 so generously enumerated various civil rights, including the right to a favorable natural environment (in the country that covers one-eighth of the Earth’s inhabited land area), that nobody really trusted that these rights were sacrosanct. This legal carelessness resembles an intentional inversion of the minimalist concept of basic rights, which such liberals as Isaiah Berlin envisioned to guarantee the robust protection of human freedom under the most adverse conditions.

A comparison of this attitude toward the Russian Constitution with the crucial part of Arendt’s analysis of totalitarian rule is even more striking. Both the Soviet and Nazi regimes formally retained their respective constitutional frameworks. Stalin forced the Soviets to adopt a new constitution in 1936, the first year of the “great purge”, and Hitler never discontinued the effects of the Weimar Constitution of 1918. For Arendt, the dual character of the political reality where informal dynamics fully dominated but coexisted with the normative order was a distinct feature of totalitarianism because it was absent in the typical modern Western state. Perhaps this moment is the most unfortunate in her analysis because this is where her strategy of a parallel treatment of Russian and Ger-

man material becomes clearly problematic. Although the proverbial German adherence to *Ordnung* supports her argument, nothing comparable to this normative foundation of everyday life can be found in Russian history. By contrast, the chaos in the earliest years of the Russian state is legendary. In their invitation letter to Varangian aliens, the Slav tribes perfectly captured the persistent problem that would plague Russia in the centuries to come when they wrote that “Our land is great and rich, but there is no order in it. Come to rule and reign over us” (Cross, Sherbowitz-Wetzor, 1953: 59). Neither the first Varangian princes nor subsequent generations of Russian and Soviet rulers solved the problem of the unstable political order in this part of the world. Stalin’s era was no exception to this rule. Arendt prevents us from confusing a totalitarian state with ordinary despotism. Far from being defined as a triumph of Draconian laws, Stalin’s regime was the most dynamic and unprecedented period in Russian political history. The exceptional centuries-long persistence of the same political predicament can only have one reasonable explanation, that is, this predicament had become the local definition of normality rather than the exception. The most successful of Russian rulers never considered the lack of order to hinder their ambitions; on the contrary, the intentional creation of chaos and disorder became the inexhaustible source of power for them, marking the precise point at which the Russian and German political traditions diverge toward the extreme limits. The irony of this history is that many of the Russian rulers were German-born or became Germanophiles. However, almost all of them were quick to learn that an extraordinary intervention might bring about success much more easily than a systematic procedure. The term “manual control” epitomizes the most effective way of governing under the current leadership. There is nothing comparable to the normative legacy of ancient Rome that can be found in the foundation of the Russian state. For centuries, the common language of communication, which is the basis of the rule of law, was undermined by the coexistence of the French-speaking elite and their mostly Russian-speaking, uneducated slaves. The golden era of the emerging normative relations in the final decades of the Russian Empire did not last long enough for the legal system to become a vehicle of justice for the millions of peasants and proletarians. Thus, although the totalitarian dynamics of Stalin’s regime were exceptional in their intensity and scale, they did not project as dramatically from the historical background as the German case did. As the primary way of thinking about political life for Russian politicians and intellectuals under different regimes, this disregard of the norms and formal procedures of justice is a striking feature of Arendt’s political ideal which has little use for the normative concept of politics that is typical in the modern liberal state.

This first section of the paper dealt with a rather curious fact of asymmetry between Arendt’s paramount place in contemporary Russian political philosophy and the subordinate place of Russia in her theoretical universe. In the second section, some key Arendtian theoretical ideas are discussed more substantially against the complex backdrop of the Russian political experience.

Conceptual Problems

Arendt was a brilliant and passionate political theorist with a keen understanding of political problems. However, she also stuck to certain explanatory patterns which had dubious political implications. She inherited these patterns from her school of thought which included not only Socrates, Aristotle, Augustine, Kant, and Karl Jaspers, but also the Nazi sympathizers Martin Heidegger and Carl Schmitt. Schmitt was one of the Arendt's sources of conceptual inspiration when she was studying the origins of total domination.⁷ For Arendt and Schmitt, the movement was a novel form of political organization that was responsible for the unprecedented features of totalitarianism. In 1933, Schmitt had already clearly outlined the triadic structure of the Nazi state, where the dynamic component of political reality (i.e., the movement) was prioritized over the static component (i.e., the state) while both looked after the apolitical component (i.e., the people) (Schmitt, Draghici, 2001). At that early stage, this Schmittian scheme lacked detail. After the Second World War, Arendt essentially reproduced the same scheme in *The Origins* by extensively citing recovered Nazi material, all of which confirmed the surprising dynamic features of totalitarian political organization, including the duplication of offices and the shapelessness of the whole structure (1958a: 398). However, the focus of Arendt's analysis differed from that of Schmitt. Schmitt was concerned with the problem of legitimacy. Under the new conditions, the problem must have had a different solution from that of the traditional liberal dual-component structure of political reality, which consisted of the state and the people. Schmitt's solution was the racial idea of a blood-relation that bound the leader to the people. Arendt's main concern was freedom, which was squashed beneath the pressure of terror and ideology. Therefore, on a conceptual level, the same scheme essentially allowed two distinct readings. On the one hand, Schmitt interpreted this power structure as a legitimate government that cared for the people; on the other hand, Arendt interpreted it as a radical form of an illegitimate government that was terrorizing the population. Despite this particular matter being settled, under other circumstances where Arendt relies on structural analysis, her conclusions allow for alternative readings for which Russian material may provide surprising support.

Two moments in her discussion of totalitarian movements are tailored to establish Russia as an exceptional case. The first is that, unlike the Nazi movement with its traceable history before taking power, the Bolshevik movement began, according to Arendt, only after Stalin usurped power by eliminating his competition. To establish a conceptual analogy with the Nazi movement, Arendt had to describe the corresponding preliminary phase of the Communist movement through the material from Eastern European countries. This stretch raises the question of whether the dynamic model of totalitarian movement based on the German material can actually be extended to the Russian case.

The second is that by blaming modernity or the Western philosophical tradition for creating the conditions in which total domination is possible, Arendt falls into the trap of historicism. History becomes a one-way road on which nothing save miracles of free-

7. See also footnote 2, above.

dom can prevent humanity from totalitarianism, with Germany and Russia being only the preliminary examples of what is to come.⁸ Specifically, Arendt never explained how a totalitarian state can return to non-totalitarianism. Having only two cases to analyze, with Nazi Germany defeated in the Second World War, and the Soviet Union approaching the height of its global power, Arendt had no reason to account for such a return. However, her incorrect assessment of the post-Stalin era reveals the challenge, which even she had to overcome, of not imagining history as the realization of some logical deduction. In the first printing of the second edition of *The Origins*, Arendt claimed that the Soviet Union remained a totalitarian state under Khrushchev. This claim, which she was forced to retract in subsequent publications (Tsao, 2002: 601), was entirely logical for Arendt because she considered modernity a destiny that prevented a spontaneous easing of total domination. This directedness of history provided her structural analysis with a definite meaning. However, as the historical process seemingly began moving away from total domination during the “vegetarian time” of the later decades of the Soviet Union, her explanatory method lost its hermeneutic power because it allowed contradictory readings depending on the alleged direction of the historical process. Her method always works in retrospect, when the past is clear and distinct from the present. However, if the present is addressed, as we must do today, and with the future being wide open, the structural analysis helps promote freedom no more than in justifying its restriction. Again, this approach contributes to the preservation of the status quo in contemporary Russian political discourse, as both loyalists and opposing parties can find a foothold in her theory. As this effect is manifested on many levels, I will begin with her concept of freedom, and then proceed with a discussion of her attitude toward normative thinking and her explanation of totalitarianism through the concept of loneliness.

Ambiguities of Performative Freedom

The power of philosophical concepts is revealed through the evolution of research strategies in subordinate fields, such as social anthropology. The recent generation of anthropologists studying life in the post-totalitarian phase of the Soviet Union employ the conceptual apparatus of post-structuralism, which is, in many respects, consistent with Arendt's structural arguments (Benhabib, 2003: 197).⁹ One of the most acclaimed results of this approach was Alexei Yurchak's book *Everything Was Forever, Until It Was No More*:

8. Here, Arendt is in line with her former mentor Heidegger, who, after the end of the Second World War, predicted the eventual death of philosophy (1977).

9. What distinguishes Arendt from philosophers such as Gilles Deleuze or Michel Foucault was not her unequivocal condemnation of Hitler's and Stalin's regimes as absolute evils but her conviction that the typical liberal Western state, however evil it has been and would be, was still a better option than a totalitarian state. Unlike Arendt, Deleuze and Foucault rejected Nazism but effectively identified it with every other form of government. Per Deleuze, every state is fascist; per Foucault, every state is racist (Deleuze, Guattari, 2004; Foucault, 2003). A similar indifference was expressed by Vaclav Havel in his famous essay *The Power of the Powerless* (1978). In Heidegger's anti-modernism, Havel found a source of inspiration for his identification of post-totalitarian states, such as Czechoslovakia, with typical liberal Western states (Havel, Wilson, 1985).

The Last Soviet Generation (2013). In this section, I present a comparison of Yurchak's and Arendt's performative concepts of freedom as a case study that shows the challenges of reading and applying Arendt's theoretical legacy in the contemporary Russian context.

In a recent interview, Yurchak clearly indicated that his project was designed as an alternative to Arendt's influence on Soviet studies which he associated with a Cold War mentality rooted in the uncritical acceptance of ideological postulates.¹⁰ He defines ideology as a rigid set of binary choices between good and evil, etc. According to Yurchak, the post-war Soviet system was neither good nor evil; it was simply different. In particular, the Soviets made space for new forms of freedom, forms not captured by Isaiah Berlin's choice between negative (i.e., liberal) liberty and positive (i.e., Marxist) liberty. Yurchak cites extensive factual evidence in support of his view that informal spaces of performative freedom were indeed developing in the later decades of the Soviet Union. Once the historical process was ripe, the Soviet state disappeared surprisingly quickly; however, after the initial moment of shock, former Soviets were basically prepared to embrace the free life.

Yurchak assumes that his performative concept of freedom is different from the concept that Arendt developed to explain her diagnosis of totalitarianism as the most radical denial of freedom in structural terms. He seems to lump together her account of freedom and that of Berlin's, while in fact his own account is much closer to hers. In presenting his concept, Yurchak refers to Mikhail Bakhtin, John Austin, Jacques Derrida, and Judith Butler. He could have cited Arendt as well because of her almost identical understanding of freedom as virtuosity, which was *in statu nascenti* when she worked on *The Origins* and *The Human Condition*, and eventually perfected in the essay *What is Freedom?* (1961). Judging by how much Derrida and Butler were indebted to Arendt, Yurchak's conceptual link to Arendt hardly comes as a surprise. In particular, Yurchak's book features striking parallels to Arendt's earlier essay *On the Nature of Totalitarianism*.

Building on Austin's idea of contrasting constative and performative utterances, Yurchak proceeds to describe late socialism as a duality of rigid universal norms of social behavior and the performative dimensions of each individual act. The rigid carcass of the system was meticulously reproduced, but the same unhealthy fixation of form made the system open to endless performative interpretations. He wrote "The late-socialist system became deterritorialized . . . The system was internally mutating toward unpredictable, creative, multiple forms of 'normal life' . . . toward greater freedom" (2013). In *The Human Condition*, Arendt touched on the connection between the performative character of political action and political freedom (1958b). Although the notion of performativity is missing in her essay *On the Nature of Totalitarianism*, the structural explanation of what freedom that is presented therein is similar to Yurchak's explanation, if we substitute laws for "authoritative discourse" and freedom for "performative shift". In that essay, she wrote, "The stability of laws, erecting the boundaries and the channels of communication between men who live together and act in concert, hedges in this new beginning and

10. In the interview, Yurchak singles out Arendt's work on totalitarianism. See <https://gorky.media/intervyu/rossijskoe-obshhestvo-ne-delitsya-na-bolshuyu-vatu-i-malenkuyu-svobodu/> (in Russian).

assures, at the same time, its freedom; laws assure the potentiality of something entirely new and the pre-existence of a common world, the reality of some transcending continuity which absorbs all origins and is nourished by them" (1994: 342).

Arendt and Yurchak present identical structures of performative freedom emerging on the surface of a stable normative order. Moreover, both imply that this structure of freedom explains its meaning. However, their analyses differ in two essential ways. First, Yurchak's scope was limited to late socialism. He is in better company with Havel, who introduced the term "post-totalitarianism".¹¹ Second, Arendt and Yurchak described opposing historical processes. Arendt explained how freedom was gradually destroyed by the rise of total domination. Yurchak described a contradictory process, i.e., how freedom was regained on the way out of the totalitarian condition.

Curiously, despite the differences in their materials, Yurchak and Arendt ultimately present the same concept of freedom, which can be considered both as proof of the concept's validity and as proof of its relative meaninglessness and redundancy. By itself, the performative concept of freedom does not help draw a line between the pre-totalitarian and post-totalitarian stages. The isolated observation that people enjoy this kind of freedom does not provide any conclusive evidence regarding the quality of regime, from the Weimar Republic in the 1920s, to the Soviet Union in the 1970s, to Russia in the 2010s.

As we are currently deciding about the future based on our understanding of the present situation, the performative concept of freedom, be it Arendt's or Yurchak's, does not help us make an unambiguous judgement, especially in the last case. Yurchak clearly observed that this concept of freedom bridges historical periods. In the introduction to the expanded Russian edition of his book published in 2014 when the memories of a recent wave of political protests were still afresh, he drew a cautious parallel between the contemporary political conditions and life during the era of late socialism. Indeed, as nostalgia for the Soviet Union gradually becomes part of the official ideology, such structural analogies allow double interpretations, depending on which direction one wants to move in history. On the one hand, in line with Yurchak's original argument, these analogies allow a much richer understanding of the existential condition of the last Soviet generations by comparing it to the present conditions in Russia. On the other hand, they allow a rationalization or even a justification of the current infringement on civil liberties as a smooth transition to a different concept of freedom that was (allegedly) enjoyed by our parents. Moreover, any upcoming spontaneous restoration of the late-Soviet Union has already received its conceptual explanation. The same logic of "forever until no more" applies: since the performative patterns of our everyday life already correspond to those in the late-Soviet Union, any surprise restoration of a similar constitutive system in the near future will find the Russian population well prepared for it and not bothered by the change.

11. However, Yurchak rejects this parallel, insisting that, unlike Havel, he does not align his concept of freedom with "grand narratives"; for Yurchak, this alignment was the exact function of Havel's famous "life in truth."

The similarity between Arendt's and Yurchak's accounts of performative freedom supports my thesis that, in the Russian context, some elements of Arendt's theoretical legacy lose their critical potential and become a means of preserving the status quo. It also exposes a flaw in the concept of freedom shared by Arendt and Yurchak. Indeed, it is only after we are in a position to confront both sides of the concept, corresponding to the opposing currents in the historical process, that we can clearly establish that the concept itself is flawed. This flaw was not sufficiently clear when Arendt described her performative concept of freedom in the context of the pre-totalitarian, law-abiding state (e.g., in *On the Nature of Totalitarianism*) or in the context of the ancient Greek polis (e.g., in *The Human Condition* and *What is Freedom?*). In these cases, freedom was presented as unmistakably precious and, in the last case, even miraculous. Arendt likened freedom to a miracle not only because it was an exceptionally rare event, but also because it had miraculous powers. It is only in relation to a powerful thing can a requirement be imposed to contain its power. Arendt famously challenges us to think of freedom such that it "could have been given to men under the condition of non-sovereignty" (1961: 164). In doing so, she wanted to impose limits on the destructive power of freedom. However, the problem that she wanted us to solve has nothing to do with the concept of freedom. It was her secret maneuver to bring an entirely different concept into play, a concept that she was always reluctant to touch due to its prominent place in philosophy, especially in Plato: justice. Her concept of freedom retains its natural relationship to power. Arendt hinted to this relationship, as she based her interpretation of freedom as *virtuosity* on the Machiavellian concept of *virtue*, i.e., the excellence of a successful sovereign. Unlike Yurchak, Arendt would not accept the condition of performative powerlessness, a condition that defined the era of late socialism, as a solution to the problem of freedom.

Yurchak claims to have discovered a novel concept of freedom. In reality, his account has nothing to do with freedom; it sounds much more like a miserable-teenager condition, half-full of resentment and half-sweetened with practical jokes about parents and educators.¹² Contrary to his claim in the book, former-Soviet people were not prepared for the new autonomous life that befell them. Having been held under Communist Party tutelage for their entire lives, they were suddenly compelled to emerge from this condition of immaturity (recall Kant's famous definition of Enlightenment (Kant, Reiss, 1991: 54)). Unsurprisingly, they failed to meet this challenge of freedom by immediately committing every possible injustice against one another, from civil and nationalistic wars, to economic oppression of the poor, to encroachment on basic liberties, and to ordinary street banditry. A quarter of a century later, many want the same late-Soviet style of immaturity to be imposed on them again. This condition of teenage-like irresponsibility is not a magical bridge that hermeneutically connects the present generations of Russians

12. The prioritization of active over reactive forces is a central piece of Deleuzian political logic. The same should apply to Yurchak's concept of freedom, which is based on, among others, the Deleuzian concept of deterritorialization. However, for Yurchak, the authoritative discourse is a necessary condition for performative responses, which makes his freedom a reactionary force in a clear contradiction to Deleuze's work written in 1962.

with their Soviet ancestors and younger selves. Rather, this condition is an existential ceiling that has never been cracked in the post-Soviet years; today, it holds the country back.

Although more solidly grounded, Arendt's concept of freedom is no more help than that of Yurchak's in the present-day situation. She refused to think of politics in terms of justice, which she identified with a cold utilitarian approach that was allegedly inaugurated by Plato. She inherited a distrust of theory and science, the normative dimension of politics, and laws and moral principles from her philosophical mentors. However, unlike Heidegger, who was very clearly never concerned about justice, she cared deeply about justice, although she was deprived of and deprived herself of the corresponding political language. Her theory became tangled in two ensuing conceptual misunderstandings. Firstly, she blocked herself from ever properly addressing the problem of justice. Instead, she dressed up justice as a requirement to be imposed on our understanding of freedom. Secondly, she impeded a proper understanding of freedom by prohibiting the identification of freedom and sovereignty. In other words, she never showed how miraculously freedom can translate into the distributive logic of stable laws, norms, principles, and regulations. She regarded the legal and economic dimensions as apolitical; therefore, her theory always had to rely on the binary structural opposition between political freedom and apolitical justice.

The Tyranny of Reason

Arendt found a historical foundation for this structural method of analysis in Montesquieu's distinction between the structure of government and the principle of action "that sets it in motion" (1994: 329). As mentioned above, she could have learned the same structural distinction between the static power of the state and the dynamic power of the movement from Schmitt. By superimposing these two theories, totalitarianism can be explained through the substitution of the dynamic component when we shift from Montesquieu to Schmitt. The traditional principles of action, such as equality, honor, or even fear, motivated citizens to act in a republic, a monarchy, or a tyranny. Even under tyrannical rule, the people retained their ability to act, though they did so because they feared for their lives. Under the condition of total domination, they were deprived of their abilities to act on any principle of action. Arendt defines totalitarianism as a combination of two components, those of terror and the deductive logic of ideology (1994: 356). Terror extinguishes the inner motivation for action: ideology replaces that inner motivation with external motivations. When a uniform ideology becomes the motor for every action, total domination emerges. To function as the motor of actions, ideology must contain some artificial movement. Arendt discovered such an artificial movement in the logical progress of deductive inference, which, for her, was a far more essential component of every ideology than the actual ideological content. Marxism and Nazism had different ideological contents, but they both featured the same "ice cold reasoning" as Hitler said, according to Arendt (1994: 355).

Certainly, deductive reasoning only gained prominence in modernity against a backdrop of mass atomization, which, in logical terms, means nothing more than the destruction of all inner considerations that might influence the conclusion. In the end, Arendt exposed textbook rationality as a vehicle of total domination, as though the entire totalitarian state were a single logical argument executed by the leader. After discussing the tyranny of men, Arendt shifts to the “tyranny of logicality”, as if logic, not people, killed (1958a: 473). Having defined totalitarianism as the most radical denial of freedom, although trapped in a binary choice between freedom and justice, she had no other option than to construe the theory of totalitarianism as the most radical affirmation of rationalism, normativity, and justice. She would write that “Totalitarian lawfulness pretends to have found a way to establish the rule of justice on earth — something which the legality of positive law admittedly could never attain” (462).

Her decision to expose deductive logic as a vehicle of total domination was biased because her entire school of thought distrusted rationality. Her argument was supported by neither her analysis in previous chapters of the book nor by what we may find in the Soviet material. Earlier, in line with Schmitt, she presented the movement as the most exceptional component of the novel form of government. Consistency would require her to conclude that the movement was literally the motor of total domination. However, the complex nature of the movement — with the cover of façade organizations and the “fluctuating hierarchy” which she so brilliantly described in the 11th chapter of *The Origins* — makes the chance of any logical deductive process uniformly proceeding through the different layers of access and initiation implausible. Deduction was always paired with hermeneutics, science with prophecy, propaganda with indoctrination, and rationality with mystery. Arendt compared the core of the movement to a secret society, worshipping the leader’s “dynamic will” (365). When she explained totalitarian domination through terror and the deductive logic of ideology, she neglected a considerable portion of the totalitarian experience, which was defined by mass enthusiasm and mysterious belonging. Soviet propaganda of the 1930s, exemplified in movies such as *Road to Life* (1931) directed by Nikolai Ekk or the comedies of director Grigori Aleksandrov, reached the audience through emotion and the promise of a new life rather than through terror or cold logic. Totalitarianism was characterized by this juxtaposition of terror and enthusiasm and logic and mystery. Therefore, an excess of freedom may be partly responsible for the rise in total domination, rather than the tyranny of normative thinking.

At this point, Arendt’s curious hermeneutical strategy should be recalled; she interpreted statements by Stalin or Hitler quite literally, regarding them as anchoring truths of totalitarian reality. These statements were also free expressions of the leaders’ perverse imaginations. At the zenith of their power, neither Stalin nor Hitler had any reason to not to reveal their true colors. They certainly had to remain mysterious and unpredictable, as *arcana imperii* is always the greatest reservoir of power. However, although destroying freedom for millions, totalitarian rule created spaces for unprecedented discretion and arbitrariness for those in power. Identifying this unlawfulness with freedom is seemingly illogical, unless, as in Arendt’s theory, the law cannot be used as a canon for what

freedom entails. For Arendt, freedom transcends the law. However, for the same reason, totalitarian power is a radical manifestation of freedom. Arendt recognized this problem; she wanted to define freedom as non-sovereignty, thereby excluding this kind of unlimited arbitrary power from the concept of freedom. However, her circumscription of freedom means that sovereignty is a form of freedom, although a bad one. If freedom and sovereignty were two completely different things, thinking of freedom as non-sovereign would not have been difficult. Arendt did not want to concede that her concept of freedom as a miracle had the same intrinsic issue, for it allowed alternative readings. The miracle was the working means of totalitarian propaganda; the miracle and mystery of extraordinary politics rather than textbook deductive reasoning was the primary cause that millions of people, including many artists, engaged with totalitarian movements. To adequately describe the logical repertoire of totalitarianism, along with the radical power of consecutive reasoning, the power of questioning, destroying, and creating assumptions about human existence that is exercised to a previously unimaginable scale is worth mentioning.

The Loss of Self

At the individual level, Arendt employed the concept of loneliness as additional evidence of the fatal role played by deductive reasoning (1958a: 474).¹³ She contrasted loneliness with isolation and solitude. Unlike isolation, which relates to the political condition of human beings, loneliness relates to their social intercourse. However, loneliness is not solitude, which is simply the condition of being alone. Arendt insisted that loneliness is most keenly felt in the company of others. Unlike solitude, which allows for inner dialogues, the condition of loneliness is defined as the loss of self. She wrote that “What makes loneliness so unbearable is the loss of one’s own self which can be realized in solitude, but confirmed in its identity only by the trusting and trustworthy company of my equals” (477). She concludes that, in the terrifying condition of loneliness, a human being who is deprived of himself or herself, may rely only on purely logical truisms (e.g., two plus two equals four).¹⁴ Thus, formal logic is exposed as the ultimate foundation of the terror and ideology that prey on human loneliness. This is another example of Arendt’s structural thinking, which sounds convincing when applied to Germany rather than Russia. In fact, throughout this argument, Arendt refers to German thinkers such as Hegel, Nietzsche, and Luther (in addition to Cicero, Epictetus, and Augustine).

However, the Russian material seems to contradict her attempts to establish a correlation between the excessive use of deductive logic and the totalitarian condition. Indeed, Stalin allowed logic to be taught in Soviet schools, though to a limited degree, no earlier than 1947. Before 1947, in pre-Revolutionary Russia and immediately after the Revolu-

13. M. Shuster, who promises to give a systematic account of her remarks on loneliness, disputes her description of logical reasoning as unaffected by and related to the totalitarian condition (2012: 494).

14. That her argument is convincing only so far follows from how Descartes memorably challenged the self-evident aspect of mathematical truths in his *Meditations*.

tion, the main obstacle to finding oneself was the “trusting and trustworthy company of my equals”, whether in the form of a peasant community or kolkhoz or another kind of social environment, rather than an uprooted individuality that blindly relied on deductive reasoning. In general, Arendt’s concept of mass atomization which was directly linked to the mechanism of self-loss was inconsistent; adding specifics on the Russian side of the story is just another way of making the same point about her theory which has already been achieved through different means (Baehr, 2007).

The quest for one’s own self cannot be accomplished by simply relying on or rejecting the laws of textbook logic. Apparently, neither option was tenable for Socrates, who, in observing the Delphic oracle’s mission, continued searching for himself until his dying breath. The trustworthy company of the Athenian citizens was not helpful either. The unlikely parallel between the fate of the ancient Greek philosopher, whom Arendt always admired, and Russian history, in which Arendt was never really interested, helps my argument to become less historically and geographically limited than it might have initially seemed.

Straddling Europe and Asia, Russia is the furthest imaginable object of comparison with the inaugural experience of Western civilization in ancient Greece; however, this comparison remains sufficiently meaningful. Russia was influenced less by the Roman Empire than the majority of Western Europe; it inherited its Western legacy from the Greeks through the Byzantine Empire, not ancient Greece. In a sense, finding invariants that have survived the historical process of translation from ancient Greece to contemporary Russia is similar to tracing the outer limits of the Western world. Disorientation is almost the only real feature shared by ancient Athenian society at the end of the 5th century BC, Europe after the Second World War, and post-Soviet Russian society; this disorientation could not and cannot be compensated by any amount of knowledge of its genealogy and roots. Under such conditions, the Greek answer suggested by Socrates, Plato, and Aristotle consisted of two parts. The first part was to know oneself, which does not quite match Arendt’s negative strategy of demonizing deductive reasoning. The classical logic of the Greek philosophers was the cornerstone of the second part of their answer — the establishment of a common language — which was fundamental in providing justice to others. When we find ourselves in the same invariant human condition of disorientation today, blaming deductive reasoning for totalitarianism does not restore any meaning to the world, but knowing oneself and being just toward others can.

Conclusion

Arendt was a great political realist because she had a gift for clearly identifying political problems. For example, compare her acute sense of reality to the political blindness of her mentor, Heidegger. However, while clearly recognizing such problems, Arendt did not always offer realistic diagnoses and solutions because of the dogmatism intrinsic to her entire school of thought which permeated her theoretical approach. The consistent features of this dogmatism include a distrust of the normative reasoning in all its forms,

from legislation to science and textbook logic. In many cases, this stance resulted in Arendt's extraordinary theoretical breakthroughs, such as her brilliant exposition of the novel form of the typical political organization of totalitarian movements which could hardly have been achieved without her ability to think of politics in terms similar to those of thinkers such as Carl Schmitt and Martin Heidegger. However, this approach was flawed because it relied, although in a unique way, on the structural features of reality, thereby dispensing with its political meaning. The structural interpretation of phenomena such as freedom and totalitarianism is problematic because it requires the introduction of an external method for reading the findings. For Arendt, this drawback was not an issue because she interpreted the immediate past; her angle was predetermined by the clear understanding that we encounter evil in its most radical form in totalitarianism. Such an unbearable but effective truth is not always given to interpret other historical periods. Under different circumstances, the shortcomings of her approach are exposed. Her engagement with Soviet history which holds an authoritative place in contemporary Russian political discourse reveals these flaws. In the Russian context, her distrust of normative reasoning and the problem of justice — far from being eye-opening — becomes part of a long-standing tradition of neglecting the rule of law which is equally shared by most loyalists and opposing parties; the performative concept of freedom, introduced by Arendt and even shared by some of her Russian critics, is ultimately indifferent to major political changes, such as Russia's transition from a post-totalitarian society to a quasi-liberal society from 1990–2000, and then its reversal which the country is beginning to experience today. Arendt's idea that we can acquire an understanding of politics by returning to the beginning of the Western political experience in ancient Greece should definitely be preserved from her rich theoretical legacy. The Russian parallel may seem out of place here; however, rather than their institutions and philosophical doctrines, the Greeks gave us their way of questioning reality in such a way that asking and giving answers becomes meaningful. In this sense, returning to the Greeks even more than what Arendt accomplished may be the best way to faithfully preserve her legacy.

References

- Arendt H. (1958a) *The Origins of Totalitarianism*, New York: Meridian Book.
- Arendt H. (1958b) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1961) *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*, New York: Viking Press.
- Arendt H. (1994) *Essays in Understanding, 1930–1954: Formation, Exile, and Totalitarianism*, New York: Schocken.
- Arendt H. (2002) Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought. *Social Research*, vol. 69, no 2, pp. 273–319.
- Arendt H. (2006) *On Revolution*, London: Penguin.
- Baehr P. (2007) The “Masses” in Hannah Arendt's Theory of Totalitarianism. *Good Society*, vol. 16, no 2, pp. 12–18.

- Benhabib S. (2003) *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Berlin I. (2004) *The Soviet Mind: Russian Culture under Communism*, Washington: Brookings Institution Press.
- Berlin I., Harris I. (2002) *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, Oxford: Oxford University Press.
- Berlin I., Jahanbegloo R. (1991) *Conversations with Isaiah Berlin*, New York: Halban.
- Birmingham P. (2006) *Hannah Arendt and Human Rights: The Predicament of Common Responsibility*, Bloomington: Indiana University Press.
- Cross H., Sherbowitz-Wetzor O. P. (1953) *The Russian Primary Chronicle, Laurentian Text*, Cambridge: The Mediaeval Academy of America.
- Deleuze G. (1962) *Nietzsche et la Philosophie*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Deleuze G., Guattari F. (2004) *Anti-Oedipus*, New York: A&C Black.
- Filippov A. (2015) Hanna Arendt i Karl Schmitt: dva ponjatija politicheskogo [Hannah Arendt and Carl Schmitt: Two Concepts of Political]. *Sovremennoe znachenie idej Hanny Arendt: Materialy mezhdunarodnoj konferencii* [The Contemporary Significance of Hannah Arendt's Ideas: Proceedings of the International Conference], Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University, pp. 52–65.
- Foucault M. (2003) *Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975–1976*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Gaffney J. (2016) Another Origin of Totalitarianism: Arendt on the Loneliness of Liberal Citizens. *Journal of the British Society for Phenomenology*, vol. 47, no 1, pp. 1–17.
- Gloukhov A. (2015) Arendt on Positive Freedom. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 2, pp. 9–22.
- Goldoni M., McCorkindale C. (2012) *Hannah Arendt and the Law*, London: Bloomsbury.
- Gündogdu A. (2014) *Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants*, Oxford: Oxford University Press.
- Gurian W. (1963) *Bolshevism: An Introduction to Soviet Communism*, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Havel V. (1985) The Power of the Powerless. *International Journal of Politics*, vol. 15, no 3–4, pp. 23–96.
- Heidegger M. (1977) The End of Philosophy and the Task of Thinking. *Basic Writings*, London: Routledge & Kegan Paul, pp. 373–392.
- Isaac J.C. (1996) A New Guarantee on Earth: Hannah Arendt on Human Dignity and the Politics of Human Rights. *American Political Science Review*, vol. 90, no 1, pp. 61–73.
- Jurkevics A. (2017) Hannah Arendt Reads Carl Schmitt's *The Nomos of the Earth*: A Dialogue on Law and Geopolitics from the Margins. *European Journal of Political Theory*, vol. 16, no 3, pp. 345–366.
- Kalyvas A. (2008) *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kant I., Reiss H.S. (1991) *Kant: Political Writings*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Kohn J. (2002) Introduction. *Social Research*, vol. 69, no 2, pp. v–xv.
- MacCallum G.C. (1967) Negative and Positive Freedom. *Philosophical Review*, vol. 76, no 3, pp. 312–334.
- Medearis J. (2004) Lost or Obscured?: How V. I. Lenin, Joseph Schumpeter, and Hannah Arendt Misunderstood the Council Movement. *Polity*, vol. 36, no 3, pp. 447–476.
- Salikov A. (2017) Why Arendt?. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 2, pp. 218–220.
- Salikov A., Yudin G. (2018) Hannah Arendt and the Boundaries of the Public Sphere. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 4, pp. 9–13.
- Salikov A., Zhavoronkov A. (2019) Philosophy of Hannah Arendt in Russia. *Voprosy filosofii*, no 1, pp. 133–145.
- Schmitt C., Draghici S. (2001) *State, Movement, People*, Alexandria: Plutarch Press.
- Shuster M. (2012) Language and Loneliness: Arendt, Cavell, and Modernity. *International Journal of Philosophical Studies*, vol. 20, no 4, pp. 473–497.
- Tsao R.T. (2002) The Three Phases of Arendt's Theory of Totalitarianism. *Social Research*, vol. 69, no 2, pp. 579–619.
- Yurchak A. (2013) *Everything was Forever, until It was no More: The Last Soviet Generation*, Princeton: Princeton University Press.

Читая Арендт в российском контексте

Алексей Глухов

Кандидат философских наук, доцент Школы философии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: agloukhov@hse.ru

Наследие Ханны Арендт в России достаточно хорошо изучено, в академических дискуссиях чувствуется влияние ее мысли. Но ее теоретические позиции едва ли помогают существенно изменить сегодняшнюю локальную ситуацию в политике и философии. В силу одной и той же причины ее идеи популярны в России и не ведут к практическим переменам. Ее оригинальный подход к политике прекрасно ложится на традиционные шаблоны российской политической жизни, которые не менее далеки от устойчивых форм западной политической культуры. Некритически пересаженный на иную почву, ее нетрадиционный способ мышления о политике встречает в России непосредственный и живой отклик, но не столь же суровую критическую проверку, как в странах Запада. Парадоксальным образом это доказывает, что взгляды Арендт могут скорее подтверждать, чем оспаривать локальный статус-кво. В этой статье я привожу объяснение этому парадоксу, указав как элементы ее теории, ускользающие от внимания ее российских последователей, так и догматические положения, присущие в целом ее школе мысли, которые можно выявить благодаря прочтению ее текстов в контексте российской истории. Так, неявно, но различимо в теории Арендт содержатся элитистские и либеральные тенденции, что отчасти согласуется с макиавеллиевским характером современной российской политики. Но как только ее взгляды неожиданно сближаются с позицией Исаии Берлина, эти нормативные

решения по большей части оставляются без внимания. В то же время чтение ее текстов в свете российского опыта позволяет выявить ее собственные презумпции относительно человеческого бытия, смысла политического существования и нашего отношения к истории, ослабляющие практическую релевантность ее размышлений.

Ключевые слова: Арендт, Россия, рецепция, тоталитаризм, свобода, нормативность

Cosmos and Republic: A Hidden Dialogue between Hannah Arendt and Alexander von Humboldt

Wolfgang Heuer

Privatdozent, Otto Suhr Institute for Political Science, Free University Berlin
Managing Editor of HannahArendt.net
Address: Ihnestraße, 21, Berlin, Germany 14195
E-mail: wolfgang.heuer@gmx.de

This text brings together two ideas, those of Hannah Arendt's republicanism and Alexander von Humboldt's cosmopolitanism. Both ways of thinking are seen as alternatives to a republican-biocentric perspective to the current problematic areas of the political and ecological crises. Arendt's critique of the modern natural sciences and the associated alienation from the earth, which still characterizes the current relationship to nature today, will be presented first. This critique is closely related to Arendt's thesis of world loss, i.e., the loss of the interpersonal pluralistic sphere. As an alternative to both forms of loss, Arendt develops the concept of an independent sphere of the political based on inter-personality, harmony with nature, and dialogical and consensual politics. While Arendt approaches nature from Kant's definition of self- and world-relationship and from her own definition of sustainable politics, Humboldt goes the opposite way, that is, from respecting nature as an independent organism to a republican understanding of politics that, like Arendt, rejects the exploitation of humans as well as nature. Arendt and Humboldt both belong to the tradition of the Enlightenment that (in addition to phenomenology, self-reflection, the values of human dignity and human rights, and the unity of understanding and feeling) also includes a cosmopolitanism and freedom of movement for acting and judging citizens.

Keywords: Arendt, Humboldt, republicanism, cosmos, Anthropocene, nature, process, cosmopolitanism

Voices from outer space:

Soichi Noguchi: "We are citizens of outer space."

Juri Gagarin: "I saw how beautiful our planet is. People, let's preserve and multiply this beauty, not destroy it!"

Nicole Stott, on behalf of 18 astronauts to the delegates of the Paris Climate Conference 2015: "The one thing we all wish is that groups like yours could be holding your meeting in space with the beautiful horizon to horizon view of our planet as a backdrop. It would be an awe-inspiring distraction for sure, but there would be nothing better for reinforcing the significance of what you're doing there today."

The location of these astronauts is not the Archimedean point from which, according to Arendt, cosmic extraterrestrial energy in the form of nuclear energy is directed towards the Earth (1958, 2006b). On the contrary, it is the physical location of a sensual view of our planet whose limitedness, togetherness, and beauty is rendered visible. The earth appears as a terrestrial globe, but at the same time, as a world in Arendt's sense as she meant it, as a space of interpersonal relationships, or at least as a potential space, or as a potential world. We know Arendt's illuminating account of the human conditionality of plurality and freedom. According to Arendt, plurality presupposes both equality and diversity (1958: 35–37), whereas freedom is both action and responsibility (1987). This account merely describes the possibility of its full potential. The real and at the same time imaginary view of the earth from this location reveals a constant struggle in ordinary everyday life between the realization of plurality, freedom, and responsibility on the one hand, and the pursuit of hegemony, sovereignty, and the oppression and destruction of worldly spaces on the other. The common world is rife with conflict zones. Not only are they caused by failed states and hegemonic powers, they are even encouraged by the fact that the world itself is a kind of failed community in which even a shared, but largely-powerless instrument like the "United Nations" has little directive force.

With the emergence of discussions about the Anthropocene, it is no longer only a question of defending human plurality, but also of the natural foundations of life, those of earth, water, air, climate, and living beings, i.e., the preservation of the earth (or in the jargon of Christian peace and environmental initiatives of the 1980s, the preservation of creation). To make the world in such a way presupposes an alternative; are we to approach the problems of the world and our relationship to creation with a liberal and instrumental way of thinking and acting, or do we want to regard plurality, politics, the world and nature/earth not as a means to an end, but as an end in itself: in other words, with a cosmopolitan, republican attitude?

This question prompts me to bring together two research directions that have a critical relationship to modernity; Hannah Arendt's republicanism, on the one hand, and the exploration of nature by the Enlightenment naturalist Alexander von Humboldt, whom Andrea Wulf called the "inventor of nature" (2016), on the other. Both are critics of a utilitarian understanding of politics and nature, both are phenomenologists, both are intellectuals in the tradition of the European Enlightenment, and both are republicans. This essay intends to contribute to a deepening of the initial considerations in this direction (Cannavò, 2016).

Before creating a kind of republican-biocentric-philosophy opposing the anthropocentric way of thinking, a brief encounter with Arendt and Humboldt may point to yet another way of thinking that would combine Arendt's and Humboldt's world-views that are mutually enriching. As a result, Arendt's idea of strong republican citizenship would elevate the ecological rationality of citizens in their relationship with nature to a decisive level, while Humboldt's understanding of nature would radicalize these relationships with the assumption of a worldwide unity of man and nature.

In the following, I would first like to address Arendt's critique of the modern understanding of nature as one of the foundations of her republican understanding, and ask about the indispensability of strong republican thinking for the preservation of the earth, i.e., political thinking carried by sustainability and civic commitment. I will then ask whether Humboldt's views on nature and the cosmos offer an understanding of nature in tune with republicanism. Finally, I will ask about Arendt and Humboldt's methods and ways of thinking that correspond to republicanism and the cosmos.

Arendt — Nature as a Process

In the following section, I will highlight two aspects of Arendt's analysis of nature; her critique of the alienation of the earth and the world by the natural sciences, and her critique of the understanding of nature as a process.

The secondary literature on Arendt's idea of nature rarely deals with the relationship between ecology and politics, with the exception of publications by Hargis (2016) and Whiteside (1998). They emphasize the strong link between the concepts of culture and nature, which Arendt sees as far more interconnected than her strict discrimination of terms suggests, namely on the issue of the cultural preservation of nature. The other studies deal with some particular aspects of Arendt's work (Chapman, 2007; Ott, 2009; Donohoe, 2017; Yaqoob, 2014).

Referring to the alienation of the earth and of the world, Arendt describes modern discoveries and inventions not as liberating and enriching progress, but as the alienation from the earth through acceleration, as a reduction of distance *on* earth through distance *from* earth and, at the same time, as a worldlessness due to the dual movement of expropriation and the process of accumulation. According to Arendt, “the Renaissance's new-wakened love for the earth and the world” (1958: 240) as a response to the rationalism of medieval scholasticism became the first victim of the new science. The latter went beyond the heliocentric view of the world in an effort to move around the universe with a panoramic relativism rather than a center and to conduct experiments with cosmic processes of evolution “unknown in the household of nature . . . at the risk of endangering the natural life process” (Ibid.: 238) that can extinguish all life.

The complicated relation to nature did not first emerge with the capture of the Archimedean point; it was originally created with a modern natural science that does not deal with nature *per se* or with its own questions; subordinating facts to laws can prove everything. Arendt wrote that Man is reduced to “no more than a special case of organic life, . . . to whom man's habitat — the earth, together with earthbound laws — is no more than a special borderline case of absolute, universal laws” (2006b: 260). Sensory perceptions, common sense, and language are replaced by constructs and formulas. Arendt quotes Nils Bohr as saying that the aim is no longer “to augment and order” (261) human experience, but to discover what lies behind natural phenomena.

It is striking that Arendt considers world alienation not merely as a scientific process, but as a broad cultural process in which the natural sciences determine the prevailing

views in religion, philosophy, historiography, and political theory. Hence, she asserts “the almost too precise congruity of modern man’s world alienation with the subjectivism of modern philosophy” (1958: 248) — from the doubts of Descartes, through Hobbes and English sensualism, empiricism, and pragmatism to the existentialism and positivism of the twentieth century — accompanied by the withdrawal of people into their own selves. It was therefore not simply ideas about alienation from the world that moved philosophers, but concrete events, inventions, and discoveries to which they responded with doubts, axiomatic conclusions, and a “catastrophic loss of judgement”¹

The second aspect, the interpretation of nature as a process, according to Arendt, comes out as a result of technical progress. The interpretation of history was likewise affected by thinking in processes. Nature and history were both subjected to the flow of progress (2002: XX, 8), so that the procedural nature of examining them is inevitably constructed “in the sense of the consuming process of life that is most immediately given to our experience” (XXII, 3). This life process corresponds to Arendt’s characterization of work in its processual, “destructive, devouring aspect of the laboring activity . . . visible only from the standpoint of the world” (1958: 87). Arendt, as a phenomenologist, is particularly disturbed by the phenomenon (or anything particular) that no longer appears “in the sense of an aspect or an example. It no longer shows itself at all, but is constantly consumed, ‘proceeded’” (2002: XXII, 3). Finally, Arendt observes that progress in science and technology only came about because human beings intervened in interpersonal areas in a way that was previously confined to the realm of history. Scientific and technical rather than political actors develop potential extermination processes, and today intervene in nature on a large scale with breeding, with genetic changes (1994b: 77).

According to Arendt, the difference between the ancient and the modern idea of nature could not be any greater. On the one hand, the immortality of nature and human deeds in ancient Greece, “which would deserve to be and, at least to a degree, are at home with everlastingness, so that through them mortals could find their place in a cosmos where everything is immortal except themselves” (1958: 19). On the other hand, there is the “world of things, which we already produce as transient, as parts of a gigantic production and consumption process, which makes them emerge and disappear ever faster” and which “is itself surrounded by a transient nature, the disappearance of which takes place only at a slower pace — and this only as long as man leaves the natural processes of the emergence and disappearance of seas, continents and mountains to himself and does not intervene in an accelerating way. Immortality, in any case, has disappeared from the world surrounding human beings as well as from the nature surrounding the world. On its part, it is surrounded by a transient nature, the disappearance of which takes place only at a slower pace — and this only as long as human beings leave the natural processes

1. This phrase only exists in the German version authorized by Arendt when she wrote: “. . . die Verachtung der deutschen idealistischen Philosophie für den gesunden Menschenverstand hängt aufs engste mit Hegels ausdrücklicher Verachtung für die von Kant so gepriesene menschliche Urteilskraft, das eigentlich höchste Vermögen der Vernunft, zusammen” (“The contempt of German idealistic philosophy for common sense is closely linked to Hegel’s explicit contempt for the human power of judgement so praised by Kant, which is in fact the intellect’s highest asset”) (1994b: 68).

of the origin and disappearance of seas, continents and mountains to themselves and do not intervene in an accelerating way. Immortality, in any case, has disappeared from the world surrounding man as well as from the nature surrounding the world" (1994b: 76f).²

These procedural interventions have assumed the character of irreversible actions, comparable to interpersonal actions (2006a: 86–90). Over time, the transience of the world of things and of nature (1994b: 72, 77) due to processes and interventions in the world and in nature, leads to consequences which are irreversible (77f.). In this process, the ability to act has become more and more the "exclusive prerogative" of natural scientists. She continues by saying that "It seems only proper, that their deeds should eventually have turned out to have greater news value, to be of greater political significance than the administrative and diplomatic doings of most so-called statesmen" (1958: 206).

Arendt's critiques of the loss of the earth and of the world and of the process of thinking, of the endangerment of man and nature, and of the quasi-unrestricted actions of scientists remain topical even in the face of newer technological developments of digitalization, biotechnology, and AI. At the same time, the exploitation, pollution, and destruction of the living environment is gaining momentum.

In Arendt's view, this process threatens to destroy man's stature unless reason, public spirit, and the ability to judge take center stage again. The aim is to reverse the emancipation of the natural sciences from the "anthropocentric, i.e., truly humanistic, concerns" (2006b: 260) that were not explained in detail, but in a political rather than a conservative or romantic way. She ends her essays on "Nature and History" (in the German version) with the remark that she could or should not offer solutions in such an essay, but "perhaps contribute something to self-declaration and above all encourage to pursue the essence and the possibilities of action . . ." (1994b: 79); in other words, political action in the context of republicanism. Thus Arendt defends the freedom and curiosity of research, but at the same time considers "the layman and the humanist" indispensable in order "to judge what the scientist is doing because it concerns all men, and this debate must of course be joined by the scientists themselves insofar as they are fellow citizens" (2006b: 262). It should, however, be noted that humanism today is no longer an anthropocentric, but a biocentric understanding of the world.

I would like to add a third aspect, that of the role of nature in relation to the human necessities of life. Arendt touches on it only briefly with regard to the role of essential reproductive food, metabolism, and life as the basic condition of working. Yet, Arendt contemplates the beauty and indispensability of nature. Thus, when she turns to the world of phenomena, which not only constitutes the space of the political but according to the biologist Portmann as cited by Arendt in agreement, is also characteristic of all sentient

2. See Arendt, 1994b: 76f: "Die Welt der Dinge, die wir schon als vergängliche herstellen, als Teile eines gigantischen Produktions- und Konsumtionsprozesses, der sie immer schneller entstehen und vergehen lässt" und die "ihrerseits von einer vergänglichen Natur umgeben ist, deren Hinschwinden sich nur in einem langsameren Tempo vollzieht — und auch dies nur solange, als der Mensch die natürlichen Prozesse des Entstehens und Vergehens von Meeren, Kontinenten und Gebirgen sich selbst überlässt und nicht beschleunigend eingreift. Unvergänglichkeit jedenfalls ist aus der den Menschen umgebenden Welt wie aus der die Welt umgebenden Natur verschwunden."

beings, humans and animals who perceive phenomena and as phenomena of almost infinite diversity have the ability “to see and be seen, hear and be heard, touch and be touched” (Grimm 1977: 19). These phenomena are not only subject to a natural necessity, but largely represent an end in themselves in their manifestations.

Elsewhere, Arendt draws an emotional picture of nature interacting with humans. In a review of the writer Adalbert Stifter’s relationship to nature in his novels and stories, she describes it as unparalleled in its pure joy, wisdom, and beauty (2007). Arendt highlights the great beauty and “strangely innocent wisdom” of Stifter’s work and his incomparable ability to unfold a narrative landscape painting of the mountains of Bohemia. For Stifter, nature is reality. The people who live there are part of the common cycle with nature. They have a home there and are not confronted by a foreign society. Arendt wrote that “Our sense of homelessness in society and of alienation in nature, whose laws we feel will function only as long as we leave it alone (as Kafka once put it), are constantly contradicted by Stifter” (2007: 113). The development of human nature in Stifter’s works is the greatest good, according to Arendt, and trust is the highest virtue as a prerequisite for this development. The narrative “Rock Crystal” demonstrates this reality, beauty, and innocent wisdom. It tells the story about two children who get lost in a snowstorm in the mountains, and are rescued by the inhabitants of two villages; those inhabitants had been strangers until then.

Nature, the environment, technology, science, politics, and philosophy are inseparable in Arendt’s view. As far-reaching as it is incomplete, her alternative suggests the creation of the world in the terms of inter-subjective worlds and the recovery of political action that subjects all human concerns to a deliberative process, including the contents of the sciences and their application. Her republican-cosmopolitan approaches lend weight to our perception of the environmental/earth crisis as a crisis of liberal and autocratic governments in our world(s). Against this background, technical solutions promoted as “geotechnology,” such as the installation of reflective mirrors in space to minimize global warming, can be criticized not only in terms of feasibility, but above all as the continuation of an instrument-based creator mentality. Instead, we need to replace instrumental thinking with ecological thinking.

The critique of “globalization” has priority here, for instance, the ideas of Étienne Tassin, who describes international relations as world-destructive, domesticated, privatized, and consumed (2011: 15). According to Tassin, a globalized world in which the ecosystem of all living things, the cultural assets of all peoples, and the pluralist communities of political actors must be preserved and enabled calls for a corresponding threefold effort in the form of ecology, ecumenism, and cosmopolitanism in the interests of the environment, cultural assets, and the meta-national sphere.

Kerry Whiteside’s above-mentioned argument that Arendt’s remarks on the role of culture in ancient Athens and Rome deriving the preservation of “agri-culture” as an alternative to the exploitation and destruction of nature (1998) can also be found in the unity of town and country during the Renaissance, when culture was understood as the parallel preservation of culture, virtue, and landscape. Arendt’s “worldly love of the Re-

naissance" expressed itself in the landscape as the cultural *topos* of Dante, Petrarch, and Aeneas Sylvius before it was subjected to the new thinking of science and technology.

This worldly love of the Renaissance cannot be separated from the civic bourgeoisie's love of political freedom and equality. In 1338–1339, Ambrogio Lorenzetti frescoed the Room of the Nine in Siena's Palazzo Pubblico, depicting good and bad government, and their effect on the life of the city and the surrounding countryside. The prosperous bourgeoisie of the time was aware that the wealth of their city and the wisdom of their rulers could only be secured through peace, harmony, and equality under the rule of law, and the absence of selfish factions and damage to the common good (Skinner, 1998). These principles, known since Cicero, have shaped republicanism from that time even up to Arendt, and means more than the absence of war; they enable the development of the virtue that Montesquieu called the principle of the republic and includes the preservation of the land both for agriculture and as landscape.³

We also find equality under the rule of law in the constitution of our Western societies. Here, however, the republic and liberal democracy are not only structurally in permanent conflict with each other (indivisible or divided sovereignty, rule of the people or of law, rule of *virtù* or principle of virtue, etc.), but also represent two historically competing currents in the tradition of Rousseau/Marx, on the one hand, and Montesquieu/Founding Fathers, on the other. The Principles of Corporate Social Responsibility, a UN initiative launched by Brazilian entrepreneurs in 2000 as the "Global Compact" to protect the interests of workers, customers, and the environment in a progressively globalized world, exemplifies the emergence of the rule of *virtù* at a time of active civil society in the style of Lorenzetti. Here, the principle of socially-responsible action is voluntarily adopted by numerous companies and social and political institutions around the world, transforming them into corporate citizens and members of civil society (Heuer, 2015a). This assumption of multiple responsibilities in the context of republicanism can bring about an effective shift from anthropocentrism to biocentrism, encouraging people to "build better relationships with nature itself and with other people. Such an approach should be based, firstly, on a logic of respect for nature, sufficiency and interdependence, shared responsibility and fairness for all in search of an ecologically balanced environment; and, secondly, on the ethics of a citizenship that thinks globally and locally at the same time and insists on transparency and accountability in all environmental matters" (Bollier, Weston, 2015: 418).⁴ Hence, the special report of the "German Advisory Council on Global Change" (WBGU) in 2014 bears the title of "Climate Protection as a World Citizen Movement" (WBGU, 2014).

3. We find no evidence here of a distinctly ecological policy of urban citizenship, but clearly a "knowledge of the indissoluble connection between city and country" as "a specific European cultural asset and thought" (Magel 2005: 390f.) needs to be revived.

4. Similarly, Jeremy Rifkin wrote that "Geopolitics has always been based on the assumption that the environment is a giant battleground — a war of all against all — where we each fight with one another to secure resources to ensure our individual survival. Biosphere politics, by contrast, is based on the idea that the Earth is a living organism made up of interdependent relationships and that we each survive by stewarding the larger communities of which we are a part" (2010: 615).

Humboldt — Nature as an Organism

An outstanding example of these recommendations can be found in Alexander von Humboldt's ideas of nature and politics. Humboldt was filled with an irrepressible curiosity about nature, writing that "I have a longing for *freedom* and distant journeys." On his five-year, at-times-adventurous journey through the modern states of Venezuela, Cuba, Trinidad, Columbia, Ecuador, Peru, Mexico, and the United States, he collected numerous flowers and plants, noted down his observations of flora and fauna, soils, mountains, and climatic conditions. He took countless measurements of lengths, altitudes, and temperatures; he drew maps, but he was the opposite of the cool, technical surveyor portrayed by Daniel Kehlmann in the novel *Measuring the World*. Humboldt believed that "What speaks to our mind is beyond measurement" (Wulf, 2016: 102).

On the contrary, Humboldt found that nature spans the world like a single organism, and this is why he spoke of *cosmos*. He saw a natural whole, not a "dead aggregate" (Ibid.: 22). His realization that the vegetation in the earth's northern hemisphere resembled the upper mountain regions of the Andes served to prove that even regions and heights remote from each other were connected, an insight he used to establish a geography of plants.

In contrast to Francis Bacon, who regarded the world as created for man, or Descartes, who basically saw animals as robots (87), Humboldt witnessed countless inter-dependencies and established "how many things are linked to the existence of a single plant." He discovered the "principle of the key species . . . which is of vital importance for an entire ecosystem" (105).

Humboldt himself would write that "The phrase *physical description of the world* that I use here is modelled on the long since commonly used physical description of the earth. The expansion of the content, the depiction of the natural whole from distant nebulae to the climatic spread of the organic tissues that color our cliffs, make the introduction of a new word necessary" (1845: 61). It is the *cosmos* in the Greek understanding of the world order that Humboldt was eager to permeate: he wrote that "My main impulse was the endeavor to conceive physical things in their general context and nature as a whole, moved and enlivened by inner forces, . . . so that without serious inclination to the knowledge of the individual, all great and universal world-views can only be an airy vision" (Ibid.: vi). His attempt towards the end of his life to spread *cosmos* throughout numerous volumes of the same name was not fully crowned with success. "We are far from a time when it might be possible to concentrate all our sensuous views on the unity of the concept of nature" (Ibid.: 67).

It is this *cosmos* in the Greek understanding of the world order that Humboldt was keen to investigate. His idea of a multifaceted unity of nature also embraced people in their exchanges with nature. He was immensely interested in the social and political conditions of life, thus distinguishing him as a Republican, "a convinced Republican at the Prussian court" (Ette, 2007: 9). He describes the negative consequences of tree clearing and the subsequent soil erosion, and criticizes slavery and oppression. In his extensive

studies on what is now Mexico, he detailed the social and political situation of the Indians and of African slaves, as well as the hatred that prevailed among the various social classes and seriously hindered the just economic development of the country. At the same time, Humboldt boasted that the Toltecs had “a far more perfect solar year than the Greeks and Romans” (2008: 164).

It was not only part of his ethos as a scientist but also of his humanist convictions that led him to determine “whoever experiences injustice, the grievances of the unfortunate should be brought to those who can alleviate them” (Wulf, 2016: 259). On his visit to the United States following his stay in Central and South America, Humboldt voiced his criticism of the slave economy to President Jefferson. He thanked Jefferson after his visit, saying “I have had the good fortune to see the first Magistrate of this great republic with the simplicity of a philosopher” (Casper, 2011: 258), a message that was followed by years of correspondence. Humboldt admired the newly-formed republic for not having taken the fatal course of the French Revolution. However, he was skeptical about the future of independence movements in Central and South America, since the strong cultural imprint of feudalism and the clergy coupled with lack of opportunity to cultivate republican practices bore the risk of ending in tyranny rather than a republic. Additionally, in 1854, Humboldt complained to Varnhagen about the decline of republicanism in the USA, writing that “the whole thing gives me the sad impression that freedom is simply a mechanism in the element of usefulness, refining little there to stimulate the spiritual and the comfortable, which is supposed to be the purpose of political freedom. . . . Hence indifference to slavery. But the United States is a Cartesian whirlwind, sweeping everything away, tediously levelling” (1999: 181f.).

Cosmos and Republic as a Thinking Space

Such a thinking space not only exists as a place for the exchange of views, but is characterized by Arendt’s critique of the natural science disinterest in world and nature, and Humboldt’s views of nature and the cosmos. Both differ completely from abstract, surveying, instrumental thinking. What is the object of our thinking? was the question Arendt asked herself, to which she replied: “Experience! Nothing else! And if we lose the ground of experience, then we get into all kinds of theory” (1996: 79).

For Humboldt, Hegel’s approach to the world or even the cosmos was unbearable for its lack of vision. He would write that “A forest of ideas is certainly for me in that Hegel . . . for a man who, like me, is banished to the ground like an insect and a difference of nature, an abstract assertion of purely false facts and views about America and the Indian world becomes liberty-robbing and frightening. I don’t ignore anything great” (1999: 180).

Humboldt is the first scientist to produce scientific results in images; here, the pictorial representation is part of the cognitive process, not mere illustration. Since the perception of external nature and inner human nature not only takes place in concepts or in an unemotional outlook and unemotional thinking, but in the world of feelings as well, Humboldt’s work is deliberately marked by sensual impressions that arise insolubly

while observing nature. His *Views of Nature* is a “scientific book full of lyrical passages.” For Humboldt, language was as important as content, and he did not allow a publisher to change a single syllable in order to preserve the ‘euphony’ of his sentences” (Wulf, 2016: 175). He emphasized “the combination of a literary and a purely scientific purpose, the desire to simultaneously engage the imagination and enrich life with ideas by multiplying knowledge” (Ette, 2001: 49).

In his book on what is now Mexico, he introduced his geographical account with an impressive description of a sandstorm, writing that “I have tried, always authentically describing, characterizing, even trying to be scientifically truthful, without entering the arid region of knowledge” (1860: 23).

Such a search for scientific knowledge prompted Humboldt’s researcher, Ottmar Ette, to summarize Humboldt’s method as trans-disciplinary rather than interdisciplinary (2006: 10).

Arendt’s thoughts have been variously discussed in terms of her essayistic, open-minded reasoning, which she referred to as “exercises in political thinking.” Her description of semantic changes in concepts and of the ways of thinking in the period between antiquity and modernity provided the title *Between Past and Future*, for a collection of her essays. Her use of linguistic imagery and metaphors designate the new, irony, sharpness, and laughter, e.g., in the characterization of Eichmann, in the reduction of essentialist concepts to a minimum, which she called *The Human Condition* in order to display intersubjective phenomena. Her analysis of the use of poetry and literature in the reproduction of moods and experiences of political consequence typical of the time is presented in her books *Rahel Varnhagen, The Origins of Totalitarianism, Men in Dark Times*, and *The Hidden Tradition*; descriptions of the theatrical, atmospheric scenes (about Anton Schmidt, who had rescued persecuted Jews, in the Eichmann trial, and the recitation of Pasternak’s poems by heart on the public when his work reappeared after a long period of being banned in the USSR and mentioned in her essay on the Hungarian Revolution) of imagination are a prerequisite of judgment, and the critique and redefinition of *vita activa* and *vita contemplativa* as joint action and thinking/judging in public (Hahn, 2005; Heins, 2007; Heuer, 2015b; Knott, 2011; Robaszkiewicz, 2017; Weißpflug, 2019; Zembylas, 2018). These arguments are closely linked to the emotional movements (writing with *ira et studio*, laughter, pure joy, wisdom and beauty, the “basic experience of abandonment”, giving meaning and understanding to her feeling of *amor mundi* (Campillo 2019)). Nor should the transfer of Kantian aesthetic judgment to political judgement be interpreted as de-emotionalization, since “desinterested pleasure” underlies the process of judgment, and the appearance of the “who”, as we saw in the reference to Portmann, has an aesthetic component (the beautiful gesture, or ugly behavior). Finally, Arendt’s application of Salomo’s “understanding heart” in her essay on “Understanding and Politics” (1994a: 322) which she used while investigating the conditions for judgment before embarking on her writings on Kant, shows that she was not seeking an abstract formula for judgment, but rather the possibility of understanding as a way to meaning. Meaningfulness through narratives and the perception of different perspectives and experiences requires

the whole person, as the Enlightenment essayist and diplomat Melchior Grimm put it when he wrote that “The prerequisite for a distinct and mature taste is having a sharp mind, a sensitive soul and a righteous heart” (1977: 121).

What finally distinguishes this space of thought is a shared cosmopolitanism. In Arendt’s work, its starting point is qualitatively interpersonal combined with an active plurality, which is followed in the second step by the relevant institutionalization of this plurality in the form of a federation (Heuer, 2016). Finally, in the third step, this plurality and federation requires an appropriate form of judgment, that is, the extended power of judgment adopted by Kant, the location of which is cosmopolitan. It presupposes that judges leave the exclusivity of the European or Western horizon and judge from a cosmopolitan location, which contradicts Hegel’s pejorative critique of Chinese philosophy (Heuer, 2018).

Humboldt’s view of the world is one that not only encompasses nature as a global organism, but, according to Ette, characterizes the world as a commonality of world trade, world history, world view, and world consciousness. What Alexander von Humboldt developed on the level of world knowledge was introduced by his brother, Wilhelm (with whom he constantly exchanged ideas) on the level of linguistic knowledge, so that it applies to both that “the dialogical principle is central not just to Humboldt’s theory of language but also to his philosophical anthropology, and it has a direct political relevance. . . . The diversity of languages and their comparative study is not just essential to our understanding of our own languages as well as those of others; it is intrinsic to the nature of language as such. Translation is thus a privileged route to cultural as well as linguistic communication” (Walker, 2017: 83).

Two things could be inferred from this cosmopolitan perspective. First, the preferred regional location is left but not abandoned, and is instead subjected to a critical assessment within the framework of many points of view. Second, a cosmopolitan attitude towards political action is adopted. Looking at international institutions from a regional or national perspective, (such as the UN Security Council), or from a perspective of international organizations (such as the courts of criminal justice), or rules (such as the Responsibility to Protect), and challenges (such as climate change and the extinction of species) is quite a different matter to looking at them from the variable and fluid standpoints in the world. Then, we find that these institutions are not merely promising approaches, but they are still far too weak as instruments when it comes to a much-needed future cosmopolitan policy where regional standpoints are not necessarily confined to their regions alone.

Conclusion

We can now conclude from what has been said that Arendt and Humboldt’s self- and world-relationships seem radical in their strong rejection of any kind of instrumentalization of men and nature, and less so in their open or implicit criticism of the natural sciences. The preservation of nature is by no means absent in Arendt’s statement that the

meaning of politics is freedom, and that the realization of human plurality is the basis of politics and freedom. Neither is it missing in Humboldt's statement that the unity of man and nature includes a republican respect for mankind. Both perspectives exclude the exploitation of man and nature in open or hidden forms like cheap promises, or technical solutions such as solar sails in space to prevent the global rise in temperature.

It is no coincidence that Arendt and Humboldt have a peculiar way of writing that cannot be separated from the perspective of their thinking. The question that cannot be further examined here is the extent to which republicanism that is oriented towards sustainability and Arendtian action as an end in itself finds its expression in its own way of thinking and writing. Weaving the threads of Humboldt and Arendt further would not only bring *cosmos* and *republic* together, but also Grimm's unity of judgment, feeling, and prudence in a way that overcomes opposition and disciplinary boundaries, nature and culture, reason and feeling, and science and aesthetics. This means that *cosmos* and *republic* could trigger a common environmental philosophy and environmental aesthetic that goes beyond a natural philosophy, and natural aesthetics confined to external nature.⁵

Finally, we have seen that cosmopolitanism in the face of global problems becomes an indispensable place of thought and politics at which one arrives from nature with Humboldt, and from human plurality and Kant's enlarged mentality of judgment with Arendt. All of this opens up avenues for further reflections from a republican-biocentric perspective.

References

- Arendt H. (1958) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1977) *The Life of the Mind*, New York: Harcourt, Brace Co.
- Arendt H. (1987) Collective Responsibility. *Amor Mundi: Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt* (ed. J. S. Bernauer), Berlin: Springer, pp. 43–50.
- Arendt H. (1994a) Understanding and Politics. *Essays in Understanding 1930–1954*, New York: Schocken, pp. 307–327.
- Arendt H. (1994b) Natur und Geschichte. *Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Übungen im politischen Denken I*, München: Piper, pp. 54–80.
- Arendt H. (1996) *Ich will verstehen: Selbstauskünfte zu Leben und Werk*, München: Piper.
- Arendt H. (2002) *Denktagebuch*, München: Piper.
- Arendt H. (2006a) The Concept of History: Ancient and Modern. *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*, New York: Penguin, pp. 17–40.
- Arendt H. (2006b) The Conquest of Space and the Stature of Man. *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*, New York: Penguin, pp. 265–280.
- Arendt H. (2007) Great Friend of Reality: Adalbert Stifter. *Reflections on Literature and Culture*, Stanford: Stanford University Press, pp. 110–114.

5. For further reflections, see Böhme, 2019: 41.

- Böhme G. (2019) *Leib: Die Natur, die wir selbst sind*, Berlin: Suhrkamp.
- Bollier D., Weston B. H. (2015) Das Menschenrecht auf eine saubere Umwelt und die Renaissance der Commons. *Commons: Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat* (ed. S. Helfrich), Bielefeld: Transcript, pp. 416–425.
- Campillo A. (2019) *El concepto de amor en Arendt*, Madrid: Abada.
- Cannavò P. (2016) Environmental Political Theory and Republicanism. *The Oxford Handbook of Environmental Political Theory* (eds. T. Gabrielson, Ch. Hall, J. M. Meyer, D. Schlosberg), Oxford: Oxford University Press, pp. 72–88.
- Casper G. (2011) A Young Man from “Ultima Thule” Visits Jefferson: Alexander von Humboldt in Philadelphia and Washington. *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. 155, no 3, pp. 247–262.
- Chapman A. (2007) The Ways That Nature Matters: The World and the Earth in the Thought of Hannah Arendt. *Environmental Values*, vol. 16, no 4, pp. 433–445.
- Donohoe J. (2017) Edmund Husserl, Hannah Arendt and a Phenomenology of Nature. *Phenomenology and the Primacy of the Political: Essays in Honor of Jacques Taminiaux* (eds. V. M. Fóti, P. Kontos), Cham: Springer, pp. 175–188.
- Ette O. (2001) Eine “Gemütsverfassung moralischer Unruhe” — “Humboldtian Writing”: Alexander von Humboldt und das Schreiben in der Moderne. *Alexander von Humboldt: Aufbruch in die Moderne* (eds. O. Ette, U. Hermanns, B. M. Scherer, Ch. Suckow), Berlin: De Gruyter, pp. 33–56.
- Ette O. (2006) Unterwegs zu einer Weltwissenschaft? Alexander von Humboldts Weltbegriffe und die transregionalen Studien. *HiN: Alexander von Humboldt im Netz*, vol. 7, no 13, pp. 34–55.
- Ette O. (2007) Das Mobile des Wissens: Alexander von Humboldts Foren der Kulturen und das Humboldt-Forum. *Zukunftsmodell Humboldt*, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
- Grimm M. (1977) *Paris zündet die Lichter an. Literarische Korrespondenz*, Leipzig: Dietrich'sche Verlagsbuchhandlung.
- Hahn B. (2005) *Hannah Arendt: Leidenschaften, Menschen und Bücher*, Berlin: Berlin Verlag.
- Hargis J. 2016) Hannah Arendt's Turn to the Self and Environmental Responses to Climate Change Paralysis. *Environmental Politics*, vol. 25, no 3, pp. 475–493.
- Heins V. M. (2007) Reasons of the Heart: Weber and Arendt on Emotion in Politics. *The European Legacy*, vol. 12, no 6, pp. 715–728.
- Heuer W. (2015a) El poder de los insensatos: libertad y responsabilidad para una economía sustentable. *Discursos políticos, identidades y nuevos paradigmas de gobernanza en América Latina* (ed. Á. Sierra González), Barcelona: Laertes, pp. 81–111.
- Heuer W. (2015b) Horror and Laughter: At the Limits of Political Science. *Violence, Art, and Politics* (ed. Z. Kurelic), Zagreb: Politicka Misao, pp. 62–75.
- Heuer W. (2016) *Föderationen: Hannah Arendts politische Grammatik des Gründens*, Glückstadt: J. J. Augustin.

- Heuer W. (2018) As crises contemporâneas e a perspectiva cosmopolita. Paper presented at I Colóquio Internacional Hannah Arendt: Totalitarismo, Subjetividade e Responsabilidade (Rio de Janeiro).
- Humboldt A. v. (1845) *Kosmos, Bd. 1: Entwurf einer physikalischen Weltbeschreibung*, Stuttgart: J. G. Cottascher.
- Humboldt A. v. (1860) *Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858: Nebst Auszügen aus Varnhagen's Tagebüchern und Briefen von Varnhagen und Anderen an Humboldt*, Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Humboldt A. v. (1999) *Über die Freiheit des Menschen: Auf der Suche nach Wahrheit*, Frankfurt am Main: Insel.
- Humboldt A. v. (2008) *Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Knott M. L. (2011) *Verlernen: Denkwege bei Hannah Arendt*, Berlin: Matthes & Seitz.
- Magel H. (2005) Ländlicher Raum Wohin? Plädoyer für ein nachhaltiges Landmanagement und eine aktive Bürgergesellschaft. *Allgemeine Vermessungsnachrichten (AVN)*, no 11-12, pp. 390-391.
- Ott P. (2009) World and Earth: Hannah Arendt and the Human Relationship to Nature. *Ethics, Place and Environment*, vol. 12, no 1, pp. 1-16.
- Rifkin R. (2010) *The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World of Crisis*, New York: TarcherPerigee.
- Robaszkiewicz M. (2017) *Übungen im politischen Denken: Hannah Arendts Schriften als Einleitung der politischen Praxis*, Wiesbaden: Springer.
- Skinner Q. (1986) Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher. *Proceedings of the British Academy*, vol. 72, pp. 1-56.
- Tassin É. (2011) De la domination totale à la domination globale: perspectives arendtiennes sur la mondialisation d'un point de vue cosmopolitique. *Hannah Arendt: le totalitarisme et la banalité du mal* (ed. A. Herzog), Paris: PUF pp. 147-169.
- Walker J. (2017) Wilhelm von Humboldt and Dialogical Thinking, *Forum for Modern Language Studies*, January, vol. 53, no 1, pp. 83-94.
- WBGU (2014) *World Citizens Movement and Climate Protection*, Berlin: AZ Druck und Datentechnik.
- Weißpflug M. (2019) *Die Kunst, politisch zu denken*, Berlin: Matthes & Seitz.
- Whiteside K. H. (1998) Worldliness and Respect for Nature: An Ecological Application of Hannah Arendt's Conception of Culture. *Environmental Values*, vol. 7, no 1, pp. 25-40.
- Wulf A. (2016) *Alexander von Humboldt und die Erforschung der Natur*, München: C. Bertelsmann.
- Yaqoob W. (2014) The Archimedean Point: Science and Technology in the Thought of Hannah Arendt, 1951-1963. *Journal of European Studies*, vol. 44, no 3, pp. 199-224.
- Zembylas M. (2018) Hannah Arendt's Political Thinking on Emotions and Education: Implications for Democratic Education. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01596306.2018.1508423> (accessed 23 October 2019).

Космос и республика: скрытый диалог между Ханной Арендт и Александром фон Гумбольдтом

Вольфганг Хойер

Приват-доцент, Институт политических наук им. Отто Зура, Свободный университет Берлина

Главный редактор журнала HannahArendt.net

Адрес: Ihnestraße 21, Berlin, Germany 14195

E-mail: wolfgang.heuer@gmx.de

В рамках настоящей статьи объединяются две теоретические концепции: республиканизм Ханны Арендт и космополитизм Александра фон Гумбольдта. Оба способа мышления рассматриваются как альтернативные концепции республиканско-биоцентрического взгляда на современный кризис в области политики и экологии. Критика Арендт современного естествознания и связанного с ним отчуждения от Земли, до сих пор характеризующего нынешнее отношение к природе, будет представлена первой. Эта критика тесно связана с тезисом Арендт об утрате мира, т. е. утрате межличностной плюралистической сферы. В качестве альтернативы обеим формам утраты, Арендт развивает концепцию независимой политической сферы, основанной на межличностных отношениях, гармонии с природой, политике диалога и консенсуса. В то время как Арендт подходит к природе, исходя из кантовского определения отношения к себе и миру, основываясь на своем понимании экологически ответственной политики, Гумбольдт идет противоположным путем — от уважения к природе как независимого организма к республиканскому пониманию политики, отвергающему, как и Арендт, эксплуатацию людей и природы. И Арендт, и Гумбольдт придерживались традиции Просвещения, в которой помимо феноменологии, саморефлексии, ценностей человеческого достоинства и прав человека, единства понимания и чувства, также содержится космополитизм свободы передвижения в качестве действующих и выносящих суждения граждан.

Ключевые слова: Ханна Арендт, Александр фон Гумбольдт, республиканизм, космос, антропоцен, природа, процесс, космополитизм

Религия в медиатизированных публичных пространствах Скандинавских стран: между секулярной нейтральностью и национализмом*

Екатерина Гришаева

Кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Уральского федерального университета имени первого Президента России
Адрес: пр. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620083
E-mail: ekaterina.grishaeva@urfu.ru

Данная статья представляет собой систематический обзор исследований, анализирующих обсуждение религии в медиатизированной публичной сфере Скандинавских стран. Медиатизированная публичная сфера рассматривается как состоящая из разных медиапространств: массмедиа, Интернета, религиозных медиа и средств передачи культурных смыслов, которые рассматриваются как особым образом организованные публичные и в разной степени открытые пространства. Обзор эмпирических исследований позволил выявить специфику публичной (ре)презентации религии в каждом медиапространстве. В скандинавских массмедиа религиозная проблематика освещается в рамках политического фрейма, она «банализируется», при этом у религиозных организаций мало возможностей влиять на способыreprезентации религиозного контента. Вследствие «низкой платы за вход» и распространения горизонтальных связей в Интернете религиозная проблематика артикулируется агентами с различными идеологиями. Религиозные медиа — это среда, где религиозные организации воспроизводят и транслируют институциональный нарратив. Средства передачи культурных смыслов делают религиозную тематику частью популярной культуры, осмысливают ее эстетически, тем самым становясь репозиторием религиозных смыслов и идентичностей, которые могут быть активированы в ходе политических и общественных дискуссий о религии. Многообразие медийных пространств обеспечивает публичное циркулирование (ре)презентаций религии и позволяет группам с различными идеологиями найти пространство для самовыражения. Вместе с тем это приводит к популяризации общественных обсуждений религии и к фрагментации аудитории. Предложенная модель разделения медиапространств на политические и пре-политические пространства может быть использована как аналитическая рамка для анализаreprезентации религии в российских медиа.

Ключевые слова: религия и медиа, секуляризация, медиатизация, публичная сфера, религия и политика, Скандинавские страны

© Гришаева Е. И., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-299-319

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01194.

В последние несколько десятилетий в Скандинавских странах¹ религия возвращается в различные сферы общественной жизни. Как отмечают шведские социологи Мия Ловхейм и Марта Акснер, интерес медиа к религиозной тематике оказывается дополнительным фактором, способствующим перемещению религии из области частного в область публичного (Lövheim, Axner, 2014). В свою очередь, религиозный дискурс через медиа проникает в сферу политического и популярную культуру (Herbert, 2011). Кроме этого, изменения в экономике и технологиях распространения информации сделали медиа более доступными для различных религиозных сообществ, стремящихся усилить свое публичное влияние и пытающихся общаться с секулярной аудиторией напрямую, без посредничества секулярных медиа (Morberg, Sjo, 2012). Как отмечает шведский теоретик медиа Стиг Ярвард, медиа становятся той средой, где большая часть секулярной аудитории Скандинавских стран знакомится с религией.

Данная статья представляет собой систематический обзор исследований религии в медиатизированной публичной сфере Скандинавских стран. Цель обзора — показать, каким образом различные медиапространства формируют (ре)презентации религии и как это влияет на ее публичное обсуждение.

Поскольку скандинавские ученые активно публикуются в англоязычных изданиях, обзор построен на основе англоязычных статей и книг, которые позволяют картографировать исследовательское поле. Выбор региона связан с тем, что эта тема в наибольшей степени проработана скандинавскими исследователями.

Статья начинается с описания религиозной ситуации в Скандинавских странах, далее приводится анализ теоретических оснований изучения (ре)презентации религии в медиа: понимания публичной сферы, концепции медиатизированной публичной сферы. Массмедиа, Интернет, религиозные медиа и культурные медиа представлены как особым образом организованные медиатизированные публичные пространства, которые в разной степени открыты к различным публичным сферам² и обсуждение религиозной проблематики в которых имеет свои особенности. Обзор эмпирических исследований позволил выявить специфику публичной (ре)презентации религии в каждой из медиасред. В заключение делается вывод, что многообразие медийных пространств обеспечивает публичное циркулирование (ре)презентаций религии и позволяет группам с различными идеологиями найти пространство для самовыражения. Вместе с тем это приводит к поляризации общественных обсуждений религии и к фрагментации аудитории.

1. К Скандинавским странам относятся Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

2. Публичная сфера — это совокупность дискурсов-обсуждений об общественных нуждах (public affairs), публичное пространство — это физическое пространство, где эти обсуждения происходят (подробнее см.: Papacharissi, 2010).

Религия и медиа в Скандинавских странах: введение в контекст

С XVI по вторую половину XIX века в Скандинавских странах лютеранские церкви были «Церквями большинства» и находились на государственном финансировании. Но со второй половины XIX века они начинают отделяться от государства (последней в 2012 году отделилась Церковь Норвегии) в связи с тем, что снижалась религиозность населения³ и все меньше граждан поддерживало свое членство⁴. Вместе с тем наблюдался рост числа тех, кто не причислял себя ни к одной религиозной организации (хотя при этом мог быть как верующим, так и атеистом). Учитывая низкие показатели религиозности и снижение авторитета религиозных организаций, ученые относят Скандинавские страны к числу наиболее секуляризованных в Европе (Inglehart, Welzel, 2005). Как следствие, в Скандинавских странах сформировалась традиция восприятия религии как сугубо частного дела, за исключением публичных упоминаний в массмедиа (Furseth, 2017).

С 1980-х годов религиозный ландшафт Скандинавии начинает меняться из-за усиления притока мигрантов. Поскольку большинство из них сохраняли связь с исламской традицией, религиозная проблематика вернулась в публичные дискуссии. Это в первую очередь проблемы, связанные с интеграцией мусульман: строительством мечетей, ношением хиджаба, правами женщин и др.

Рост присутствия религии в публичной сфере обусловил интерес ученых к этой проблеме. Одно из пионерских исследований религии в массмедиа было предпринято под руководством Горана Густаффсона (Goran Gustafsson), в нем анализировалось изменение религиозного ландшафта Скандинавии с 1930 по 1980 год. Проект «Роль религии в публичной сфере. Сравнительное исследование пяти Скандинавских стран» (The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries, сокращенно NOREL, 2009–2014) стал продолжением работы Густаффсона. Одно из исследовательских направлений в нем фокусировалось на сравнительном анализе публичных презентаций религии в различных медиийных средах Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Присутствие религии в медиа было в центре внимания двух исследовательских проектов, осуществлявшихся под руководством Кнута Лундби: «Медиатизация религии и культуры» (Mediatization of religion and culture), «Участие в конфликтах в медитизированных религиозных средах» (Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments, сокращенно CoMRel).

3. В Швеции религиозные службы хотя бы раз в месяц посещают 8%, в Дании — 10%, в Норвегии — 12%, в Финляндии — 10%, в Исландии — 12%. Данные приводятся за период с 2008 по 2010 год (Furseth et al., 2017: 56).

4. С 1988 по 2014 год число прихожан Церкви Швеции снизилось с 90 до 66% населения, Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии — с 88% до 74%, Церкви Норвегии — с 88% до 75%, Евангелической Лютеранской Церкви Дании — с 90% до 78%, Евангелической Лютеранской Церкви Исландии — с 93% до 75% (Furseth et al., 2017: 43).

Упомянутые проекты (за исключением проекта Густафссона), опирались на теорию медиатизации Стига Ярварда⁵, которая рассматривает влияние логики медиа на способы репрезентации религии в медиатизированном публичном пространстве. Согласно Ярварду, логика медиа определяет, как подается информация в медиа в зависимости от технологических возможностей (печатные, электронные или цифровые медиа), жанровой спецификой медиа текста и коммерциализацией, которая приводит к стандартизации медиатекстов (Hjarvard, 2012: 25). Лундби и Торбьорнсруд, в свою очередь, добавляют, что важным аспектом логики масс-медиа становится стремление подавать информацию в развлекательном ключе, «как нарратив, основанный на драматизации, поляризации, персонификации и упрощении, и у которого есть начало, середина и конец» (Lundby, Thorbjørnsrud, 2012: 101).

Применение теории медиатизации Ярварда имеет свои ограничения. Она хорошо подходит для исследования репрезентаций религии в институционализированных медиа, например, в Скандинавских странах, где медиа, независимые, хотя и получающие государственные субсидии, сохраняли монополию на рынке коммуникации и одновременно служили общественным интересам. Но данный концептуальный аппарат не позволяет полностью уловить специфику неинституционализированной интернет-коммуникации (Finnermann, 2011).

Ввиду этого я буду обращаться к теории медиатизации преимущественно при описании репрезентаций религии в публичном пространстве скандинавских массмедиа.

Перед тем как перейти к обзору того, как религия (ре-)презентируются в медиатизированных публичных пространствах Скандинавии, необходимо дать определение, как последние концептуализируются в данной работе.

Медиатизированные публичные пространства: теоретические основания

Публичная сфера — это теоретическая модель, которая описывает то, каким образом представители гражданского общества, имеющие разные позиции, обсуждают коллективное благо и приходят к консенсусу (Habermas, 2009). Публичная сфера является связующим звеном между гражданским обществом и теми, кто обладает политической властью, а следовательно, может воплотить идеи в жизнь (Habermas, 2009; Rasmussen, 2014).

Акцентируя внимание на важности пространства, где происходят общественные дебаты, шведский исследователь медиа Петер Дальгрен предлагает следующее определение: «публичная сфера — это совокупность (constellation) коммуникатив-

5. Ярвард определяет медиатизацию как процесс, в котором медиа, становясь частью других социальных институтов, изменяют нормы и способы их деятельности (Hjarvard, 2008:11). В этой ситуации социальные институты все чаще выступают как «поставщики сырого материала, который медиа затем используют и изменяют в соответствие со своими целями» (Hjarvard, 2013: 94), а институты вынуждены менять дискурсы и социальные практики, чтобы попасть в фокус медиа.

ных пространств, которые обеспечивают циркуляцию информации, идей, дискуссий — в идеале в свободной форме, — а также формирование политической воли (т.е. публичного мнения)» (Dahlgren, 2005: 148).

Как отмечает Дальгрен, несмотря на то что в академической среде термин «публичная сфера» уже устоялся, на практике существует множество «публичных сфер», которые различаются тем, как они структурируют и регулируют коммуникацию, чьи интересы репрезентируют и кто имеет доступ к участию в дискуссиях. Традиция выделения множества публичных сфер выводится из концепции Юргена Хабермаса. С точки зрения Бернарда Питерса (Peters, 2004), коллеги Хабермаса, публичная сфера разделена на «большую» и «малую» публичные сферы (wide public sphere and narrow public sphere). Первая включает в себя журналистику и общественные собрания и характеризуется высокой степенью формализации, вторая представлена частными суждениями, высказанными в менее формальной обстановке.

Идея о множественности публичных сфер была более детально развита и критиками Хабермаса. В 1990-е годы Нэнси Фрэзер, американская исследовательница феминизма, ввела концепт множественных публичных сфер (Fraser, 1990). По ее мнению, Хабермас описывает буржуазную публичную сферу, которая, вопреки риторике общедоступности, сама была порождением неравенства и конституировалась через механизмы исключения определенных групп: пролетариев, женщин и др. Но эти группы способны создавать собственные публичные сферы. Английские исследователи медиа Натали Фентон и Джон Доуней называют альтернативными (counter public) те публичные сферы, которые исключаются и могут находиться в позиции противостояния публичной сфере, легитимированной общественными институтами (Fenton, Downey, 2003). Это могут быть как радикально левые, так и радикально правые публичные сферы.

В современных обществах медиа становятся одним из ключевых институтов публичной сферы (McQuail, 2005), они влияют на способ организации публичных дебатов и фильтруют те позиции, которые могут быть публично репрезентированы. Это привело к тому, что наряду со структурно-функциональным и либеральным подходами сформировался медиийно-ориентированный подход к публичной сфере (Бодрунова, 2011; McQuail, 2005; Schäfer, 2015).

Особенности медиа как публичного пространства связаны не только с различием ее жанров, но и с особенностью функционирования, а именно, с различием в способах контроля над производством контента⁶ и открытостью к альтернативным точкам зрения. Например, вследствие того, что массмедиа контролируются элитами, последние определяют их повестку, которая не всегда отражает интересы большинства и в некоторых случаях способствует маргинализации меньшинств. Как отмечают Виктор Вахштайн и Татьяна Вайзер, публичная коммуникация в массмедиа — «это, прежде всего, коммуникация элит: политических, экономи-

6. К способам контроля можно отнести форму собственности, редакционную политику издания, которая регламентирует отбор материалов для публикации.

ческих, профессиональных, идеологических, религиозных группировок, которые выдают свои цели за аналог общественного блага и общих интересов» (Вахштайн, Вайзер, 2016: 27–28).

В отличие от массмедиа, в Интернете присутствует более широкая палитра мнений. Благодаря низкой «плате за вход» здесь представители альтернативных политических позиций могут оспаривать доминирующие точки зрения, однако это не всегда обеспечивает демократический характер обсуждений (Fenton, Downey, 2003). Отсутствие институционального контроля вместе с профессиональным использованием алгоритмов может привести к доминированию одних позиций над другими вне зависимости от их репрезентативности в обществе, причем это могут быть расистские или ксенофобские мнения.

Если следовать представлению о множественности публичных сфер, можно сказать, что различные медиа образуют особым образом организованные публичные пространства, в которых различные группы имеют право голоса. Следовательно, религиозная проблематика по-разному обсуждается в различных медиапространствах: массмедиа и в Интернете и др.

Было бы слишком узко ограничивать обсуждение религиозной проблематики только пространством массмедиа и Интернета. Мия Ловхейм и Марта Акснер (Lövheim, Axner, 2014: 40) выделили четыре категории медиасфер, где религия освещается с определенного ракурса и определенным способом: сфера журналистики, цифровая медиасфера, религиозная медиасфера и сфера культуры. Мы можем соотнести каждую с тем медиапространством, где она доминирует, но это не означает, что она не может быть частично представлена и в других. Таким образом, необходимо добавить религиозные медиа и средства передачи культурных смыслов к рассмотрению публичного обсуждения религии в медиатизированных пространствах, чтобы анализ был максимально полным.

Сфера журналистики представляет собой обсуждение религиозной проблематики как части новостной повестки. Здесь основными агентами выступают светские массмедиа, которые форматируют религиозную проблематику, руководствуясь собственной логикой. *Цифровая сфера* — это прежде всего блоги и социальные медиа, ее специфика в том, что здесь публичное смешивается с личным. Цифровая сфера через смешение моральных, религиозных и экзистенциальных тем способствует личной рефлексии над сложившимися социальными отношениями и проблемами (Lövheim, Axner, 2014: 40). Несмотря на приватность обсуждений, цифровая сфера является важным пространством, в котором находят отражение политические процессы (Papacharissi, 2010).

В сфере журналистики и цифровой сфере религия не только становится частью публичного обсуждения, но может оказывать влияние на принятие политических решений. Так, различные общественные группы через лидеров мнений формируют

ют свою позицию по общественно значимым вопросам (Rasmussen, 2014; Weintraub, 1997)⁷.

Религиозная медиасфера состоит из самостоятельных религиозных медиа и представляет собой площадку, где члены религиозных организаций могут общаться с аудиторией напрямую, не используя светские медиа как посредников. Помимо религиозных вопросов, в этой сфере религиозные агенты периодически могут обсуждать общественно значимые проблемы.

Сфера культуры — это фильмы, музыка, книги, компьютерные игры, в которых религиозная тематика включается в поп-культуру и таким образом «банализируется» («banal religion»: Hjarvard, 2013). Вместе с тем религиозные темы и символы, циркулирующие в культурной сфере, способны влиять на общественные дебаты о ценностях и идентичностях (Clark, 2012). Поскольку в Скандинавских странах в религиозной и культурной медиасферах общественно значимые проблемы либо не выносятся на общегражданское обсуждение, либо это происходит несистематически, ряд исследователей рассматривают такие пространства как пре-политические (Dahlgren, 2005), то есть такие, где можно оказывать влияние на направление и содержание публичных дебатов, помогать участникам формулировать аргументы.

Отталкиваясь от классификации, предложенной Ловхейм и Акснер, я выделяю четыре медиасреды: *массмедиа*, *Интернет*, *религиозные медиа* и *культурные медиа*. Последние представляют собой связанные с другими медиатизированными публичные пространства, где обсуждение религии структурируется в зависимости от способа организации коммуникации и от той аудитории, которой предназначается сообщение (см. табл. 1).

Далее получившуюся классификацию я буду применять при обзоре литературы, посвященной эмпирическому исследованию религии в медиатизированном пространстве Скандинавии. Я подробнее рассмотрю, какие публичные сферы могут быть представлены в медиапространстве и как происходит публичное обсуждение религии в каждой из медиасред.

Таблица 1. Соотношение медиасфер и медиасред

Медиасфера	Используемые медиа	Медиасреды
Сфера журналистики	Новостные массмедиа	Массмедиа
Цифровая сфера	Интернет	Интернет
Религиозная сфера	Традиционные и цифровые медиа, адаптированные религиозными агентами	Религиозные медиа
Культурная сфера	Фильмы, музыка, книги, компьютерные игры и др.	Культурные медиа

7. В своем исследовании я руководствуюсь определением политического как относящегося к колективному обсуждению и принятию решений относительно общественно значимых вопросов. При этом руководствуюсь моделью публичной сферы, изложенной в работах Х. Арендт и Ю. Хабермаса (подробнее о соотношении понятий публичного и политического см.: Weintraub, 1997).

Заметность религии, ее общественный авторитет и влияние на политическую повестку

При анализе религии в публичной сфере важно различать случаи, когда обсуждение религии является частью обсуждения общественных интересов (collective interests), и когда религия становится значимой темой (visibility of religion) в публичном пространстве (Lövheim, Linderman, 2015; Axner, 2015). Одни упоминания религии в медиа представляют собой публичные аргументы (public use of reasoning), необходимые для того, чтобы оказать влияние на политическое видение проблем, значимых для общества в целом (in a collective sense). Другие — просто способ обозначить тему религии в публичном пространстве, как, например, изображения религиозных зданий или одежды.

И те, и другие можно классифицировать как публичные, если руководствоваться разными концепциями публичной сферы. Ирис Вайнтрауб (Weintraub, 1997) выделяет четыре модели публичной сферы: либерально-экономическую, республиканскую, социальную и феминистскую, в них по-разному происходит деление на частное и публичное. В первых двух случаях публичное трактуется как то, что связано с интересами общества, как часть политической повестки, во второй и третьей модели публичное — это взаимодействия, которые осуществляются «на людях».

Несмотря на то, что в обоих случаях религия возвращается в публичную сферу, модусы ее функционирования там различны. В том случае, когда религиозная аргументация учитывается в обсуждении общественно значимых вопросов, религия наращивает свой авторитет. В то же время, как отмечает Акснер, заметность религии (visibility of religion) нельзя однозначно интерпретировать как десекулярное возвращение в публичную сферу, необходим более детальный анализ (Axner, 2015). Рост интереса к религиозной проблематике и заметность религиозной символики в пре-политическом публичном пространстве, например, в массовой культуре, еще не свидетельствуют о том, что религия имеет общественный вес, или о том, что происходит рост религиозности на индивидуальном уровне (Moberg, Sjo, 2012).

Публичное обсуждение религии в массмедиа и теория медиатизации Ярварда

Функционирование медиа как института связано с тем, что выбор проблематики и способ ее освещения в массмедиа зависят от позиций политической, экономической и интеллектуальной элит. Таким образом, особенностью массмедиа оказывается то, что меньшинство имеет возможность высказываться от имени большинства. Как пишет Ван Дейк, поликентрическая структура средств массовой коммуникации не защищает от «идеологической монополии, распространяющейся на политическую и культурную коммуникацию» (Ван Дейк, 2014: 50). Хабер-

мас подчеркивал, что массмедиа находятся в зависимости от государства, которое влияет на формирование медиаповестки (Habermas, 2009).

Скандинавские ученые констатируют, что растет число упоминаний религии в массмедиа. Так, результаты исследований в рамках проекта NOREL показывают, что в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии с 1988 по 1998 год наблюдался рост количества публикаций по религиозной тематике, а с 1998 по 2008 год в некоторых Скандинавских странах произошло незначительное снижение (Niemelä, Christensen, 2013). При этом исследователи отмечают, что религия в медиа репрезентируется как часть политических и общественных обсуждений, а само религиозное содержание уходит на второй план (Lundby et al., 2017a). Ловхейм и Лидерман (Lovhaim, Liderman, 2015), анализируя упоминания религии в шведской прессе с 1976 по 2010 год, считают, что религия как основная тема для дискуссии встречается реже всего. Чаще она используется журналистами как часть описания индивидуума, группы или страны (например, положения мусульман-мигрантов или международного конфликта) или в качестве метафоры (например, выражение «религиозный ригоризм»). В частности, в Швеции религия часто помещается внутрь политического фрейма: права человека, международные отношения, миграция и использование религиозной символики в общественных местах. Религия описывается как препятствие для демократии, равенства и свободы высказываний (Lovhaim, Liderman, 2015). Таким образом, результаты исследований подтверждают тезис о медиатизации: массмедиа усиливают присутствие религии в публичном пространстве, но обсуждение религиозной проблематики адаптируется под новостной жанр в журналистике.

В скандинавских массмедиа религиозное большинство и меньшинства репрезентируются по-разному. Наибольшее число публикаций посвящено лютеранским церквям (majority churches), при этом в Исландии деятельность этих церквей чаще всего освещается в положительном ключе (Niemelä, Christensen, 2013)⁸. Акснер подчеркивает, что лютеране имеют больше возможностей для того, чтобы озвучить свою позицию в медиа, чем представители религиозных меньшинств (Axner, 2015).

Вместе с тем участие представителей христианских церквей в медиатизированных публичных обсуждениях в массмедиа способно поставить под вопрос легитимность некоторых церковных доктринальных позиций и привести к тому, что церковь при рассмотрении постматериальных ценностей как угрозы христианству вынуждена занимать позицию самозащиты (Christensen, 2012). Аналогичную точку зрения высказывают М. Моберг и С. Сью. Они утверждают, что в Финляндии религиозные организации не имеют возможности влиять на то, как массмедиа освещают религиозную тематику. Последние руководствуются критериями информационной значимости (newsworthiness) и сенсационности, одновременно тиражируя сло-

8. Акснер (Axner, 2015) показывает, что в массмедиа существует принципиальное различие между позицией Лютеранской Церкви Швеции и религиозных меньшинств: последние отстаивают свои права, в то время как первая выступает с позиции общественного блага.

жившиеся стереотипы. Однако религиозные адепты могут проявить инициативу и вызвать общественный резонанс для привлечения внимания к жизни церкви (Moberg, Sjö, 2012).

Для всех Скандинавских стран характерно, что на протяжении последних десятилетий снижается число упоминаний лютеранства, но растет число публикаций об исламе; и это при том, что представители ислама как религии меньшинства не имеют возможности влиять на эти презентации. Такая особенность медиаформата как акцентирование конфликта усиливает политизацию ислама и способствует распространению негативных стереотипов (Lundby et al., 2017b). Джонсон-Картье подчеркивает, что массмедиа, согласно медийной драматургии («*a predominant media dramaturgy*»), из множества новостных поводов, связанных с исламом, выбирают связанные с террором и фундаментализмом (Johnson-Cartee, 2005). К. Лундби и К. Торбъонсрут считают, что медиатизация ислама может привести к изменению восприятия его в обществе и стать причиной того, что подспудные конфликты выйдут на поверхность (Lundby, Thorbjørnsrud, 2012).

В заключение отметим, что в массмедиа обсуждение религиозной проблематики определяется «логикой медиа» (Hjarvard, 2008; 2012): религиозная проблематика обсуждается в соответствии со стандартами новостного жанра, происходит «банализация» религиозного содержания. При этом религиозные группы не всегда имеют право голоса, и массмедиа могут конструировать их негативный образ. В особенности это относится к представителям религиозных меньшинств.

По мнению скандинавских исследователей, интерес массмедиа к религиозной повестке, с одной стороны, приводит к усилению присутствия религии в публичной сфере, а с другой — стимулирует процессы секуляризации (Lundby, 2016; Hjarvard, 2013). Религия становится важным аргументом в политических обсуждениях, но ее заметность в публичной сфере отнюдь не свидетельствует о росте ее авторитета: презентации религии формируются секулярными массмедиа, традиционно выражавшими интересы секулярного общества.

Цифровая сфера и обсуждение религии в пространстве Интернета

Интернет представляет собой среду для коммуникации, где есть «новые роли и новые пути для циркулирования информации» (Elmer et al., 2012: 5). В отличие от массмедиа, интернет-среда слабо институционализирована (Finnermann, 2011). Для интернет-коммуникации характерны упрощение контента, частое использование картинок, сопротивление иерархии, сегментация (Rasmussen, 2014; Dahlgren, 2005). Интернет, с одной стороны, стимулирует коммуникацию между пользователями, давая каждому возможность высказаться (Rasmussen, 2014), с другой стороны, специфика коммуникации в Интернете способна стать угрозой для демократии. Так, Интернет является благоприятной средой для распространения дезинформации и альтернативных точек зрения (Schroeder, 2018). Специфика коммуникации в Интернете приводит к тому, что эта среда поддерживает альтер-

нативные публичные сферы (counter-publics: Fenton, Downey, 2003), ориентированные в том числе на националистический контент.

Как показывает в своих исследованиях Ловхейм, благодаря распространению горизонтальной коммуникации в интернет-среде, религиозные интернет-пользователи могут рассказывать о религии, не обращаясь к помощи медийных профессионалов (Lövheim, 2011). Религиозные блогеры, поднимая не только политические, но и религиозные, экзистенциальные и социальные вопросы, образуют собственную публичную сферу в интернет-пространстве. При этом пользователи могут формировать свое отношение к религии независимо от церковных авторитетов, инициировать общественные обсуждения религиозной тематики. Например, женщины-блогеры получают возможность критиковать некоторые положения ислама и тем самым вносить вклад в обсуждение места ислама в секулярном шведском обществе (Lövheim, 2012, 2013).

В интернет-пространстве на веб-сайтах, созданных религиозными организациями, также представлены институциональные версии религиозных нарративов. Таким образом, Интернет становится одним из немногих публичных пространств, где религиозные организации могут донести свою точку зрения до светской аудитории.

Вместе с этим скандинавские исследователи подчеркивают, что в Интернете религия используется как инструмент в политических противостояниях. Вследствие того, что интернет оказывается благоприятной средой для крайне правых, которые имеют ограниченный доступ к массмедиа, религия в интернет-пространстве артикулируется как часть консервативной, националистической идеологии, как элемент расистского дискурса (Horsti, 2016). В качестве подобного примера обратимся к исследованию Моны Абдель-Фадиль (Abdel-Fadil, 2016), проанализировавшей обсуждение, которое начали консервативно и националистически настроенные пользователи Фейсбука, запрета норвежскому новостному репортеру публично демонстрировать нательный крестик. Она показывает, каким образом участники обсуждения искажают позицию Норвежской вещательной корпорации (NRK, Norsk Riksringkasting) и критикуют ее за чрезмерную политкорректность, приверженность левым взглядам, ведущим в итоге к угасанию христианской Норвегии. Запрет NRK на ношение любых религиозных символов новостными репортерами обсуждается с позиции справедливости, национальной идентичности и оказывается еще одним поводом для ненависти к мусульманам. Таким образом, как показывает Абдель-Фадиль, обсуждение приобретает крайне эмоциональный характер, где гнев становится доминирующей эмоцией.

Таким образом, обсуждение религиозной проблематики в интернет-пространстве отличается от стиля освещения религии в массмедиа, однако зависит от ее информационной повестки. Неиерархичность интернет-коммуникации приводит к тому, что различные группы (publics), не имеющие доступа к массмедиа, получают здесь возможность для обсуждения интересующих их вопросов: высказывания верующих здесь в меньшей степени контролируются, религиозные организации

могут обращаться к секулярной аудитории без посредников массмедиа. Наряду с религиозной публичной сферой Интернет в Скандинавских странах стал средой, где радикально правые могут инкорпорировать религиозные символы в собственную идеологическую повестку. Таким образом, в медитизированном пространстве интернета сосуществуют несколько публичных сфер, что приводит к его фрагментации.

Публичные (ре)презентации религии в религиозной и культурной медиасредах

Религиозные медиа и культурные медиасреды, транслируя религиозные смыслы, помогают конструировать идентичности (Clark, 2012; Herbert, 2011) и являются источником аргументов, которые используются в рамках политического обсуждения религии в Интернете и в массмедиа.

Религиозная медиасреда

Религиозная медиасреда⁹ представляет собой публичное пространство, сконструированное религиозными сообществами для того, чтобы донести до аудитории институциональную версию своей религии и создать альтернативу «банальной религии» (*banal religion*) светских медиа (Hjarvard, 2011; Lövheim, 2011). Ярвард относит религиозные медиа, наряду с религиозной журналистикой и «банальной религией», к одной из форм медиатизированной религии (*mediatized religion*). Однако он отмечает, что в этом случае религия наименее медиатизирована, так как религиозные медиа, функционирующие как относительно самостоятельные среды, стремятся конструировать религиозный нарратив независимо от светских медиа (Moberg, Sjö, 2012) и адаптируют логику медиа под свои потребности (Lövheim, 2013).

Религиозные сообщества активно осваивают Интернет, поскольку это требует меньших вложений в инфраструктуру, чем в случае с массмедиа. Например, в Дании священники используют «Фейсбук» для общения с прихожанами, многие предпочитают обращаться за советом к священнику онлайн. К тому же, как отмечает датский исследователь Фишер-Нильсен, ведение аккаунта в Фейсбуке позволяет священникам получить признание у молодежи и, следовательно, быть ближе к прихожанам (Fischer-Nielsen, 2012).

Хотя религиозные сообщества стремятся адаптировать интернет-среду под свои нужды, здесь они сталкиваются с рядом трудностей. Интернет, с одной стороны, наделяет свободой, а с другой — является механизмом контроля и укрепления уже сложившихся авторитетов (Gelfgren, 2017). Как показывают исследования

9. Ярвард также делит религиозные медиа на массмедиа, учрежденные религиозными организациями, социальные медиа (например, группы религиозных сообществ в социальных сетях) и персональные медиа — аккаунты в социальных сетях, которые ведут верующие.

шведских ученых, прозрачность и неиерархичность интернет-коммуникации оказывается вызовом для церковных иерархов, которые раньше обладали монополией на трансляцию религиозного знания. Примером может быть отказ шведского архиепископа использовать «Твиттер» в 2012 году (Gelfgren, 2015) или запрет на Интернет в консервативных религиозных группах (Gelfgren, 2014). Кроме этого, религиозная коммуникация в интернет-пространстве может вызвать непредсказуемую реакцию у аудитории, в частности, стать причиной роста числа критически настроенных в отношении к религии граждан (Fischer-Nielsen, 2012). Эта двойственность природы Интернета создает препятствия для освоения интернет-пространства религиозными сообществами.

Другим барьером для развития религиозных медиа является то, что охват аудитории напрямую зависит от секулярных медиа. Фишер-Нильсен отмечает (Fischer-Nielsen, 2012), что хотя Интернет становится одним из первых мест, где датская аудитория знакомится с религией, посещаемость религиозных сайтов в значительной мере зависит от поисковых систем и других медийных агентов (*media agents*).

В то же время религиозные медиа неотделимы от других медиатизированных публичных пространств, где главенствующая роль принадлежит светским медиа. Порой общественные дискуссии в массмедиа и интернет-среде продолжаются в религиозных медиа (Lövheim, Axner, 2015; Moberg, Sjö, 2012). В своем исследовании по медиатизации Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии (*Suomen evankelis-luterilainen kirkko*) Морберг и Сьё описывают, как церковь использовала негативное освещение церковной позиции по ряду общественно значимых вопросов в финских массмедиа в качестве привлечения внимания секулярной аудитории к приходским выборам (Moberg, Sjö, 2012).

Хотя одной из задач скандинавских религиозных медиа является выстраивание коммуникации с секулярной аудиторией, однако беспрепятственной циркуляции информации между двумя средами не возникает. Это связано как с секулярной критикой религиозных идей, так и с «логикой» распространения информации секулярными медиа и их доминированием в медийном пространстве.

Культурная медиасреда

Культурные среды — это фильмы, музыка, книги, компьютерные игры, в них религиозная тематика становится частью популярной культуры. В секулярных обществах культурная сфера является одной из сфер, где религиозные организации знакомят аудиторию со своими ценностями и таким образом сохраняют свое присутствие в публичном пространстве (Herbert, 2011). При этом читатели или слушатели могут испытывать эмоциональную заинтересованность и любопытство в отношении религии (Petersen, 2012), не обязательно являясь верующими. Аудио и визуальные возможности медиа способны усиливать эмоциональный аспект религии, делая ее привлекательной частью популярной культуры (Lied, 2012). В этом случае индивидуальные или коллективные представления о религии формируют-

ся вне религиозных институтов или при их минимальном влиянии. Ярвард определяет репрезентацию религии в культурной медиасреде как «банализацию религии» (Hjarvard, 2013). «Банальная религия» включает в себя элементы фольклора, она больше связана с представлениями о сверхъестественном, с магией, различными суевериями, нежели с институционализированным христианством.

В культурной медиасреде репрезентация религии не имеет ничего общего с традицией общественных дебатов (Lövheim, Axner, 2014: 44), но делает религию заметным общественным феноменом и формирует ценностные установки (reservoir of cultural resources), которые могут быть использованы в политических целях или как аргументы в ходе общественной полемики (Herbert, 2011; Clark, 2012).

Заключение

В секулярном обществе Скандинавских стран медиа — один из факторов, усиливающих публичность религии. Шведские социологи Мия Ловхейм и Марта Акснер обозначили четыре категории медиасфер, где по-разному происходят публичные обсуждения религии: сфера журналистики, цифровая медиасфера, религиозная медиасфера и сфера культуры, где религия (ре)презентируется различным образом. Отталкиваясь от этой классификации, я выделяю четыре типа медиатизированных публичных пространств: массмедиа, интернет, религиозные медиа и средства передачи культурных смыслов. В этих пространствах обсуждение религии структурируется в зависимости от способа организации коммуникации и от тех групп, которые имеют доступ в это пространство.

Обзор эмпирических исследований позволил выявить, специфику публичной (ре)презентации религии в каждом медиапространстве как связанном с другими публичными пространствами. Так, в массмедиа журналисты освещают религиозную проблематику в рамках политического фрейма и как часть общественной полемики. При этом в целях привлечения аудитории часто происходит ее «банализация». На сегодняшний день в Скандинавских странах у религиозных организаций нет возможностей влиять на способы репрезентации религиозного контента, а репрезентация религии в массмедиа формируется интеллектуальной и культурной элитами.

В Интернете религиозная проблематика артикулируется приверженцами различных идеологий. Религиозные пользователи используют Интернет как пространство высказывания своих взглядов, в том числе порой для деконструкции религиозного нарратива. Представители радикальных правых критикуют массмедиа за излишнюю политкорректность и рассматривают Интернет как пространство, где религия может использоваться для подкрепления националистической, консервативной, расистской аргументации. Интернет тесно связан с массмедиа, поскольку последние во многих случаях задают темы для дискуссии.

Религиозная медиасреда — это пространство, где религиозные организации стремятся конструировать институциональный нарратив, в этом же пространстве

могут обсуждаться общественно значимые проблемы. Религиозная медиасреда зависит от массмедиа и Интернета, поскольку именно они обеспечивают приток пользователей на религиозные ресурсы.

В культурных медиасредах религиозная тематика, становясь частью популярной культуры, осмысливается эстетически, и тем самым культурная сфера становится репозиторием религиозных смыслов и идентичностей, которые могут быть активированы в ходе политических и общественных дискуссий о религии.

Несмотря на то, что фреймирование религиозной повестки, как правило, задается массмедиа, внутри скандинавского общества различные группы оценивают религию с разных точек зрения, и наличие множества медиа позволяет этим группам найти пространство для высказываний. Многообразие медийных пространств обеспечивает публичное циркулирование различных презентаций религии. Вместе с тем это приводит к поляризации точек зрения в общественных обсуждениях религии и к фрагментации аудитории.

Предложенная модель разделения медиасред на политические пространства может быть использована как аналитическая рамка для анализа (ре)презентации религии в российских медиа.

Литература

- Бодрунова С. (2011). Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения // Социальные коммуникации. № 1. С. 110–132.
- Ван Дейк Т. (2014). Дискурс и власть: презентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Аматова. М.: Либроком.
- Вахштайн В. С., Вайзер Т. В. (2016). Сообщества и коммуникация: трансформация социальных механизмов формирования. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2807018> (дата доступа: 02.02.2019).
- Abdel-Fadil M. (2016). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook // Heidelberg Journal of Religions on the Internet. Vol. 11. P. 1–28.
- Axner M. (2015). Studying Public Religions: Visibility, Authority and the Public/Private Distinction // Hjelm T. (ed). Is God Back?: Reconsidering the New Visibility of Religion. L.: Bloomsbury Academic. P. 19–31.
- Clark L. S. (2011). Religion and Authority in a Remix Culture: How a Late Night TV Host Became an Authority in Religion // Lynch G., Mitchell J., Strhan A. (eds.). Religion, Media and Culture: A Reader. L.: Routledge. P. 181–211.
- Dahlgren P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation // Political Communication. Vol. 22. № 2. P. 147–162.
- Elmer G., Langlois G., McKelvey F. (2012). The Permanent Campaign: New Media, New Politics. Berlin: Peter Lang.
- Fenton N., Downey J. (2003). Counter Public Spheres and Global Modernity // Javnost: The Public. Vol. 10. № 1. P. 15–32.

- Finnemann N.O. (2011). Mediatization Theory and Digital Media // Communications. Vol. 36. № 1. P. 67–89.*
- Fischer-Nielsen P. (2012). The Internet Mediatization of Religion and Church // Hjarvard S., Lövheim M. (eds.). Mediatization and Religion: Nordic Perspectives. Göteborg: Nordicom. P. 45–63.*
- Fraser N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Social Text. № 25–26. P. 56–80.*
- Furseth I. (2017). Introduction. Furseth I. (ed.). Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries, L.: Palgrave Macmillan. P. 1–31.*
- Furseth I., Ahlin L., Ketola K., Leis-Peters A., Sigurvinsson B. R. (2017). Changing Religious Landscapes in the Nordic Countries // Furseth I. (ed.). Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries. L.: Palgrave Macmillan. P. 31–81.*
- Gelfgren S. (2014). Virtual Christian Places: Between Innovation and Tradition // Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet. Vol. 6. P. 42–66.*
- Gelfgren S. (2015). Why does the Archbishop not Tweet? How Social Media Challenge Church Authorities // Nordicom Review. Vol. 36. № 1. P. 109–123.*
- Gelfgren S. (2017). The Dyophysite Nature of the Internet: Negotiating Authorities within Institutionalized Christianity // Cultural Analysis. Vol. 16. № 1. P. 83–100.*
- Habermas J. (2009). Political Communication in Media Society: Does Democracy still have an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research // Habermas J. Europe: The Faltering Project. Cambridge: Polity Press. P. 138–183.*
- Christensen Henrik R. (2012). Mediatization, Deprivatization, and Vicarious Religion: Coverage of Religion and Homosexuality in the Scandinavian Mainstream Press // Hjarvard S., Lövheim M. (eds.). Mediatization and Religion: Nordic Perspectives. Göteborg: Nordicom. P. 63–79.*
- Herbert D. E. J. (2011). Theorizing Religion and Media in Contemporary Societies: An Account of Religious «Publicization» // European Journal of Cultural Studies. Vol. 14. P. 626–648.*
- Hjarvard S. (2008). The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change // Nordicom Review. Vol. 29. № 2. P. 105–134.*
- Hjarvard S. (2012). Three Forms of Mediatized Religion: Changing the Public Face of Religion // Hjarvard S., Lövheim M. (eds.). Mediatization and Religion: Nordic Perspectives. Göteborg: Nordicom. P. 21–43.*
- Hjarvard S. (2013). The Mediatization of Culture and Society. L.: Routledge.*
- Horsti K. (2016). Digital Islamophobia: The Swedish Woman as a Figure of Pure and Dangerous Whiteness // New Media & Society. Vol. 19. № 9. P. 1440–1457.*
- Inglehart R., Welzel Ch. (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Johnson-Cartee K. S. (2005). News Narrative and News Framing: Constructing Political Reality. Lanham: Rowman & Littlefield.*

- Lied L. I.* (2012). Religious Change and Popular Culture: With a Nod to the Mediatization of Religion Debate // *Hjarvard S., Lövheim M.* (eds.). *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*. Göteborg: Nordicom. P. 183–203.
- Lövheim M., Gordon L.* (2011). The Mediatisation of Religion Debate: An Introduction // *Culture and Religion*. Vol. 12. № 2. P. 111–117.
- Lövheim M.* (2012). A Voice of Their Own: Young Muslim Women, Blogs and Religion // *Hjarvard S., Lövheim M.* (eds.). *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*. Göteborg: Nordicom. P. 129–147.
- Lövheim M.* (2013). New Media, Religion, and Gender: Young Swedish Female Bloggers // *Lundby K.* (ed.). *Religion across Media: From Early Antiquity to Late Modernity*. Berlin: Peter Lang. P. 153–168.
- Lövheim M., Axner M.* (2014). Mediatised Religion and Public Spheres: Current Approaches and New Questions // *Granholm K., Moberg M., Sjö S.* (eds.). *Religion, Media, and Social Change*. L.: Routledge. P. 38–53.
- Lövheim M., Linderman A.* (2015). Media, Religion and Modernity: Editorials and Religion in Swedish Daily Press // *Hjelm T.* (ed.). *Is God Back? Reconsidering the New Visibility of Religion*. L.: Bloomsbury Academic. P. 32–45.
- Lövheim M., Lundby K.* (2013). Mediated Religion across Time and Space: A Case Study of Norwegian Newspapers // *Nordic Journal of Religion and Society*. Vol. 26. № 1. P. 25–44.
- Lundby K.* (2016). Mediatization and Secularization: The Transformations of Public Service Institutions — the Case of Norway // *Media, Culture & Society*. Vol. 38. № 1. P. 28–36.
- Lundby K., Hjarvard S., Lövheim M., Jernsletten H. H.* (2017a). Religion between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia // *Journal of Religion in Europe*. Vol. 10. № 4. P. 437–456.
- Lundby K., Christensen H. R., Gresaker A. K., Lövheim M., Niemelä K., Sjö S., Moberg M., Danielsson Å. S.* (2017b) Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization // *Furseth I.* (ed.). *Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries*. L.: Palgrave Macmillan. P. 193–251.
- Lundby K., Thorbjørnsrud K.* (2012). Mediatization of Controversy when the Security Police Went on Facebook // *Hjarvard S., Lövheim M.* (eds.). *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*. Göteborg: Nordicom. P. 95–109.
- Moberg M., Sjö S.* (2012). The Evangelical Lutheran Church and the Media in Post-Secular Finland // *Hjarvard S., Lövheim M.* (eds.). *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*. Göteborg: Nordicom. P. 79–95.
- McQuail D.* (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. L.: SAGE.
- Niemelä K., Christensen H. R.* (2013). Religion in Newspapers in the Nordic Countries in 1988–2008 // *Nordic Journal of Religion and Society*. Vol. 26. № 1. P. 5–24.
- Papacharissi Z.* (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Malden: Polity Press.

- Peters B.* (2004). Ach Europa: Questions about a European Public Space and Ambiguities of the European Project // *Eurozine*. URL: <https://www.eurozine.com/ach-europa/> (дата доступа: 21.02.2019).
- Petersen L. N.* (2012). Danish Twilight Fandom: Transformative Processes of Religion // *Hjärvard S., Lövheim M.* (eds.). *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*. Göteborg: Nordicom. P. 163–183.
- Rasmussen T.* (2014). Internet and the Political Public Sphere // *Sociology Compass* Vol. 8. № 12. P. 1315–1329.
- Schroeder R.* (2018). *Social Theory after the Internet*. L.: UCL Press.
- Schäfer M.* (2015). Digital Public Sphere // *Mazzoleni G., Barnhurst K. G., Ikeda K., Maia R. C. M., Wessler H.* (eds.). *The International Encyclopedia of Political Communication*. L.: Wiley-Blackwell. P. 322–328.
- Weintraub I.* (1997). The Theory and Politics of the Public Private Distinction // *Wintraub I., Kumar K.* (eds.) *Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy*. Chicago: University of Chicago Press. P. 1–43.

Religion in the Mediatized Public Spaces in Scandinavian Countries: Between Secular Neutrality and Nationalism

Ekaterina Grishaeva

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Social Philosophy, Ural Federal University

Address: Lenina Prospect, 51, Ekaterinburg, Russian Federation 620083

E-mail: ekaterina.grishaeva@urfu.ru

The following article presents a systematic review of the studies of religion in the mediatized public sphere of Scandinavian countries. The mediatized public sphere is tackled as constituted by interrelated media spaces, those of mass media, the Internet, and religious media and media of popular culture which are specifically organized public spaces, each of which varies in their degree of openness to different publics. A review of the empirical research reveals the specificity of the public (re)presentations of religion in each media space. In the Scandinavian mass media, religious issues are covered within the political frame, and “banalized” (Hjärvard, 2013), while religious organizations have few opportunities to influence the representation of religious content. Due to its’ non-strict “entrance fee” and the spread of horizontal links, religious issues are articulated by agents through different ideologies on the Internet. Religious media space is an environment where religious organizations seek to maintain an institutional version of the religious narrative. In the media of popular culture, religious themes as a part of popular culture are interpreted aesthetically, and thus, makes this space a repository of religious meanings and identities that can be used in the course of political and public discussions about religion. The variety of media spaces enables the public circulation of diverse representations of religion, and allows various groups to discuss their ideological articulations of religion. However, this results in the polarization of public debates about religion and the fragmentation of the audience. The proposed model of the media spheres’ division into political spaces can be used as a framework for the analysis of the (re)presentation of religion in the Russian media.

Keywords: religion and media, secularization, mediatization, public sphere, religion and politics, Nordic countries

References

- Abdel-Fadil M. (2016) Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook. *Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, vol. 11, pp. 1–28.
- Axner M. (2015) Studying Public Religions: Visibility, Authority and the Public/Private Distinction. *Is God Back? Reconsidering the New Visibility of Religion* (ed. T. Hjelm), London: Bloomsbury Academic, pp. 19–31.
- Bođunova S. (2011) Konceptii publichnoj sfery i mediakraticeskaja teorija: poisk toček soprikošnovenija [Concepts of the Public Sphere and Media Criticism: Search for Points of Contact]. *Social Communications*, no 1, pp. 110–132.
- Clark L. S. (2011) Religion and Authority in a Remix Culture: How a Late Night TV Host Became an Authority in Religion. *Religion, Media and Culture: A Reader* (eds. G. Lynch, J. Mitchell, A. Strhan), London: Routledge, pp. 181–211.
- Dahlgren P. (2005) The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Political Communication*, vol. 22, no 2, pp. 147–162.
- Elmer G., Langlois G., McKelvey F. (2012) *The Permanent Campaign: New Media, New Politics*, Berlin: Peter Lang.
- Fenton N., Downey J. (2003) Counter Public Spheres and Global Modernity. *Javnost: The Public*, vol. 10, no 1, pp. 15–32.
- Finnemann N. O. (2011) Mediatization Theory and Digital Media. *Communications*, vol. 36, no 1, pp. 67–89.
- Fischer-Nielsen P. (2012) The Internet Mediatization of Religion and Church. *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 45–63.
- Fraser N. (1990) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, no 25–26, pp. 56–80.
- Furseth I. (2017) Introduction. *Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries* (ed. I. Furseth), London: Palgrave Macmillan, pp. 1–31.
- Furseth I., Ahlin L., Ketola K., Leis-Peters A., Sigurvinsson B. R. (2017) Changing Religious Landscapes in the Nordic Countries. *Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries* (ed. I. Furseth), London: Palgrave Macmillan, pp. 31–81.
- Gelfgren S. (2014) Virtual Christian Places: Between Innovation and Tradition. *Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, vol. 6, pp. 42–66.
- Gelfgren S. (2015) Why does the Archbishop not Tweet? How Social Media Challenge Church Authorities. *Nordicom Review*, vol. 36, no 1, pp. 109–123.
- Gelfgren S. (2017) The Dyophysite Nature of the Internet: Negotiating Authorities within Institutionalized Christianity. *Cultural Analysis*, vol. 16, no 1, pp. 83–100.
- Habermas J. (2009) Political Communication in Media Society: Does Democracy still have an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Europe: The Faltering Project*, Cambridge: Polity Press, pp. 138–183.
- Christensen H. R. (2012) Mediatization, Deprivatization, and Vicarious Religion: Coverage of Religion and Homosexuality in the Scandinavian Mainstream Press. *Mediatization and Religion. Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 63–79.
- Herbert D. E. J. (2011) Theorizing Religion and Media in Contemporary Societies: An Account of Religious “Publicization”. *European Journal of Cultural Studies*, vol. 14, pp. 626–648.
- Hjarvard S. (2008) The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. *Nordicom Review*, vol. 29, no 2, pp. 105–134.
- Hjarvard S. (2012) Three Forms of Mediatized Religion: Changing the Public Face of Religion. *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 21–43.
- Hjarvard S. (2013) *The Mediatization of Culture and Society*, London: Routledge.

- Horsti K. (2016) Digital Islamophobia: The Swedish Woman as a Figure of Pure and Dangerous Whiteness. *New Media & Society*, vol. 19, no 9, pp. 1440–1457.
- Inglehart R., Welzel Ch. (2005) *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnson-Cartee K. S. (2005) *News Narrative and News Framing: Constructing Political Reality*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Lied L. I. (2012) Religious Change and Popular Culture: With a Nod to the Mediatization of Religion Debate. *Mediatization and Religion. Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 183–203.
- Lövheim M., Gordon L. (2011) The Mediatisation of Religion Debate: An Introduction. *Culture and Religion*, vol. 12, no 2, pp. 111–117.
- Lövheim M. (2012) A Voice of Their Own: Young Muslim Women, Blogs and Religion *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 129–147.
- Lövheim M. (2013) New Media, Religion, and Gender: Young Swedish Female Bloggers. *Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity* (ed. K. Lundby), Berlin: Peter Lang, pp. 153–168.
- Lövheim M., Axner M. (2014) Mediatised Religion and Public Spheres: Current Approaches and New Questions. *Religion, Media, and Social Change* (eds. K. Granholm, M. Moberg, S. Sjö), London: Routledge, pp. 38–53.
- Lövheim M., Linderman A. (2015) Media, Religion and Modernity: Editorials and Religion in Swedish Daily Press. *Is God Back? Reconsidering the new visibility of religion* (ed. T. Hjelm), London: Bloomsbury Academic, pp. 28–66.
- Lövheim M., Lundby K. (2013) Mediated Religion across Time and Space: A Case Study of Norwegian Newspapers. *Nordic Journal of Religion and Society*, vol. 26, no 1, pp. 25–44.
- Lundby K., Christensen H. R., Gresaker A. K., Lövheim M., Niemelä K., Sjö S., Moberg M. Danielsson Å. S. (2017) Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization. *Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries* (ed. I. Furseth), London: Palgrave Macmillan, pp. 193–251.
- Lundby K., Hjarvard S., Lövheim M., Jernsletten H. H. (2017) Religion between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia. *Journal of Religion in Europe*, vol. 10, no 4, pp. 437–456.
- Lundby K., Thorbjørnsrud K. (2012) Mediatization of Controversy when the Security Police Went on Facebook. *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 95–109.
- McQuail D. (2005) *McQuail's Mass Communication Theory*, London: SAGE.
- Moberg M., Sofia S. (2012) The Evangelical Lutheran Church and the Media in Post-Secular Finland. *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 79–95.
- Niemelä K., Christensen H. R. (2013) Religion in Newspapers in the Nordic Countries in 1988–2008. *Nordic Journal of Religion and Society*, vol. 26, no 1, pp. 5–24.
- Papacharissi Z. (2010) *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*, Malden: Polity Press.
- Peters B. (2004) Ach Europa: Questions about a European Public Space and Ambiguities of the European Project. *Eurozine*. Available at: <https://www.eurozine.com/ach-europa/> (accessed 21 February 2019).
- Petersen L. N. (2012) Danish Twilight Fandom: Transformative Processes of Religion. *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives* (eds. S. Hjarvard, M. Lövheim), Göteborg: Nordicom, pp. 163–183.
- Rasmussen T. (2014) Internet and the Political Public Sphere. *Sociology Compass*, vol. 8, no 12, pp. 1315–1329.
- Schäfer M. (2015) Digital Public Sphere. *The International Encyclopedia of Political Communication* (eds. G. Mazzoleni et al.), London: Wiley Blackwell, pp. 322–328.
- Schroeder R. (2018) *Social Theory after the Internet*, London: UCL Press.
- Vakhshain V., Vaizer T. (2016) Soobshhestva i kommunikacija: transformacija social'nyh mehanizmov formirovaniya solidarnosti [Communities and Communication: The Transformation

- of the Social Formation of Solidarity Mechanisms]. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2807018> (accessed 20 February 2019).
- Van Dejk T. (2014) *Diskurs i vlast': reprezentacija dominirovanija v jazyke i kommunikacii* [Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication], Moscow: Librokom.
- Weintraub I. (1997) The Theory and Politics of the Public Private Distinction *Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy* (eds. I. Weintraub, K. Kumar), Chicago: University of Chicago Press, pp. 1–43.

Власть и насилие в реализме Ганса Моргентау

Сергей Кучеренко

Аспирант Школы философии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: sakucherenko@hse.ru

Развитие политического реализма в англоязычной среде обусловило то, что слово «power» обозначает целый спектр понятий, которые в рамках различных политических теорий оказываются подчас несовместимыми друг с другом. Предметом наибольших споров является соотношение понятия собственно политической власти (power as authority) и могущества, способности принуждать силой (power as might). Исследования политического реализма последних десятилетий направлены на критику якобы бытовавшего в среде реалистов и неореалистов упрощенного понимания власти как материального могущества. Фигура Ганса Моргентау как основателя школы политического реализма используется в рамках этой критической традиции для переопределения ключевых понятий реализма и критики политического реализма как «неверного своим корням». В настоящей статье рассматривается попытка перевоплощения понятия власти у Г. Моргентау с использованием понятийного аппарата Ханны Арендт, результатом которого становится расщепление понятия власти у Моргентау на позитивное и нормативное, и устранение насилия/принуждения как необходимого компонента политики. Автор статьи показывает, что понятие власти у Моргентау неразрывно связано с насилием/принуждением, и потому не может быть разделено на два. Попытка устраниить насилие из понятия о власти и политике противоречит программе политического реализма, предложенной Гансом Моргентау, и лишает реализм его критического потенциала.

Ключевые слова: власть, насилие, легитимность, политический реализм, Ганс Моргентай, Ханна Арендт

Политический реализм занимает одно из центральных мест в международно-политической науке. Триумф реализма, наступивший после Второй мировой войны, сделал его крупнейшей школой в теории международных отношений на долгие годы. Наибольшего успеха добились так называемые структурные реалисты, доминировавшие в дисциплине в 1970–1980-е годы. Однако после долгого периода господства реализм резко утратил популярность в связи с окончанием холодной войны и распадом bipolarной системы международных отношений. Несмотря на то, что реализм в настоящее время не обладает такими же сильными позициями, он все еще привлекает внимание ученых. Исследования реализма последних десятилетий посвящены интерпретации классических работ, прежде всего Г. Мор-

гентау и Р. Нибура, с целью обнаружить в них содержание, релевантное текущему моменту. В статье мы рассмотрим понятие власти в классическом реализме Г. Моргентау.

Понятие власти — ключевое в политическом реализме (Baldwin, 2016: 123–125; Walt, 2002: 222). При этом, как отмечает С. Уолт, оно остается одним из самых туманных и неопределенных. Подобная неопределенность удобна для критиков политического реализма, так как позволяет интерпретировать «власть» наиболее удобным для них образом. Одним из таких проблематичных мест оказывается вопрос о соотношении власти и силы в политическом реализме. Наиболее часто реализму приписывается восходящее еще к Фукидиду утверждение (наиболее отчетливо высказанное в Мелийском диалоге «Истории Пелопонесской войны»), что сила есть источник власти. Хотя до сих пор идут споры о том, какое значение этому отрывку придавал сам Фукидид, важной деталью остается то, что структурные реалисты согласны с ним в той или иной степени, причем иногда ссылаясь на него непосредственно (Mearsheimer, 2001: 163).

Традиционной критикой в адрес структурного реализма стало обвинение в упрощении понятия «власть» (power). В частности, это упрек в том, что неореалисты сводят понятие власти к материальным ресурсам (material capabilities), прежде всего к военной силе, несколько реже — к способности оказывать экономическое давление. Если у К. Уолца такое упрощение обнаружить сложно (как и вообще какое-либо отчетливое определение термина «power») (Waltz, 2001: 2007), то Р. Гилпин и Дж. Миршаймер в своих основных трудах прямо заявляют, что используют слово «power» в контексте международной политики прежде всего для обозначения способности государств наносить друг другу ущерб, а в узком смысле — военной силы государств (Gilpin, 1987: 13; Mearsheimer, 2001: 56). Критики такого подхода утверждают, что Г. Моргентау обладал более тонким пониманием власти, не допускающим редукции к материальной силе. Структурный реализм, таким образом, «извращает» идеи Моргентау, которые нам необходимо очистить от неправильных интерпретаций и создать реализм, лишенный силовых коннотаций. Ярким представителем этой позиции является М. Уильямс (Williams 2005), кроме него возможно упомянуть Р. Эшли (Ashley, 1984) и М. Дж. Смита (Smith, 1986).

В настоящей статье основное внимание мы уделим работе Ганса Моргентау *«La notion du politique»*, вышедшей в 1933 году на французском языке. Эта книга посвящена установлению различия между политическими и правовыми спорами в международной сфере, для чего автор, полемизируя с Карлом Шмиттом, выводит свое понятие политического. В отличие от формального определения Шмитта, выстроенного вокруг отношения «друг — враг», Моргентау указывает на власть как на предмет политического. Таким образом, Моргентау делает понятие власти одним из центральных своего политического реализма, а саму монографию *«La notion du politique»* — одной из главных.

Несмотря на важность, «*La notion du politique*» в течение долгого времени оставалась в тени более поздних работ Моргентау. Исключением можно считать работу Уильяма Шойерманна «*Carl Schmitt: The End of Law*», исследующую, среди прочего, влияние Моргентау на Шмитта. Новейший интерес к «*La notion du politique*» связан с выходом в 2012 году перевода на английский язык, который сделал ее более доступной, но одновременно поставил вопрос о том, было ли единым понятие власти у Моргентау. Самым крупным комментарием к «Понятию политического» на текущий момент является предисловие к переводу за авторством Хартмута Бера и Феликса Рёша (Behr, Rösch, 2012), где они обращают внимание на тот факт, что Моргентау пользуется множеством терминов для обозначения власти во французском тексте, но в англоязычный период — лишь словом «*power*». Как полагают авторы, Моргентау оперирует несколькими понятиями политической власти, одно из которых имеет «непринудительный» характер и лишено силовых коннотаций, что близко к позиции исследователей реализма Моргентау, упомянутых выше.

Толкование, предложенное Бером и Рёшем, обнаруживает у Моргентау два типа власти: эмпирический (*rouvoir*), описывающий реальные отношения подчинения и принуждения между людьми, и нормативный (*puissance*), под которым подразумевается власть как автономия и способность к творению ценностей. Нормативная власть в таком прочтении сближается с понятием власти у Ф. Ницше и Х. Арендт и в пределе подчиняет политическую власть той или иной морали. Исчезновение отдельных понятий в англоязычных работах Моргентау объясняется Рёшем как отказ от рассмотрения нормативного понятия власти и смещение внимания на эмпирическую власть.

На наш взгляд, попытка разделить понятие власти на два понятия, обозначающие предположительно разные феномены, недопустима. Два понятия власти из предисловия Бера и Рёша обладают этическими коннотациями. *Rouvoir* в тексте Рёша ассоциируется с насилием и принуждением, тогда как *puissance* носит эмансилирующий и творческий характер. Такое различие привносит в реализм Моргентау элемент политического морализма, разделяет власть на «хорошую» и «дурную». Автор настоящей статьи выступает за истолкование власти в реализме Моргентау как единого явления, которое обладает одной и той же формой и происхождением вне зависимости от того, используется оно как цель или же как средство. Единство власти в политическом реализме вытекает из антропологических представлений Моргентау о человеке как о существе, от природы склонном к подчинению других людей. Различные термины французского текста «Понятия политического» у Моргентау указывают не на два рядоположных типа власти, но на различные элементы одного и того же явления. Моргентау описывает *puissance* как опирающуюся на наличие *rouvoir*, и наоборот, *rouvoir* может являться одним из следствий наличия *puissance*. Власть (*puissance*) с точки зрения политического реализма сама по себе есть верховная ценность, и попытка ее оценки с помощью

внешних критериев противоречит основным принципам политического реализма Моргентау.

Две власти в политическом реализме...

В настоящем разделе мы рассмотрим, как понятие власти у Моргентау истолковывают Бер и Рёш в предисловии к «Понятию политического». Отправным пунктом для них выступает тот факт, что до Второй мировой войны Моргентау писал на немецком и французском языке, используя пары терминов *Macht/Kraft* и *pouvoir/puissance*. Позднее, в англоязычный период, Моргентау откажется от нескольких терминов и будет обозначать власть одним словом *power*. Как полагают Бер и Рёш, использование Гансом Моргентау парных терминов указывает на то, что у него присутствуют два понятия власти: эмпирическое и нормативное, обозначенные словами *pouvoir* и *puissance* соответственно. *Pouvoir* в такой трактовке означает способность подчинять людей, тогда как *puissance* подразумевает «намерение добровольно и согласованно действовать с целью создания общего жизненного мира» (Behr, Rösch, 2012: 47–48).

Перед рассмотрением самой пары *pouvoir/puissance* Бер и Рёш делают небольшое отступление, чтобы указать на важность понятия о природе человека в реализме Моргентау. Природа человека фигурирует уже в самых ранних работах Моргентау, в том числе и в неизданной рукописи «Über die Herkunft des Politischen aus dem Wesen des Menschen» («Происхождение политического из природы человека») (Ibid.: 49). Человек по своей природе стремится к признанию со стороны других людей. Это происходит из осознания человеком собственной ограниченности, конечности и имеет целью преодоление собственных границ (Morgenthau, 1962b). Такая жажда признания, отчасти сходная с той, что описана Г. Гегелем, способна принимать самые разные формы — от желания взаимной любви до географических путешествий или коллекционирования. Объединяет их один общий элемент — стремление повлиять на окружающий мир, подчинить его и как можно более прочно утвердиться в нем (Behr, Rösch, 2012: 51). Одним из проявлений этого желания является стремление подчинять волю других людей своей собственной воле, или *власть*. Господствуя над другими людьми, человек может в значительной мере преодолеть собственную ограниченность, так как он, во-первых, передает содержание своей воли другому человеку, а во-вторых, воспринимает в окружающем мире изменения, творцом которых сам является.

От рассмотрения человеческой природы как источника жажды власти Бер и Рёш переходят к исследованию первого понимания власти. *Pouvoir* или «эмпирическая власть» — это одна из форм проявления стремления к власти, заложенного в человеческой природе. Как полагают Бер и Рёш, этим словом у Моргентау обозначено чистое стремление к господству, характерное для эпохи модерна. Такое проявление природы человека становится возможным из-за процесса секуляризации и расколдовывания мира, в результате которого человек утрачивает представ-

ление о трансцендентных ценностях (Ibid.: 52). На место религиозных ценностей приходят политические идеологии, прежде всего национализм, а также коммунизм и фашизм, которые дают человеку возможность удовлетворения в виде преданности своему коллективу и идентификации себя с его достижениями. Вместе с тем у этого процесса есть и обратная сторона в виде все большего угнетения свобод отдельного человека, в том числе и в сфере морали. Государства создают единую систему образования и контролируют массовую культуру, чтобы в конечном счете контролировать творческие способности человека. В крайних формах это приводит к законодательному запрету идеологически «неверных» предметов культуры и даже научных теорий (Ibid.: 53–54).

В таких условиях стремление к признанию не может выражаться творчески и принимает форму лишь голого стремления к подчинению. Определение, которое Моргентау дает слову *power* в «Политических отношениях между народами», почти полностью повторяет определение Макса Вебера из «Хозяйства и общества» (Hans-Karl Pichler, 1998; Turner, 2009):

Политическая власть (political power) — это психологическое отношение между тем, кто власть осуществляет, и тем, над кем власть осуществляется. Первому из них она дает контроль над определенными действиями второго посредством определенного рода воздействия на его разум (mind). Такое воздействие может иметь три источника: ожидание выгоды, боязнь понести ущерб и уважение к человеку либо институтам. Власть может осуществляться в форме приказов, угроз, авторитета или харизмы человека или же учреждения, а также с помощью сочетаний всего вышеперечисленного. В свете такого определения необходимо провести четыре различия: между властью и влиянием, властью и силой (force), между устойчивой и неустойчивой властью, между легитимной и нелегитимной властью. (Morgenthau, 1997: 32–33)

Такое выражение человеческой природы чревато тем, что склоняет людей к вражде и бессмысленной конкуренции. Если во внутренней политике она может быть подавлена и преобразована государством, то стремление к *rouvoir* на международной арене имеет разрушительные последствия. Суммируя сказанное Бером и Рёшем, можно заключить, что *rouvoir* в их трактовке — это способность подчинять других людей своей воле, которая подразумевает возможность принуждения, насилия.

«Эмпирическому пониманию власти» Бер и Рёш противопоставляют «нормативное понимание» (*puissance*) как стремление людей к сотрудничеству ради создания единого жизненного мира. Как они отмечают, корни этого понятия лежат в значительном влиянии, которое оказал Ницше на Моргентау. Он, как и Ницше, считает необходимым преодоление нигилизма путем освобождения человека, который теперь должен стать сознательным творцом новых ценностей и своей судьбы. Это требование вступает в конфликт с господствующими идеологиями, которые, хотя и подчиняют человека, все же дают ему простые и понятные от-

веты на вечные вопросы. Несмотря на это, от человека требуется осознать свое положение, после чего стать Сверхчеловеком, чтобы полностью реализовать свою способность к творчеству. Как полагают Бер и Рёш, именно о ницшеанской воле к власти идет речь, когда Моргентай пишет о воле к власти в «Понятии политического» (Behr, Rösch, 2012: 61; Morgenthau, 2012: 106).

Далее Рёш переходит к вопросу о возможном взаимном влиянии Ганса Моргентая и Ханны Арендт. Моргентай не может удовлетвориться волей к власти отдельного индивида, так как «нет ничего более бессмысленного для сознания человека, нежели мораль, безразличная к распаду общества» (Morgenthau, 2012: 62). Понятие *puissance* приобретает отчетливо коллективный характер: это не просто власть как утверждение своей идентичности и создание ценностей, но создание ценностей, ориентированных на политическое сообщество. Здесь обнаруживается максимальное сближение Моргентая и Арендт: в работе «О насилии» Ханна Арендт определяет власть как способность коллектива к слаженному согласованному действию ради общей цели, и отделяет ее от смежных понятий вроде принуждения и авторитета. Очень важным моментом является то, что власть — это нечто противоположное насилию, сугубо добровольное (Арендт, 2014: 52). В этом определении власть, по сути, добровольна, действия людей организованы ради какой-то цели, которая не совпадает с приобретением, сохранением и преумножением власти. Такое истолкование термина *puissance* отчасти сближает его с пониманием власти в теориях общественного договора, где проводится строгое различие между властью легитимной и нелегитимной. Легитимная власть — это власть, которая убеждает своего субъекта какими-то аргументами сверх простой угрозы наказания за неповиновение. Только такая власть, по сути, может считаться политической властью, тогда как подчинение людей, опирающееся исключительно на насилие, ничем не отличается от полного безвластия, как отмечает Томас Гоббс в 20 главе «Левиафана». Можно сказать, что основное отличие, которое Бер и Рёш устанавливают между *rouvoir* и *puissance* в своем анализе, заключается в том, насколько принудительный характер имеет эта власть для каждого конкретного субъекта. Наконец делается вывод о том, что Моргентай мыслил «нормативную власть» как власть, имеющую цель. Такой целью является обеспечение людей возможностью раскрыть свой потенциал и действовать в согласии друг с другом (Behr, Rösch, 2012: 63–64). В этой перспективе *puissance* еще сильнее сближается с понятием власти в теориях общественного договора, где власть не самоценна, но имеет функцию: установление социального порядка и предотвращение насилия и хаоса. Повторно Рёш возвращается к теме двойного понятия власти у Моргентая в монографии 2015 года, хотя в целом соответствующая глава повторяет аргументы из «Предисловия», рассмотренные выше (Rösch, 2015: 54–63).

Основные выводы Рёша можно обобщить следующим образом: у Моргенту есть два понятия власти, которые представляют собой разные проявления стремления к признанию, присущего человеку по природе. Первое обозначается в ранних работах словом *rouvoir* и напоминает власть Веберовском понимании — спо-

собность подчинять других людей своей воле. Второе — это *puissance* — власть в ницшеанском смысле, власть как способность принять реальность мира и быть творцом своих ценностей. Более того, делается утверждение о том, что Моргентай сохраняет это разделение на протяжении всего своего творчества, хотя и не проводит его в явном виде. Чтобы понять, почему Моргентау отказался от этого различия в англоязычный период творчества, Бер и Рёш приводят два объяснения. Первое заключается в том, что это было попыткой скрыть свое немецкое, «континентальное» происхождение в pragmatических целях. Второе утверждает, что Моргентау концентрируется на международной политике и преимущественно анализирует только так называемую эмпирическую власть. Соответственно и его теоретические изыскания, такие как анализ связи природы человека с феноменом власти, посвящены именно первому пониманию власти (*pouvoir*) (Behr, Rösch, 2012: 57–64).

Какие следствия могут быть получены из толкования Бера и Рёша? Как они сами отмечают, их попытка расщепить надвое понятие власти у Моргентау предпринимается перед лицом все еще не сдающего позиции прочтения Моргентау в качестве сторонника *Machtpolitik* (Ibid.: 48). Как было упомянуто в начале настоящей статьи, выхолащивание понятия власти в международно-политической науке действительно имеет место. Особенно оно сильно в структурном реализме, где словом *power* обозначается почти исключительно объем военной и экономической мощи, т. е. способность оказывать и выдерживать давление. Бер и Рёш не отрицают, что аналогичное понятие существует у Моргентау, но решают противопоставить ему понятие «нормативной власти».

Однако что подразумевается под нормативностью? Бер и Рёш цитируют фрагмент, где Моргентау прямо указывает на то, что политическое действие — это также и моральное действие, что политическое действие может быть определено как «попытка выразить моральные ценности через политический медиум — власть» (Ibid.: 57; Morgenthau, 1962a). Иначе говоря, под «нормативной властью» скрывается так называемый политический морализм, который требует получать и использовать власть не ради еще большей власти, но ради какой-то другой ценности. Бер и Рёш называют в качестве такой ценности установление социального порядка, который бы позволил человеку в полной мере развить свой творческий потенциал. Аргументы Бера и Рёша не касаются самого главного: необходимости выделения двух типов власти вместо описания двух способов использования одной и той же по своей природе власти. Фактически они никак не уточняют, в чем состоит отличие *puissance* от *pouvoir* по своему устройству: для *pouvoir* они указывают на механизм действия, тогда как для *puissance* описывают исключительно то, на достижение каких целей она может быть направлена. Ссылки на поздние работы Моргентау, приведенные Бером и Рёшем, не вполне убедительны, так как ни по одной из них Моргентау не формулирует дополнительного понятия власти, отличного от того, что содержится в «Политических отношениях между народами». Сложности добавляет и то, что во всех англоязычных работах Моргентау

использует лишь один термин — *power*. Не исключено, что желание Бера и Рёша разделить понятие власти на два продиктовано тем, что Моргентау в «Понятии политического» использует несколько французских терминов. Однако, как будет показано ниже, употребление терминов демонстрирует, что они обозначают не виды власти, но разные ее элементы: *rouvoir* является частным проявлением *puissance*.

...или все-таки одна?

Прежде всего необходимо коснуться вопроса о терминах во французском тексте Моргентау, поскольку именно они служат отправной точкой рассуждений Бера и Рёша. Слово *rouvoir* используется в тексте Моргентау всего шесть раз, дважды обозначая уже существующие отношения подчинения между индивидами и четырех раз — власть в контексте способностей влиять и добиваться целей *в рамках правовой системы*. Действительно, *rouvoir* похоже по определению на власть у Вебера, то есть оно обозначает власть как способность добиваться цели, преодолевая сопротивление, возможность что-то делать. *Puissance*, напротив, имеет отчетливые политические коннотации вроде могущества, мощи. Во-первых, именно этим словом обозначена власть, «достижение, сохранение и преумножение» которой является целью государственных деятелей (Morgenthau, 2012: 118). Во-вторых, когда Моргентау дает определение политического спора как такого, который связан с вопросом власти государства над своими субъектами, он использует именно слово *puissance* (Ibid.: 120; Morgenthau, 1933: 64). Наконец, в двух местах Моргентау указывает на изменение объема политической власти через изменение способности оказывать воздействие. В одном случае он использует во французском оригинале *force*, во втором — *rouvoir* (Morgenthau, 2012: 125). Это указывает на то, что *rouvoir* в терминологии Моргентау — это технический термин, обозначающий наличие какой-то способности. *Puissance* обозначает могущество в целом, которое может и должна включать отдельные *rouvoirs*. Текст «Понятия политического», таким образом, не дает оснований предположить, что Моргентау различает типы власти с помощью терминов, как это утверждают Бер и Рёш. Термины *rouvoir* и *puissance* обозначают не два разных явления, но части одного целого. Вместе с тем само различие на эмпирическую и нормативную власть, которое производят Бер и Рёш, может быть не привязано к конкретным терминам и иметь определенную исследовательскую ценность. Ниже рассмотрим, какую роль нормативность и понятие о ценности играют в реализме Ганса Моргентау, и как с ними соотносится разделение, предложенное Рёшем.

Чтобы дать политическому сущностное истолкование, в «Понятии политического» Моргентау полемизирует с работой Карла Шмитта, носящей такое же название. Целью работы Моргентау является отыскание предмета политики, чтобы получить способ различать политические и неполитические споры между государствами. В качестве отправной точки он берет актуальный на тот момент трактат Шмитта, также озаглавленный «Понятие политического», в котором попытка

определить политическое делается через различие «друга» и «врага». Это различие определяет в качестве врагов тех, с кем возможна смертельная борьба безотносительно всяких других различий, в том числе моральных и юридических. Такое свойство оппозиции «друг-враг» заставляет ее быть важнее и первостепеннее всех других различий.

Критика Моргентау направлена против этой оппозиции, которая не устраивает его по двум причинам. Во-первых, «друг» и «враг» — это понятия эмоциональные, описывающие межличностную симпатию/антипатию, а потому они не вполне применимы в сфере политики, где часто отношения лишены подобных эмоциональных коннотаций. Во-вторых, утверждает Моргентау, оппозиция «друга» и «врага», взятая наиболее абстрактно, сугубо формальна, и в этом аспекте не позволяет нам на практике отличать политическое от неполитического. Это связано с тем, что в каждом конкретном отношении присутствуют формальные элементы во всех абстрактных типах отношений.

Чтобы продемонстрировать это, Моргентау воспроизводит классический набор оппозиций из «Понятия политического» Шмитта: сущность эстетического состоит в оппозиции «прекрасного» и «безобразного», сущность нравственного — в оппозиции «хорошего» и «дурного», сущность экономического — в оппозиции «полезного» и «вредного». Политическое, по Шмитту, оказывается оппозицией «друга» и «врага».

Основной тезис Моргентау состоит в том, что до тех пор, пока Шмитт настаивает на формальной оппозиции «друг» — «враг», эта оппозиция может быть обнаружена и в этике, и в экономике и т. п. Если избавиться от коннотаций, связанных с обыденным пониманием дружбы как формы личных отношений, то другом можно считать того, кто помогает нам достигать определенных целей, а врагом — того, кто ставит нам преграды. Иначе говоря, «друг» — это человек, «полезный» для достижения определенных целей, тогда как «враг» — «вредный». При таком рассмотрении оказывается, что «друг» и «враг» могут существовать и в эстетической перспективе, и в какой угодно другой. Значит ли это, что все сферы оказываются политическими, раз в них возможна оппозиция «друга» и «врага»?

Моргентау не согласен с этим, так как формальные аспекты политического различия могут быть обнаружены буквально во всем, как и другие формальные различия: например, оппозиция «полезного» (как способствующего достижению внешней цели) и «вредного» — это оппозиция экономическая, но позволяющая найти себя в любых явлениях. Моргентау подчеркивает, что, обнаруживая политическое различие во всяком отношении, мы обнаруживаем одновременно и экономическое различие. Точно так же и моральное различие «добра» и «зла» может быть проведено в отношении чего угодно (и прямо внутри уже совпавших политического и экономического различий). Таким образом, попытка различить политические и неполитические международно-правовые споры на основании сугубо формальных различий терпит неудачу (Morgenthau, 2012: 109–16).

Для того чтобы ввести подобное различение, необходимо найти политическое «*in a specific sence*», то есть особый предмет политики. Допустив, что в случае экономики речь идет о богатстве, а в случае морали — о соответствии общепринятым нормам, Моргентай дает следующее сущностное определение политического: «Политическое в специальном смысле состоит в определенной степени интенсивности связи, создаваемой волей государства к власти (*puissance*) между его подданными и самим государством» (Ibid.: 120; Morgenthau, 1933: 64).

Таким образом, сфера политического — это сфера, в которой власть выступает основной ценностью, целевой причиной действий политика. Более явно Моргентай воспроизводит этот тезис в «Шести принципах политического реализма», когда говорит об «интересе, определенном как власть», который является основным инструментом оценки и изучения политических процессов (Morgenthau, 1997: 5). Власть для Моргентая — это способность подчинять других людей своей воле, она может выступать как в качестве самостоятельной ценности (тогда ситуация становится политической), так и в качестве инструмента для достижения каких-либо других целей. В таком свете жесткое разделение на «нормативную» и «эмпирическую» власть у Бера и Рёша выглядит не вполне обоснованным, так как власть остается одним и тем же феноменом. Таким образом, целесообразнее заключить, что власть для Моргентая представляет собой онтологически единое явление. Как было продемонстрировано выше, это могущество, выраженное в способности подчинять своей воле других людей как мирными средствами, так и с помощью насилия. Вопрос о нормативности власти не позволяет разделить власть на два разных понятия и тем более — на два разных явления. Напротив, власть — это одно и то же явление, имеющее корнем единую для всех и неизменную человеческую природу. Различие возможно лишь в отношении того, выступает ли власть самостоятельной ценностью, либо используется ради достижения других целей.

Наше толкование не ставит своей задачей опровергнуть толкование Бера и Рёша по всем пунктам. Там, где они усматривают два понятия власти, обозначающие, возможно, два разных явления, мы утверждаем наличие одного явления, а также одного цельного понятия. Отказ Моргентая от множества терминов продиктован, предположительно, стремлением подчеркнуть единство власти. Для обозначения различных свойств, которые власть может на себя принять, он использует эпитеты вроде «легитимная власть» и т. п. Как мы полагаем, такое толкование Моргентая ближе к тексту «Понятия политического», где термины образуют строгую иерархию и *rouvoir* обозначает скорее отдельную конкретную способность влиять на других, составную часть *puissance*.

Заключение

Подводя итог нашему рассмотрению власти, можно сказать следующее. Основным недостатком в истолковании Бера и Рёша, на наш взгляд, является разделение власти в политическом реализме Ганса Моргентая на два явления. Разделение власти

на эмпирическую и нормативную содержит в себе элемент моральной оценки, где эмпирическая власть, автономная и сопряженная с насилием, несет отрицательные коннотации. Нормативная власть в данном случае означает власть, поставленную на службу неполитическим целям, таким как создание социального порядка, который бы не подавлял творческие способности людей и позволял бы им преследовать свои интересы. Бер и Рёш, как было написано выше, следуют традиции общественного договора, в которой простое подчинение человека человеком еще не считается властью. Такого рода различие всегда строится вокруг идеи легитимности и — шире — вокруг подчинения власти внеполитическим целям. Фактически Бер и Рёш предлагают форму деполитизации, после которой борьба за власть утратит самостоятельную ценность и власть станет инструментом гарантии какой-то внешней по отношению к ней ценности.

С точки зрения политического реализма такого рода противопоставление двух типов власти может привести к морализации политики. Основной опасностью является не столько подчинение власти каким-то внешним ценностям, сколько неудача, которой заканчивается любая попытка такого рода деполитизации. Власть в реализме Моргентау имеет своим источником неизменную природу человека, и потому содержит в себе неустранимое желание господства. О крайней трудности, даже невозможности обуздить жажду власти Моргентау говорит на протяжении всего своего творчества, в том числе в последней главе «Понятия политического», где он пишет о регулировании *политических* вопросов в рамках права, поскольку политическая борьба всегда требует изменения правовой системы.

Единое понятие о власти, как о едином феномене составляет ядро политического реализма Моргентау. Эта власть имеет источник в общей для всех и неизменной природе человека, а потому всегда содержит в себе угрозы, связанные со злоупотреблением властью и ее неизбежно насильственным характером. Истолкование политического в реализме осуществляется с позиции, в которой такая власть является основной ценностью. Попытка разделить власть на несколько типов, наделив их положительными и отрицательными коннотациями, вносит в политический реализм чуждый ему элемент внеполитической оценки и в конечном счете лишает политический реализм его критического потенциала. Утверждение о том, что может быть какая-то «хорошая» нормативная власть, создает ложную надежду на решение политических проблем с помощью этики, надежду, для критики которой был создан политический реализм.

Литература

- Арендт Х. (2014). О насилии / Пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство.
- Ashley R. K. (1984). The Poverty of Neorealism // International Organization. Vol. 38. № 2. P. 225–286.

- Baldwin D. A. (2016). *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Princeton: Princeton University Press.
- Behr H., Rösch F. (2012). Introduction // *Morgenthau H. J. The Concept of the Political*. L.: Palgrave Macmillan. P. 3–47.
- Gilpin R. (1987). *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. N. Y.: W. W. Norton.
- Morgenthau H. J. (1933). La notion du “politique” et la théorie des différends internationaux. Paris: Recueil Sirey.
- Morgenthau H. J. (1962a). Decision-Making in the Nuclear Age // *Bulletin of the Atomic Scientists*. Vol. 18. № 10. P. 7–8.
- Morgenthau H. J. (1962b). Love and Power // *Commentary*. Vol. 33. № 3. P. 247–251.
- Morgenthau H. J. (2012). *The Concept of the Political*. L.: Palgrave Macmillan.
- Morgenthau H. J., Thompson K. W. (1997). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Singapore: McGraw-Hill.
- Pichler H.-K. (1998). The Godfathers of «Truth»: Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau’s Theory of Power Politics // *Review of International Studies*. Vol. 24. № 2. P. 185–200.
- Rösch F. (2015). *Power, Knowledge, and Dissent in Morgenthau’s Worldview*. L.: Palgrave Macmillan.
- Smith M. J. (1986). *Realist Thought from Weber to Kissinger*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Turner S. P. (2009). Hans J. Morgenthau and the Legacy of Max Weber. URL: <http://www.academia.edu/download/30746460/39WebMorgenthauWeber2009.pdf> (дата доступа: 20.10.2019).
- Walt S. M. (2002). The Enduring Relevance of the Realist Tradition // *Katzenbach I., Milner H. V. (eds.)*. *Political Science: State of the Discipline*. N. Y.: W. W. Norton. P. 197–234.
- Waltz K. N. (2001). *Man, the State and War: A Theoretical Analysis*. N. Y.: Columbia University Press.
- Waltz K. N. (2007). *Theory of International Politics*. Boston: McGraw-Hill.
- Williams M. C. (2005). *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Power and Violence in the Realism of Hans J. Morgenthau

Sergey Kucherenko

Graduate student, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University — High School of Economics

Address: Myasnitskaya str, 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: sakucherenko@hse.ru

The development of political realism found mainly in English works determined the fact that the term "power" denotes a wide range of concepts which at times turn out to be contradictory. Among the deepest problems is the relation of the concept of political power (authority) and power as the capability to coerce (might). The realism studies of recent decades are aimed to criticize the perceived neorealist misinterpretation of power as a material capability. The figure of Hans J. Morgenthau, an acknowledged founder of the realist school of thought in IR, is used by the critics to redefine power and to criticize neorealism as "unfaithful to its origin." This article analyzes the attempt to reinterpret Morgenthau's concept of power with the help of Arendt's notion of power. This re-interpretation results in the splitting of Morgenthau's understanding of power into two concepts, one of which is devoid of violence and coercion. The author claims that Morgenthau's notion of power is essentially violent, and therefore cannot be split into two on such grounds. An attempt to create a non-violent concept of power within Morgenthau's theoretical framework results in the loss of the critical potential of his project of political realism.

Keywords: power, violence, Morgenthau, Arendt, realism studies

References

- Arendt H. (2014) *O nasilii* [On Violence], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Ashley R. K. (1984) The Poverty of Neorealism. *International Organization*, vol. 38, no 2, p. 225–286.
- Baldwin D. A. (2016) *Power and International Relations: A Conceptual Approach*, Princeton: Princeton University Press.
- Behr H., Rösch F. (2012) Introduction. Morgenthau H. J., *The Concept of the Political*, London: Palgrave Macmillan, pp. 3–47.
- Gilpin R. (1987) *War and Change in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J. J. (2001) *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton.
- Morgenthau H. J. (1933) *La notion du "politique" et la théorie des différends internationaux*, Paris: Recueil Sirey.
- Morgenthau H. J. (1962a) Decision-Making in the Nuclear Age. *Bulletin of the Atomic Scientists*, vol. 18, no 10, pp. 7–8.
- Morgenthau H. J. (1962b) Love and Power. *Commentary*, vol. 33, no 3, pp. 247–251.
- Morgenthau H. J. (2012) *The Concept of the Political*, London: Palgrave Macmillan.
- Pichler H.-K. (1998) The Godfathers of "Truth": Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau's Theory of Power Politics. *Review of International Studies*, vol. 24, no 2, pp. 185–200.
- Morgenthau H. J., Thompson K. W. (1997) *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Singapore: McGraw-Hill.
- Rösch F. (2015) *Power, Knowledge, and Dissent in Morgenthau's Worldview*, London: Palgrave Macmillan.
- Smith M. J. (1986) *Realist Thought from Weber to Kissinger*, Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Turner S. P. (2009) *Hans J. Morgenthau and the Legacy of Max Weber*. Available at: <http://www.academia.edu/download/30746460/39WebMorgenthauWeber2009.pdf> (accessed 20 October 2019).
- Walt S. M. (2002) The Enduring Relevance of the Realist Tradition. *Political Science: State of the Discipline* (eds. I. Katzenelson, H. V. Milner), New York: W. W. Norton, pp. 197–234.

- Waltz K. N. (2001) *Man, the State and War: A Theoretical Analysis*, New York: Columbia University Press.
- Waltz K. N. (2007) *Theory of International Politics*, Boston: McGraw-Hill.
- Williams M. C. (2005) *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.

«Взять власть иначе»: еще одна политическая онтология для новых времен

HARDT M., NEGRI A. (2017). ASSEMBLY. NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 368 P. ISBN 978-0-1906-7796-1.

Максим Фетисов

Кандидат философских наук, координатор Центра социальной теории и политической антропологии им. Н. Н. Козловой философского факультета Российской государственной гуманитарного университета
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва, Российская Федерация 125993
E-mail: msfetisov@gmail.com

Так получилось, что массовые выступления, начавшиеся в 2011 году в Северной Африке, оказались не одномоментным выплеском гнева, которым они могли показаться в момент своего возникновения, а лишь первыми звеньями в цепи бунтов и восстаний, продолжающих «триумфальное шествие» по планете. Лишь один 2019 год принес Францию, Гонконг, Латинскую Америку и отчасти Москву. Что сразу бросается в глаза при попытке сравнить эти движения? Каждое из них — внезапная вспышка ярости, но ни одна не привела к зримым результатам, и ни одна не вынесла на поверхность новые имена и названия, которые можно было бы назвать их олицетворением. Больше нет ни лиц, ни партий. Какое дать имя этому явлению? Движение? Слово, не очень любимое философскими грандами прошлого столетия. Даже если взять случаи, которые, как кажется, лучше всего описываются этим словом, скажем, французских «желтых жилетов», то попытки описания упрются в стену. Какие они? Левые или правые? Какова их программа и кто их лидеры? Ни на один из этих вопросов до сих пор нет удовлетворительного ответа. Перед нами просто стена из множества рассерженных лиц. Эта новая политическая реальность не могла остаться без внимания со стороны теории. Тот факт, что летом уходящего года эта реальность ненадолго посетила Москву, вынуждает и нас осмотреться в поисках интеллектуальных интервенций, предметом которых она могла бы стать.

Вероятно, стоит вновь обратить внимание на книгу под названием *Assembly*. Этот последний на сегодняшний день продукт сотрудничества знаменитого дуэта Майкла Хардта и Антонио Негри вышел в свет осенью 2017 года. Название очередного тома (как всегда, принципиально многозначное и допускающее различные

толкования) на русский язык можно перевести и как «ассамблея», и как «собрание». Сами авторы ссылаются на весьма широкий опыт коллективных действий, подпадающих под эту категорию: от *ekklesiae* античных полисов и раннехристианских общин до законодательных или профсоюзных собраний модерной эпохи, ассамблей современных социальных движений и даже «философского понятия машинного ассамбляжа, конституирующего новые субъективности» (р. xxi).

Саму книгу стоит воспринимать как продолжение трилогии «Империя» — «Множество» — «Commonwealth»¹. Исходные тезисы, изложенные в «Империи» еще на заре нового тысячелетия, двигались вслед за изменяющейся реальностью, и каждая новая книга, теперь уже тетралогии, становилась своеобразной записью, эти изменения фиксировавшей. «Империя» давала набросок новой политической онтологии, «Множество» — новых политических субъективностей, «Commonwealth» — системы общественных отношений, которым еще только предстоит появиться. «Ассамблея» в этом ряду держится особняком. Она была написана в момент, когда уже стало понятно, что «кольца змеи»², этот яркий образ новых массовых движений, найденный еще в «Империи», не ведут к своим обычным последствиям. Тем не менее весьма примечательное постоянство их возникновения требует от авторов обратить, наконец, внимание на проблему, никогда не входившую у теоретиков «радикальной демократии» в число популярных. Речь, конечно же, пойдет о далеко не новой и уже порядком набившей оскомину «проблеме организации».

Свою дискуссию авторы начинают с простого и очевидного вопроса: «Куда подевались вожди?» (р. 3). Действительно, где новые Карл Либкнехт, Махатма Ганди, Че Гевара, Мартин Лютер Кинг и Руди Дучке? Кто знает, как зовут вожаков французских «желтых жилетов»? Центральный комитет какой партии возглавил недавнее миллионное восстание в Чили? Не так просто ответить на эти и множество им подобных вопросов. Очевидно одно — что-то не так с классической картиной модерна, на которой ведомые признанным лидером либо авторитетным коллективным (чаще всего партийным или профсоюзным) руководством народные массы выступают против надоевших им режимов. Может быть, все дело в ответной жестокости властей? Казалось бы, что может быть важнее в любой политической смуте, чем выявить ее лидеров? А дальше все очень просто: «отруби голову — и тело умрет» (р. 9). Пока, однако, нам мало что известно о новых «пантеонах павших героев и мучеников» (р. 8). Роза Люксембург, Антонио Грамши, Че Гевара и Нельсон Мандела остались в прошлом веке. Но и репрессивно-политическая логика, как мы все чаще видим, сталкивается с той же проблемой: где зacinщики, кого назначить виноватым? Та же самая судьба, по мнению авторов,

1. Негри А., Хардт М. (2004). Империя / Пер. с англ. И. Данилина, А. Ландера, И. Окуневой, А. Смирнова, Ю. Филиппова под ред. Г. Каменской и М. Фетисова. М.: Практис; Негри А., Хардт М. (2006). Множество: война и демократия в эпоху Империи / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноzemцева. М.: Культурная революция; Hardt M., Negri A. (2009). Commonwealth. Cambridge: Belknap Press.

2. Негри, Хардт. Империя. С. 66.

постигла и так называемых «публичных интеллектуалов», чье слово ранее могло повлиять на расклад сил и ход событий. Публичные интеллектуалы, конечно, все еще существуют, они заметны, но не осталось никого, кто по силе слова был бы сопоставим с Сартром, Маркузе или Адорно (р. 12). Это не означает, конечно, что ученым теперь остается только замкнуться в «башне из слоновой кости», однако с мечтой о том, чтобы говорить «от имени и по поручению», придется распрошаться. Теперь им, по старым рецептам Мишеля Фуко и Жиля Делёза, лучше следовать за движениями, выполняя при них функцию «мыслящей материи».

По завету своей главной философской звезды Бенедикта Спинозы, рекомендовавшего «не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать», авторы предлагают не сокрушаться отсутствием «настоящих лидеров» и не тратить время на партийное строительство для новых массовых движений, как полагают такие их выдающиеся коллеги, как Славой Жижек или Джоди Дин³. Вместо этого стоит попытаться рассмотреть нынешний «кризис лидерства» как симптом принципиально новой политической ситуации, опирающейся на совершенно новые онтологические основания (р. 8).

Сам институт лидерства всегда содержал в себе проблемы и внутренние противоречия. Авторы приводят в пример анализ Парижской коммуны Марксом. Как известно, коммуна, по его мнению, пала по причине своего чрезмерного, избыточного идеализма и доверия в отношении окружающего мира, если бы коммунары вели себя иначе, более реально оценивая свое положение, то судьба их сложилась бы совершенно по-другому. Но, с другой стороны, если представить, что коммунары вняли советам Маркса и проявили тот самый «политический реализм», не лишилось бы смысла само их предприятие по созданию общества настоящей прямой демократии и подлинного самоуправления (р. 4)? Ведь в этом случае получается, что коммунары, наоборот, весьма трезво и «реалистично» оценивая свою ситуацию, сознательно пошли на смертельный риск, стремясь до конца реализовать утопию всеобщего, неэксклюзивного социального порядка. Да, они проиграли, но этот проигрыш наглядно выявил все изначально защищенные в проблему лидерства противоречия и антиномии. Главное из них — это спрятанная в самой логике массового движения проблема перехода от изначальной спонтанности к организационным структурам, появление и постепенная консолидация которых неизбежно ведут к хорошо нам знакомым проблемам возникновения и довольно продолжительного существования авторитарных диктатур, чей *raison d'être* оказывается уже не слишком связан со смыслом изначального революционного события.

Таким образом, принципиальным объектом критики со стороны авторов выступает сам институт лидерства в том привычном для нас виде, в каком он успел сложиться в эпоху модерна. При этом, по их мнению, «kritika лидерства не означает отказа от организации», просто это должна быть *иная* организация. От взя-

3. О лидерстве Жижек говорит постоянно. Характерный пример подобного высказывания см.: <https://www.newstatesman.com/politics/politics/2013/04/simple-courage-decision-leftist-tribute-thatcher>. См. также: Dean J. (2016). *Crowds and Party*. L.: Verso.

тия власти ни в коем случае нельзя отказываться, просто, как говорят сами авторы, нужно «брать власть иначе», чтобы этот захват позволил создать институты подлинной демократии, отличающиеся при этом устойчивостью (р. xx).

Начать авторы предлагают с инвентаризации «музея прошлых революций» (р. 16). Поход в этот музей обнаруживает существование странного гибридного монстра, сами Хардт и Негри называют его кентавром: тело его составлено из движений восставших масс, а голова — это направляющая роль лидера в ее индивидуальной либо коллективной форме (р. 15). Именно так было устроено подавляющее большинство модерных революций и социальных движений: массы являются движущей силой и источником тактических решений, тогда как уделом лидеров остаются стратегия и организация. Поэтому главная проблема практически любой из прошлых революций — «найти правильную пропорцию спонтанности и организации» (р. 16), установить правильное соотношение между революционной анархией и революционной же диктатурой. Жаркие дискуссии по «оргвопросу» и сотни страниц, исписанных по этой теме теоретиками и практиками революционной борьбы — от Ленина и Троцкого до Лукача и Розы Люксембург, — лучшее тому подтверждение. Апофеозом решения организационного вопроса выступает пресловутый «демократический централизм» — воображаемый продукт диалектики низовых импульсов, переводимых руководством в язык политических директив, затем отправляемых в обратном направлении, сверху вниз по вертикали (р. 18)⁴.

Поэтому Хардт и Негри предлагают попробовать перевернуть привычное соотношение между стратегией и тактикой. Стратегия поступает в ведение масс, а вот лидерам остается тактика: «Единственный верный способ ограничить лидерство чисто тактической ролью — это занятие множествами непоколебимого стратегического положения и его защита любой ценой. Мы должны сосредоточиться на развитии стратегического потенциала множества, иными словами, за этим должно последовать ограничение лидерства тактическими соображениями» (р. 20). Данная инверсия, по их мнению, полностью меняет всю привычную политическую парадигму (р. 22). Отныне действия множества приобретают стратегическое значение, тогда как лидерство становится ситуативным и тактическим. Также, по мнению авторов, большое значение имеет демистификация привычного понятия «спонтанности», поскольку за каждым «спонтанным проявлением» скрывается целый комплекс причин, которые необходимо выявить (р. 21). Кроме того, нужно с осторожностью относиться к перевернувшим Латинскую Америку и Южную Европу популистским движениям: несмотря на их внешнее сходство с предложен-

4. Важным авторским замечанием является тезис композиционного соответствия, означающий, что для революционного субъекта его политическая композиция (фактическая политическая роль) должна выступать отражением его технической композиции (фактического состава и экономической роли) (р. 17). Так, если в русской революции 1905–1917 гг. именно сконцентрированный в небольшом числе промышленных центров пролетариат мог выступать застрельщиком и определять общий облик событий, то совсем неверно ожидать, что он останется таковым в бунтах и восстаниях сегодняшнего дня, когда произошло сжатие доли промышленного труда с последующей его концентрацией в нескольких регионах земного шара.

ной авторами моделью, они придают чрезмерное значение государству и институту персонального лидерства, что почти всегда оборачивается размытием их социальной базы (р. 23). Поэтому «партия движений», или, как предлагает Джоди Дин, «партия для глобальной толпы», не является жизнеспособным политическим выбором⁵.

Переворачивание стандартного отношения стратегии и тактики подрывает наши привычные представления о функционировании политической репрезентации. Избрание представителей традиционно выступало способом контроля и ограничения суверенного решения, подчинения его власти права. Кроме того, революционные движения придумали массу возможностей реаппроприации суверенитета, изъятия его из рук правящих классов — суверенными объявлялись третье сословие, нация, народ, диктатура пролетариата (р. 26). Однако ни одна из этих возможностей не отменяет отчуждения представителя от представляемых и унификации их голосов в единой «общей воле» с последующей «профессионализацией» и олигархизацией правящего класса, так хорошо описанными наследующей Веберу социологией политических партий. Поэтому авторы предлагают забыть Руссо и распрощаться с модерным понятием суверенитета.

Критика суверенитета (который авторы, вслед за Карлом Шмиттом (р. 25), определяют как способность решать) и репрезентации как фикций руссоистской «общей воли» упирается в еще одно базовое понятие — учредительной власти⁶. Оно, как известно, в том числе и самим авторам, двусмысленно, поскольку переход от изначального, учредительного события революционной демократии в его полную противоположность, учрежденную власть закостеневших суверенных государственных структур, как правило, мгновенен и трудноуловим, примерами этого полна недавняя история (р. 33). Еще из классиков политической философии хорошо известно, что плюралистические интересы общества политически могут быть артикулированы только как нечто единое. Поэтому взятая с чисто политической точки зрения учредительная власть опасна ровно в той же степени, в какой кажется привлекательной. Следовательно, само это понятие нуждается в радикальном переопределении, которое будет состоять в переходе от его формально-юридического понимания к пониманию радикально-материалистическому. «Изобретение несуверенных институтов», о котором говорят авторы, требует их укоренения в общественной жизни. Критика учредительной власти, таким образом, означает отказ от представлений об *автономии политического*. Надежды на «возвращение политики» как самостоятельной силы, в форме ли делиберативной коммуникации на воображаемом республиканском форуме, или же в фантазматическом облике нового Господина (вроде «Тэтчер для левых», не так давно предложенной Жижеком), способного на «суверенный жест», утопичны и беспочвенны (р. 42–46).

5. Dean. *Crowds and Party*.

6. Сам Негри, как известно, ее изучению уделил достаточно много времени. См.: Negri A. (1992). *Il potere costituente: saggio sulle alternative del modern*. Milano: SugarCo.

Не предлагает приемлемого выхода и так называемый правый популизм. Последний, по мнению авторов, представляет собой «темное отражение» радикально-демократических движений (р. 47). С одной стороны, он — реакция на них, с другой — несомненно, очень тесно с ними связан, поскольку стремится достичь тех же целей, однако делает это негодными средствами. Первое из них — желание вернуть авторитет институту лидерства. Однако «новый вождизм», как показывают авторы, не соответствует критериям настоящего вождистского движения, выявленным еще Карлом Шmittом. Он выступает скорее производной, искающей изначальный смысл аффектов, управляющих множествами. Тот же Дональд Трамп, представляющий собой наиболее хрестоматийный пример правого популиста, не столько построил свое движение, сколько выявил и оседлал уже существующие массовые *hopes and fears* (р. 48–51). Наиболее зловещий облик это «функциональное лидерство» принимает в различных религиозно-фундаменталистских движениях, когда «вожди» заменяются по мере выбывания (р. 49). Второе неверное средство — политика идентичности, направленная на восстановление утраченной целостности, единства нации, защиты ее от чужаков и т. п. Однако утраченное единство представляет собой исключительно воображаемую конструкцию, основанную на недооценке реального конфликтного потенциала, скрытого в любом сообществе, чистоту и единство которого необходимо защищать. Нельзя проводить антиэлитную политику от имени «народа», стремясь при этом сохранить и восстановить прежние социальные иерархии (р. 41). Таким образом, новой политике необходимы новые онтологические основания. Каковы они?

Чтобы найти их, авторы, следуя Марксу, спускаются в область действия производительных сил. Именно они формируют новую материальную онтологию учредительной власти⁷. Общая рамка ситуации определена ими еще в «Империи» как «реальное подчинение труда капиталу»⁸. В таком состоянии отсутствуют пространства, не охваченные капиталистическими отношениями, и источником ресурсов для капитала становится не внешнее, еще не охваченное товарно-денежными отношениями (например, колонии или деревня), а вся тотальность общественных отношений. Перестают работать и привычные, знакомые нам по обществам модерна посредники между трудом и капиталом — национальные государства, профсоюзы, политические партии и т. д. В этой ситуации труд и капитал противостоят друг другу напрямую, делая явным тот политический конфликт, который был изначально заложен в их отношениях. Труд автономизируется. Радикально меняется и его природа: доминирующее положение в системе глобального капитализма переходит от массового индустриального труда, сконцентрированного на фабриках и заводах, к так называемому социальному труду, источником стоимости в котором становятся эмоции, аффекты и знания, теперь он опирается на то, что Маркс в *Grundrisse* назвал «всеобщим интеллектом». Труд, таким образом, превращается в сеть объединенных отношениями кооперации

7. Негри, Хардт. Империя. С. 195.

8. Там же. С. 37.

субъективностей, касательно которых капитал с его политическими надстройками в лице государств, НКО и международных организаций выступает в роли не-илиберального паразита, занимающегося экстракцией ренты. Авторы часто приводят пример страницы выдачи Google, где каждый наш клик и поисковый запрос поглощается специальным алгоритмом, становясь формой постоянного капитала (р. 273). Однако полностью поглотив общество, капитал оказался в критической от него зависимости:

Те, кто (в том числе и мы сами) говорит о новом, когнитивном и коммуникативном капитализмах, нематериальном или аффективном производстве, социальной кооперации, циркуляции знаний, коллективном интеллекте и тому подобном, пытаются, с одной стороны, описать дальнейшее распространение разграбления жизни капиталом, его инвестиций и форм эксплуатации, не только на заводы и фабрики, но и на общество в целом, а с другой стороны, говорят о расширении пространства борьбы, преобразовании мест сопротивления. Мегаполис сегодня превращается в место не только производства, но и возможного сопротивления. В этом контексте капитал не может продолжать заниматься десубъективацией людей через процессы индивидуализации и инструментализации, измельчая их плоть и превращая в голема с двумя головами: в индивида как производящую единицу и в наследие как объект массового управления. Капитал больше не может себе этого позволить, потому что на сегодняшний день основным источником экономической стоимости является обобщенное производство субъективностей. Утверждение, что производство становится общим, не должно означать, что рабочие больше не подвергаются эксплуатации... Это просто означает, что основа производства, его центр тяжести сместились, и создание стоимости все чаще включает в себя сетевую активацию субъективностей, захват, поглощение и присвоение того, что они сообща делают в сети. Капитал сегодня нуждается в субъективностях, зависит от них... Без общего капитала не может существовать, но с ним возможность конфликта, сопротивления и реаппроприации возрастает бесконечно (р. 28–29)⁹.

9. Если рассмотреть ситуацию в чисто политических терминах, то, на первый взгляд, подобная зависимость может показаться явным преувеличением. Что может противопоставить возможностям капитала (и его инструментов в лице, к примеру, государства, которое в нашем российском случае и выступает главным капиталистом), какое-то множество, которое даже на теоретическом уровне представляет собой пока скорее проблему, а не готовый политический субъект? Разве оно может что-то всерьез противопоставить реальному аппарату суверенного насилия? Однако более внимательное рассмотрение оптики, предложенной авторами в их материалистическом понимании учредительной власти, делает картину отношений между государственным суверенитетом и силами общего уже не столь однозначной. Для этого обратимся к конкретному примеру из недавней истории.

Как известно, на протяжении уже довольно длительного времени «суверенитет» рассматривается властями РФ и обслуживающим их интеллектуальным классом как несомненная и не подлежащая никакой дискуссии ценность. Предикат «суверенный» применяется ими к самому широкому кругу явлений, от «демократии» до Интернета. Однако архитектура последнего, основанная на горизонтальном взаимодействии объединенных в сеть сингулярных субъективностей, не очень хорошо отвечает традиционным представлениям о суверенитете. Чтобы устраниТЬ это расхождение, в России был принят так называемый «закон Яровой», вступивший в действие летом 2017 года. Практически сразу после этого соответствующие регулирующие и надзорные органы потребовали от мессенджера Telegram предоставить доступ к переписке его пользователей, мотивируя свое требование сооб-

Именно на понятие общего предлагают опереться авторы в разработке новой политической онтологии: «Ключевая борьба в сфере социального производства разворачивается вокруг использования, управления и присвоения общего, то есть богатств Земли и общественных богатств, которое мы совместно разделяем и которым вместе управляем. Общее сегодня все больше выступает одновременно и основанием, и главным результатом социального производства. Иными словами, мы полагаемся на общие знания, языки, отношения и схемы кооперации, а также на общий доступ к ресурсам для производства, и то, что мы производим, стремится (по крайней мере, потенциально) быть общим, то есть общественно разделяемым и управляемым» (р. xvi).

Право на общее вытеснит право собственности, поскольку именно сфера общего все более выступает основой социализации производства не только в его узко экономическом понимании, но и в куда более широком, как производство форм самой жизни. Частная же собственность из права, основанного на труде, все больше превращается в чистую форму власти: «Чем более „свободной“ кажется собственность от любого идеологического обоснования трудом, тем более абсолютной становится логика частной собственности, превращаясь в чистое господство» (р. 94). Именно конфликт между общим, от которого все больше начинает зависеть производство «самой жизни», и его ползучей приватизацией, извлечением прибыли из того, что ранее считалось безусловным общественным благом, лежащим в основе неолиберализма, породил сегодняшний всеобщий кризис управления (р. 212–217). Известная нам по работам классиков социологии рациональная бюрократия, занимавшаяся разрешением и модерацией общественных противоречий и конфликтов в рамках модерного государства (р. 125–131), сменилась основанным на извлечении ренты, приватизации и финансовой эффективности неолиберальным администрированием. Оно, в свою очередь, напрямую, без посредников, в качестве суверенной силы вынуждено столкнуться с набирающими мощь силами общего. Иными словами, «все более и более становится ясно, что собственность может и должна быть лишена своего суверенного характера и трансформирована в общее» (р. 97).

ражениями безопасности и защиты суверенитета и угрожая, в случае отказа, заблокировать работу мессенджера на территории РФ. После того, как мессенджер неоднократно отказался выполнить эти требования, ссылаясь на невозможность сделать это, и проиграл все российские суды, весной 2018 года надзорные органы приступили к его блокировке. Несмотря на все предпринятые усилия, властям РФ не удалось сколько-либо серьезно затруднить работу мессенджера на своей территории, однако при этом их действия серьезно нарушили работу ряда платежных систем, электронных сервисов и социальных сетей, — нанеся урон экономике Российской Федерации. Выяснилось, что проблему блокировки неудобного мессенджера можно решить только полным отключением интернета в России, однако экономические и прочие издержки подобного решения были бы совершенно непредсказуемы. Таким образом, под угрозой оказался тот самый суверенитет, ради «защиты» которого и осуществлялись все эти действия. Этот случай показывает пример критической зависимости традиционных, обычно привязанных к конкретной территории структур (что совершенно не отменяет действующих границ) от новых сетей «всеобщего интеллекта» и аффективного труда, отвечающих за производство того, что авторы называют «общим».

Таким образом, концепт общего помогает, по мнению Хардта и Негри, наполнить понятие учредительной власти реальным содержанием. Опираясь на подобное его понимание, авторы предлагают произвести масштабную реапроприацию институтов государства и капитала. Они даже говорят о том, что массам нужен новый Государь (р. 228), который позволит построить прочные долговременные институты и организовать жизнь на новых онтологических основаниях. Однако это должен быть Государь, построенный «снизу» (р. 78), коллективными усилиями, базирующимися на онтологической мощи множеств.

Как и все тексты Хардта и Негри, «Ассамблея» поражает в первую очередь своей визионерской силой. Однако сколь велика и общепризнана ни была бы способность авторов нарисовать портрет «альтернативного модерна»¹⁰, остаются некоторые вопросы, ответы на которые действительно важны, если плану перехода от воображения к действию вообще суждено возникнуть. Так, предложенная инверсия стратегии и тактики предполагает передачу массовым движениям функции определения стратегических целей. Однако ее реализация означает, что сфера решения, сфера проведения границ, составляющая базовое содержание политического, переходит в ведение того, что авторы определяют как множество, понятие строго имманентное. Однако, как мы помним еще из классиков политической философии, любая онтология, определяемая как политическая, может носить исключительно артикуляционный характер. Как совместить два этих плана? Не означает ли это, что главный объект критики, «принцип суверенитета» как способ проведения различий и границ, — это не только описываемый авторами «трансцендентальный аппарат»¹¹, налагаемый извне на богатство разнообразных форм жизни, но также и часть того, что раньше было принято называть «человеческой природой», обусловленная ее изначально негативным характером? Действительно, ход мировых событий подсказывает, что критикуемую авторами «автономию политического», в том смысле как ее привыкли понимать философы, можно и нужно ставить под вопрос, но как быть с иным, теологическим пониманием политики как вражды и разлома? Не чрезмерно ли оптимистическую версию политического спинозизма исповедуют авторы, не предлагая при этом массам никакого действенного рецепта противостояния дурным страстям и темным сторонам? Сам Спиноза, как известно, не был столь однозначно благодушен по отношению к *potentia multitudinis*. Он, правда, также не успел предложить никакого пути борьбы с плохими аффектами, кроме стоического рационализма. Ясно, что предлагаемое авторами понимание учредительной власти как бесконечно расширяющегося пространства материального производства «новых форм жизни» требует переопределения наших интуиций о вещах, длительное время формировавших наши представления о политическом: о праве, о свободе, о добродетели. К этому авторы, перефразируя Спинозу, и призывают на заключительных страницах: «Мы еще не видели, что может быть возможным, когда собирается множество» (р. 295).

10. Об идее «альтернативного модерна» см.: Hardt, Negri. Commonwealth. P. 115.

11. Негри, Хардт. Империя. С. 84.

Take Power Differently: Another Political Ontology for the New Age

Maxim Fetisov

Candidate of Philosophical Sciences, Natalia Kozlova Center for Social Theory and Political Anthropology,
Department of Philosophy, Russian State University for the Humanities

Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993

E-mail: msfetisov@gmail.com

Book Review: Michael Hardt, Antonio Negri, *Assembly* (New York: Oxford University Press, 2017).

Демократия против господства

ШАПИРО И. (2019) ПОЛИТИКА ПРОТИВ ГОСПОДСТВА / ПЕР. С АНГЛ. М. С. ФЕТИСОВА И Т. А. ДМИТРИЕВА.
М.: ПРАКСИС. 478 С. ISBN 978-5-9500961-2-9

Алексей Черняк

Кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии
Факультета гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы народов
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Российская Федерация, 117198
E-mail: abishot2100@yandex.ru

Иэн Шапиро — один из крупнейших либеральных мыслителей нашего времени, яркий представитель современной американской политической науки, чьи исследовательские интересы простираются от политики и политической философии до философии науки и теории рациональности, автор более десятка вдохновляющих монографий, среди которых «Эволюция прав в либеральной теории»¹, «Патологии теории рационального выбора»², «Моральные основы политики»³ и другие. Его новая работа «Politics against Domination»⁴, перевод которой на русский язык — «Политика против господства» — вышел в издательстве «Практис»⁵, по собственному признанию автора, стала продолжением другой его известной книги — «Democratic Justice»⁶ («Демократическая справедливость»), где он постарался примирить демократию и справедливость и предложил оригинальную концепцию справедливости, «укорененной в желании противостоять господству» (с. 19).

Это не первый опыт издания работ Шапиро на русском языке. Ранее вышли в свет «Моральные основания политики»⁷ и «Бегство от реальности в гуманитарных науках»⁸. Кроме того, в 2003 году в журнале «Социологическое обозрение» была опубликована его статья «Моральные основания политики»⁹.

© Черняк А. З., 2019

© Центр фундаментальной социологии, 2019

DOI: 10.17323/1728-192X-2019-4-344-353

1. Shapiro I. (1986). *The Evolution of Rights in Liberal Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Shapiro I. (1996). *Pathologies of Rational Choice Theory*. New Haven: Yale University Press.

3. Shapiro I. (2003). *The Moral Foundations of Politics*. New Haven: Yale University Press.

4. Shapiro I. (2018). *Politics against Domination*. Cambridge: Harvard University Press.

5. Шапиро И. (2019). Политика против господства / Пер. с англ. М. С. Фетисова и Т. А. Дмитриева. М.: Практис.

6. Shapiro I. (1999). *Democratic Justice*. New Haven: Yale University Press.

7. Шапиро И. (2004). Моральные основания политики / Пер. с англ. Е. В. Малаховой и И. В. Борисовой под ред. В. С. Малахова. М.: Университет.

8. Шапиро И. (2011). Бегство от реальности в гуманитарных науках / Пер. с англ. Д. Узланера под ред. А. Павлова. М.: НИУ ВШЭ.

9. Шапиро И. (2003). Моральные основания политики / Пер. с англ. Е. В. Малаховой // Социологическое обозрение. Т. 3. № 1. С. 20–34.

Коллективом издательства «Практис» была проделана серьезная работа по подготовке книги к выходу в свет: ее отличают совершенство перевода, выполненного М. С. Фетисовым и Т. А. Дмитриевым, и прекрасное полиграфическое исполнение. Книга снабжена специальным предисловием к русскому изданию.

О чём же эта книга? Будучи либеральным мыслителем, Иэн Шапиро трактует свободу как высшую ценность, а господство — как угрозу свободе; соответственно, мир без господства является для него предпочтительным общественно-политическим идеалом. Поэтому «Политика против господства» посвящена главным образом ответу на вопрос: какое политическое устройство и какая политика лучше всего могут противостоять господству? Ответ на первую часть вопроса очевиден всякому, кто хоть немного знаком с творчеством Шапиро: конечно, из всех политических устройств наиболее эффективным средством борьбы с господством он считает демократию. Но демократия бывает разной, а кроме того, сама она тоже может быть источником разных форм господства. Эти проблемы демократии Шапиро анализирует в своей новой работе.

Почему борьбе с господством следует отдавать политический приоритет? Господство, как доказывает Шапиро, — это одно из тех явлений в обществе, которые систематически не нравятся большинству людей. Соответственно, их интерес состоит в недопущении господства. Другая причина считать борьбу с господством политическим приоритетом лежит, по мнению автора, в природе самого господства. Он определяет господство как «противоправное применение власти, угрожающее базовым интересам людей» (с. 335), хотя и оговаривается, что этому феномену трудно дать четкое определение. В этом смысле господство есть нечто исключительно плохое с моральной точки зрения, поэтому морально ответственная политика должна бороться с господством. Шапиро считает, что именно такое понимание господства является повсеместным. Это, конечно, не бесспорно, потому что обычным является понимание господства как просто преобладающего влияния какой-то силы, как возможности одного индивида или одной социальной группы контролировать поведение другого индивида или другой социальной группы либо как наличие отношения подчинения одного индивида или социального объединения другому. Не является предлагаемое Шапиро определение стандартным и для философов и социологов. Например, Макс Вебер определяет господство совсем иначе — как шанс встретить у определенной группы лиц повиновение приказам определенного содержания¹⁰. При таком понимании господство также не имеет строго негативной моральной коннотации. Кроме того, можно заметить, что мы спокойно говорим, например, о спортивной команде, побеждающей всех своих конкурентов в чемпионате, что она в нем господствует. При этом она не совершает ничего противоправного, все победы могут быть добыты строго по правилам. Шапиро считает эти случаи исключениями: для него важно, что в политике, когда речь идет о господстве, людям свойственно презрительное отношение к тому, кто

10. Вебер М. (2017). Власть и политика. М.: Рипол-классик. С. 404.

господствует, чего, разумеется, не происходит в случае господства в спорте. Но и о государстве, которое, например, имеет самый мощный военный флот, вполне нормально будет сказать, что оно господствует на морях. В этой оценке нет ничего презрительного. Должны ли мы и такие случаи считать исключениями? Шапиро полагает, что обычные случаи даже тотального контроля над поведением других неизбежно являются случаями господства. Но чтобы утверждать нечто подобное, надо определенным образом понимать, что есть господство. Реальная практика оценок такого рода ситуаций, однако, не дает оснований для предпочтения именно этой трактовки: ведь мы вполне можем сказать, например, о родителях, жестко контролирующих своего ребенка, что они над ним господствуют, хотя они могут действовать строго в пределах законодательства и норм морали. Наконец, абсолютная власть монарха может быть результатом общественного договора, то есть вполне законной, но трудно не считать ее формой господства, поскольку она создает серьезные ограничения личных свобод. Что касается пренебрежения базовыми интересами людей, то господство может давать определенные преимущества тому, в отношении кого оно осуществляется: например, старый раб, которому хозяин обеспечивает кров и еду, в определенном отношении находится в более выгодном положении, чем такой же раб, отпущенный на свободу, где он обречен умереть с голоду, потому что не способен уже заработать себе на жизнь. Господство обязательно вступает в противоречие с базовыми интересами людей, только если мы включаем в число таких интересов свободу, понятую как независимость от чужих решений. Однако подобная свобода доступна в обществе только в той или иной степени. Следовательно, надо объяснить, почему те ограничения индивидуальной свободы, которые вызваны господством, неприемлемы, тогда как некоторые другие ее ограничения приемлемы. Но о правах, которые нарушаются в связи с господством, Шапиро говорит не много, подразумевая, скорее, что все серьезные нарушения прав личности являются результатами господства. Тем не менее очевидно, что, во всяком случае, некоторые формы господства включают злоупотребление властью и угрожают тому, что можно считать базовыми интересами людей. И в этой связи вполне уместно требовать, чтобы политика в современном мире была ориентирована на борьбу с такими формами господства.

Шапиро выступает приверженцем адаптивного подхода к борьбе с господством, противостоящего идеалистическим проектам, вроде коммунистического, нацеленным на воплощение той или иной социальной утопии. Адаптивный подход учитывает политическую реальность, но не капитулирует перед ней. Он предполагает, в частности, что следует не сосредотачиваться на наилучших демократических институтах, а обращать внимание на недостатки существующих и решать, как лучше на них отреагировать. Адаптивность состоит в умении реагировать на текущие проблемы. Следует стремиться прежде всего к устраниению конкретной несправедливости и постепенно повышать ставки. Этот подход не гарантирует успеха в каждом конкретном случае, но его применение, считает Шапиро, повышает наши шансы на успех. Лучшей стратегией борьбы с господством в рамках

этого подхода он считает стратегию «око за око», предложенную Р. Аксельродом. Последняя предполагает, что начинать взаимодействие с другими людьми надо всегда с коопeração, а затем действовать симметрично действиям оппонента. Эффективность этой стратегии, однако, ограничена ситуациями, когда взаимодействие является звеном в цепи однотипных взаимодействий, то есть представляет собой часть повторяющейся игры. Если неизвестно, будет ли ситуация повторяться в ближайшей перспективе, то нет и уверенности в том, что появится возможность ответить симметрично на обман или выбор иной «плохой» в моральном смысле стратегии, которая может обеспечить непосредственное преимущество тому, кто ее выбирает; а это снижает мотивацию рациональных участников такого взаимодействия сотрудничать или предпочесть иную морально «хорошую» стратегию.

Как бы то ни было, Шапиро считает демократию важнейшим условием борьбы против господства. Демократия дает людям веру и надежду, что с течением времени они будут лучше защищены от господства, чем сейчас, и это мотивирует их к действиям. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у людей, живущих в условиях отсутствия демократии, значительно меньше мотивации действовать и предпринимать шаги по улучшению своей жизни, даже когда они не в безопасности. Если этот вывод уместен, то необходимо объяснить, каким образом возможны политические перемены, делающие недемократическую страну демократической. Однако Шапиро в своей работе больше концентрируется на анализе собственно демократии как инструмента борьбы с господством¹¹.

Демократия возможна в разных видах и формах, и эти различия, по мнению Шапиро, имеют определенное значение для борьбы с господством. Он выступает за состязательную демократию, в основе которой лежит конкуренция между политическими партиями за голоса избирателей и правило большинства. Главной альтернативой этой системе является режим разделения властей, наиболее полным образом воплощенный в политической системе США. Значительное место в своей работе Шапиро уделяет критике этой системы, демонстрируя ее неэффективности как средства борьбы с господством. Он выступает против ограничений демократии конституцией или иными соглашениями, которые легко утрачивают силу, как только кто-то узурпирует власть. Демократический контроль, по его мнению, лучше всего подходит для структурирования властных измерений гражданских институтов, предоставляя заинтересованным лицам право голоса при управлении и институционализируя возможности высказывания для оппозиции.

Важнейшая роль в системе состязательной демократии принадлежит, на взгляд Шапиро, правилу большинства, которое предполагает, что меньшинство должно подчиняться большинству. При этом всегда есть те, кто не хочет подчиняться. Как демократия может решить эту проблему? Шапиро критикует идею минимально-

11. Правда, он перечисляет некоторые условия, которые способствуют развитию демократии — такие как диверсификация экономики.

го государства Р. Нозика¹², которое берет на себя обязательство компенсировать лояльность тех, кто хочет оставаться независимым. С его точки зрения, государство никак не может компенсировать подчинение тех, кто готов умереть, лишь бы остаться независимым, а следовательно, оно не может быть минимальным. Люди, которые продолжают получать выгоды от общества, должны жить в рамках правила большинства; в противном случае ни одно правительство не может функционировать. Таким образом, он фактически формулирует своего рода моральный императив. Но что гарантирует, что члены общества будут воспринимать этот принцип как императив? Не получится ли так, что, в конечном счете, только система принуждения, то есть господства, окажется эффективным инструментом решения данной проблемы? В качестве ответа на эти сомнения Шапиро анализирует альтернативные принципы, прежде всего — правило единогласия. Единогласия в реальном мире достичь крайне трудно. Теоретически оно возможно, но весьма правдоподобно, что чем больше людей объединено в сообщество и чем более разнородны их интересы, тем менее достижимо в этом сообществе единогласие. Также Шапиро указывает, что правило единогласия фактически означает право вето для единственного несогласного, что делает всю систему неэффективной. Неэффективной считает он и конституционную демократию. Он указывает, что правило большинства минимизирует шансы господства в сравнении с другими альтернативами. Однако ничто не мешает новому большинству аннулировать достижения прежнего большинства. В этом случае возможна ситуация, когда новое большинство отменяет демократические установления старого большинства в пользу той или иной формы господства. Так что даже демократия, руководимая правилом большинства, не является гарантией от возвращения уже, казалось бы, устранивших форм господства.

Шапиро замечает, что институты демократии сами могут превратиться в инструмент господства. Одной из угроз, традиционно беспокоящей либеральных мыслителей, является тирания большинства; но Шапиро обращает внимание также и на угрозу тирании меньшинства. В решении этой проблемы он делает акцент на различии между делимыми и неделимыми благами: каждое возможное распределение делимого блага по правилу большинства потенциально нестабильно, а политическая нестабильность является условием смены власти. Это и есть, по мнению Шапиро, гарантия против господства как большинства, так и меньшинства. Но для осуществления этого решения важно, чтобы споры между людьми в основном касались делимых благ. Если преобладающими факторами политической мобилизации становятся неделимые блага, такие как раса, этнос и религия, если они подавляют делимые блага, то политика, считает Шапиро, скорее всего, будет строиться по принципу «победитель получает все». Следовательно, необходимо по возможности убирать неделимые блага с политической сцены. Одним из шагов, послуживших этой цели, было отделение церкви от государства. Однако, указывая

12. Нозик Р. (2008). Анархия, государство и утопия / Пер. с англ. Б. Пинскера под ред. Ю. Кузнецова и А. Куряева. М.: ИРИСЭН.

на конкретные примеры устранения неделимых благ из политики, Шапиро не дает общего рецепта, как это в принципе следует делать, замечая, что преобладание стремления к обладанию такими благами может серьезно снизить эффективность демократии в борьбе с господством.

Демократия нередко может уживаться с очень высокими уровнями неравенства. Восстание тех, кто не получает выгод от демократии, — одна из угроз, стоящих на пути борьбы с господством. Решение Шапиро видит в том, чтобы упреджать отчаяние масс снижением ставок конфликта: выгоды от свержения демократии не должны быть для них значительными. Поэтому большое значение для выживания демократии имеет политика, защищающая самых обездоленных. Но можно заметить, что такая политика также таит в себе угрозы для демократии: влияние самых бедных на политический процесс в конкретной стране может быть невелико в сравнении с влиянием самых богатых, и, если проблемы бедных решаются в этой стране за счет богатых, это может повысить их мотивацию свергнуть демократический режим и установить олигархическое или автократическое правление, которое лучше бы служило их интересам.

Шапиро последовательно выступает за регулярную состязательную смену власти, которая желательна, потому что она институционализирует приверженность правилу большинства, воплощает повышенное значение конкуренции идей и ограничивает политические элиты, одновременно придавая им стимулы реагировать на интересы избирателей. На примерах он показывает, что люди, занимающие кресла в органах различных ветвей власти, могут защищать их от чужих посягательств, а могут и не делать этого. Так, республиканское устройство правления не гарантирует отсутствие господства, и достоинства независимого суда в США сильно преувеличены. И все же можно заметить, что из этого не следует, что указанные недостатки являются фундаментальными и неустранимыми и что данная система при определенных улучшениях не способна эффективно бороться с господством.

Для демократии критически важно, чтобы регулярная смена власти не приводила к изменению государственного строя. В этой связи Шапиро указывает, что для того, чтобы демократия имела шансы, важно, чтобы политическая власть не была источником богатства для тех, кто ее имеет. Поэтому, замечает он, в монополистических экспортных экономиках, где доступ к власти обычно является основой благосостояния элит, демократии трудно бороться за выживание. Таким образом, для повышения шансов демократии на победу необходима диверсификация экономики, поскольку она открывает множество путей к достижению благосостояния.

Политику Шапиро рассматривает как аналог свободного рынка, где действует невидимая рука. Он указывает в связи с этим, что политический рынок реагирует на ярко выраженные, а не на сильно переживаемые предпочтения. Организованные активисты, обладающие ярко выраженными предпочтениями, могут иметь большое влияние на власть и при этом не представлять избирателей. Это созда-

ет угрозу господства меньшинства. Решение этой проблемы Шапиро видит в том, чтобы не создавать стимулов для вознаграждения ярко выраженных предпочтений. Такие предпочтения повышают ставки конфликта и уменьшают перспективы сотрудничества. Это особенно важно, потому что в основе ярко выраженных предпочтений часто лежат неделимые блага.

Развивая идеи Шумпетера, Шапиро указывает, что цель правила большинства двойная: сдерживание элит посредством конкуренции и власть той партии, которая лучше представляет себе, чего люди хотят от правительства. В этом случае правительство подотчетно избирателям. Но электоральная политика лучше всего работает, когда эффективным правительствам приходится конкурировать с сильной оппозицией. Это одна из причин того, почему парламентские системы он считает более предпочтительными, чем президентские. Наиболее близким к идеалу из существующих демократических систем он считает британский парламентаризм, а политическую систему США подвергает резкой критике.

Описывая принцип действия состязательной демократии, Шапиро рисует несколько идеализованную картину. В состязательной демократической политике, пишет он, партии представляют свои конкурирующие доводы, а избиратели принимают решение. Но это предполагает определенный уровень компетентности избирателя, который не всегда доступен даже в развитых странах: чтобы принять ответственное решение, избиратель должен разбираться в политических вопросах не хуже политиков. Куда важнее было бы объяснить, как демократия может выживать в условиях ограниченной компетентности избирателей. К тому же в реальной жизни избиратели нередко ориентируются в принятии решений не на доводы политиков, а на уже сложившиеся политические предпочтения и личные симпатии. Тогда надо объяснить либо, как можно добиться того, чтобы в принятии важных решений избиратели руководствовались определенными принципами рациональности, либо — как можно обратить на пользу демократии существующие практики принятия решений такого рода. К сожалению, Шапиро не особо вдается в детали функционирования состязательной демократии, останавливаясь только на самых общих ее чертах.

Также он уверен, что успех политических партий в завоевании голосов избирателей и мест в правительстве определяется тем, насколько лучше конкурентов они реагируют на желания избирателей. Но это тоже, кажется, не вполне соответствует действительности: при прочих равных в политической борьбе часто побеждают те, кто успешно делает вид, что готов реагировать на желания избирателей лучше конкурентов, то есть те, кто побеждает в риторике и создании имиджа. Также партии могут диктовать избирателям определенную повестку, убеждая их в важности каких-то проблем, которые их изначально не интересовали или интересовали мало, посредством мощной пиар-кампании.

Значительное внимание в своей работе Шапиро уделяет аргументации в пользу преимущества двухпартийной системы над многопартийной: его идеал — две большие партии, попеременно играющие роли правительства и оппозиции. Ма-

ленькие партии, считает он, легче коррумпировать. Но все-таки и большие партии при определенных условиях поддаются коррупции, так что для предпочтения двухпартийной системы нужны более весомые основания. Также следует объяснить, почему, если двухпартийная система — лучшее условие демократии, — существуют довольно успешные многопартийные демократии.

Проблема господства выходит за национальные границы, и поэтому Шапиро обращается к международной политике. Одним из средств борьбы с господством в международных делах считается создание мирового правительства. Шапиро критикует эту идею как нереалистичную. Появление мирового правительства не является, по его мнению, ни неизбежным, ни вероятным. Национальные правительства не уступят, полагает он, свой контроль над военными силами международным институтам. И правительства действуют на международной арене в соответствии с тем, что они считают своими национальными интересами. Он также полагает, что мировая демократия невозможна. Централизованная конкуренция лучше всего подходит для политики на уровне отдельных государств, но может оказаться неприемлемой вне национальных границ. Национальные правительства должны монополизировать легитимное принуждение внутри своих границ, чтобы быть эффективными, но это невозможно для мира в целом. Более того, эффективные глобальные институты, на взгляд Шапиро, будут носить, скорее всего, тианический характер. Вместо попыток создать мировое правительство следует, считает он, бороться за достижение ближайших, четко определенных целей путем создания эффективных коалиций. Он показывает, как это должно работать, на примере кампании за отмену рабства. Другая кампания, которую Шапиро анализирует, разворачивается в настоящее время: это кампания за установление глобального минимума заработной платы, что также, по его мнению, служит интересам борьбы с господством. Обе эти кампании, считает он, представляют собой примеры политики, которая начинает с малого и постепенно наращивает ставки. Именно она является эффективным средством борьбы с трансграничным господством. Действительно, подобные кампании могут быть весьма успешными, но способны ли они справиться с любой формой трансграничного господства, не ясно. Трудно себе представить, как широкая общественная кампания могла бы справиться с криминальной торговлей людьми. Здесь явно должны быть задействованы какие-то иные рычаги.

Еще одна проблема, которую обсуждает Шапиро, — проблема нарушения суверенитета чужой страны посредством военного вторжения в интересах борьбы с господством. Оправданно ли, например, свергать путем военного вторжения репрессивный режим? Шапиро считает, что подобного рода действия оправданы только там, где есть национальная демократическая оппозиция репрессивному режиму, предлагающая жизнеспособную политическую альтернативу, лидеры которой активно ищут помощи извне. Не менее важно, чтобы экономические условия хотя бы минимально благоприятствовали демократии, так как в очень бедных странах демократия не выживает. В противном случае к смене режима можно при-

бегать только тогда, когда нет иного средства предотвратить крайне проявления господства вроде геноцида. Но все же можно заметить, что, хотя Шапиро ставит четкие границы применению силы против тиранических режимов, он тем не менее допускает в этом плане слишком многое. Например, демократическая оппозиция может формально наличествовать и предлагать жизнеспособную (при определенных условиях) альтернативу, но при этом иметь очень слабую поддержку в народе; сомнительно, что в подобном случае внешнее вторжение с целью передачи власти этой оппозиции будет иметь такую же легитимацию, как и в случае, если оно осуществляется при широкой поддержке народа данной страны. Также жизнеспособность альтернативы, предлагаемой оппозицией, обычно трудно оценить, пока власть не оказалась в ее руках. Оправданно ли вторгаться, если только кажется, что оппозиция предлагает жизнеспособную альтернативу? Как бы то ни было, в соответствии с выдвинутыми им требованиями Шапиро выступает апологетом политики сдерживания, которую он трактует как образец стратегии «око за око». Цель такой политики — остановить агрессию, не превращаясь в агрессора самому. Ярким ее примером в современном мире Шапиро считает первую иракскую войну. Последующие военные операции США и НАТО он критикует как отклонения от этой политики. Сдерживание включает принцип, согласно которому допустимо делать только то, что необходимо для сдерживания агрессора. Однако проблема в том, что сдерживание агрессора — очень широкая категория; в нее могут попадать любые действия, направленные на ослабление агрессивного государства, если действующий полагает, что агрессия может возобновиться, включая действия, наносящие вред простым жителям данного государства, не виновным в его преступлениях (например, действия, направленные на уничтожение экономики). Тем не менее нельзя не согласиться с Шапиро в том, что лучше избегать войны против угроз, в неминуемости которых ты не уверен. Что касается вопроса вмешательства в гражданскую войну, то здесь Шапиро принимает точку зрения М. Дойла, согласно которой для оправдания такого вмешательства необходимо иметь заслуживающие доверия планы установления мира и строительства государства¹³. Это условие не кажется достаточным, так как можно иметь соответствующие планы, но не действовать исходя из стремления их реализовать. Однако даже оно систематически не выполняется, и Шапиро показывает это на примере катастрофического по своим последствиям вмешательства стран НАТО в войну в Ливии. Также он выступает против установления демократии путем военного вторжения, ссылаясь, что такая демократия вряд ли будет устойчивой.

Новая книга Шапиро вносит весомый вклад в современную политическую теорию. Тем не менее в ней есть некоторые пробелы в части теории: например, без теории агрессии невозможно адекватно оценить значение политики сдерживания. Автор концентрируется на обсуждении демократии как условия борьбы с господством, но уделяет мало внимания вопросу о том, как демократия может прийти

13. Doyle M. (2015). *Questions of Intervention: John Stuart Mill and the Responsibility to Protect*. New Haven: Yale University Press. P. 147–185.

на смену другой формы правления и, следовательно, как с господством вообще можно начать эффективно бороться.

Тем не менее, несмотря на дискуссионность ряда положений, «Политика против господства» является прекрасным примером вдумчивого и глубокого политологического исследования с элементами философского анализа: она изобилует интересными фактами и может стать хорошим подспорьем для всех интересующихся политической наукой, политической философией и политикой. Отечественному читателю она может быть интересна не только как образец современной американской либеральной мысли, но и как источник информации о политической системе США, перипетиях ее возникновения и ее недостатках как системы борьбы за лучшую жизнь для всех. Современная Россия — демократическое государство, но в нем очень сильны эготистские настроения. Чем является демократия для России сегодня, как она может помочь нам решить наши проблемы? Из книги Иэна Шапиро можно узнать о возможностях, которые несет в себе демократия, об условиях ее успешного существования, о том, какие формы она может иметь и с какими проблемами сталкивается. Все это может быть полезно человеку, интересующемуся судьбами демократии в России. Независимо от этого интересен и полезен для любого интересующегося политикой будет также разбор Шапиро некоторых кейсов международной политики, в частности военных конфликтов современности.

Democracy against Domination

Aleksey Chernyak

Candidate of Philosophical Sciences, Department of Humanitarian and Social Sciences, Russian Peoples' Friendship University
Address: Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russian Federation 117198
E-mail: abishot2100@yandex.ru

Book Review: Ian Shapiro, *Politica protiv gospodstva* [Politics against Domination] (Moscow: Praxis, 2019) (in Russian).



6–11 апреля 2020 года в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» состоится **XXI Апрельская международная научная конференция**.

Основные тематические направления:

- Арктические исследования (специальная секция)
- Государственное управление, местное самоуправление и сектор НКО
- Демография и рынки труда
- Инструментальные методы в экономических и социальных исследованиях
- Макроэкономика и экономический рост
- Международные отношения
- Менеджмент
- Методология экономической науки
- Мировая экономика
- Наука и инновации
- Образование
- Развитие здравоохранения
- Региональное и городское развитие
- Сетевой анализ
- Социальная и экономическая история
- Социальная политика
- Социокультурные процессы
- Социология
- Спортивные исследования
- Теоретическая экономика
- Финансовые институты, рынки и платежные системы
- Фирмы и рынки

Более подробная информация: <https://conf.hse.ru/2020/>